

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

N *M O I V R* Y

5

1995

5

НОВОБЫИ
МИР

1995

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5(841)

Май, 1995 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

СЕМЕН ЛИПКИН — Семь планет сияние, стихи	3
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Ветер покоя, стихи	8
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Два рассказа	12
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Обратный счет, стихи	51
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ — Письмо из Солигалича в Оксфорд, роман	55

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ДЕРЕК УОЛКОТТ — Раны и корни. Из книги «Омерос», стихи. Перевела с английского А. Шарапова	149
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ОЛЕГ ЛАРИН — Тогда меня звали Вольдемар и Вилли	157
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. И. ВЕРНАДСКИЙ — «Коренные изменения неизбежны...». Дневник 1941 года. Публикация, подготовка текста и примечания И. Мочалова	176
---	-----

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В. СЕРДЮЧЕНКО — Прогулка по садам российской словесности	222
--	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Не для эстетов, не для быдла...	232
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

235

Александр Соколянский. ...и в чудных пропастях земли.
И. Питляр. «До смешного жаль...».
В. Вахрушев. «Сестра Шекспира».
О. Филатова. «И дум высокое стремление».

КОРОТКО О КНИГАХ:

Григорий Шурмак. — Даниил Кловский. Дорога из Гродно. ♦

Андрей Василевский. — Дмитрий Галковский. Бесконечный тупик. Исходный текст.

249

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

251

КНИЖНАЯ ПОЛКА

253

ПЕРИОДИКА

254

SUMMARY

256

**Поздравляем ветеранов
советской и союзных армий
с 50-летием
Великой Победы над фашизмом!
Низкий поклон живым и павшим.**

СЕМЕН ЛИПКИН



СЕМИ ПЛАНЕТ СИЯНИЕ

У полустанка

Дуб, от множества годов сутулый,
Слушать с упоением готов
Самолетов эллинские гулы,
Русские глаголы поездов.

Утро хорошо на полустанке,
А весной особенно светло
Небо голубое, как с изнанки
Голубя вспорхнувшего крыло.

Ночью столько шорохов и звонов,
Быстро вспыхивают светляки,
Окна убегающих вагонов,
Звездочек живые угольки.

Не стареть бы, не слабеть, не сохнуть,
А дышать, и думать, и смотреть,
Вдруг от грома вешнего оглохнуть,
С молнией сгореть.

Вечер, степь, море

Я помню давний летний день,
Он странно угасал,
Ему как будто было лень
Свой торопить финал.

А кукурузные поля
Свой изменили цвет,
Казалось, море и земля
Удерживали свет.

Ты молча рядом шла со мной,
В моей — твоя рука,
Но от меня в тиши степной
Была ты далека.

Так далеки от нас племен
Исчезнувших слова
Иль, может быть, забытый сон
Чужого существа.

* *
*

Сказано все, — что же мне говорить?
Роздано все, — что же мне раздарить?

Пройдено все, — так зачем же иду?
Явлено все, — так чего же я жду?

Дай мне приют, чтоб добраться к себе,
Дай немоту, чтоб сказать о Тебе,

Дай мне оглохнуть, чтоб слушать Тебя,
Дай мне ослепнуть, чтоб видеть Тебя.

Распад

Небосвод неведомой расцветки
Обливает, дряхлый водонос,
Судорожно скрученные ветки
Обреченных гибели берез.

Знаю: будет, как в былые годы,
Шар земной вращаться на оси,
Будут всех деревьев жить породы,
Но берез не станет на Руси.

Будут в предприятиях удачи,
Но уже, предчувствуя распад,
Птицы станут вить гнездо иначе,
Матери иных детей родят.

Чистилище

То жильё, что больше всех гостиниц,
Явственно изобразил пером
Тот орлиноносый флорентинец,
Что вожатым важным был ведом.

И когда тебя косою скосит
Та, что поджидает нас всегда,
Черный ангел у тебя попросит
Жалости в день Страшного суда.

Как же будет удивлен вожатый,
Если возвратишься ты назад,
Черный ангел, ужасом объятый,
Вновь увидит свой знакомый ад.

Принц

Я отверг свою молодость, книги, богов изваянья,
Приношение жертв, именитый родительский дом,
Чтоб того отыскать, кто единый источник дыханья,
Я отправился в странствия долгим и тяжким путем.

Я блуждал по большим городам, по глухому безлюдью,
 Мне встречались рабы и владыки, жнецы и жрецы,
 И блудницы, и матери, деток кормившие грудью,
 И больные проказой, безумные и мудрецы.

Я сравнился с песком, с палым зернышком, с мертвым шакалом,
 Ибо стать я стремился никем, и ничем, и ничьим,
 Словно пьяный погонщик волов на дворе постоялом,
 Стал слепым среди зрячих, среди говорящих — немым.

Я домой, изможденный, седой и счастливый, вернулся.
 Прах родителей, с плачем сожжен, скрылся в Ганге, на дне,
 Но, как юноша, слугам испуганным я улыбнулся:
 — Тот, кого я искал, — не напрасно искал, он во мне.

Бой в апреле

Утро возгласом извечным
 Возвестил петух,
 И на хуторе заречном
 Огонек потух.

Мутная река в апреле
 Пахла холодком.
 Как мы рано постарели,
 Сделавшись полком!

Вот машина полководца
 Стала у бугра.
 Кровь детей твоих прольется,
 Мать-земля сыра.

За тебя — на дно и в пламя.
 Кровь тебе нужна.
 Смерть пройдет. Пребудут с нами
 Боль, печаль, весна.

Каменный век

Для стихов в нашем каменном веке,
 Кроме Леты, все высохли реки,
 Мышь серость бежит вместо серн,
 Вместо музыки — скарб безвозмездный,
 Но какой же заменит модерн
 Упоенье над гибельной бездной
 И мгновенье, внушенное Керн?

Нет у нынешних греков Гомера,
 Звук Верлена заглох без размера,
 На Руси бытом сделалось зло.
 Кто выходит один на дорогу?
 Нам ли больно теперь и светло?
 Кто средь бури услышал тревогу?
 И сомненье кому тяжело?

Торговцы

Машин не умолкает гонка.
На площади у синема
Мальчишка продает котенка,
Притом недорого весьма.

Листочки, голуби, окурки,
И рядом пруд, а у него
Выглядывает из-под куртки,
Дрожит живое существо.

Зачем я время трачу даром?
Часы бегут. Пора мне в морг.
Мой пепел может стать товаром,
Я тоже начинаю торг.

Семисвечник

Умелец с делом справится, и станет мир светлей.
В серебряном светильнике зажгутся семь свечей,

Украшенных короною, где справа добрый лев,
А слева оперением орел сверкнет, взлетев.

Убьют седого мастера со всей его семьей.
Фельдфебель в кофре вывезет изделие домой.

На этом не кончается короткий наш рассказ.
Светильник уворованный, однако, не погас.

Семи планет сияние открыто для очей, —
То семь свечей светильника, серебряных свечей.

Кавказский гул

Неестественный грохот орудий,
Подымается вьедливый дым.
Порешили безумные люди,
Что легко умирать молодым.

Льет скала свои громкие слезы,
С гневным шумом река потекла.
Мертв пастух. Разбегаются козы.
Вторит древнему гулу угрозы
Колокольчик на шее козла.

Река Смерти

Я вам пишу случайно...

Лермонтов.

Я помню горный лес глухой.
Таился там аул Ачхой.
Я помню резкий орлий крик
Над горной речкой Валерик:
Людьми Ичкерии она
Рекою Смерти названа.

Жестокий бой в ущельях скал
Один поручик описал.
Затихнул бой сто лет назад.
Потом другой вступил отряд,
Потом другой вступил отряд,
И удостоились наград
Отчизны верные сыны,
Но не участники войны,
Зато участники злодейств.
По два бойца на пять семейств.

Одной семьи подводим счет:
Седой старик — слепец-рапсод,
С тяжелым костылем джигит,
Днестра безногий инвалид,
Старуха в траурном платке
Сжимает кладь в худой руке,
Ребенка грудью кормит мать,
Далек ли путь — не надо знать,
Стоит с гармоникой сноха,
А козочка совсем плоха,
К очажной тянется золе, —
Так хорошо побыть в тепле!

В семье, с козою вместе, шесть.
А сколько верст — попробуй счесть.
В вагонах многие умрут,
А полумертвых привезут
Для казахстанских трудодней, —
Не только плоть, а дух людей.

Тому полвека с небольшим
Я не был в тех краях чужим.
Слова, что сотворил вайнах,
Я в русских повторил стихах.
Я не бывшее ворошу,
Я не случайно вам пишу.

28 декабря 1994 г.

*Поздравляем нашего уважаемого автора Семена Израилевича Липкина
с присуждением Пушкинской премии,
учрежденной фондом Альфреда Тёпфера (Германия).*

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ



ВЕТЕР ПОКОЯ

* *
*

Под березой на скамеечке
По ее пишу линейке,
И хоть время пахнет бойней,
Мне становится спокойнее:
Разлинованное дерево —
Суть страдания одинокого, —
В нем чутье почти что зверево,
В нем слеза почти что богова.

* *
*

Рассвело, расступилось, настало,
Снизло по златому лучу.
Я об этом еще не сказала,
И о том я еще промолчу,
Что столпилось, сгустилось, пропало,
Седовласой петлей завилось.
То и это — ни много ни мало —
Мною жизнью и смертью звалось.
Божий крест — неужели все тот же?
И я слышу на стыке веков
Со столичных балконов и лоджий
Упреждающий крик петухов.
Не второе ль пришествие ждется?
Неужели предаст ученик,
А другой ученик отречется
Под петуший отчаянный крик.

* *
*

И я молюсь и грежу, проникая
В библейские места,
Целую, ртом запавшим приникая,
Оазиса уста.

Не то чтобы я страстию палима
Иль жаждою глотка,
Оттуда я, где многоснежны зимы,
Обильны облака

И где смола сосны и сок березы
 На русском языке
 Мне говорят, что лучшие прогнозы
 Висят на волоске.

Легко ли через ложные святыни
 Душе перешагнуть,
 Хоть начался одновременно ныне
 Исход и крестный путь.

Песок... Еще ни манны и ни смоквы,
 Ни стойбищ у воды...
 Будь глаз мой поострей, найти он смог бы
 Грядущего следы.

* *
 *

Продолжается время распада,
 Еле теплятся совесть и честь.
 Как ни грустно, я все-таки рада
 Жизни какой ни на есть.

Ах, как тихо в июньской дубраве,
 Ах, как громко птицы поют
 О своем неотъемлемом праве
 На перелет и уют.

Тишина — не отсутствие шума,
 Тишина — состоянье души.
 Но горящий глагол Аввакума
 Жжет мое сердце в тиши.

Ну куда мне податься, куда мне...
 Я не знаю, где ты и где я, —
 Не оставила камня на камне
 Черная память моя.

* *
 *

На этой кухне падает, как снег,
 Известка с потолка, и перекручен
 Над мойкой кран, и капает вода,
 Озвучив времени атомный бег, —
 Кран отмерять минуты и года,
 Под стать часам песочным, не приучен,
 А стрелка на будильнике — лишь знак
 Безвременья. И если Пастернак:
 «Какое бы, — спросил, — тысячелетье?»,
 Ну что бы я ответила ему,
 Природы русской певчому ребенку?
 Наверное б, сказала: это — третье
 До Рождества, о коем никому
 Не ведомо в Давидовом доме
 Или волхву мерещится спросонку...

Утро такое

1

Утро такое, что ветер пропах жасмином
 Да и сиренью.
 Время такое, что словно на поле минном
 Жду со смиреньем
 Взрыва. Но разве можно в утро такое
 Думать такое?
 Ветер жасмина, ветер сирени, ветер левкоя,
 Ветер покоя.
 Утро такое с веком в испарине смерти
 Не совпадает.
 С чем мы вступаем в тысячелетие третье,
 Ветер не знает.
 Разве что сердце — дрожащая роза —
 Мыслит тверезо
 В утро такое, где лучше б не думать о взрывах
 Разного рода.
 Небо — в надрывах, во вскрытых нарывах
 Матерь-природа.

2

Ветер жасмина, ветер сирени, ветер левкоя,
 Ветер покоя
 В противоречье с враждой людскою,
 С лютой тоскою.
 Утро такое с временем родины бедной
 Не совпадает, —
 Время разбоя, время тротила, радиобездны...
 Ребра бодает
 Сердце — рогатая роза, роза терпенья,
 Роза раденья.

* *
 *

Из духовки — картошка. Солёный груздь.
 «Амаретту» принес мне гость, —
 Из меня он пытается вырвать грусть,
 Как из стенки кирпичной гвоздь.

Но и шляпки нет у того гвоздя,
 Да и нечего в ребра лезть,
 Да и грусть моя много лет спустя,
 Может быть, превратится в весть

О земле воспрявшей, ядящей всласть,
 О душе, поправшей и смерть и злость.
 Эта грусть посильнее, чем бунт и власть,
 Хоть ржавее, чем в стенке гвоздь,

Еще вербой взойдет из моей груди,
 Чтобы благовестить весну.
 Пей ликер, мой гость, да груздём хрусти,
 Обжигай картошкой десну.

* *
*

Ничего — ни строки, ни словечка,
Ничего, точно я умерла.
Лишь табачного дыма колечко
Над углом раздвижного стола.

В синей гжели кофейная гуща.
Ничего, — ни словечка о том,
Как сияет июньская куща
За прозрачным, как сердце, окном.

В этом сердце две маленьких птички
Говорят меж березовых свеч,
И похожи они на кавычки,
И прямая таинственна речь.

Я две вилки воткну в удлинитель —
Чайник, лампу, раскрою блокнот, —
Ничего. Видно, ангел-хранитель
От меня же меня бережет.

1994.



А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

ДВА РАССКАЗА

ЭГО

1

Павел Васильевич Эктон ещё и раньше, чем к своим тридцати годам, ещё до германской войны, устоялся в осознании и смысле быть последовательным, если даже не прирождённым, сельским кооператором — и никак не замахиваться на великие и сотрясательные цели. Чтобы в этой линии удержаться — ему пришлось поучаствовать и в резких общественных спорах и выстоять против соблазна и упрёков от революционных демократов: что быть «культурным работником» на поприще «малых дел» — это ничтожно, это не только вредная растрата сил на мелкие бесполезные работы, но это — измена всему человечеству ради немногих ближайших людей, это — плоская дешёвая благотворительность, не имеющая перспективы завершения. Раз, мол, существует путь универсального спасения человечества, раз есть верный ключ к идеалу народного счастья, — то чего стоит по сравнению с ним мелкая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей текущего дня?

И многие культурные работники устыжались от этих упрёков и уязвлённо пытались оправдаться, что их работа «тоже полезна» для всемирного устройства человечества. Но Эктон всё более укреплялся в том, что не требует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его текущих насущных нуждах, облегчение народной нужды в любой реальной форме — не то что в отвлекающей проповеди сельских батюшек и твердилке церковно-приходских школ. А вот сельская кредитная кооперация может оказаться путём куда поверней всемирного перескока к окончательному счастью.

Все виды кооперации Эктон знал и даже убеждённо их любил. Побывавши в Сибири, он изумился тамошней маслодельческой кооперации, накормившей, без всяких крупных заводов, всю Европу пахучим и обьядённым сливочным маслом. Но у себя в Тамбовской губернии он ряд лет был энергичным деятелем ссудо-сберегательной кооперации — и продолжал в войну. (Одновременно участвуя в системе Земгора, впрочем брезгуя её острой политичностью, а то и личным укрывательством от фронта.) Вёл кооперацию и во весь революционный Семнадцатый год, — и только в январе Восемнадцатого, накануне уже явно неизбежной конфискации всех кооперативных касс, — настоял, чтобы его кредитное общество тайно роздало вкладчикам их вклады.

За то — непременно бы Эктова посадили, если б точно разобрались, но у подвижных большевиков были руки на разрыв. Вызвали Эктова один раз в Казанский монастырь, где расположилась Чрезвычайка, но одним беглым допросом и обошлось, увернулся. Да хватало у них забот покрупней.

На главной площади близ того же монастыря как-то собрали они сразу пять возрастов призывников — тут выскочил сбоку лихой всадник чубатый на серой лошади, заорал: «Товарищи! А что Ленин обещал? Что больше никогда воевать не будем! так ступайте по домам! Только-только отвоевали, а теперь опять на войну гонят? А-рас-сходись по домам!!» И — как польхнуло по этим парням в серо-чёрной крестьянской одежке: от того окрика — по-сыпали, посыпали вразбежку, кто сразу за город, к лескам, в дезертиры, кто по городу заметался и мятежничал — и уже власти сами бежали. Через день вернулись с конницей Киквидзе.

Годы гражданской войны Эктвов прожил в душевной потерянности: за жестоким междоусобным уничтожением соотечественников и под железной подошвой большевицкой диктатуры — потерялся смысл жизни и всей России и своей собственной. Ничего и близко сходного никогда на Руси не бывало. Человеческая жизнь вообще потеряла своё разумное привычное течение, деятельность разумных существ, — но, при большевиках, затаилась, исказилась в тайных, обходных или хитро-изобретательных ручейках. Однако, убеждённому демократу Эктвову никак не казалась выходом и победа бы белых, и возврат казацких нагаек. И когда в августе Девятнадцатого конница Мамонтова на два дня врывается и в Тамбов, — за эти двое суток, хоть и сбежала ЧК из Казанского монастыря, а не ощутил он душевного освобождения или удовлетворения. (Да, впрочем, и видно было, что это — всего лишь короткий наскок.) Да вся тамбовская интеллигенция считала режим большевиков вовсе недолговечным: ну год-два-три и свалятся, и Россия вернётся к теперь уже демократической жизни. А в крайностях большевиков проявлялась не только же злая воля их или недомыслие, но и наслоенные трудности трёхлетней внешней войны и сразу же вослед гражданской.

Тамбов, окружённый хлебородной губернией, не знал в эти годы полного голода, но стыла зимами опасная нужда и требовала от людей отдавать все силы ума и души — бытовой изворотливости. И крестьянский раздолбный мир вокруг Тамбова стал разрушаться безжалостно вгоняемыми клиньями сперва заградотрядов (отбиравших у крестьян зерно и продукты просто при перевозе по дорогам), продотрядов и отрядов по ловле дезертиров. Вход такого отряда в замершую от страха деревню всегда означал неминуемые расстрелы хоть нескольких крестьян, хоть одного-двух, в науку всей деревне. (Могли и с крыльца волостного правления запустить из пулемёта боевыми патронами очередь наугад.) А всегда и у всех отрядов начинался большой грабёж. Продотряд располагался в деревне постоем и прежде всего требовал кормить самого себя: «Давай барана! давай гусей! яиц, масла, молока, хлеба!» (А потом и — полотнца, простыни, сапоги.) Но и этим ещё рады были бы крестьяне отделаться, да только, отгуляв в деревне день-два, продотрядники сгоняли понурый обоз из тех же крестьян с их зерном, мясом, маслом, мёдом, холстами — навывоз, в дар пролетарской власти, никогда не поделившейся с крестьянами ни солью, ни мылом, ни железом. (В иной сельский магазин вдруг присылали шёлковые дамские чулки или лайковые перчатки, или керосиновые лампы без горелок и без керосина.) И так подгребали зерно по амбарам подряд — нередко не оставляли мужикам ни на едево, ни на семена. «Чёрными» звали их крестьяне — то ли от чёрта, то ль оттого, что нерусских было много. Надо всей Тамбовской губернией гремел неистовый губпродкомиссар Гольдин, не считавший человеческих жизней, не меривший людского горя и бабьих слёз, страшный и для своих продотрядников. Не многим мягче его был и борисоглебский уездный продкомиссар Альперович. (Достоинными кличками власть окрещала и сама себя: ещё существовал и *начпогуб* Вейднер — даже Эктвов долго не мог вникнуть, что это страшное слово значило: начальник политического отдела губернии.)

Отначала крестьяне верить не могли: что ж это такое вершится? Солдаты, вернувшиеся с германского фронта, из запасных полков и из плена (там их сильно обделывали большевицкой пропагандой), приезжали

в свои деревни с вестью, что теперь-то и наступит крестьянская власть, революция сделата ради крестьян: крестьяне и есть главные хозяева на земле. А это что ж: городские насылают басурманов и обидят трудовое крестьянство? Свой хлеб не сеяли — на наше добро позарились? А Ленин говорил: кто не пахал, не сеял — тот пусть и не ест!

И потёк по деревням ещё и такой слух: произошла измена! Ленина в Кремле подменили!

Сердце Павла Васильевича, всю жизнь нераздельное с крестьянскими бедами, их жизненным смыслом и расчётливой бережливостью (в церковь — в сапогах, по селу — в лаптях, а пахать босиком), изболелось от этого безумного деревенского разорения: тамбовскую деревню большевики грабили напрокат догола (ещё ж дограбывал и каждый приезжий пустой ревизор или инструктор). Увидишь ли теперь прежнюю сытую мирную картину: вечерний медленный возврат добротного многосотенного скота в село, кой-где ребятишки с хвостинами, заворачивать своих, взвешенное стоячее облако прозрачной пыли в закатных лучах и скрип колодезных журавлей, предвестников пойки перед обильной дойкой? И на ночь теперь не засвечивались избыные окна: без дела стояли керосиновые лампы и еле светили внутри жирники — плоски из бараньего жира.

А между тем — гражданская война кончалась, и упущено было для тамбовских крестьян соединиться и с белыми. Однако и терпёж их уже перешёл через край, взбуривало народ. Осенью 1919 крестьяне убили предгубисполкома Чичканова во время его поездки по губернии. Ответ власти был — сильным карательным отрядом (венгры, латыши, финны, китайцы — кого только не было в карателях) и многими снова расстрелами.

Той ограбленной зимой крестьянский гнев ещё подбывал, копился. С весны, как стаяло, Павел Васильич поехал на телеге знакомого мужика за продуктами: из Каравайнова в хорошо знакомый ему угол, где сливаются Мокрая Панда и Сухая Панда, а дальше текут в Ворону. Знал он там Грушевку, Гвоздёвку, Трескино, Курган, Калугино. Грушевку — с её обильными сенокосами прямо на задах деревни, в июне всю в запахах мятлика, костера и клевера; Трескино с её странным храмом — трёхэтажным кубом, а барская церковь в Никитине облицована сине-коричневой плиткой, и крыша её под чешуйчатой выкладкой; Курган — с насыпным курганом татарских времён; и саблевидное Калугино с беспорядочно разбросанными куренями по голой балке Сухой Панды. А пойма извиистой Мокрой Панды — вся в густой траве, с боем перепелов, приволье ребятишек, рыболовов, гусей и уток, — хотя и ребятишкам там купанье по пояс, однако и коровы на дневную дойку вылезают из реки же. Лес большой там был — сразу за Грушевкой и Гвоздёвкой; да и близ Никитина, с её множеством садов, — несколько лесистых балок.

Ту весну мужики встречали в большой тревоге, и многие даже не хотели сеять: ведь всё уйдёт зазря, отымут? но и самим-то как без прокорма?

Ватажились в лесках и оврагах. Толковали, как себя защитить.

Но трудно крестьянам разных сёл — сговориться, соединиться, решиться, да ещё ж и выбрать момент, когда перейти черту большой войны.

А между тем гольдинские продотряды всё так же наваливались на сёла грабить, и всё так же сами пировали на стоянках. (А были случаи: велели подавать им на ночь заказанное число женщин — и подавало село, а куда денешься? легче, чем расстрелы.) И всё так же отряды из Губдезертира — расстреливали для примера изловленных. (Призывали сразу три возраста — 18-20-летних. А вступающие в РКП(б) освобождались от общего призыва.)

И в августе Двадцатого само собою вспыхнуло в Каменке Тамбовского уезда: пришедший продотряд крестьяне перебили и взяли их оружие. И в тех же днях в Трескино: близ волостного правления продотряд созвал собрание активистов — вдруг побежала по улице сила мужиков с вилами, лопатами, топорами. Продотряд стал в них стрелять — но нахлынувшей волной порубали отрядников два десятка, ещё и нескольких жён коммунистов

заодно. (Убили и маленького мальчика из толпы: он признал одного из повстанцев: «дядя Петя, ты меня узнал?» — и тот убил, чтобы мальчик его потом не выдал.) А в Грушевке так озлобились за всё отымаемое — повалили продотрядчика и, как по бревну, перепилили ему шею пилой.

Трудно, трудно русских мужиков стронуть, но уж как попрёт народная опара — так и не удержать в пределах рассудка. Из Княже-Богородицкого, Тамбовского же уезда, освящённая порывом справедливости крестьянская толпа в лаптях — пошла «братъ Тамбов» с топорами, кухонными рогачами, вилами — *вильники*, как ходили в татарское время — потекли под колокольный звон попутных сёл, нарастая в пути, — и так шли к губернскому городу, пока в Кузьминой Гати их, беспомощных, не посекали пулёмётными заставами, остальных рассеяли.

И — как пожар по соломенным крышам — понеслось восстание по всему уезду сразу, захватив и Кирсановский и Борисоглебский: повсюду перебивали местных коммунистов (и бабы резали их, серпами), громили сельсоветы, разгоняли совхозы, коммуны. Уцелевшие коммунисты и активисты — бежали в Тамбов.

Коммунисты нахожие — понятно откуда приходили. Но откуда набрались местные? По разным сельским случаям Павел Васильич это осмыслил, да кой-кого он и раньше знал сам. При первых советских выборах волостных и сельских должностных лиц крестьяне ещё не разбирались, какая этим новым выпадет всеразмерная власть, им мнилось — ничтожная, ведь теперь для всех наступила *слобода*, и не выборы главное, а хватать помещичью землю. И какой порядочный мужик оторвётся от своего хозяйства, чтоб исправлять какую-то там должность по выбору? И потекли на те должности — крестьяне лишь по рождению, а не по труду, озорные, бесшабашные, бездельники, голь, да кто с отрочества болтался чернорабочими при городах да на постройках, там успел лизнуть революционных лозунгов, да ещё все дезертиры с фронта Семнадцатого года, кто торопился на грабёж. Вот все эти — и стали сельские коммунисты, активисты, власть.

Павел Васильевич всем своим воспитанием и гуманистической традицией был всегда всей душой против всякого кровопролития. Но теперь, особенно после этого святого народного похода на Кузьмину Гать, соотношение бессильной правоты и неумолимого насилия проступило столь явно, что и правда же: не оставалось крестьянам ничего иного, как поднять оружие. (А много винтовок, патронов, шашек, гранат оставалось ещё, привезенных с германской войны и разбросанных после мамонтовского прорыва — у кого спрятано, у кого закопано.)

И Этков не увидел и для себя, народника, народолюбца, иного выхода, как идти туда же и в то же. Хотя: кончилась большая гражданская война — и какие надежды были теперь у мужицкого восстания? Но несомненно, что крестьяне будут лишены грамотного связного руководства. Пусть никакой не военный, лишь кооператор, да грамотный и смышлёный человек, — Этков пригодится где-то там.

Но — жена, Полина, сердце моё неотрывное! и Мариночка, крошка пятилетняя, глазки васильковые! — как оставить вас? и — на какие испытания? на какие опасности? даже просто на голод? Вот оно, наше самое трепетное — оно и высшее наше счастье, оно и наша слабость.

Полина — в острой тревоге, но и посылно крепясь, отпустила его: ты — прав. Да... прав... Иди.

И осталась она с дочуркой на их городской квартире, со скудными запасами провизии и дров на будущую зиму, — но и что-то же заработает, учительница.

А Павел Васильич уехал из Тамбова, отправился искать предполагаемый центр восстания.

И нашёл его — в передвижном состоянии — малую кучку вокруг Александра Степановича Антонова, по происхождению кирсановского мещанина, в 1905 году — эсера-экспроприатора (не закрыть глаз: значит, и вперемежку с уголовщиной?), в 1917 вернувшегося из сибирской ссылки, до

большевицкого переворота начальника кирсановской милиции, потом набравшего много оружия разоружением чехословацких эшелонов, проходивших через Кирсанов, — и уже летом 1919 с небольшой дружиной перебывал налётами местные комячейки там и здесь — когда сама партия эсеров всё никак не решалась сопротивляться большевикам, чтобы этим не помочь белым. Действовал Антонов и теперь не от эсеров, а от самого себя. Губчека ловила его всю зиму с 19-го года на 20-й — и не поймала. Антонов не кончил и уездного училища, образование никакое, но — отчаянный, решительный и смекалистый.

В нарождающемся штабе Антонова, который и штабом назвать ещё было нельзя, — не состояло даже хоть одного офицера со штабным опытом. Был местный самородок, из крестьян села Иноковки 1-й, Пётр Михайлович Токмаков: унтер царской армии, он на германском фронте выслужился в прапорщики, затем и в подпоручики, и вояка был превосходный, но всего три класса церковно-приходской. Ещё был боевой и буйный прапорщик, тоже из унтеров, распирающей энергии, Терентий Чернега, — в Семнадцатом примкнувший к большевикам, два года служил им, даже и в ЧОНе, а всего насмотрясь — перешёл на крестьянскую сторону. И ещё был унтер, артиллерист, Арсений Благодарёв, — из той самой Каменки, где всё началось, он и был из начинателей. Все эти трое дальше получили командование по партизанскому полку, Токмаков потом — бригаду из четырёх полков, — но ни один же из них и близко не был способен к штабной работе. И адъютантом Антонова был вовсе не военный, а учитель Старых из Калугина на Сухой Панде.

И когда Этков представился Антонову — так и пришёлся он пока самый подходящий «начальник штаба»: лишь бы грамотный сообразительный человек да умел бы топографическую карту читать. Спросил Антонов фамилию. Странно, но Этков не запялся. Уже начал: «Эк...», и тут же прохватило: нельзя называть! И горло само перешло на:

— а... га...

Антонову послышалось:

— Эгов?

А что? Псевдоним, и неплохой. Ответил уже чётко:

— Эго. Пусть так.

Ну, так и так, Антонов и не допытывался.

И скоро все его знали как «Эго», тоже Павел, только Тимофеевич. И вскоре признали за ним авторитет «начальника штаба» (сам себе удивлялся), впрочем он только чуть и связывал, соединял их общие дела, — а и сам Антонов и его партизанские начальники чаще вели отряды своим порывом, никого не спрашивая, да и по внезапности обстоятельств.

Тамбовский уезд не так-то был и удобен для партизанской войны: как и бóльшая часть губернии — малолесен, равнина, небольшие холмы, правда много глубоких балок и оврагов («яруг»), дающих и коннице укрытие от степного прозора. И сеть просёлков с наезженной колеёй, да скакала конница и поперёк поля.

А что это была за конница! Стремена — верёвочные, вместо сёдел у большинства — подушки (и на ходу вьётся пух из-под всадника...). Кто в солдатской одежке, а кто в крестьянской (на шапке — красная ленточка наискось: они — за революцию, тоже красные! и обращения, когда не по деревенским кличкам: «товарищ»). Зато — повстанцы всегда на свежих конях, беспрепятственно меняют их у крестьян (хоть и не без крестьянской обиды: *наши*-то ребята наши, так ведь и лошадь *моя*...). Понасобирали берданок, двустволок, винтовочных обрезов (их легче прятать, а меткость вблизи не намного меньше), трофейных с войн Гра и Манлихеров. Начинали — с по пять патронов к винтовке, потом отбивали у продотрядов, у чоновцев, и даже захватывали целые оружейные склады, а раз была и такая смелая антоновская операция: захватили у красных целый поездный эшелон боеприпасов, в поспешке развезли телегами по деревням, подальше прочь от *железки*, которой лишнего часа не удержишь.

Впрочем, из-за многолюдства повстанцев, всё равно сильно не хватало оружия, даже и шашек, — и по набату всё ещё бежали из деревень с вилами. (Был и такой сигнал у повстанцев: при появлении большевицкого отряда — останавливаются в том селе мельничные крылья, либо — с другого конца села тут же ускокивает вестовой, оповещать соседей.)

Радость успешных набегов, да и успешных уходов — взбадривала и изумляла Эктова: и как же это всё удаётся? ведь прямо — из ничего!

Так и жили — сперва недели, потом и месяцы: днём работали как крестьяне, а при тревоге и просто с вечера — садились на коня и в набег. Через буераки гонялись отряды друг за другом, и те и эти. При разгроме — повстанцы разлетались, прятали оружие, и не у себя во дворах, а по яругам.

...После пролёта боя лежит убитый, головой в ручье. А лошадь — печально стоит, часы, возле мёртвого хозяина... А по травмам перескакивает трясогузка...

Любимое место укрытия антоновской конницы было — низменность по реке Вороне. Там — и поляны в просторном кольце как бы расставленных дубов, вязов, осин, ив. Измученные верховики сваливались полежать на полянах, заросших мятликом да конским щавелем, и лошади тут же щиплют, медленно перебраживая. К тем местам — заброшенные полудороги, а дальше — непроходная урёма — низкое густое переплетенное лесокустье, высоченная трава, в ней и гадюки двухаршинные с чёрно насеченной спиной. (Одно из самых недоступных мест так и зовётся — «Змеиное болото».)

В сентябре вспыхнуло восстание и в Пахотном Углу, много северней Тамбова, к Моршанску: там сколотили коммунисты год назад «образцовую коммуну» — а теперь те образумленные коммунисты стали отдельной, но крепкой группировкой повстанцев.

Так множились повстанцы, что, осмелев, в начале октября пошли атаковать с юга Каменку, выручать её от ставшего там красного гарнизона. Те ответили пушками и в контратаку кроме конницы послали и пехоту. Повстанцы спешили и — в первый и единственный раз — вырыли окопы, привычное дело с войны, но то для них была ошибка: не выдержали регулярного двухсуточного боя, бросили окопы, отступили к Туголукову, изобильному лошадьми, — и из Туголукова много крестьян, сев на лошадей и добавив ещё заводную, уходили вместе с *партизантами*.

Район восстания был опасно охвачен треугольником железных дорог Тамбов — Балашов — Ртищево, и постоянные гарнизоны стояли на крупных станциях. Эти пути надо было портить при каждом случае. И несколько раз антоновцы, налетев, местами разбирали пути, лошадиной тягой гнули рельсы в дугу.

Зато железнодорожные служащие, особенно телефонисты и телеграфисты, в массе своей сочувствовали повстанцам и иные задерживали в передаче распоряжения красных, или теряли, искажали, а то и передавали партизанам — и большевики не могли надёжно использовать свои линии связи. А железнодорожники ртищевского узла даже избрали делегацию к повстанцам, на поддержку, но чекисты успели арестовать делегатов, а на всё Ртищево объявили чрезвычайное положение.

Повстанцев становилось всё больше — и один за другим формировались партизанские *полки*, по полторы и по две тысячи человек, уже переваливало число полков за десяток, у полков появились и свои знамёна и пулемёты — Максима и Льюиса. Командирами становились и бывшие унтеры и ефрейторы, с опытом германской войны, и просто крестьяне от сохи. И смышлено же командовали.

В ноябре Антонов с главными силами пошёл и на сам Тамбов, вызвав большой переполох у тамбовских властей (те пилили-валили вековые дубы на завалы дорог к городу, расставляли пулемёты на городских колокольнях). Эктов верить не мог: неужели, вот, хоть на короткий час и сам туда,

и выхватит, увезёт семью?.. (До Сердобска бы довёз, а там у Полины двоюродная сестра, у неё б и прикрылась.)

Нет, в двадцати верстах от Тамбова, в Подоскле-Рождественском, после крупного боя, пришлось повстанцам отступить.

Вандея? Но отметная была разниа: наше православное духовенство, не от мира сего, не сливалось с повстанцами, не вдохновляло их как боевое католическое, а осторожно сидело по приходам, по своим домам, хотя и знали: красные придут — всё равно могут голову размозжить. (Как в Каменке попа Михаила Молчанова застрелили ни за что на ступеньках своего дома.)

Вандея? Иногда и не без насилия: приходил красноармеец в отпуск в свою деревню, а у него односельчане уничтожали документы — и куда ему после того деваться? выхода нет, как в партизаны. И из отряда партизанского уж и вовсе не уйти, хоть и задумал бы: свои ж не дадут жить в селе с семьёй. Или какая баба замечена, что проболтала красным о передвижениях повстанцев, — секли её по голому заду прилюдно, на площади перед церковью.

Тамбовским мирным мужикам теперь гроза была со всех сторон: что не так сделаешь — отомстят потом хоть красные, хоть повстанцы. Боятся и с иными соседями просказываться. Один раз, в общем валу, сходил *вильником* за десять вёрст, пойман, а хоть и отпущен — вперёд уже навек виноват перед властями.

Стук в дверь: «Кто там?» — «Свои». — Чтоб не попасться, на всяк случай: «Все вы, черти, свои, да житья от вас нет».

Одну бабу допрашивали красные, где её сын. Отреклась: «Нет у меня никакого сына!» А потом его поймали, он назвался: сын такой-то. И его расстреляли: мол, врёт.

В это мужицкое положение ставил Павел Васильич не раз и себя. Извечная радость человека и извечная его уязвимость: семья! У кого вместо сердца подкова железная, чтоб не дрогнуть за своих родных, что затерзают их эти чёртовы когти?

А бывало и такое: растрепали в деревне продотряд, двое из них — китаец и финн — спрятались на задах у деда. Китайца заметили, подстрелили, а финна дед пожалел и, головой рискуя, спрятал в сноп, а ночью выпустил — и тот дал дёру, к своему гарнизону, в Чокино. (Для следующей экспедиции?..)

Вандея? Эсеры Тамбовской губернии заколебались: и нельзя поддерживать восстание против революции? и возглавить это восстание было упущено, за ними уже не пойдут. Но и: теперь, когда кончилась гражданская война, как не использовать народный напор против коммунистов. Пристраивались к возникшим «советам трудового крестьянства» и писать листовки, и приписать всё восстание эсеровской партии.

Да у повстанцев уже свои были лозунги: «Долой Советы!» (никак не эсеровский, эсеры — за Советы); «Не платим развёрстки!»; «Да здравствуют дезертиры Красной Армии!»

У Эктова оказалась пишущая машинка, захваченная в исполкоме, так он и сам сочинял и усердно печатал прокламации: «Мобилизованные красноармейцы! Мы — не бандиты! мы такие же крестьяне, как вы. Но нас заставили бросить мирный труд и послали на своих братьев. А разве ваши семейства не в таких же условиях, как наши? Всё убито Советами, на каждом шагу озверелые коммунисты отбирают последнее зерно и расстреливают людей ни за что. Раскалывают наши головы как горшки, ломают кости — и на том обещают построить новый мир? Сбрасывайте с себя коммунистическое ярмо и идите домой с оружием в руках! Да здравствует Учредительное Собрание! Да здравствуют советы трудового крестьянства!»

Да повстанцы и сами, кто горазд, выписывали чернильными карандашами на случайных листках бумаги: «Довольно слушать нахалов коммунистов, паразитов трудового народа!» — «Мы пришли крикнуть вам, что

власть обидчиков и грабителей быть не должна!» И к нерешительным: «Мужики! У вас забирают хлеб, скотину, а вы всё спите?»

Коммунисты отвечали большим тиражом типографских листовок со своей обычной классовой долдонщиной или сатирическими картинками: Антонов в кровавой шапке с кровавым ножом, а на груди, в виде орден-нов, — Врангель и Керенский. «Мы, Антонов Первый, Поджигатель и Разрушитель Тамбовский, Самодержец Всеворовской и Всебандитский...»

Это стряпал завагитпропа губкома Эйдман, никогда его тут, в Тамбове, не слышали прежде. А в грозных распоряжениях чаще всего мелькали подписи секретарей губкома Пинсона, Мещерякова, Райвида, Мейера, предгубисполкома то Загузова, то Шлихтера, предгубчека Трасковича, начальника политотдела Галузо — и этих тоже Тамбов не знал никогда, и эти тоже были пришлые. А в составе их губ-губ властей мелькали и другие, кто не подписывал грозных приказов, но решали-то все вместе: Смоленский, Зарин, Немцов, Лопато и даже женщины — Коллегаева, Шестакова... И об этих тоже Эктов не слышал прежде, только один среди них был точно местный, всеизвестный оголтелый большевик Васильев, прохулиганивший в городе весь Семнадцатый год, свистевший и топавший даже на чинных собраниях в Нарышкинской читальне. Об остальных не слыхивал Эктов, а ведь свора эта была — не из той же ли оппозиционной интеллигенции, что и он сам? и несколько лет назад, до революции, встретились бы где-нибудь — он пожимал бы им руки?..

Но пропаганда — пропагандой, а большевики подтягивали силы. Установила антоновская разведка, что прибыл из Москвы полк Особого назначения ВЧК, ещё эскадрон от тульской ЧК, ещё 250 сабель из Казани, до сотни из Саратова. Ещё пришёл из Козлова «коммунистический отряд» и два таких отобилизовались в Тамбове. Ещё появился у них и «автобоевой отряд имени Свердлова» и отдельный железнодорожный батальон. (Рискованную разведку вели и верная баба с махоткой молока и надёжный мужик с возом дров в город. Через одну такую бабу раз послал Павел Васильич устную весточку о себе Полине — и в ответ узнал, что — целы, не раскрыты чекой, скудно живут, но надеются...)

Отделавшись от страха за целостность самого Тамбова, красные вожди свои нарощенные силы стали равномерно расквартировывать по всем трём мятежным уездам, особенно по Тамбовскому, — планово оккупировать их. (В большом десятитысячном селе взяли 80 заложников и объявили жителям: за несдачу селом огнестрельного оружия к следующему полудню — все эти 80 будут расстреляны. Угроза была слишком непомерна, село не поверило, никто ничего не сдал — и в следующий полдень на виду у села все восемьдесят были расстреляны!)

Стали и летать большевицкие самолёты (были и хвастливо выкрашенные в красный цвет), наблюдать, иногда и сбрасывать бомбы, что сильно пугало селян.

Осенью, избегая наседающего преследования, Антонов временно уводил свои главные силы то в Саратовскую губернию, то в Пензенскую. (А саратовские крестьяне, мстя за забранных или смененных лошадей, стали и сами ловить тамбовских повстанцев и расправляться самосудом. Судьба крестьянских восстаний...)

Вместе с главным штабом и Это был в этих рейдах, и уже привык к такой жизни, конной, бродячей, бездомной, на холодах и в тревоге, в уходах от погони. Стал военным человеком? — нет, не стал, трудно было ему, никогда к такому не готовился. А — надо терпеть. Разделял крестьянскую боль — и тем насыщалась душа: он — на месте. (А не пришёл бы сюда — дрожал бы в норке в Тамбове, презирал бы себя.)

А мятежный край не утихал! Хотя поздней осенью и к зиме партизанам стало намного трудней скрываться и ночевать — а полки партизанские росли в числе. Поборы, собираемые красными отрядами, откровенный грабёж, когда делили отобранное крестьянское имущество — тут же, на глазах крестьян, избивали стариков, а то и сжигали деревни начисто,

как Афанасьевку, Бабино, и это к зиме, выгоняя и старых и малых на снег, — поддавало новый заряд повстанческому сопротивлению. (Но и повстанцам же где-то питаться. Раньше брали у семей советского актива, потом и у семей красноармейцев, а дальше, не хватало — уже и у крестьян подряд. Кто давал понимаючи, а кто и обозлевался.)

К середине зимы уже сформировалось две партизанских Армии, каждая по десятку полков, 1-й армией командовал Токмаков, 2-й — сам Антонов. В штабах армий появились уже и настоящие военные, наводившие порядок, начиная с формы: рядовым установили красные нашивки на левом рукаве выше локтя, командирам добавлялась ленточка, нашитые треугольники вершиной вниз или вверх, а с командиров бригад — ромбы. Командный состав избирался на полковых собраниях (и ещё — политкомы, и ещё — полковой суд). Издавали и приказы: полный запрет устраивать в деревнях конфискации одежды, вещей и обыски на поиск продуктов; не разрешать партизанам слишком часто менять своих лошадей у крестьян, только по решению фельдшера, а — получше следить за лошадьёю своей; и, как в настоящей армии, вводили партизанам чередность отпусков — но и своя милиция в сёлах проверяет документ, по какому партизан приехал.

Зимой взаимное озлобление только ещё распалось. Красные отряды расстреливали и уличённых, и подозреваемых, стреляли безо всякого следствия и суда. У карателей выявился разряд людей, уже настолько привыкших к крови, что рука у них подымалась, как муху смахнуть, и револьвер сам стрелял. Партизаны, берега патроны, больше рубили захваченных, убивали тяжёлым в голову, комиссаров — вешали.

И до того доходило разъярение мести с обеих сторон, что и глаза выкалывали захваченному прежде, чем убить.

Из ограбленных сёл ребятишки с салазками ездили за битой кониной. Этой зимой развелось много обнаглевших волков. И собаки тоже ели трупы, разбросанные по степи и по балкам, и разрывали мелко закопанных.

Разъезжала по оккупированным сёлам выездная сессия губЧК — Рамошат, Ракуц и Шаров, сыпали расстрельные приговоры, а подозреваемых, но никак не пойманных на повстанчестве, стали ссылать в «концентрационные лагеря». В январе антоновский штаб свёдал секретное письмо: тамбовская губЧК получила от центрального управления лагерей Республики дополнительно 5 тысяч мест в лагерях для своих задержанных. А с бабами и девками, уведёнными в ближние концлагеря, охрана с кем развратничала, кого насильовала, слухом полнилась земля.

Сёла скудели. Даже в богатенной когда-то Каменке осталось с два десятка лошадей. Ко рваным башмакам люди ладили деревянные подошвы, бабы ходили по морозу без чулок. И заведёт кто-нибудь: «А при царе поедешь на базар — покупай, что по душе: сапоги, ситцу, кренделёв». Только бумага нашлась на курево: из помещичьих книг да из красных уголков.

Со старым-престарым дедом из хутора Семёновского Этков горевал, как гинет всё. Казалось — жизнь уже доходит до последнего конца, и после этого какая ещё останется?

— Нечто, — сказал серебряный дед. — Из-под косы трава да и то уцелевает.

А достали-таки тамбовские крестьяне до Кремля! В середине февраля стали объявлять, что в Тамбовской губернии хлебная развёрстка прекращается.

Никто не поверил.

Тогда напечатали в газетах, что Ленин вдруг «принял делегацию тамбовских крестьян». (В самом ли деле? Позже стало в антоновском штабе известно: да, несколько мужиков, сидевших в тамбовской ЧК, запуганных, доставляли в московский Кремль.)

Большевики, видно, торопились кончить восстание к весне, чтобы люди сеяли (а осенью — опять отбирать).

Но ярость боёв уже не унималась. И в марте, двумя полками, антоновцы налетели на укреплённое фабричное село Рассказово, под самым Там-

бовом, разгромили гарнизон и целый советский батальон взяли в плен. И половина из них охотой пошла в *партизанты*.

Павел Васильич с осени не верил, не надеялся, что в таких передрягах вытянет, презимует. Но вот — дотерпел, дожил и до марта. И даже настолько признали уже его военным человеком, что сделали помощником командира полка Особого Назначения при штабе 1-й армии.

И ещё успел он прочесть два мартовских приказа звереющих карателей: «Обязать всех жителей каждого села круговой порукой, что если кто из села будет оказывать какую-либо помощь бандитам, то отвечать за это будут все жители этого села», а «бандитов ловить и уничтожать как хищных зверей». И — наивысшим доводом: «всё здоровое мужское население от 17 до 50 лет арестовывать и заключать в концентрационные лагеря!» А прямо к повстанцам: «Помните: ваши *списки* большей частью уже в руках Чека. Явитесь добровольно с оружием — и будете прощены».

Но ни калёной прокаткой, ни уговором — уже не брались повстанцы, в затравленных метаньях по заснеженным морозным оврагам и перелескам. И уже вот-вот манила весна — а там-то нас и вовсе не возьмёшь!

И тут, в марте, уже перенеся зиму, Эктон сильно простудился, занемог, должен был отстать от полка, лечь в селе, в тепле.

И — на вторую же ночь был выдан чекистам по доносу соседской бабы.

Схвачен.

Но — не расстрелян на месте, хотя уже знали его роль при токмаковском штабе.

А — повезли в Тамбов.

Город имел вид военного лагеря. Многие дома заколочены. Нечистый грязный снег на панелях. (Свой домик — на боковой улице, не видел.)

И — дальше, через Тамбов. Посадили в зарешеченный вагон, в Москву. Только не на свиданье с Лениным.

2

Сидел в лубянской тюрьме ВЧК, в полуподвале, в одиночке, малое квадратное окошко в уровень тюремного двора.

Отначала видел главное испытание в том, чтобы себя *не назвать* — да то самое испытание, какое нависло и над каждым вторым тамбовским крестьянином, да с тем же и выбором: назвал себя — погиб. А не назвал — погиб же, только другим родом.

Придумал себе биографию — тоже кооператора, только из Забайкалья, из тех мест, которые знал. Может, по нынешнему времени проверить им трудно.

На допросы водили его тремя этажами вверх, в один и тот же всегда кабинет с двумя крупными высокими окнами, старой дорогой мебелью Страхового общества и плохоньким бумажным портретом Ленина в богатой раме на стене над головой следователя. Но следователи — сменялись, трое.

Один, Марагаев, кавказского вида, допрашивал только ночами, спать не давал. Допрашивал ненаходчиво, но кричал, вызверивался, бил по лицу и по телу, оставляя синячные ушибы.

Другой, Обоянский, всем нежным видом выдавая голубую кровь, — не так допрашивал, как вселял в подсудимого безнадежность, даже будто бы становясь с ним сочувственно на одну сторону: *они* всё равно победят, да уже везде победили, Тамбовская губерния осталась последняя; против *них* никто не может устоять и в России и в целом мире, это — сила, какой человечество ещё не встречало; и благоразумнее сдаться *им* прежде, чем они будут карать. А может быть — смягчат участь.

А третий — пухлощёкий, черноволосый, весело подвижный Либин никогда не дотронулся до подсудимого и пальцем, и не кричал, но всег-

да говорил с бодрой победной уверенностью, да видно, что и не наигранной. И домогался пробудить в подследственном демократическую совесть: как же он мог изменить светлomu идеалу интеллигенции? как же может демократ стоять против неумолимого хода истории, пусть и отягчённого жестокостями?

Этих жестокостей Эктов мог поведать следователю больше, чем тот и представлял. Мог бы, но не смел. Да не ту линию он и избрал: вот на этом-то и стоять: что — демократ, народник, что тронула сердце пронзительная крестьянская беда, а белогвардейщиной тут и не веет. (Да ведь — и правда так.)

А Либин — как будто по той же *освободительной* линии и вёл на-встречу:

— В будущие школьные хрестоматии войдёт не один эпизод героизма красных войск и коммунистов, давивших этот кулацкий мятеж. Момент борьбы с кулачеством займёт почётное место в советской истории.

Спорить было безнадежно, да и к чему? Главное: узнают ли, кто он. Это хорошо, что увезли в Москву, в Тамбове легче бы его узнали, пропуская через свидетелей. Одно только ныло предчувствием: сфотографировали его в фас и в профиль. Могли фотокарточку размножить, разослать в Тамбов, Кирсанов, Борисоглебск. Хотя и: за полгода боевой жизни Эктов так изменился, посуровел, жесточел, и в ветрогаре — сам себя не узнавал в зеркало в избах, впрочем и зеркала там плохонькие.

Пока не вызнали, *кто* — семья была в безопасности. А самого — что ж, пусть и стреляют: за эти месяцы бесщадной войны Павел Васильич давно обвыкся с мыслью о смерти, да и подал уже на волосок от неё.

Да его запросто могли расстрелять и при взятии — непонятно, зачем уж так им надо было его опознать? зачем везли в Москву? зачем столько времени надо было тратить на переубеждения?

А недели текли — голодные, скудная похлёбка, крохотка хлеба. Бельё без смены, тело чесалось, стирал как мог в редкие бани.

Из одиночки соединяли и в камеру — сперва с одним, потом с другим. По соседству не обойтись без расспросов: а кто вы сами? а как попали в восстание? а что там делали? Отвечать — нельзя, и совсем не ответить нельзя. А оба — мутные типы, сердце-вещун узнаёт. Что-то плёл.

Прошёл апрель — не узнали!

Но — ещё раз сфотографировали.

Клещи.

Опять в одиночку, в подвал.

Потёк и май.

Тянулись и дни, но ещё мучительней — ночи: в ночи, плашмя, ослабляется человек и его жизненная сила сопротивления. Кажется: ещё немного — и сил уже не собрать.

И Обоянский кивал с измученной улыбкой:

— Не устоять никому. Это проснулось и пришло к нам могучее невиданное племя. Поймите.

А Либин оживлённо рассказывал о военных красных успехах: и сколько войск нагнали в Тамбовскую губернию, и даже — *тут* не секрет и сказать — каких именно. И курсантов из нескольких военных училищ расположили по тамбовским сёлам для усиления оккупации.

Да — разбиты уже антоновцы! Разбиты, теперь добивают отдельные кучки. Уже сами приходят в красные штабы гурьбами и приносят винтовки. И ещё помогают находить и разоружать других. Да один полк бандитов — полностью перешёл на красную сторону.

— Какой? — вырвалось.

Либин с готовностью и отчётливо:

— 14-й Архангельский 5-й Токайской бригады.

Здорово знали.

Но ещё проверь — так ли?..

Да приносил на допросы в подтверждение тамбовские газеты.

Судя по ним — да, большевики победили.

А — что могло стать иначе? Он когда и шёл в восстание — понимал же безнадёжность.

А вот — приказ № 130: арестовывать семьи повстанцев (выразительно прочёл: с е м ь и), имущество их конфисковать, а самих сгонять в концентрационные лагеря, потом ссылатъ в отдалённые местности.

А вот — приказ № 171, и опять: о каре *семьям*.

И — не замнутса перед тем, уж Эктов знал.

И, уверял Либин, от приказов этих — уже большие плоды. Чтобы самим не страдать — крестьяне приходят и указывают, кто скрылся и где.

Очень может и быть. Великий рычаг применили большевики: брать в заложники *семьи*.

Кто — устоит? Кто не любит своих детей больше себя?

— А дальше, — заверял Либин, — начнётся *полная чистка* по деревням, в с е х по одному переберём, никто не скроется.

А кое-кто из крестьян знали же Павла Васильича по прошлым мирным годам, могли и выдать.

Однако сидел Эктов третий месяц, и врал, и плёл, а вот же — не расшифровали?..

Пока Либин как-то, с весёлой улыбкой, даже дружески расположенный к неисправимому демократу-народолюбцу, кстати посадив его под усиленный свет, улыбнулся сочными плотоядными губами:

— Так вот, Павел Васильич, мы прошлый раз не договорили...

И — обвалилось.

Оборвалось.

Уже катясь по круче вниз, последними ногтями цепляясь за кочки надежд: но это ж не значит — и семью? Но, может, Полина с девчуркой поостереглась? сменила место? куда-нибудь уже переехала?..

А Либин, поблескивая чёрными глазами, наслаждаясь растерянностью подследственного, его беспомощным неотрицанием, повернул ему обруч на шею:

— И Полина Михайловна не одобряет вашего упорства. Она теперь знает факты и удивляется, что вы до сих пор не порвали с бандитами.

Несколько минут Эктов сидел на табуретке оглушённый. Мысли плясали в разные стороны, потом стали тормозиться в своём кругообороте — и застывать.

Либин — не спускал глаз. Но и — молчал, не торопил.

Т а к Полина не могла ни думать, ни говорить.

Но, может, — измучилась до конца?

Но, может, это и повод: дайте увидеться! дайте мне с ней поговорить самому!

Либин: э, нет. Это — надо вам ещё заслужить. Сперва своим раскаянием.

И пошло два-три дня так: Эктов настаивал на встрече. Либин: сперва полное раскаяние.

Но Эктов не мог растоптать, что он видел своими глазами и твёрдо знал. И притвориться не мог.

Но и Либин не уступал ни на волос. (Да тем и доказывал, что Полина думает совсем н е т а к! Наверное же не так!)

И тогда Либин прервал поединок — наперехват дыхания: чёрт с вами, не раскаивайтесь! чёрт с вами, оставайтесь в вашем безмозглом народничестве! Но если вы не станете с нами сотрудничать — я вашу Полину отдам мадьярам и ЧОНу на ваших глазах. А девчёнку возьмём в детдом. А вам — пулю в затылок после зрелища, это вы недополучили по нашей ошибке.

Ледяное сжатие в груди. А — что ж тут невозможного для них?

Да подобное и было уже не раз.

Да на таком — они и стоят.

Полина!!

Ещё день и ещё два дали Эктову думать.

А можно ли думать — в застенке угроз, откуда выхода нет? Мысли прокруживаются бессвязно, как впрогрезь.

Пожертвовать женой и Маринкой, переступить через них — разве он мог??

За кого ещё на свете — или за что ещё на свете? — он отвечает больше, чем за них?

Да вся полнота жизни — и были они.

И самому — их сдать? Кто это может?!

И Полину же потом пристрелят. И Маринку не пощадят. Этим он уже знал.

И — если б он этим спасал крестьян? Но ведь повстанцы — уже проиграли явно. Всё равно проиграли.

Его сотрудничество — какое уж теперь такое? Что оно может изменить на весах всего проигранного восстания?

Только жертва семьёй — а ничего уже не изменишь.

Как он ненавидел это нагло торжествующее победное смуглое либинское лицо с хищным поблеском глаз!

А в сдаче — есть и какое-то успокоение. То чувство, наверное, с каким женщина перестаёт бороться. Ну да, вы оказались сильнее. Ну что ж, сдаёмся на вашу милость. Род облегчающей смерти.

И уж какую такую пользу он мог сейчас принести красным?

Сокрушился. Однако с условием: дать свидание с Полиной.

Либин уверенно принял капитуляцию. А свидание с женой: только тогда, когда вы выполните наше задание. Тогда — пожалуйста, да просто — отпустим вас в семью.

И — что ж оставалось?

Какое неммыслимо каменное сердце надо иметь, чтобы растоптать своё присердечное?

И во имя чего теперь?

Да и мелодичные наговоры Обоянского тоже не прошли без следа. Действительно: сильное племя! Новые гунны — но вместе с тем с социалистической идеологией, странная смесь...

Может быть и правда: мы, интеллигенты старой закалки, чего-то не понимаем? Пути будущего — они совсем не просто поддаются человеческому глазу.

А задание оказалось вот какое: быть проводником при кавалерийской бригаде знаменитого Григория Котовского, героя гражданской войны. (Они только что прошли по мятежному Пахотному Углу и вырубили полтысячи повстанцев.) При том — себе — никакой личины не надо придумывать, тот самый и есть известный Эго, из антоновского штаба. (Антонов — разгромлен полностью, армии его уже нет, но сам он сбежал, ещё скрывается. Да им — заниматься не будем.)

А что делать?

А, выяснится по дороге.

(Ну, как-нибудь может быть обойдётся?)

Из Тамбова дорога была недлинная — до Кобылинки, впрочем уже на краю одного из излюбленных партизанских районов.

Всё — верхом. (И чекисты, в гражданском, рядом, неотступно. И полускадрон красноармейцев при них.)

А — снова открытый воздух. Открытое небо.

Уже начало июля. Цветут липы. Вдыхать, вдыхать.

Сколько наших поэтов и писателей напоминали об этом: как прекрасен мир — и как принижают и отравляют его люди своими неиссякаемыми

ми злобами. Когда ж это всё утихнет в мире? Когда же люди смогут жить нестеснённой, неискорёженной, разумной светлой жизнью?.. — мечта поколений.

Несколько вёрст не доезжая Кобылинки встретились с самим Котовским — крупная мощная фигура, бритоголовый и совершенно каторжная морда. При Котовском был эскадрон, но не в красноармейской форме, а в мужицких одеяниях, хотя все в сапогах. Бараньи шапки, папахи. У кого, не у всех, нашиты казачьи красные лампасы по бокам брюк. Самодельные казаки?

Так и есть. Приучались называть друг друга не «товарищ», а «станичник».

Старший из сопровождавших Эктова чекистов теперь объяснил ему задачу: этой ночью будет встреча с представителем банды в 450 — 500 сабель. Эго должен подтвердить, что *мы* — казаки из кубано-донской повстанческой армии, прорвались через Воронежскую губернию для соединения с Антоновым.

И к ночи дали Эго навесить на бок разряженный наган, и посадили на самую скверную хилую лошадь. (Четверо переодетых чекистов держались тесно при нём как его новая, после разгрома главных антоновских сил, свита. И у них-то наганы — полнозаряженные, «убьём по первому слову».)

И сам Котовский с эскадроном поехал на встречу в дом лесника, у лесной поляны. С другой стороны, тоже с несколькими десятками конников, подъехал Мишка Матюхин, брат Ивана Сергеевича Матюхина, командира ещё неразбитого отряда. (У тамбовцев часто шли в восстание по несколько братьев из одной семьи; так и при Александре Антонове сражался неотлучно его младший брат Митька, сельский поэт. Вместе они теперь и ускользнули.)

Конники остались на поляне. Главные переговорщики вошли в избу лесника, где горело на столе две свечи. Лица разглядывались слегка.

Миша Матюхин не знал Эго в лицо, но Иван-то Матюхин знал.

— Проверит, — сам не узнавал своего голоса Эктов и что он несёт мужикам такую ложь. Но когда уже пошёл по хлипкому мостику, то и не останавливаться стать. И на Котовского: — А вот начальник их отряда, войсковой старшина Фролов.

(Чтобы не переиграть, Котовский не нацепил на себя казачьих полковничьих погонов, хотя это было легко доступно.)

Матюхин потребовал, чтобы Эго поехал с ним на сколько-то вёрст для встречи со старшим братом, удостовериться себя.

Чекистская свита не дрогнула, заминки не вышло, кони под ними боевые и патронов к наганам запас.

Поехали сперва по лесной просеке, потом поперёк поля, под звёздным небом. Мелкой рысью и в темноте никому не удивиться, что под Эго-то кобылка никудышняя рядом с его свитскими.

Трясся в седле Павел Васильевич — и думал ещё раз, и ещё раз, и ещё раз, и думал отчаянно: вот сейчас открыться Матюхину, себе смерть, но и этих четверых перебьют!

А полтысячи матюхинских — спасётся. А ведь — отборная сила!

Но — и столько уже раз перекладенные: в голове — аргументы, в груди — живое страдание. Нет, не за себя, нисколько. А: ведь отомстят Полине, как и угрожали, если ещё и не малютке-дочке. Чекистов — он и давно понимал, а за эти месяцы на Лубянке, а за эти дни в переезде — и ещё до-скональнее.

И — как же обречь своих?.. *Сам ты, своими руками?..*

Да ведь — проиграна вся боевая кампания Антонова. Если посмотреть шире, в большом масштабе — может и всей губернии будет легче от замирения наконец. Ведь вот, отменена уже грабительская продразвёрстка, отныне заменится справедливым продналогом.

Так скорей к замирению — может и лучше? Раны — они постепенно затянутся. Время, время. Жизнь — как-то и наладится, совсем по-новому?

А — изныли мы все, изныли.

Доехали. Новая изба, и свет посветлее.

И Иван Сергееч Матюхин — налитой богатырь с разведенными пшеничными усами, неумотный боец — шагнул навстречу, вознался в Эго, с размаха пожал руку.

Иудина ломота в руке! Кто эти муки оценит, если не испытал?..

А держаться надо — уверенно, ровно, командно.

Прямодушный Матюхин с белым густым чубом, прилегающим набок. Плотные нáщетки. Сильное пожатие. Воин до последнего.

Поверил — и как рад: нашего полку прибыло! Ещё тряханём большевиков!

Усмешка силы.

Сговорились: в каком большом селе завтра к вечеру сойдутся обоими отрядами. А послезавтра — выступим.

Был момент! — Эктову блеснуло: нет!! г о в о р ю! застреливайте меня, терзайте семью — но этих честных я не могу предать!

Но — в этот миг пересохло в горле, как чем горелым.

Пока проглотнул — а кто-то перебил, своё сказал. Кто-то — ещё. (Чекисты здорово играли роли, и у каждого своя история, почему его раньше не видели в восстании. И выправка у всех — армейская или флотская.)

А решимость — уже и отхлынула. Опала бессильно.

На том и разъехались.

И потом растягивался долгий — долгий — долгий мучительный день при отряде Котовского.

Ненависть к себе.

Мрак от предательства.

С этим мраком — всё равно уже не жить никогда, уже не быть человеком. (А чекисты не спускают глаз за каждым движением его бровей, за каждым моргом век.) Да скорей-то всего: как отгодишься, так и застрелят. (Но тогда не тронут Полину!)

К вечеру — вся кавбригада на конях. И — много ряженых в казаков.

Потянулись строем. При Эго — свита его. Котовский — в кубанской лохматой папаче, из-под неё звериный взгляд.

Котовский? или Катовский, от *ката*? На каторге сидел он — за убийство, и неоднократное. Страшный человек, посмотришь на него — в животе обвисает.

В условленное село отряды въехали в сумерках, с двух разных концов. И — расставлялись по избам. (Только котовцы — не всерьёз, кони оседланы, через два часа бойня. А матюхинцы — располагались по-домашнему.)

В большой богатой избе посреди села, где сходились порядки, у церкви — величавая хозяйка, ещё не старуха, с дочерьми и снохами уряжала составленные в ряд столы на двадцатерых. Баран, жареные куры, молодые огурчики, молодая картошка. Самогон в бутылках расставлен вдоль стола, гранёные стаканы к нему. Керосиновые лампы светят и со стены, и на столе стоят.

Матюхинцы — больше рядом, по одну сторону, котовцы — больше по другую. Эго посадили на торце как председателя, видно тех и других.

Какая жизненная сила в повстанческих командирах! Да ведь сколько из них прошли через германскую войну — унтеры, солдаты, а теперь в командирских должностях.

Скуластая тамбовская порода, неутончённые тяжёлые лица, большие толстые губы, носы один-другой картошкой, а то — крупный свисающий. Чубы — белые, кудель, чубы чёрные, один даже с чёрно-кирпичным лицом, к цыгану, зато повышенная белота зубов.

У котовцев условлено: больше гуторить тем, кто по-хохлацки, идут за кубанцев. А донца — среди них ни одного, но расчёт, что тамбовцы не отличают донского говора.

У одного матюхинца — дремуче недоверчивое лицо с оттопыренным подбородком. Мешки под глазами, повисшие чёрные усы. Сильно усталый.

А другой — до чего же лих и строен, усы вскрученные, взгляд метуче зоркий, но весёлый. На углу сидит и, по простору, нога за ногу вскинул, с изворотом. Неожиданности как будто и не ждёт, а готов к ней, и к чему хочешь?

Эго не удержался: дважды толкнул его ногой. Но тот не понял?

А стаканы самогона — заходили, горяча настроение и встречу дружбы. Длинные ножи открывали баранину и копчёный окорок. Дым ядрёной махорки подымался там и сям, стлался к потолку. Хозяйка плавала по зальцу, молодые бабы спешили угадать — подать — убрать.

А вдруг какое чудо произойдёт — и всё спасёт? Матюхинцы сами догадуются? спасутся?

«Подхорунжий» (комиссар и чекист) «Борисов» поднялся и стал читать измышленную «резюмию всероссийского совещания повстанческих отрядов» (которое надо собрать теперь). Советы без коммунистов! Советы трудового крестьянства и казачества! руки прочь от крестьянского урожая!

Один матюхинец — не старей, а с круглой распущенной бородой, пушистыми усами, устоенное жизнью лицо — смотрел на читающего спокойными умными глазами.

Рядом с ним — как из чугуновой отливки, голова чуть набок, косит немало.

Ох, какие люди! Ох, тяжко.

Но сейчас — уже ничего не спасёшь, хоть и крикни.

А Матюхин, подтверждая подхорунжего, стукнул кулачищем по столу: — Уничтожим кровавую коммунию!

А молодой лобастый, белые кудлы вьются как завитые, сельский франт, закричал с дальнего конца:

— Вешать мерзавцев!

Котовский — к делу: но где же Антонов сам? Без него у нас вряд ли выйдет.

Матюхин:

— Пока не найдём. Говорят, контужен в последней рубке, лечится. Но всех тамбовцев поднимем и мы, опять.

И план его ближний: напасть на концлагерь под Рассказовом, куда согнали и вымаривают повстанческие семьи. Это — первое наше дело.

Котовский — согласен.

Котовский — сигнал?..

И — разом котовцы вырвали с бёдер кто маузер громадный, кто наган — и стали палить через стол в союзников.

Грохот в избе, дым, гарь, вопленные крики баб. Один за другим матюхинцы валились кто грудью на снесь, на стол, кто боком на соседа, кто со скамейки назад, в опрокид.

Упала лампа на столе, керосин по клеёнке, огонь по ней.

Этот лихой, зоркий, с угла — успел отстреляться дважды — и двух котовцев наповал. Тут и его — саблей напрочь голову со вскрученными усами, — так и полетела на пол, и алая — хлынула из шеи на пол, и кругом.

Эктов не вскочил, окаменел. Хоть бы — и его поскорей, хоть из нагана, хоть саблей.

А котовцы выбегали из избы — захватывать переполошенную, ещё не понявшую матюхинскую там, снаружи, охрану.

А уже конные котовцы гнали на другой конец села — рубить и стрелять матюхинцев — во дворах, в избах, в постелях — не дать им сесть на коней.

Кто успевал — усакивал к ночному лесу.

НА КРАЯХ

1

Ёрка Жуков, сын крестьянский, с 7 лет поспевал с граблями на сенокосе, дальше — больше в родительское хозяйство, в помощь, но и три года церковно-приходской кончил, — потом его отдали в самую Москву к дальнему богатому родственнику, скорняку, мальчиком-учеником. Там он и рос — и в прислуге, и в погонках, и в работе — и так, помалу, определился к скорняжному делу. (Кончив учение — снялся в чёрном костюме чужом и в атласном галстуке, послал в деревню: «мастер-скорняк»!)

Но началась германская война, и в 15-м году, когда исполнилось Ёрке 19 лет, — призвали его, и, хотя не рослый, но крепкий, широкоплечий, отобран был в кавалерию, в драгунский эскадрон. Стал учиться конному делу, с хорошей выправкой. Через полгода возвысился в учебную команду, кончил её младшим унтером — и с августа 16-го в драгунском полку попал на фронт. Но через два месяца контузило его от австрийского снаряда; госпиталь. Дальше стал Жуков председатель эскадронного комитета в запасном полку — да уже на фронт больше и не попадал. В конце Семнадцатого сами они свой эскадрон распустили: роздали каждому законную справку чин чином, и оружие каждый своё бери, коли хошь, — и айда по домам.

Побыл в Москве, побыл в своей калужской деревне, перележал в сыпном тифу, частом тогда, перележал и в возвратном, так время и шло. Между тем, в августе 18-го, начиналась всеобщая мобилизация в Красную армию. Взяли Жукова в 1-ю Московскую кавалерийскую дивизию — и послали их дивизию против уральских казаков, не желавших признать советскую власть. (На том фронте повидал он раз и Фрунзе.) С казаками порубились, отогнали их в киргизскую степь — перевели дивизию на Нижнюю Волгу. Стояли под Царицыном, потом посылали их на Ахтубу против калмыков: калмыки как дурели, все как один советской власти не признавали, и не втямишь им. Там Ёрку ранило от ручной гранаты, опять госпиталь и ещё раз опять тиф — эта зараза по всем перекидывалась. В том 1919 году ещё с весны Георгия Жукова как сознательного бойца приняли в РКП(б), а с начала 20-го продвинули как бы в «красные офицеры»: послали на курсы красных командиров под Рязань. И среди курсантов он тоже сразу стал не рядовой, а старшина учебного эскадрона, пёрло из него командное.

Гражданская война уже шла к концу, оставался Врангель один. Считали курсанты, что и на польскую они уже не успеют. Но в июле 1920 учение их прервали, спешно погрузили в эшелоны и повезли часть на Кубань, часть в Дагестан (и там многие курсанты погибли). Жуков попал в сводный курсантский полк в Екатеринодар — и послали их против десанта Улагая, потом против кубанских казаков, разбившихся на отряды в пригорьях и не желавших, скажённые, сдаваться даже и после разгрома Деникина. Порубали там, постреляли многих. На том курсантское учение посчитали законченным и в Армавире досрочно выпустили их в красные командиры. И выдали всем новые брюки — но почему-то ярко-малиновые, с каких-то гусарских складов? других не оказалось. И выпускники, разъехавшись по частям, стали дивно выделяться — вчуже странно смотрели на них красноармейцы.

Принял Жуков командование взводом, но вскоре же возвысили его в командира эскадрона. А операции их были всё те же и те же: «очищать от банд». Сперва — в приморском районе. В декабре перевезли в Воронежскую губернию: ликвидировать банду Колесникова. Ликвидировали. Тогда перевели в соседнюю Тамбовскую, где банды разыгрались уже неисчислимо. Зато ж и тамбовский губернский штаб тоже сил натянул: уже к концу февраля, говорил комиссар полка, состояло 33 тысячи штыков, 8 тысяч сабель, 460 пулемётов и 60 орудий. Жаловался: вот нет у нас политических работников, которые могли бы внятно осветить текущий момент; это —

война, развязанная Антантой, отчего смычка города с деревней нарушилась. Но будем стойки — и разгоним шушеры!

Два их кавалерийских полка стали наступать в марте, ещё до оттепели, от станции Жердёвка на бандитский район Туголуково — Каменка. (Распоряжение было председателя губЧК Трасковича: Каменку и Афанасьевку вообще стереть с лица земли, и применять беспощадный расстрел!) Эскадрон Жукова при четырёх станковых пулемётах и одном трёхдюймовом оружии шёл в головном отряде. И под селом Вязовое атаковали отряд антоновцев — сабель в 250, ни одного пулемёта, огонь их винтовочный.

Был Жуков на золотисто-рыжей Зорьке (взял в Воронежской губернии в стычке, застрелив хозяина). А тут — рослый антоновец рубанул его шашкой поперёк груди, через полшубок, сшиб с седла, но свалилась и Зорька и придавила своего эскадронного, громадный антоновец замахнулся дорубить Жукова на земле, но подоспел сзади политрук Ночёвка — и срубил того. (Потом обыскали мёртвого и по письму поняли, что был он такой же драгунский унтер, как и Жуков, да чуть не из одного полка.) Стал отступать и соседний 1-й эскадрон, жуковский 2-й отбивался как арьергард полка, только и отбил пулемётами. Еле спас свои четыре пулемёта на санях, утянули и оружие назад.

Но — обозлился на бандитов сильно. Они ж тоже были из мужиков? — но какие-то другие, не как наши калужские: уж что они так схватились против своей же советской власти?? Из дому писали: голодом моримся, — а эти хлеба не дают! Комиссар так говорил: правильно, не шлём мы им городских товаров, потому у самих нет, да ведь они как-нибудь и своим кустарством обернутся, а городу — откуда хлеба взять? Да они по глухим местам, где наши отряды не прошли, — обедаются.

Ну, так и оставался с ними разговор короткий. Уж всегда, придя в село, отбирали у них лошадей покрепче, а им давали подохлей. Когда приходил донос, что антоновцы в таком-то селе, — налетали на село облавой, обыскивали по чердакам, в подворных сараях, в колодцах (один партизанский фельдшер вырыл себе в колодце боковое логово и прятался там). Или иначе: выстраивается всё село, от стара до мала, тысячи полторы человек. Отсчитали каждого десятого — и в заложники, в крепкий амбар. Остальным — 40 минут на составление списков бандитов из этого села, иначе заложники будут расстреляны!

И куда денешься? — несут список. Полный-неполный, а в Особотдел, в запас, пригодится.

Да ведь и у них осведомление: раз пришли на стоянку бандитов, покинутую в спешке, — и нашли там копию того приказа, по которому сюда и выступили. Во рюкзак, вражины!

А снабжение в Красной армии — сильно перебойчатое, то дают паёк, то никакого. (Командиру эскадрона — 5 тысяч рублей в месяц оклад, а что на них купишь? фунт масла да два фунта чёрного хлеба.) У кого ж и брать, как не в этих бандитских сёлах? Вот прискакал взвод в посёлок при мельнице, несколько домов всего и одни бабы. Красноармейцы, не сходя с лошадей, стали баб погонять плётками, загнали их всех в кладовку при мельнице, заперли. Тогда пошли шарить по погребам. Выпьют махотку с молоком, а горшок — обземь, озлясь.

А заставили крестьянского подростка гнать свою телегу с эскадронной клажей вместе с красной погоней, он от сердца: «Да уж хоть бы скорей вы этих мужиков догнали, да отпустили бы меня к мамане».

А один, совсем мальчонка, ещё не понимая, без зла: «Дядь, а за что ты моего батьку застрелил?»

Поймали два десятка повстанцев, допрашивали порознь, и один указал на другого: «Вот он был пулемётчик».

Малым разъездом вступили в село — все затворились, будто вымерли. Стучишь, оттуда бабий голос: «Не прогневайтесь, у самих ничего нет, голдуем». Ещё стучишь — «Да мы веру всяку потеряли, тут какие власть ни приходят, а все только норовят хлебу получить».

Уже так запугались — ни за власть, ни за *партизантов*, а только: душу отпустите.

На политзанятиях предупреждали: «Излишне не раздражать население». Но и так: «А вы уши не развешивайте, а чуть что — прикладом в морду!»

Но и у красноармейцев опасно замечалась неохотливость идти с оружием против крестьян («мы ж и сами крестьяне, как же в своих стрелять?»). А ещё и бандиты подкидывали листовки: «Это вы — бандиты, не мы к вам лезем. Уходите из наших местов, без вас проживём». Откуда-то потекла басня, что в близких неделях выйдет всем демобилизация. «А ждать нам доколе? а ещё сколько воевать?» (Были и сбегая к бандитам или в дезертиры, особенно при больших перебросках.) Политрук Ночёвка говорил: «Надо таких обратно воспитывать! А то ведь и когда напьются — чего поют? Ни одной революционной песни, всё — «Из-за острова», или похабные. А как в селе заночуем — пока ихние мужики в лесу, наши бабьим классом пользуются». И проводил беседы: «Проживать на свете без трудов и без революционных боёв — это тунейдство!» (А ему тычут — фельдшерицу, на весь дивизион развязную: «Я не кулеш, меня всю не доешь, и на эскадрон хватит».)

На утренней поверке так и жди: кого нет, дал жигача? Надо своих-то красноармейцев крепкими шенкелями держать. Военрук из губвоенкомата говорил: по Тамбовской губернии — 60 тысяч дезертиров. Это ж всё — бандитам на пополнение.

А приказы из тамбовского штаба и по полку никогда не были строго военные — полоса там разведки или порядок боевой операции, а всегда только: «атаковать и уничтожить!», «окружить и ликвидировать!», «не считаясь ни с чем!»

И не считались. Только — как бандитов выловить? как дознать? Ведь советской власти в деревнях уже не осталось, все сбежали, отсиживаются в городах, кого спросить? Армейский командир и велит созвать сельский сход. Из мужиков — построение в одну шеренгу. «Кто среди вас бандиты?» Молчание. «Расстрелять каждого десятого!» И — расстреляют тут же, перед толпой. Бабы ахают навскличь, воют. «Сомкнуть строй. Кто среди вас бандиты?» Пересчёт, отбирают на новый расстрел. Тут уж не выдерживают, начинают выдавать. А кто — подхватился и наутёк, в разные концы, не всех и подстрелишь.

Иногда арестовывали одиноких баб на дорогах: не несёт ли шпионский донос.

А по какой дороге много лошадиного помёта — знать, бандиты проскакали.

Да сами бойцы нередко голодовали. И обувь порвалась, и обмундирование истрёпанное, измытанное, в нём и спят, не раздеваясь. (А уж что — с малиновыми штанами!) Измучились.

А если ногу ампутировать — так без наркоза, ещё и бинтов нет.

В середине апреля достиг Жердёвки слух: антоновцы налётом захватывали крупное фабричное село Рассказово, в 45 верстах от самого Тамбова, и держали его 4 часа, вырезали коммунистов по квартирам, отрубали им головы начисто, половина тамошнего советского батальона перешла к антоновцам, другую половину они взяли в плен — и отступили под аэропланной стрельбой.

Вот — такая пошла с ними война! а теперь, от зимы к весне, станет ещё шибче. И ведь уже 8 месяцев антоновцы не сдавались и даже росли. (Хотя стреляли иногда не пулями, а какими-то железками.)

Был приказ тамбовского штаба: «Все операции вести с жестокостью, только она вызывает уважение».

Пробандиченные деревни и вовсе сжигали, нацело. Оставались остовы русских печей да пепел.

Не отдыхал и Особый отдел в Жердёвке. Начальник его, Шурка Шубин, в красной рубахе и синем галифе, ходил обвешанный гранатами, и

здоровенный маузер в деревянной кобуре, приходил и к кавалеристам во двор (строевой командир подчиняется начальнику Особотдела): «Ребята! Кто пойдёт бандитов расстреливать? — два шага вперёд!» Никто не выступил. «Ну, навоспитали вас тут!» А свой особотдельский двор у него весь был нагнан, кого расстреливать. Вырыли большую яму, сажали лицом туда, на край, руки завязаны. Шубин с подсобными ходили — и стреляли в затылки.

А — что же с ними иначе? Был у Ёрки хороший друг, однофамилец, тоже Жуков, Павел, — зарубили бандиты, на куски.

Война — настоящая, надо браться ещё крепче. Не на той германской — вот тут-то Ёрка и озверился, вот тут-то и стал ожестелым бойцом.

В мае — давить тамбовских бандитов прибыла из Москвы Полномочная комиссия ВЦИКа во главе тоже с Антоновым, но Антоновым-Овсеенко. А командовать Особой Тамбовской армией приехал — с поста Командующего Западным фронтом, только что расквитавшись с Польшей, — командарм Тухачевский, помощником его — Уборевич, который уже много управлялся с бандитами, только в Белоруссии. Тухачевский привёз с собой и готовый штаб и автоброневой отряд.

И в близких днях посчастливилось Жукову и самому повидать знаменитого Тухачевского: тот на бронелетучке, по железной дороге, приехал в Жердёвку, в штаб отдельной 14-й кавбригады, и комбригу Милонову велел собрать для беседы командиров и политруков: от полков до эскадронов.

Ростом Тухачевский был не высок, но что за выступка у него была — гордая, гоголистая. Знал себе цену.

Начал с похвалы всем — за храбрость, за понимание долга. (И у каждого в груди — тепло, расширилось.) И тут же стал объяснять общую задачу.

Совнарком распорядился: с тамбовской пугачёвщиной кончить в шесть недель, считая от 10 мая. Любой ценой! Всем нам предстоит напряжённая работа. Опыт подавления таких народных бунтов требует наводнить район восстания до полного его оккупирования и планово распределить по нему наши вооружённые силы. Сейчас прибыла из-под Киева, высадилась в Моршанске и уже пошла на мятежный Пахотный Угол прославленная кавдивизия Котовского. Потом она подойдёт сюда, к центру восстания. Наше большое техническое преимущество над противником: отряд аэропланов и автоброневой отряд. Из наших первых требований к жителям будет: восстановить все мосты на просёлочных дорогах — это для проезда моторных самодвижущих частей. (Только никогда не пользуйтесь проводниками из местных жителей!) Ещё в запасе у нас — химические газы, и если будет надо — применим, разрешение Совнаркома есть. В ходе предстоящего энергичного подавления вам, товарищи командиры, представляется получить отличный военный опыт.

Жуков неотрывно вглядывался в командарма. Кажется, первый раз в жизни он видел настоящего полководца — совсем не такого, как мы, простые командиры-рубаки, да хоть и наш комбриг. И как в себе уверен! — и эту уверенность передаёт каждому: вот так точно оно всё и произойдёт! А лицо его было — совсем не простонародное, а дворянское, холёное. Тонкая высокая белая шея. Крупные бархатные глаза. Височки оставлены длинными, так подобрты. И говорил сильно не по-нашему. И очень почему-то шёл ему будённовский шлем — наш всеобщий шлем, а делал Тухачевского ещё командиристой.

Но конечно, добавлял, будем и засылать побольше наших агентов в расположение бандитов, хотя, увы, чекисты уже понесли большие жертвы. А ещё главное наше оружие — воздействие через *семьи*.

И прочёл уже подписанный им «приказ № 130», издаваемый в эти дни на всю губернию, ко всеобщему сведению населения. Язык приказа был

тоже беспрекословно уверенный, как и сам молодой полководец. «Всем крестьянам, вступившим в банды, немедленно явиться в распоряжение Советской власти, сдать оружие и выдать главарей... Добровольно сдавшимся смертная казнь не угрожает. Семьи же неявившихся бандитов неукоснительно арестовывать, а имущество их конфисковывать и распределять между верными Советской власти крестьянами. Арестованные семьи, если бандит не явится и не сдастся, будут пересылаться в отдалённые края РСФСР».

Хотя всякое собрание с большим участием коммунистов, как это сегодняшнее, не могло закончиться ранее общего пения «Интернационала», — Тухачевский разрешил себе этого не ожидать, подал белую руку одному лишь комбригу, той же гордой выступкой вышел вон, и тут же уехал бронелетучкой.

И эта дерзкая властность тоже поразила Жукова.

А тут, ещё до Интернационала, командирам раздавали листовку губисполкома к крестьянам Тамбовской губернии: пора избавиться от этого гнойного нарыва антоновщины! До сих пор преимущество бандитов было в частой смене загнанных лошадей на свежих, — так вот, при появлении преступных шаек Антонова поблизости от ваших сёл — не оставляйте в селе ни одной лошади! угоняйте их и уводите туда, где наши войска сумеют сохранить.

Когда уже и все расходились с совещания, Жуков пошёл с каким-то встрявшим в него новым чувством — и одарения, и высокого примера, и зависти.

Просто воевать — и всякий дурак может. А вот — быть военным до последней косточки, до цельного дыхания, и чтобы все другие это ощущали? Здорово.

А ведь и Жуков? — он и правда полубил военное дело больше всякого другого.

И потекли эти шесть недель решающего подавления. Из отряда Уборевича помогли не так броневики, — они пройти могли не везде, и проваливались на мостах, — как его же лёгкие грузовики и даже легковые автомобили, вооружённые станковыми и ручными пулемётами. Крестьянские лошади боялись автомобилей, не шли в атаку на них — и не могли оторваться от их погони.

А ещё было хорошее преимущество: у антоновцев, конечно же, не было радио, и потому преследующие части могли пользоваться между собой радио без шифра, что облегчало переговоры и убыстряло передачу сведений. Антоновцы скакали, думая, что их никто не видит, а уже по всем трём уездам передавалась искровая связь: где бандиты, куда скачут, куда слать погоню, где перерезать им путь.

И стали гоняться, ловить главное ядро Антонова — навязать ему большой бой, от которого он уклонялся. С севера пошла на него бригада Котовского, с запада бригада Дмитриенко, добавился ещё один отряд ВЧК Кононенко — семь полуторатонных «фиатов» и ещё со своими машинами-цистернами. Антонов наткнулся на облаву, тут же умётывался, на сменных лошадях делал переходы по 120-130 вёрст в сутки, уходил в Саратовскую губернию к Хопру, тут же возвращался. И 14-я бригада, как и вся красная конница, всюду отставала, гнались уже только автобронепоезда. (Рассказывали, что раз автоотряд настиг-таки Антонова — на отдыхе в селе Елань, неожиданно, и покатило по селу, из пулемётов с машин расстреливая бандитов. Но те кинулись к лесу, там собрались и держались, а у наших отказала часть пулемётов. И конница наша опять опоздала, и опять ушли антоновцы, или расплылись — не узнаешь.)

Прошло три недели, уже полсрока от назначенного Совнаркомом, — а не был разбит Антонов. Кавбригады двигались наощупь, ждали вестей от осведомителей. Оба автоотряда ждали запасных частей и бензина. А по обмыкающим железным дорогам сновали бронепоезд и бронелетучка — тоже выслеживать пути бандитов или перерезать их. А — впустую.

И вот прислали, впрочёт по эскадронам и ротам, секретный 0050 приказ Тухачевского: «С рассвета 1 июня начать массовое изъятие бандитского элемента», — то есть, значит, прочёсывать сёла и хватать подозрительных. Жуков, читая своему эскадрону, как бы видел Тухачевского, вступил в него самого — и его голосом и повадкой? — читал от полной груди: «Изъятие не должно нести случайного характера, но должно показать крестьянам, что бандитское племя и семьи неукоснительно удаляются, что борьба с Советской властью безнадежна. Провести операцию с подъёмом и воодушевлением. Поменьше обывательской сентиментальности. Командующий войсками Тухачевский».

Жуков — рад был, рад был состоять под таким командованием. Это — так, это — по-солдатски: прежде, чем командовать самому, надо уметь подчиняться. И научиться выполнять.

И — изымали, сколько нагрели. Отправляли в концлагеря, семьи тоже. Отдельно.

А через несколько дней, как раз, опять нащупали главное ядро Антонова — далеко, в верховьях Вороны, в ширяевском лесу (по сведениям, прошлый раз, при атаке автоотряда, Антонов был ранен в голову). Тут добавилась ещё одна свежая кавбригада — Фелько, ещё один полк ВЧК и ещё один бронепоезд. И все выходы из ширяевского леса были закрыты наглухо. Но поднялась сильная ночная гроза. Из-за неё командир полка ВЧК снял роты с позиций и отвёл на час-два в ближние деревни. А бронелетучка, непрерывно курсировавшая на семивёрстном отрезке от Кирсанова до реки Вороны, была отведена для пропуска личного поезда Уборевича, а затем и столкнулась с ним в темноте. А антоновцы, точно угадав и прореху в кольце и нужные полчаса, — вышли из окружения, всё под той же страшнейшей грозой, и — скользнули в чутановский лес.

Нашли антоновцы ответ и на приказ № 130: велели никому в деревнях не называть своих имён — и тем ставить красных в тупик: горбыляй его, не горбыляй — не называется, зараза.

Как оглохли, ослепли мы.

Но штаб давления и тут нашёл ответ, 11 июня, приказ № 171: «Гражданин, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте, без суда. В сёлах, где не сдают оружие, расстреливать заложников. При нахождении спрятанного оружия — расстреливать без суда старшего работника в семье». В семьях, укрывающих не то что самих бандитов, но хотя бы переданное на хранение имущество их, одежду, посуду, — старшего работника расстреливать без суда. В случае бегства семьи бандита — имущество ещё распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать. Подписал — Антонов-Овсеенко.

Нельзя себя не называть? — тогда семьи повстанцев стали сами уходить из деревень. Так — вдобавок — новый на них приказ Полномочной Комиссии ВЦИК: «Дом, из которого семейство скрылось, разбирать или сжигать. Тех, кто скрывает у себя семьи, — приравнять к семье повстанцев; старшего в такой семье — расстреливать. Антонов-Овсеенко».

А ещё через пяток дней — от него же ещё приказ, к обнародованию, № 178: со стороны жителей «неоказание сопротивления бандитам и несвоевременное сообщение о появлении таковых в ближайший ревком будет рассматриваться как сообщничество с бандитами, со всеми вытекающими последствиями. Полномочная Комиссия ВЦИК, Антонов-Овсеенко».

Как варом их поливали, как клопов выжигали!

А от чёткого хладнокровного командарма — ещё один секретный, 0116: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами. Точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём прячется. Командующий войсками Тухачевский».

Слишком крепко? А без того — больших полководцев не бывает.

2

Считается, что с семидесяти лет вполне уместно и прилично писать мемуары. А вот досталось: начал и на семь лет раньше.

В тишине, в ненужности — чем и заняться? Год за годом вынужденный и томительный досуг.

Перестали звонить, тем более навещать. Мир — замолк и замкнулся. А пережить эту пору — может и лет нет.

А даже, по ряду соображений, и нельзя не написать. Для истории — пусть будет. Уже многие кинулись писать. И даже опубликовали.

А потому торопятся, что хотят пригрести славу к себе. А неудачи свалить на других.

Нечестно.

Но — и работища же какая невыволочная! От одного перебора воспоминаний разомлешь. Какие промахи допустил — бередят сердце и теперь. Но — и чем гордишься.

Да ещё надо хорошо взвесить: о чём вообще *не надо* вспоминать. А о чём можно — то в каких выражениях. Можно такое написать, что и дальше погоришь, потеряешь и последний покой. И эту расчудесную дачу на берегу Москва-реки.

Какой тут вид. С высокого берега, и рядом — красавицы сосны, взлётные стволы, есть и лет по двести. Отсюда — спуск, дорожка песчаная, с присыпом игл. И — спокойный изгиб голубоватого течения. Оно — чистое тут, после рублиевского водохранилища, заповедника. И если гребёт лодка — знаешь, что — кто-то из своих, или сосед. Никто тут не браконьерствует, никто не озорует.

Через заднюю калитку есть тропинка к реке, можно спуститься. Но Галя — не ходит, а Машеньку семилетнюю тем более без себя не пускает. А тебе когда под семьдесят — приятней сидеть наверху, на веранде. Теперь — даже и по участку с палицей.

Стал и недослышивать. Не всякую птицу, не всякий шорох.

Дача-то хороша-хороша, да только государственная, и на каждой мебелишке — инвентарный номер прибит. Владение — *пожизненное*. Вот умрёшь — и Галю, в 40 лет, с дочуркой, с тещей, и выелят тотчас. (Первой семье — уже нет, дочери замужние отделились.)

А два инфаркта уже было (если только инфаркта). Но растянуло, сосало, прошло. После второго — и взялся писать.

Последний простор старости. Подумать-подумать, посмотреть на реку, что-нибудь и дописать.

А то — голова заболит. (Иногда болит.)

Скучней всего писать о временах давно прошлых. Об отрочестве своём. Об империалистической войне. Да и о своей эскадронной молодости — что писать, чем отличился? Настоящий интерес начинается с того времени, как уже прочно устоялся советский строй. Устойчивая военная жизнь только и началась с 20-х годов: тренировка в разнообразнейшей кавалерийской службе, отработка в тактических учениях, и, как вершина всего, — манёвры. Безупречно подчиняется тебе твоё тело, взмах руки с коня, сам конь — и: сперва — твой эскадрон, потом — твой полк. Твоя бригада. Наконец, когда-то, и твоя дивизия. (Дал Уборевич, высмотрел воина.) А ещё сильнее себя ощущаешь как частица единого великого организма — железной Партии. (Всегда мечтал быть похожим на замечательного большевика Блюхера — мытищинского рабочего, получившего, сперва в шутку, кличку известного немецкого полководца.)

Увлекаешься тактической учёбой и, конечно, в практических делах чувствуешь себя сильнее, чем в вопросах теории. А вот — возьмут тебя на год в высшую кавалерийскую школу, а там зададут тебе тему доклада: «Основные факторы, влияющие на теорию военного искусства», — и как в лепёшку тебя расшибли: чего это такое? какие факторы? о чём тут гово-

рить? кого спросить? (Приятель по курсам Костя Рокоссовский подмог. А другой приятель, Ерёменко, — ну просто дуб.)

И так — ты служишь и служишь вполне успешным кавалерийским командиром, знающим конником. Одно желание: хочется, чтобы твоя дивизия стала лучшей в РККА. Часто тебя упрекают в резкой требовательности, погоняльстве — но это и хороший признак, только такой и может быть воинская служба. Вдруг — подняли от дивизии на помощника инспектора всей кавалерии РККА, при Семёне Михайловиче Будённом. Поручают — и ты пишешь боевой устав конницы, это вполне понятная работа. А — кто тебе проверщиком? Обомлеешь: Тухачевский! Тот самый красавец и умница, которого видел раз в Тамбовской губернии, — а теперь два месяца встречались. (А как неуклонимого коммуниста — тебя выбирают и секретарём партбюро всех инспекций всех родов войск.) Тебе — 40 лет. С годами, разумеется, будет и ещё продвижение в должностях и чинах.

А оглядываясь по стране — как же много мы сделали: индустрия на полном ходу, и колхозный строй цветёт, и единство наций, — да что хочешь.

Но вот, в 1937-38, прямая незамысловатая военная служба вдруг стала — лукавой, скользкой, извилистой. Вызывает высший окружной политрук, некий Голиков: «Среди арестованных — нет ли ваших родственников?» — Уверенно: «Нет». (Твоя и мать, и сестра — в калужской деревне, вот и всё.) — «А среди друзей?» «Друг» — это не такое чёткое определение, как «родственник». С кем знаком был, встречался, — это «друг»? не друг? Как отвечать? «Когда Уборевич посещал вашу дивизию, он у вас дома обедал». Не отопрёшься. (Больше чем обедал! — покровительствовал.) Да ещё Ковтюх, до последних месяцев «легендарный», и вдруг «враг народа». А тут ещё и Рокоссовского *посадили...* «И вы не изменили о них мнения после ареста?» Ну, как же бы: коммунист — и мог бы тут не изменить мнения?.. Мол, изменил. «И вы крестили свою дочку в церкви?» Вот тут уверенно: «Клевета! клевета!» Перегнули в обвинениях. (Никто Эру не крестил.)

И на партийных собраниях разгулялись теперь всякие язвы. Опять обвиняют в повышенной резкости (как будто это — недостаток боевого командира), в жёсткости, в грубости, что не знал снисходительности (а иначе — какая служба?), даже во *вражеском подходе к воспитанию кадров*: замораживал ценные кадры, не выдвигал. (Вот этих клеветников и не выдвигал. Да некоторые и клеветают-то не со зла, а только — чтобы через то самим наперёд обелиться.) Но и тут как-то отбилась.

А — новая беда: выдвигают командовать корпусом. Однако в их Белорусском военном округе командиры корпусов арестованы уже почти все до одного. Значит — это шаг не к возвышению, а в гибель. Безо всякой войны, без единого сабельного удара — и вот сразу в гибель? Но и отказаться нельзя.

Только то спасло, что как раз, как раз в этот момент и кончились аресты. (Уже после XX съезда узнал: в 1939 открывали на Жукова дело в Белорусском округе.)

И вдруг — срочно вызвали в Москву. Ну, думал — конец, арестуют. Нет! Кто-то посоветовал Сталину — послали на боевое крещение, на Халхин-Гол. И — вполне успешно, проявил неуклонность командования, «любой ценой!» Кинул танковую дивизию, не медля ждать артиллерию и пехоту, — в лоб; две трети её сгорело, но удалось японцам нажарить! И — сам товарищ Сталин тебя заметил, особенно по сравнению тут же с финской войной, бездарно проваленной, как будто не та же Красная армия воевала. Заметил — и уже надолго вперёд. Сразу после финской Жуков был принят Сталиным — и назначен командовать Киевским военным округом! — огромный пост.

Но полгода всего прошло — новое распоряжение: передать округ Кирпоносу, а самому — в Москву. А самому — выговорить нельзя: начальником Генерального штаба! (И всего лишь — за Халхин-Гол.)

Искренно отказывался: «Товарищ Сталин! Я никогда не работал в штабах, даже в низших», — и сразу на Генеральный? За 45 лет никакого военно-академического, оперативно-стратегического образования не получал — как можно честно простому кавалеристу справиться с Генштабом, да при нынешнем многообразии родов войск и техники?

А ещё ведь боязно, знал: начальники Генштаба стали меняться по два в год: полгода Шапошников, заменили Мерецковым, теперь сняли Мерецкова и, говорят, посадили, — а теперь тебя?.. (И такая же чехарда в Оперативном управлении Генштаба.)

Нет, принять пост! И ещё — кандидатом в члены ЦК. Каково доверие!

Очень тёплое, ласковое впечатление осталось от того сталинского приёма.

Вот тут-то — и главная трудность мемуаров. (Хоть вообще брось их писать?..) Как о главе правительства, Генеральном Секретаре партии и вскорее Верховном Главнокомандующем писать — генералу, который часто, много соприкасался с ним в Великую Войну, и в очень разных настроениях Верховного, — и даже стал его прямым заместителем? Участнику той войны — поверить нельзя, как с тех пор Верховного развенчали, балабаны, чуть не оплевали разными баснями: «командовал фронтами по глобусу...» (Да, большой глобус стоял у него в комнате рядом с кабинетом — но и карты же висели на стене, и к работе ещё другие раскладывались на столе — и Верховный, шагая, шагая из угла в угол с трубкой, подходил и к картам, чтобы чётче понять докладываемое или указать требуемое.) Сейчас вот главного озорного пустоплёта и самого скинули — по шапке и по шее. И, может, — постепенно, постепенно восстановится почтение к Верховному. Но в чём-то нанесен и непоправимый ущерб.

И вот ты, если не считать членов Политбюро, соприкасался с Ним тесно и, как никто, профессионально. И бывали очень горькие минуты. (Когда сердился, Сталин не выбирал выражений, мог обидеть совсем незаслуженно, барабанную нужно было шкуру иметь. А погасшая трубка в руке — верный признак беспощадного настроения, вот сейчас обрушится на твою голову.) Но бывали и минуты — поразительного сердечного доверия.

И — как теперь написать об этом честно и достойно?

Тут ещё то, что смежность в самые напряжённые — и обманувшие! — предвоенные месяцы связала же вас и смежной ответственностью: Верховный ошибся? промахнулся? просчитался? — а почему же ты не поправил, не предупредил Его, хоть и ценой своей головы? Разве ты уж вовсе не видел, что от принятой в 30-х годах повелительной догмы «только наступать!» — на всех манёврах, и в 40-м — 41-м, наступающая сторона ставилась нарочито в преимущественное положение? Ведь — мало занимались обороной, и уж вовсе не занимались отступлениями, окружениями — такого в голову не приходило, — и ведь тебе тоже? И пропустил такое сосредоточение немецких сил! Да ведь всё летали, летали немецкие самолёты над советской территорией, Сталин верил извинениям Гитлера: молодые, неопытные лётчики. Или вдруг в 1941 возгорелось у немцев искать по нашу сторону границы немецкие могилы Первой мировой войны? — ничего, пусть ищут... А ведь это — какая разведка! Но тогда казался Жукову, что — нет на земле человека осведомлённей, глубже и проницательней Сталина. И если Он до последнего надеялся, что войну с Гитлером удастся оттянуть, то и ты же не вскрикнул, хоть и предсмертным криком: нет!!

Кто не бывал скован даже только отдалённым грозным именем Сталина? А уж прямо к нему на приём — всякий раз идёшь как на ужас. (И всё-таки выпросил у него освободить Рокоссовского из лагеря.) Скован был Жуков ещё и от неуверенности своей в стратегических вопросах, неуместности своей в роли начальника Генштаба. А сверх того, конечно, и от крайней всегда неожиданности поведения Верховного: никогда нельзя было угадать, для чего он сейчас вызывает? И как надёжней отвечать на такие его вопросы: «А что вы предлагаете? А чего опасаетесь?» Выслуши-

вал же доклады кратко, даже как бы пренебрежительно. Напротив, о многом, о чём Сталина осведомляли другие, он с Генштабом не делился. Жуков был для него — пожарной, успешной командой, которую Верховный и дёргал и посылал внезапно.

Грянула война — и в эти первые часы своей небывалой растерянности, которой не мог скрыть, — только через четыре часа от начала войны посмели дать военным округам команду сопротивляться, да было уже поздно, — тут же швырнул начальника Генштаба — в Киев, спасать там («здесь — без вас обойдёмся»). Но всё Верховное командование велось наугад. И через три дня дёрнул назад, в Москву: надо, оказалось, спасать не Юго-Западное направление, а Западное. И — открылся фразой в жалобном тоне: «В этой обстановке — что можно сделать?» (Жуков смекнул дать несколько советов, и в том числе: формировать дивизии из небооружённых московских жителей — много их тут околачивается, а через военкоматы долго. И Сталин тут же объявил — сбор Народного Ополчения.)

От этой замеченной шаткости Сталина Жуков отваживался на веские советы. В конце июля осмелился посоветовать: сдать Киев и уходить за Днепр, спасать оттуда мощные силы, чтоб их не окружили. Сталин с Мехлисом в два голоса разнесли за капитулянтство. И тут же Сталин снял Жукова с Генштаба и отправил оттеснять немцев под Ельней. (А мог и хуже: в те недели — расстрелял десяток крупнейших замечательных генералов, с успехами и в испанской войне, хотя — Мерецкова вдруг выпустил.)

Под Ельней — хоть мясорубочные были бои, зато не высокоштабные размышления, реальная операция — и Жуков выиграл её за неделю. (Конечно, этот ельнинский выступ разумней было бы отсечь и окружить, да тогда ещё не хватало у нас уверенности.)

А Киев-то — пришлось сдать, но уже при огромном «мешке» пленных. (А скольких Власов оттуда вывел, за 500 километров, да теперь и вспоминать его нельзя.) Вот — остался бы Жуков командовать Юго-Западным — может, и ему бы досталось застрелиться, как Кирпоносу.

И, необычайное: в начале сентября вызвав Жукова, Сталин признал его правоту тогда о Киеве... И тут же продиктовал приказ, сверхсекретный, два Ноля два раза Девятнадцать: формировать из полков НКВД *заградотряды*; занимать линии в тылу наших войск и вести огонь по своим отступающим. (Во как! А — что и делать, если не стоят насмерть, а бегут?) И тут же — послал спасать отрезанный Ленинград, а спасённый Жуковым центральный участок фронта передать другим. Но всё время сохранял Жукову звание члена Ставки — и это дало ему много научиться у военнообразованных. Шапошникова, Василевского и Ватутина. (А учиться — и хотелось, и надо же, край.) Они много ему передали — а всё-таки главным щитом или тараном, или болванкой — на всякий опаснейший участок всегда с размаху кидали Жукова.

По полной стратегической и оперативной неграмотности, при никаком представлении о взаимодействии родов войск (в багаже — что осталось от Гражданской войны), Сталин в первые недели войны нараспоряжался беспрекословно, наворотил ошибок, — теперь стал осторожнее. Бориса Михайловича Шапошникова, вновь назначенного начальником Генштаба, единственного из военачальников называл по имени-отчеству и ему единственному даже разрешал курить в своём кабинете. (А с остальными — и за руку здоровался редко.)

Но несравнимо выше всех военачальников держались Сталиным все члены Политбюро, да ещё такой любимый как Мехлис (пока не загубил полностью восточнокрымский плацдарм). Бывало не раз, что, при нескольких политбюровцах выслушав генерала, Сталин говорил: «Выйдите пока, мы тут совещаемся». Генерал выходил — послушно ожидать решения участи своего проекта или даже своей головы, и несколько при том не обижаясь: все мы — коммунисты, а политбюровцы — высшие из нас, даже хоть и Щербаков, — и естественно, что они там решают без нас. И гнев Сталина на тех никогда не бывал долгов и окончателен. Ворошилов прова-

лил финскую войну, на время снят, но уже при нападении Гитлера получил весь Северо-Запад, тут же провалил и его, и Ленинград — и снят, но опять — благополучный маршал и в ближайшем доверенном окружении, как и два Семёна — Тимошенко и беспросветный Будённый, проваливший и Юго-Запад и Резервный фронт, и все они по-прежнему состояли членами Ставки, куда Сталин ещё тогда не вчислил ни Василевского, ни Ватутина, — и уж конечно оставались все маршалами. Жукову — не дал маршала ни за спасение Ленинграда, ни за спасение Москвы, ни за сталинградскую победу. А в чём тогда смысл звания, если Жуков ворочал делами выше всех маршалов? Только после снятия ленинградской блокады — вдруг дал. Даже не только, что обидно, а — почему не давал? чтобы больше тянулся? боялся ошибиться: возвысить прежде времени, а потом не скачаешь с рук? Напрасно. Не знал Верховный бесхитростную солдатскую душу своего Жукова. А — когда бы узнать ему солдатскую душу? Ведь он за всю войну на фронте не побывал ни одного часа и ни с одним солдатом не разговаривал. Вызовет — прилетишь издалека, и после фронтового многонедельного гула даже мучительно оказаться в тиши кремлёвского кабинета или за домашним обедом на сталинской даче.

А вот чему нельзя бы не научиться у Сталина: он с интересом выслушивал, какие людские потери у противника, и *никогда не спрашивал о своих*. Только отмахивался, четырьмя пальцами: «На то и война». А уж о сдавшихся в плен не хотел и цифры узнать. Почти месяц велел не объявлять о сдаче Смоленска, всё надеясь его вернуть, вне себя посылая туда новые и новые дивизии на перемол. И Жуков усваивал: если считать сперва возможные потери, потом и понесенные потери, то и правда никогда не будешь полководцем. Полководец не может расслабить себя сожалением, и о потерях ему надо знать только те цифры, какие требуется пополнить из резерва и к какому сроку. А не рассчитывать пропорции потерь к какому-нибудь маленькому ельнинскому выступу.

И эту достигнутую жёсткость — уметь передать как деловое качество и всем своим подчинённым генералам. (И стоустая шла, катилась о нём слава: ну, крут! железная воля! один подбородок чего стоит, челюсть! и голос металлический. А иначе — разве поведёшь такую махину?)

И так — Жуков сохранил в сентябре 1941 Ленинград. (Для блокады в 900 дней...) И тут же — через день после того, как Гудериан взял Орёл, — был выдернут снова к Сталину, теперь для спасения самой Москвы.

А тут, и суток не прошло, — наши попали в огромное вяземское окружение, больше полмиллиона... Катастрофа. (За провал Западного фронта Сталин решил отдать Конева под трибунал — Жуков отстоял, спас от сталинского гнева.) Все пути к столице были врагу открыты. Верил ли сам Жуков, что Москву можно отстоять? Уже не надеясь удержать оборону на дуге Можайска-Малоярославца, готовил оборону по Клину-Истре-Красной Пахре. Но собрав свою несломимую волю (у Сталина ли не была воля? — а сламывался несколько раз: в октябре он что-то заговаривал о пользе Брестского мира, и как бы сейчас с Гитлером хоть перемирие заключить...) — Жуков метался (по какому-то персту судьбы рядом со своей калужской деревней, откуда выхватил мать, сестру и племянников), стягивал силы, которых не было, — и за пять дней боёв под Юхновом, Медынью и самой Калугой — сорвал движение немцев на Москву.

А из Москвы к тому времени уже отмаршировали на запад 12 дивизий Народного Ополчения (и проглочены кто в смоленском, кто в вяземском окружении) — это кроме всех мобилизаций. И теперь, увязая в осенней грязи, четверть миллиона женщин и подростков выбрали 3 миллиона кубометров неподъёмной мокрой земли — рыли траншеи. И дыхание подходящего фронта уже обжигало их паническими вестями. С 13 октября начали эвакуировать из Москвы дипломатов и центральные учреждения, и тут же стали бежать и кого не эвакуировали, и — стыдно сказать — даже коммунисты из московских райкомов, и разразилась безудержная московская паника 16 октября, когда все уже считали столицу сданной.

Осталось навек загадкой: почему именно в эту страшную решающую неделю — Верховный не подал ни знака, ни голоса, ни разу не вызвал Жукова даже к телефону, — а сам-то Жуков не смел никогда. И осталось загадкой: где был Сталин всю середину октября? Наверняка он проявился в Москве только в конце октября, когда Жуков, Рокоссовский (да и Власов же) остановили немцев на дуге от Волоколамска до Наро-Фоминска. В начале ноября Сталин проявился по телефону, требуя немедленного контр-удара по всему кольцу, чтоб иметь победу непременно к годовщине Октября, — и, не выслушав возражений Жукова, повесил трубку, как это он делал не раз, просто раздавливая тебе душу.

Однако такой бы сейчас контрудар — был полная бессмыслица при нашем бессилии, Жуков и не затевал его. А немцы сами истощились, временно остановились. И Сталин, как ни в чём не бывало, звонил Жукову и спрашивал: нельзя ли взять с фронта сколько-нибудь войска для парада на Красной площади 7 ноября.

И вот теперь сидишь на веранде с видом на покойную реку и на тот луговой берег, где плещется городской серебряноборский пляж, и обмысливаешь: как?? вот как — об этом всём можно писать? И — вообще можно ли?

Трудно.

Но коммунисту — должно быть доступно. Потому что коммунисту светит не гаснущая никогда истина. А ты — всегда и во всём старался быть достойным коммунистом.

От начала. Мы в те годы были слабы в овладении марксистско-ленинской теорией. Изучение её мне давалось с большими трудностями. Лишь позже я глубже понял организующую роль нашей партии. И что мозг Красной армии, с самых первых дней её существования, — был ЦК ВКП(б). И: увы, нынешняя молодёжь не вникает в цифры, а они показывают, что темпы довоенного развития уже были ярким свидетельством нашего прогрессивного строя. Но индустриализация и не могла не идти за счёт ширпотреба. (Нет, ещё раньше, от юности: нищета и вымирание русской деревни при царе. И кулаки сосали бедняков. Разве это неправда? Это правда.)

А — о том жутком 1937 году? Ты же понимаешь и сам, и надо напомнить другим: необоснованные нарушения законности не соответствовали существу нашего строя. Советский народ верил партии и шёл за ней твёрдой поступью. А вред истекал от беспринципной подозрительности некоторых руководителей. Но преимущества социалистического строя и ленинские принципы всё равно одержали верх. И народ проявил несравненную выдержку.

А когда началась война? Как решительно укрепила наши ряды посылка в армию *политбойцов* — коммунистов со зрелым стажем пропаганды. И важная директива Политуправления РККА: повысить передовую роль коммунистов. Да, помнится, эта директива сыграла огромную роль. При, порой, недостаточной сопротивляемости самих войск. — А почему наша Ставка оказалась сильнее гитлеровской? А вот по этому самому: она опиралась на марксизм-ленинизм. И войска проявили невиданную стойкость. И стояли насмерть, как от них и ждали ЦК и Командование.

Впрочем, у немцев армия была — первоклассная. Об этом у нас совсем не пишут, или презрительно. Но это обесценивает и нашу победу.

Когда немцы в середине октября остановились от растяжки фронта и коммуникаций — самое было время и нам, в более узком кольцевом объёме, заняться тем же: подтягиванием людских сил, вооружений, боеприпасов, укреплением обороны — и мы могли бы встретить следующий удар немцев, в середине ноября, может быть почти бы и не отступя. Но по несчастливой идее иметь поскорее победу, и всё к 7 ноября, Верховный снова требовал контрнаступления, и притом на *каждом* участке фронта, от клинского направления до тульского. И — кто мог не выполнить? Жуков теперь уже осмелел возражать, спорить, — Верховный и слушать не стал. И

приходилось бросать в бой совсем не подготовленные и плохо вооружённые дивизии. И драгоценные две недели мы потратили на никому не нужные, бесплодные контратаки, не давшие нам ни одного километра, но отнявшие последние силы. И тут-то, с 15 ноября, немцы начали второй этап наступления на Москву, а 18-го и под Тулой: Гудериан взял Узловую, шёл на Каширу, подошёл и к рязанскому Михайлову — шёл охватить Москву с востока! Это — был бы последний конец.

И 20 ноября Сталин позвонил Жукову, не скрывая тревоги и тоном необычайным, голос сломался: «Вы уверены, что мы удержим Москву? Спрашиваю — с болью в душе. Говорите честно, как коммунист».

Жуков был потрясён, что Сталин не умеет и даже не пытается скрыть страха и боли. И — так доверяет своему полководцу. И собрав всю, всю, всю свою — действительно железную — волю, Жуков как поклялся Сталину, и родине, и себе: «Отстоим!!»

И, по точному расчёту дней, назначил возможную дату нашего контр-наступления: 6 декабря. Сталин тут же стал торговаться: нет, 4-го. (Не потому что что-то рассчитал, а — ко дню Конституции, вот как.)

Между тем каждый день приносил всё новые поражения: сдали Клин, сдали Солнечногорск, под Яхромой немцы перешли и канал, открывая и тут себе путь в Подмоскovie уже восточное. Всё было — в неразберихе и катастрофе, уже не воинские части, а случайные группы солдат и танков. И почти уже не хватало воли верить, заставить себя верить: нет, не рухнет! Нет, удержим. (В эти дни московской битвы спал по два часа в сутки, не больше. Молотову, по телефону грозившему расстрелять, отвечал — дерзко.)

И тут — доконал Жукова сталинский звонок:

— Вам известно, что взят Дедовск?

Дедовск? На полпути ближе Истры? Абсолютно исключено.

— Нет, товарищ Сталин, не известно.

Сталин в трубку — со злой издёвкой:

— А командующий должен знать, что у него делается на фронте. Немедленно выезжайте туда сами — и верните Дедовск!

Бросать командный пункт, связь всех движений, всей подготовки, в такие минуты? Нет, Он ничему не научился и за полгода войны. (Впрочем, и Жуков считался с подчинёнными генералами не больше, только так и побеждают.)

— Но, товарищ Сталин, покидать штаб фронта в такой напряжённой обстановке вряд ли осмотрительно.

Сталин — с раздражённой насмешкой:

— Ничего, мы как-нибудь тут справимся и без вас.

То есть: ты — ничего и не значишь, такая тебе и цена.

Жуков кинулся звонить Рокоссовскому и узнал, что, конечно, никакой Дедовск и не сдан, а, как догадался Костя, — наверно, речь о деревне Дедово, гораздо дальше и не там.

Спорить со Сталиным — большую отвагу надо иметь. Но тут-то Жуков надеялся, что облегчит и даже посмежит его звонком. А Сталин — прямо разъярился: так немедленно ехать к Рокоссовскому и с ним вдвоём отбить это Дедово назад! И ещё взять третьего с собой, командующего армией!

И — дальше уже спорить нельзя. Поехал к Рокоссовскому, втрём в штаб дивизии, и ещё раз уточнили, да: несколько домов деревни Дедово, по ту сторону оврага, немцы взяли, а остальные — тут, у нас. Те дома не стояли и одного лишнего выстрела через овраг, но четыре высших генерала стали планировать операцию и посылать туда стрелковую роту с танками.

А день — у всех пропал.

И всё-таки Жуков обернулся подтянуть все резервы к сроку — и 5 декабря перешёл в желанное большое наступление.

И в несколько дней заметен отогнал кольцо немцев от Москвы. (Хорошо двинул и Власов с 20-й армией, а об этом нельзя. Да немцы не дотягивали и сами взяли Москву.)

Прогремела победа. Изумился и ликовал весь мир. Но — больше всех в мире был изумлён ею сам Верховный, видимо уже никак не веривший в неё. И — закружилась от победы его голова, он и слышать не хотел, что это были использованы наши последние резервы, теперь и они истощены, мы еле-еле удерживаем то, что взяли. Нет! Ликующий Сталин в безграничной отчаянной храбрости приказал: немедленно начать *общее* крупное наступление *всеми* нашими войсками от Ладожского озера до Чёрного моря, освободить и Ленинград, и Орёл, и Курск — и всё одновременно!!

И потекли месяцы — январь, февраль, март — этого непосильного и ненужного напряжения наших измученных войск — чтоб осуществить радужную мечту Сталина. И только — клали, клали, клали десятки и сотни тысяч в бесполезных атаках. (Среди них — и 2-ю ударную армию Власова сгноили в болотах Северо-Запада и бросили без помощи, — но вот *об этом* писать уже никому никогда не придётся, и лучше забыть и самому. Да Власов и оказался потом — предатель.) Дошли до того, что на орудие отпущали в сутки 1-2 выстрела.

Ничего нигде не добились, только испортили картину от московской победы. Был единственный заметный успех — именно у жуковского Западного фронта — и тут же Сталин отнял от его фронта 1-ю ударную армию. Жуков позвонил, уверенный убедить перспективою успеха, — а Сталин и разговаривать не стал, выругался и бросил трубку.

Не меньше искусство, чем военное, нужно было иметь для того, чтобы разговаривать со Сталиным. Много раз то бросал трубку, то ругал нечистыми словами. (А вызовет и с фронта дальнего, добираться больше суток, — хоть ты в жару болезни, хоть погода совсем не лётная — а лети к Верховному, и даже на 10 минут опоздать нельзя. Один раз снижались в Москву через туман, чтоб только не опоздать, — чуть не зацепили крылом фабричную трубу.)

Но — каким-то непонятным образом, все даже и промахи Сталина всегда покрывались и исправлялись Историей.

Очевидно: именно по превосходству нашего строя и нашей идеологии. На это — и врагам нечего возразить. Уместно и повторить: ЦК потребовал более широко развернуть партийно-политическую работу — и это вызвало массовый героизм коммунистов и комсомольцев, и весь народ ещё тесней сплотился вокруг коммунистической партии.

А лично — Жуков на Сталина не обижался: на Нём не только фронт, но и промышленность, которую Он держал в каменных руках. Но и — вся страна.

Порок ли это был Сталина, или, наоборот, достоинство? — но он не любил менять свои решения. Провалились все зимние контрнаступления, в крови утонул десант Мехлиса под Керчью (но: так как его Сталин и придумал, то никого серьёзно не наказывал), — всё равно, не слушая возражений ставочных генералов, Верховный затеял в мае несчастную попытку вернуть Харьков — и растранижил бесплодно все наши резервы и усилия. И когда летом укрепившиеся немцы пошли в большое наступление (и не на Москву, как только и ждал Сталин), ещё один сталинский любимчик Голиков (тот самый политрук, который в 37-м допрашивал Жукова о близости к врагам народа) едва не отдал Воронеж, а лавина немцев показала на Дон и на Северный Кавказ и к сентябрю уже заняли горные перевалы, — вот, кажется, только тут Сталин понял, что в провале 1942 года виноват он сам. И не искал виновных генералов. В конце августа он назначил Жукова (всё ещё — не маршала) заместителем Верховного, и опять признался с открытой болью: «Мы можем потерять Сталинград». И послал его туда. (А через несколько дней, узнав, что ближайший контрудар назначен на 6 сентября, а не на 4-е, — опять кидал трубку. И ещё добавил слишком выразительной телеграммой: «Промедление подобно *преступлению*».)

Но впервые под Сталинградом Сталин дал удержать себя в терпении, и Жуков с умницей Василевским выиграли почти два месяца — на деталь-

нейшую разработку плана огромного окружения (втянули и Сталина в красоту этого замысла) и планомерное стягивание сил, подготовку командований, взаимодействий, — и наученный своими промахами Сталин терпел, не прервал. И так — удалась великая сталинградская победа.

Но удалось и другое, чего не знали многие: ведь ты этому ничему никогда не учился, а видно, что-то в твоей башке заложено. Вот только *здесь* впервые, в напряжённом преодолении, Жуков, кажется, стал *стратегом*, он стал — другой Жуков, каким себя до сих пор не знал. Он приобрёл — пронзительность предвидения противника и не уходящее ни на миг из головы и груди ощущение всех *наших* сил сразу — в их составе, разнообразии, возможностях, и в качествах их генералов. Он приобрёл уверенность высокого полёта и обзора, которого всегда ему не хватало.

И тем обиднее было потом читать, как Ерёменко врал, будто сталинградскую операцию они разработали... вдвоём с Хрущёвым. Спросил его прямо в лоб: «Как же ты мог?!» — «А меня — Хрущёв попросил».

После этого — Чуйков, всего лишь командующий одной из Сталинградских армий, приписал всю заслугу трёх фронтов — себе, и пинал в мемуарах павшего Жукова, что тот — «только путал». Загорелось сердце, вот опять хватит инфаркт, — позвонил прямо Хрущёву: как же можно такую ложь допускать в печатности? Обещал кукурузный царь заступиться. (Да ведь что эти чуйковские мемуары? Своего — ему сказать нечего? а — надёргал эпизодов из фронтовых и армейских газет и к себе натянул.)

После Сталинграда, с тем же Василевским, Жуков уверенно вошёл в новый план Курской битвы — с отчаянно рискованным решением: *не* спешить наступать! вообще *не* начинать наступления — а дать сперва Манштейну неделю биться и разбиться о нашу слаженную, многоэшелонную оборону (решение почти азартное: а вдруг прорвёт??) — лишь потом ошеломить немцев *нашим* наступлением, на Орёл.

И оказалось это — ещё одно такое же, по красоте, силе и разгромному успеху, стратегическое творение, как и Сталинград. Жуков — ещё вырос и укрепился в стратегии, он уже приобрёл уверенность, что разобьёт Гитлера и без «Второго фронта» союзников. Он был — и направляющим этого ощутимо огромного карающего процесса, но и — деталью его, процесс сам его направлял. (И всё укреплялся в спорах со Сталиным; и даже отучил его от телефонных звонков после полуночи: Вы потом спите до двух часов дня, а нам с утра работать.)

Однако сталинской выдержки не хватило надолго. Затягивалась ликвидация окружённого Паулюса — Он нервничал, погонял, бранился обидными словами. А после Курска уже не давал времени на разработку операций по окружению, а только — фронтально и безвыигрышно толкал немцев в лоб, давая им сохранять боевую силу, а чтобы только — ушли скорей с советской земли, хоть и целыми. (Но: уже при *каждой* встрече теперь пожимал Жукову руку, даже шутил, за маршальским званием стал давать то Суворова 1-й степени, то золотые звёзды Героя, одну, вторую, третью. Всё перебрасывал и перебрасывал его на каждую неудачу или задержку, и однажды Жуков не без удовольствия снял с командующего фронтом — того Голикова.)

Ещё потом был — цепкий прыжок за Днепр. И лавинная прокатка до Румынии. До Болгарии. Ещё была Белорусская операция, где легко дался бобруйский котёл. И, опять лавиной, — в Польшу. Потом — за Вислу. На Одер.

И в каждой операции Жуков ещё рос и ещё уверялся в себе. Одно его имя уже стало нагонять страх на немцев: что прибыл на *этот* фронт. Теперь он уже и придумать не мог бы себе преграды, которую нельзя одолеть. И так, по приказу Сталина, изжигаемого взять Берлин — чего Гитлер не мог с Москвой, и взять скорей! скорей самим, без союзников! — Жуков увенчал войну — и свою жизнь — Берлинской операцией.

Берлин оказывался почти на равном расстоянии — от нас и от союзников. Но немцы сосредотачивали все силы против нас, и была большая

опасность, что они союзникам просто поддадутся, пропустят их. Однако этого нельзя же было допустить! Родина требовала: наступать — нам! и побыстрее, побыстрее! (Перенял от Сталина и тоже хотел теперь — непременно к празднику, к 1 мая. Не вышло.) И не оставалось Жукову иначе, как опять: атаковать в лоб и в лоб, и не считаясь с жертвами.

Заплатили мы за Берлинскую операцию, будем говорить, тремястами тысяч павших. (Полмиллиона-то легло?) Но — мало ли пало и раньше? кто их там считал? Специально теперь на этом останавливаться — бесполезно. Конечно, нашим людям тяжело было терять отцов, мужей, сыновей, — но все они стойко переносили неизбежные потери, ибо все понимали, что идут звёздные часы советского народа. Кто уцелеет — будет внукам рассказывать, а сейчас — вперёд!! (Союзники, больше из зависти, после войны стали утверждать, что не только не нужна была берлинская операция, но и вся весенняя кампания 1945 года: мол, Гитлер сдался бы и без неё и без новых боёв, он уже был обречён. А сами — зачем тогда сжигали ненужной бомбёжкой невоенный Дрезден?.. тоже — тысяч полтораста сожгли, да гражданских.)

Да Жуков готов был воевать хоть и ещё дальше, как машина, его стратегическая теперь хватка и разогнанная стальная воля даже требовали пищи, помола. Но — жизнь вся сразу сменилась: как бы с полного разгона корабля он сел на мягкую и почётную мель. Теперь — он стал Главкомандующим советскими оккупационными войсками в Германии. Бессонные ночи оперативных разработок сменились на долгие сытые и пьяные банкеты с союзниками (они так и липли на икру и водку). Завязалась как бы дружба с Эйзенхауэром. (На одном ночном банкете — отплясал ему «русскую», показывал.) Пошёл поток взаимных с союзниками наград. (Эти крупные их ордена уже приходится спускать на живот.) Вместо боевых потекли заботы хозяйственные: демонтировать немецкие предприятия и вывозить их в СССР. Ну и, конечно же, налаживать жизнь немецкого населения — мы много сделали для них, наши интернациональные чувства не давали нам отдалиться местами, и нам многое объяснили Ульбрихт и Пик-младший. (И через 8 лет изумлён был Жуков необъяснимым восстанием берлинских рабочих: ведь мы — отменили им все нацистские законы и дали полную свободу всем антифашистским партиям.)

Гордость была только — в июне съездить принять парад Победы на Красной площади, на белом коне. (Сталин, видно, сам хотел, но не уверен был, усидит ли на лошади. А видно — завидовал: желваки заходили по лицу. А раз, внезапно, небывало признался Жукову: «Я — самый несчастный человек. Я даже тени своей боюсь», — боялся покушения? Жуков поверить не мог такой откровенности.)

Летом потекла церемонная Потсдамская конференция (в Берлине, полностью разбитом нашей артиллерией и авиацией, места для конференции не нашлось). Дальше были заботы, как заставить союзников вернуть советским органам наших советских граждан, опять-таки необъяснимо не желающих возвращаться на родину. (Что это? как это может быть? Или знают за собой тяжёлые преступления, или льстятся на лёгкую западную жизнь.) Приходилось жёстко требовать от союзников, чтобы на встрече с этими людьми допускали наших представителей, профессионалов сыска. (Это оказались очень деловые люди, они в нашей армии состояли и всегда, но Жуков со своей высоты с ними раньше как-то мало соприкасался.)

И — много такого. Жуков всё это исполнял, но как бы с ленью, как бы засыпая: уже никогда не возвращался прежний его орлиный полёт — разгадок противника и постройки своих замыслов.

Что ж, пора была бросать этот почётный и скучный пост в Берлине, возвращаться, и обновлять и укреплять Советскую (теперь уже не Красную) армию для возможных будущих конфликтов — и в рост с новой военной техникой. После войны вряд ли Сталин захочет сохранять за собой пост наркома (теперь — «министра») обороны. А значит — отдаст Жукову.

Да и оставаясь бы его первым заместителем — всё равно в руки Жукова попадало всё военное дело.

Но когда в 1946 Жуков вернулся из Берлина, он был поражён неожиданным назначением заместителем министра обороны вовсе не себя — а вполне штатского Булганина. И, как объяснил Сталин, руку с дымящей трубкой отводя с видом своей беспомощности вмешаться: Булганин уже так построил штаты министерства обороны, что в них нет места второму заместителю.

Жукова — как скинули с лошади на скаку.

Ну всё-таки!.. Но я же... ?

И — что Ему возразишь? Да не Сталин это придумал, не мог бы Он так поступить после всего, что связывало их в военных победах! после стольких в Его доме встреч, работы, обедов один на один. Это, конечно, придумал — двуличный Булганин. (Подобное неожиданное хитрое проворство Жукову, бывало, приходилось замечать и у других «членов военного совета», то есть политуправленцев фронтов и армий, — *после* того, как миновали главные бои, а до этого они сидели тихо. Такой же был всегда и Хрущёв, по виду очень простодушный.)

А начальником Генштаба — уже был Василевский, и это совершенно справедливо. Жукову предложили быть Главнокомандующим сухопутными войсками. То есть — не только без авиации и флота, не только без стратегической работы — но ещё и в прямом подчинении лишь Булганину, без права обращения к Сталину (так было указано в новом штатном расписании).

Да: на скаку — и обзёмь. Больно.

Как когда-то в Тамбовской губернии, когда вышибли из седла.

А наступило тогда Георгию Константиновичу как раз и ровно — 50 лет. Самый расцвет сил и способностей.

Щемило по своему ушедшему боевому прошлому...

Но обречённость его теперь бездействия — оказалась куда затопистей, чем он ожидал. Всей беды своей он ещё не предвидел.

Когда в конце 1945 на одном кремлёвском совещании Сталин упрекнул Жукова, что он приписывает все победы себе, Жуков готовно отказался: *всех* — никогда не приписывал. И когда в апреле 1946 горько пережил лукавый ход Булганина — тоже он беды своей ещё не понял. А пробыть Главнокомандующим сухопутными войсками досталось ему всего месяц: на Главном Военном Совете вдруг стали зачитывать показания бывшего адъютанта Жукова (оказывается, арестованного!) и главного маршала авиации Новикова (оказывается, тоже недавно арестованного!) — и ещё других арестованных офицеров — что Жуков будто бы готовил военный заговор — какой бред!! в какую голову это поместится?? Но Рыбалко, Рокоссовский, Василевский тут подхватились и дружно стали Жукова защищать, спасибо. И убедили Сталина, и Сталин спас его от бериевской расправы — и всего лишь послали маршала на Одесский военный округ.

Крутое падение, болезненное, — но всё ж не тюрьма.

Однако, вот, написать своей рукой в воспоминаниях, что за все свои мировые победы четырежды Герой Советского Союза — единственный такой в стране! — был сброшен в командующего военным округом, — перо не берёт, перед историей стыдно, об этом надо как-то промолчать.

Но и это ещё был не край беды. Не прошло двух лет, как арестовали генерала Телегина, члена военного совета при Жукове в конце войны (и как много позже узналось, ему выбили все зубы, он терял рассудок, да и Новикова пытали также, а потом — выпустили), — вот тогда Жуков понял, что идёт Берия — на него. И тогда-то был у него первый инфаркт.

А Берия с Абакумовым вдруг нагрянули на подмосковную дачу Жукова (подаренную Сталиным за спасение Москвы, вот где он сейчас писал мемуары) — якобы проверять хранение документации, рылись в ящиках, вскрыли сейф, нашли старые оперативные карты, которые полагалось сдавать, — это Главнокомандующему! И состряпали строгий выговор.

Нет, не арестовали пока: Сталин — спас, заступился! Но сослали — на Уральский военный округ, уже и не приграничный. Как это походило на ссылку Тухачевского в 1937 в Средневожский округ — только того арестовали сразу в поезде. Так — и ждал себе теперь. И держал наготове малый чемоданчик — с бельём, с вещичками.

Славы — как не бывало. Власти — как не бывало. И отброшен — в бездействие, в мучительное бездействие, при всех сохранённых силах, воле, уме, таланте, накопленных стратегических знаниях.

Иногда думал: да неужели — это замысел самого Сталина? (Не простил того белого коня на параде Победы?..) Да нет, это Берия заморочил ему голову, оклеветал.

А с другой стороны — нашлись в мире антинародные силы, которым выгодно было создать обстановку «холодной войны». Но в Холодной — Жуков был совсем бесполезен, это правда.

Однако в те годы ему бы и в голову не пришло сидеть писать воспоминания: ведь это, как бы, признать конец своей жизни?

А Сталин — не забыл своего оклеветанного, но верного полководца и героя, нет. В 1952 допустил его на съезд партии, и кандидатом в ЦК. И перевёл опять в Москву, и готовил ему какую-то важную должность в новой сложной обстановке.

Но — внезапно скончался...

Вечная память Ему! А обстановка стала — ещё и ещё более сложная. Берия ходил в главарях, но не он один. И Жуков снова стал Главкомандующим сухопутных войск и первым заместителем министра обороны.

И прошло ещё два месяца — сильно пригодился Жуков! Вызвали его Хрущёв и Маленков: завтра на Политбюро (теперь его переназвали потише, в Президиум) в повестке дня будет стоять военный вопрос, ты будешь вызван туда — и нужно там же сразу арестовать Берия! Это пока будем знать только мы трое. А ты возьми с собой двух-трёх надёжных генералов, и конечно адъютантов, и оружие.

И в назначенный час сидели в приёмной, ждали вызова (генералы гадали, зачем их позвали, — объяснил им только уже перед входом на заседание, и кому — стоять на дверях с пистолетами). Вошёл, прошагал немного и бегом на Берия! — и за локти его, рывком, медвежьей силой, оторвать от стола: может у него там кнопка, вызвать свою охрану? И гаркнул на него: «Ты — арестован!!» Доигрался, сволочь, Гад из гадов! (Политбюро сидит, не шелохнется, из них никто б не осмелился.) Тут вспомнил тамбовский приём, как брали в плен «языков»: адъютанту — вынуть у арестованного брючный ремень, тут же отрезать, оторвать пуговицы с брюк, — пусть штаны двумя руками держит. И — увели. В просторном автомобиле положили на пол, закутанного плотно в ковёр, и кляп во рту, — а то ведь охрана ещё остановит машину на выезде из Кремля. Сели четыре генерала в ту же машину — на вахте их только поприветствовали. И отвезли гада в штаб Военного округа, в бункер внутреннего двора — и ещё подогнали танки с пушками, наведенными на бункер. (А трибунал вести — досталось Коневу.)

Только: и этого сладкого мига — в мемуары не вставишь. Не целесообразно. Не помогает коммунистическому партийному делу. А мы — прежде всего коммунисты.

После этой операции Коллективное руководство снова призвало Жукова к реальному делу. Вот только когда — стал он министром обороны, во всю силу и власть, Хозяин Армии. И в какой ответственный момент: развитие атомного оружия! (Вместе с Хрущёвым дружески летали в Тоцкие лагеря на Урал, проводили опыт на выживаемость наших войск, 40 тысяч на поле, сразу после атомного взрыва: отработка упреждающего тактического удара против НАТО.) Готовил Армию на великие задачи, хоть и против Америки бы.

Теперь и ездил в Женеву на встречу союзных стран «в верхах». (И встретил там коллегу-Эйзенхауэра: ишь ведь, уже Президент!)

Как бывает в жизни — беда к беде, а счастье к счастью, — тут и женился второй раз, Галина на 31 год моложе. И — ещё одна дочка родилась, уже третья, — да тем дороже, что малышка. Как внучка...

А на Сталина — не осталось зла, нет. Всё перенесенное за последние годы — просто вычеркнул из памяти. Сталин был — великий человек. И — как сработались с ним к концу войны, сколько вместе передумано, решено.

Только — XX съезд партии потряс сознание: сколько же открылось злоупотреблений! сколько! И подумать было невыносимо.

На XX съезде стал — кандидатом в Политбюро.

А вслед Съезду — стали подступать, подступать ко всеильному военному министру некоторые генералы — поодиночке, по два: «Георгий Константиныч, да не нужны нам теперь в армии политотделы, комиссары, они нам только руки связывают. Освободите вы нас от них, сейчас вам никто не посмеет помешать». — «Да и от смершевцев подковырчивых, от Особотделов тоже! Вполне будет — в духе Съезда».

Так подступали не один раз — и по-тихому, и в малом застольи (только Жуков никогда не распивался): мол, победила-то Гитлера *русская* армия, а что из нас опять дураков выворачивают? Так не пришла ли пора, Георгий Константиныч... ? И даже прямо: мол, сейчас министр Вооружённых Сил³ — посильней всего Политбюро, вместе взятого. Так что — и... ? может быть... ?

Жуков даже и задумывался: может, и правда? Сила — вся была у него, и счётка боевая сохранялась, и свалить *этих* всех было, в оперативном смысле, не трудно.

Но — если ты коммунист? Но как можно так настраиваться, если мы в своей Победе обязаны — да, также и политическому аппарату, и смершевскому?

Нет, ребята. Это — не дело.

Но — потекло, и распространилось по Москве, если и не по Армии. И уже на Политбюро Жукова спросили тревожно.

Заверил товарищей:

— Да что вы! Да никогда я не был против института политотделов в Армии. Мы — коммунисты, и останемся ими навсегда.

На том и пережили кризис в умах 1956 года.

Исполнилось Жукову 60 лет — в полном соку, и опять он понадобился, в раздорах самого Коллективного Руководства. Там чуть не все до одного стали против Хрущёва: что он сильно раскомандовался, лезет вместо Сталина — и надо его едва ли не снять. Хрущёв кинулся к Жукову: «Спаси!»

А чтобы спасти — надо было собрать голоса ЦК, потому что в Политбюро Хрущёв был совсем в меньшинстве, а его враги собирать ЦК отказались.

Так это легче лёгкого! Семь десятков военных самолётов послал Жуков и всех членов ЦК доставил мигом в Москву. Ими — Хрущёв и взял перевес. И объявил и проклял антипартийную группировку Молотова-Маленкова-Кагановича и примкнувших, и примкнувших. (И Булганин, и Ворошилов тоже перекинулись к тем.)

Спасши Родину от германского фашизма, и спасши от перерожденца Берии, и спасши от антипартийной группировки — этими одолениями был теперь Георгий Жуков трижды увенчан, достойный, любимый сын Отечества.

И — никак не пришла б ему в голову такая пустячная забава, как писать *Воспоминания*.

Тут как раз надо было ехать с визитом в Югославию и Албанию. Поехал с флотилией в несколько военных кораблей по Чёрному, по Средиземному, по Адриатическому — славно прокатиться с непривычки.

А в Белграде узнал, что в Москве снят с поста министра Вооружённых Сил??!

Что это??? Какое-то недоразумение? переименование, реформировка? будет какой-то иной пост — равноценный или даже поважней?

Зашемило сердце. Опустело в груди — и вокруг всё, в этих визитах. Поспешно возвращался с надеждой — объясниться же с Хрущёвым: не может же он настолько не помнить добра — *дважды* спасённый Жуковым?!

А не только не помнил — уже, оказывается, на ЦК и в кремлёвских кругах заявлял: Жуков — опасная личность! Бонапартист! Жуков хочет свергнуть нашу родную советскую власть! Да в Москве прямо с самолёта — кто же? Конев! сопроводил Жукова в Кремль, и тут же исключили его и из Политбюро и из ЦК.

Из Белграда — ничего было не сделать. А добрался до Москвы — здесь и обезврежен, тут всё сменено, и не осталось линий связи.

Только теперь! теперь задним умом разобрался Георгий Константинович: был он слишком крупная фигура для Хрущёва. Невмоготу было — такого рядом держать.

Где там объясняться: в «Правде» — опять же Конев!! — напечатал гнусную статью про тив Жукова. Конев! — спасённый Жуковым от сталинского трибунала — вот так же в октябре, в Сорок Первом году.

Такого оскорбления, такого унижения, такой обиды — никогда за весь век не испытывал. (Сталин — тот был законный Хозяин, тот — выше, тот — имел право на Власть, но этот — прыщ кукурузный!?) Так было тяжело — стал глушить себя снотворными: и на ночь снотворное, одно, второе, а утром проснулся — сердце глохнет — и опять снотворное. И на ночь — опять. И днём — опять. И так больше недели укачивал себя, чтобы пережить.

Да и на том не кончилось: из Армии выкинули вовсе: в отставку. И на том не кончилось: начальником Политуправления Армии-Флота сделал Хрущёв всё того же Голикова, жуковского врага, — и именно Голиков теперь наблюдал, как пресечь все движения опального маршала и все возможные движения неотшатнувшихся друзей — к нему, на всё ту же подмосковную дачу в лесу, в его дом с обесмысленной колоннадой. (Да спасибо — дачу-то не отобрали.)

И вот тут — хватил Жукова второй инфаркт (если что-то не хуже).

И поднялся от него — уже не прежним железным. Как-то всё тело и огузло, и ослабло необратимо. Разрыхлилась и шея. И смяк — на весь мир знаменитый его беспощадный подбородок. И щёки набрякли, и губами стало двигать как-то трудней, неровно.

Одно время круглосуточно дежурили на даче медсёстры.

Теперь остались с Жуковым жена (она врач, и чаще на работе), маленькая дочурка, тёща да старый, ещё с фронта, проверенный шофёр. С интересом и участием следил за отметками, как Машенька стала обучаться в музыкальной школе. (Он и сам всегда мечтал играть на баяне, и после Сталинграда находил время маленько учиться. И сейчас на досуге поигрывал. Хотелось играть «Коробейников», «Байкал» и фронттовую «Тёмную ночь».) Ездил — только на любимую рыбалку. А то всё — на лесном своём участке, гулял, возился с цветами, в непогоду бродил по столовому залу, от огромного дубового буфета — до своего же бюста, работы Вучетича, и модели танка Т-34.

А внешняя жизнь — текла себе как ни в чём не бывало. Печаталась многотомная история Великой Отечественной Войны — но к Жукову не обратились ни разу ни за единой справкой... И само его имя — замалчивали, затирали, сколько могли. И, говорят, — убрали его фотографии из музея Вооружённых Сил. (Кроме Василевского и навешавшего Баграмяна все отвернулись от Жукова. Ну, Рокоссовского послали возглавлять польскую армию.)

И вот тут-то — многие, многие маршалы и генералы кинулись писать свои мемуары и издавать их. И Жуков поражался их взаимной ревности, как они выставляли себя и старались отобрать честь от соседей, а свои неудачи и промахи — валить на них же. Так и Конев теперь строчил (или

ему писали?) свои воспоминания — и во всём он чистенький, и бессовестно перехватывал себе славу достижений скромного и талантливого Ватутина (убитого бандеровцами). И уж на Жукова, зная, что он незащищён, кто только не нарекал. Артиллерийский маршал Воронов дошёл до того, что приписал себе и план операции на Халхин-Голе, и успех её.

И вот тут-то — взялся Жуков и сам воспоминания писать. (Да без секретарей, своей рукой, медленно выводил, потихонечку. А один бывший офицер-порученец, спасибо, помогал проверять даты, факты по военным архивам — самому теперь ехать в архив министерства и неловко, и ещё на отказ напорешься.)

Да вообще-то, военные мемуары — и неизбежная, и нужная вещь. Вон — немцы сколько уже накатали! вон, и американцы, хотя, по сравнению с нашей, что у них была там за война? Да печатаются воспоминания и наших незатейливых офицеров, даже младших, и сержантов, и лётчиков — это всё пригодится. Но вот когда генерал, маршал садится писать — надо ответственность свою понимать.

Писал — не находил в себе зла и поспешности спорить с ними всеми. (Да Василевский кой-кого недобросовестного и отчитал.) Непримиримость — она нужна в боях, не здесь. Не находил в себе злопамятства ни к Конёву, ни к Воронову. Протекли и месяцы, и годы опалы — и сердце отошло, умирилось. Однако несправедливостей — нельзя в истории оставлять. Хотя мягко — но надо товарищей поправить, поставить всё на место. Мягко, чтоб не дать им и дальше стравливаться за делёжкой общего пирога Победы. И в чём сам не дотянул, не доработал — о том в воспоминаниях тоже не скрывать. Ибо только на ошибках и могут учиться будущие генералы. Писать надо — истинную правду.

Хотя и правда — она как-то, с течением истории, неуклонно и необратимо меняется: при Сталине была одна, вот при Хрущёве другая. А о многом — и сейчас говорить преждевременно. Да... Войною — и кончить. Дальше — и не хочется, и нельзя.

И вдруг вот — скинули пустошлёпа! теперь не нашлось Жукова, чтоб его ещё раз выручить.

Но и положение опального маршала не изменилось в неделю или в месяц: так и висела опала, никем вновь не подтверждаемая (Голикова уже не стало), но и никем же не отменённая: кто первый осмелится на разрешающее слово?

Одно только позволил себе: съездил в Калужскую область, в родную деревню, — очень потянуло, не жил там, считай, полвека. И сильно огорчился: повидал тех, с кем когда-то в молодости танцевал, — все теперь старухи какие же нищие, и деревня как обнищала. «Да что ж вы так бедно живёте?» — «А не велят нам богаче...»

Но придвигалось 20-летие Победы — и новые власти не могли же не пригласить Жукова на торжество в Кремлёвский дворец. Первое за 7 лет его появление на людях. А вослед, неожиданно, — банкет в доме литераторов. И горячностью приёма от писателей — маршал был и тронут, и поражён. — И ещё раз, в тот же год, позвали его в дом литераторов снова — на юбилей одного знакомого военного писателя. Пошёл в штатском костюме, посадили в президиуме. А дальше юбилей юбилеем, сторонний гость, но когда в полдужине речей, без прямой связи, вдруг называли имя Жукова — писательский зал, московская интеллигенция — бурно, бурно аплодировала, а дважды и весь зал вставал.

Вот как!..

Теперь — разрешил себе Жуков и съездить в Подольск, в Центральный архив министерства обороны, и полистать кой-какие документы военных лет, и свои собственные приказы. Да теперь — и архивисты нашлись ему в помощь. Теперь — и на его опальную, всеми забытую дачу посочились то корреспонденты, то киношники — и приехала женщина от какого-то издательства АПН заключать договор на его мемуары, и чтоб он кончил за полгода (да он уже и дописал до Берлина). Могла бы выйти книга к его

70-летию, и чтоб отдать им всё распространение за границей? Ну, пожалуйста.

Ещё вот недавно — никто и не спрашивал его об этих листах воспоминаний, никто почти и не знал — а теперь они понадобились, да скорей, да — сразу на весь мир!

Теперь — гнать, к сроку? А эта раздумчивая, перебирательная работа за письменным столом — она совсем не для профессионального воина. Кажется, легче дивизию двинуть на пять километров вперёд, чем пером вытащить иную строчку.

Но зачастила редакторша — одна, другая. Они — и магнитофон предлагают; у них и все слова наготове, и целые фразы, и очень хорошо звучат. Например: «Партийно-политическая работа являлась важнейшим условием роста боеготовности наших рядов». Сперва это вызывает у тебя некоторое сопротивление: ты-то сам составлял боеготовность сколько раз, знаешь, из чего она. А постепенно вдумаясь: политическая работа? Ну, не самым важным, но, конечно, одним из важнейших. Или: «Партийные и комсомольские организации отдали много душевных сил, чтобы поднять боевое состояние войск». Вдуматься — и это тоже правда, и не противоречит оперативным усилиям командования. — А ещё приносят из архивов материалы, которых ты сам никогда не контролировал и не в состоянии проверить теперь. Вот, стоит чёрным по белому в донесениях политотделов: «За 1943 год наши славные партизаны подорвали 11 тысяч немецких поездов». Как это может быть?.. Но в конце концов не исключено: может, частично подорваны, где — отдельные вагоны, где колесо, где тамбур.

А попросил АПН узнать в КГБ: нельзя ли посмотреть, какие доклады подавали Берия и Абакумов на маршала? Узнали: как раз эти папки — все уничтожены как не имеющие исторического значения.

Зато вот что узнал: уже напечатано, и изрядно давно, нашей бывшей в Берлине армейской переводчицей, что она в мае 1945 в имперской канцелярии участвовала в опознании — по зубным протезам — найденного трупа Гитлера. Как? Разве труп Гитлера вообще нашли? Жуков, Главнокомандующий, победитель Берлина — ни тогда, ни потом ничего об этом не знал! Ему тогда сказали, что только труп Геббельса нашли. Он так и объявил в Берлине тогда, а о Гитлере, мол, ничего не известно. И в каких же он теперь дураках? Его подчинённые секретно доложили о находке прямо Сталину, помимо Жукова, — как же смели? А Сталин — не только Жукову не открыл, но в июле 1945 сам же и спрашивал: а не знает ли Жуков, где же Гитлер?..

Ну, такого вероломства — и такого непонятого — Жуков и представить не мог.

А думал, что за годы войны — хорошо, хорошо узнал Сталина...

И — как же теперь об этом признаться в мемуарах?.. Да это будет и политически неправильно.

Ещё этот обман тяжело пережил. (Ещё и эту переводчицу просил достать документы, которых сам не мог.)

А в члены ЦК Жукова так и не вернули. (Говорили: Сулов против.)

Но Конев — приехал как-то. Повиниться.

Через труд душевный — а простил его.

Хорошо ли, плохо, — рукопись сдал издательству в обещанный срок. Ну, куда там до книги! теперь это АПН создало группу консультантов — «для проверки фактов». И они, месяц за месяцем, вносили *предложения*, новые формулировки, 50 машинописных страниц замечаний.

Куда уж теперь дожидаться выхода книги к 70-летию! Работа потянулась — и за, и за... Много пришлось убирать, переделывать. Характеристики Тухачевского, Уборевича, Якира, Блюхера — все убрать. Вот ещё новое: не сам ты пишешь, что на сердце, — а что *пройдёт? пропустят* или не пропустят? Что своевременно — а что несвоевременно? (Да и сам же ты соглашаешься: да, верно. Так.)

Раньше писал просто сам для себя, тихо, покойно. А теперь — уже так загорелось книгу увидеть в печати! И — уступал, и переделывал. И промытарились с этими редакторами два с половиной года — а книги всё нет как нет. Тут стало известно, что почему-то и Политуправление армии и новоявленный маршал Гречко — против этих мемуаров. Но Брежнев пошёл навстречу, положил резолюцию: «создать авторитетную комиссию для контроля содержания».

Между тем на свой месяц декабрь (и родился, и под Москвой победил) поехал Георгий Константинович в санаторий Архангельское с Галей. А там — ударил его тяжёлый инсульт.

Долго отходил. Поднялся — но ещё менее прежний. Сперва — вообще не мог ходить без посторонней помощи. Массаж да лечебная гимнастика стали занимать больше половины дня. Ещё и воспаление тройничного нерва.

И плохо с головой.

Как-то и обезразличела уже будущая книга. А всё-таки хотелось и дожить.

Тем летом — наши вошли в Чехословакию. И правильно сделали: нельзя было такой разгул оставлять.

Тревоги Родины и всегда волновали Жукова больше, чем свои.

А в военном смысле — первоклассно провели операцию. Хорошо-хорошо, школа наша сохраняется.

Кончился и третий год редактуры. И передали откровенно: Леонид Ильич пожелал, чтоб и он был упомянут в воспоминаниях.

Вот тебе так... И что ж о том политруке Брежнев *вспомнить*, если в военные годы с ним никогда не встречался, ни на том крохотном плацдармике под Новороссийском.

Но книгу надо спасать. Вставил две-три фразы.

После того Брежнев *сам* разрешил книгу.

И в декабре же опять, но в жуковские 72 года, её подписали к печати.

Радоваться? не радоваться?

В глубоком кресле осев, утонув в бессилие — сидел. И вспомнил — вспомнил бурные аплодисменты в доме литераторов — всего три года назад? Как зал — вставал, вставал, как впечатывали ладонями его бессмертную славу.

Аплодисменты эти — были как настойчивый повтор тех генеральских закидов и надежд, сразу после XX съезда.

Защемило. Может быть ещё *тогда*, ещё тогда — надо было решиться?

О-ох, кажется — дурака-а, дурака сваял?..



ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

ОБРАТНЫЙ СЧЕТ

Прогулка

Под башенками старого моста,
под звеньями цепей громоздких
я прохожу и, повернув налево
по набережной, вижу школу,
решетку, узкий садик и подъезд,
детишек, что наследовали этот
дворец образования, еще
при Александре Третьем он построен,
купечеством подарен Петербургу,
и попечители не мелочились.
Все выписали: лучшие приборы
из Нюрнберга, бюсты мудрецов
из Рима, чучела — и те с Урала.
Неужто ты меня не узнаешь?
О школа, школа, я твой недоучка,
возьми меня назад и просвети
не арифметикой с чистописаньем,
а верною наукой олимпийской —
играть с богами, подавать им мяч
и уворачиваться от копья и диска —
тогда не зашибут, и жизнь пройдет
в прекрасном ауте. Как хорошо —
Фонтанка за спиной и мельтешит
проспект, как в перископе.
Туда успеется. Покуда же свернем
в огромную готическую арку,
особый двор, заброшенный фонтан,
восьмиэтажие гранита и лепнины,
на стенах полувывы-полугрифоны.
И снова арка, и за ней укромный
сквозь подворотню выход в переулок.
Вот здесь стоял мой флигель. Он снесен.
И только кубометры как будто заштрихованы погуще
на уровне второго этажа.
И если вслушаться, то долетают гаммы,
сначала гаммы, а потом слова.
Когда стемнеет, там засветят лампу.
Терпение. И я увижу всех.
В квадратной комнатухе за столом
они сидят, десяток круглым счетом,
и лица молодые, как монеты
из благородных сплавов,
чекан на них еще не нанесен,
и потому металл играет вышукло и тускло.

А на столе лежит ржаной пирог.
 Хозяйка, равномерно опуская
 широкий нож, разрежала его,
 и каждый получил свое.
 И жадно заходили кадыки
 под музыку, которая в эфир
 влетела пышной оперой наивной,
 быть может, фараоновых времен.
 Бесстыдно проливалась кантилена,
 чудил оркестр, и свершался рок.
 Земная слава. Царство. Пирамиды.
 Изгнание. Предательство. Поход.
 Верблюжьих караванов в аравийский
 предел. Там в глубине шатра
 сидит Шаляпин в виде Азраила
 и выдувает закаленной глоткой:
 «Так ты еще в дороге, а тебя
 я поджидаю, заходи, приятель.
 Ты вовремя». Вот так все и случилось.
 Тех Азраил унес, а тех «Аэрофлот».
 Вот этот поднимает пирамиду,
 еще при жизни заключен в нее,
 а этот затонул, как Атлантида.
 И все-таки, пока я здесь стою
 и вижу мне милых призраков,
 усопших и живых, блаженных
 и отверженных, и тех, кто душу
 погубил блаженства ради, —
 еще не поздно, занавес еще
 не спущен, и над ямой оркестровой
 взвьется примирительный отбой.
 Так что же я прервал свою прогулку
 посередине, мне еще брести
 туда-сюда, я, право, застоялся.
 Теперь на Троицкую и к Пяти Углам.

Портрет

Я снова здесь живу. По вечерам
 двойная рама потолка прозрачна —
 я вижу небо, сполохи, рекламу
 с высотных башен. Много-много раз
 я останавливался в мастерской
 приятеля, простого живописца,
 ничуть не вовлеченного в модерн.
 Люблю я мастерские, скипидаром
 пропахшие и лаком, где висят
 грунтованные свежие холстины,
 где масло, и гуашь, и акварель.
 Когда-то собирались мы под этим
 прозрачным потолочным перекрытием,
 шумели, пили, ссорились, мирились
 и разбрелись по свету под шумок.
 Но живописец никуда не съехал,
 а только обветшала мастерская
 да запылились старые полотна.
 А нынче он в отъезде, я вселился
 и, возвращаясь где-то к полуночи,
 пью одинокий чай, звоню в Москву.

И долго-долго на один портрет,
написанный еще в шестидесятых,
гляжу. Ультрамарин и охра,
мазки краплака затевают вдруг
густое карусельное кружение,
и неотступно следит за мной модель,
куда бы я ни пересел.
А северная ночь подходит к раме —
так одиноко, так светло, так страшно.
И тишина, как ветхая обивка,
почти что зримо пропускает голос:
«Ты здесь всегда, а где же твой двойник?
Как будто в Калифорнии, а может,
в швейцарских Альпах или на Таити.
Скажи мне правду, что же это было
тогда вот в этой самой мастерской?
И почему сюда я возвращаюсь,
как будто что-то должен я понять
здесь именно. Теперь-то знаю я —
тут все случилось и легли
отсюда на будущее тени. Но поверь:
ни ты, ни я, ни он не догадались
об этом вовремя. А просто молодость,
кипенье золотое шампанского,
напудренный твой локон,
зеленый пар за краем голубым.
Ты помнишь, как порезала ладонь
о гвоздь подрамника? Ты помнишь —
разведенные мосты сюда нас не пускали
с Петроградской».

Прошло десятилетие, и снова
тебя увидел я. Сверкал аэропорт
латунью и надраенным стеклом,
как палуба, шатался эскалатор,
и там стояла ты, и я подумал —
совсем другая. Через пять минут,
как будто повернули киноленту,
и все вернулось. Я тебя узнал.
Нет этих лет, и нет проклятой тени —
такая точно, как тогда, тогда...
И вдруг расплакалась.
Ты помнишь, мы сидели на веранде,
фонтанчик бил в саду и водяною
цветною пылью застилал тебя.
И ты мне объяснила, что случилось:
— Ты не ревнуй, — сказала ты, — что толку?
Прости меня, прости его.
Он по тебе скучал и говорил,
что вспоминает питерские дни,
те давние, что не было их лучше,
что все запуталось непоправимо
и даже здесь спасенья нет, увы.
Да что теперь об этом говорить?
Он много зарабатывал, потом
уехал на Восток, я здесь осталась,
вот в этом доме. Не было его
полгода. Что-то там он натворил,
с какими-то деньгами, почему-то
все выпустил из рук и много пил.

Но это мне уже передавали,
а я его увидела в гробу
и привезла сюда, похоронила
на нашем кладбище, откуда
виден океан, откуда такая даль
и чайки, быть может, он среди них.
Ты не спеши, живи, второй этаж
пустует, если хочешь,
куда-нибудь поедем, поглядим
на Калифорнию, уладим все дела,
потом вернемся... —
Что я могу тебе сказать, портрет?
Что жизнь — суровый кредитор
и тайно пишет свою строку,
где дважды два — в уме.
Не обойдешь таблицу умноженья.
Но ты, портрет, ты знаешь, у меня
нет выбора, я должен расплатиться
за то, что подписал когда-то долгий,
неравный договор,
который не обжалуешь, поскольку
твой долг скрывают даже от тебя.
Кто виноват, совсем не ты, портрет,
совсем не я.
Мне только нужно по временам поговорить с тобой,
вглядеться в эти точные мазочки —
краплак, ультрамарин —
и знать, что я всегда тебя увижу здесь.
И ты, портрет, переживешь все смуты,
все то, что неотступно нам грозит.
Покуда под стеклянным потолком
я слышу голос твой, не сплю, перебираю
колоду дней, где ты козырный туз,
покуда я сам ее сдаю — все хорошо,
ведь мы играем на другие деньги.



СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ



ПИСЬМО ИЗ СОЛИГАЛИЧА В ОКСФОРД

Роман

Между бумагами вашими находится рекомендательное письмо англичанина Коока к приятелю своему Марриоту, в Лондон, в коем он пишет, что вы едете в Англию для исследования нравственных причин благоденствия того края, дабы ввести оные, буде возможно, в России. Кто таков англичанин Коок и какие именно причины нравственного благоденствия предполагали вы исследовать в Англии?

Из допроса П. Я. Чаадаева по возвращении его из-за границы в 1826 году.

Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного.

Евангелие от Матфея.

Из своей комнаты в колледже я вышел утром в половине пятого, нагруженный чемоданом, большой наплечной сумкой, тяжелой связкой книг и рукописей, пакетом с чаем, пакетом с фруктами и сладостями и множеством свернутых в трубку толстых газет. Как поднял все это — не знаю. Если бы порвалась ручка наплечной сумки, за которую я особенно боялся, если бы лопнул один из перегруженных полиэтиленовых пакетов, я оказался бы в безвыходном положении. Времени до вылета оставалось в обрез. К счастью, ваши чайник, плитку и кастрюлю я успел упаковать накануне поздно вечером, пока ждал Алису с письмами, и, чтобы не тревожить вас, отнес все это вместе с прощальной запиской в привратницкую, написав на пакете: «*Dr. В. Н.*», то есть вам. Там же (было уже за полночь) справился у дежурного привратника, как мне рано утром, когда все будут спать, распорядиться своими ключами. И действовал теперь в полном соответствии с указаниями этого пожилого краснощекого джентльмена: отпер изнутри тяжелую дубовую калитку, поставил свой чемодан так, чтоб она не захлопнулась, взбежал по каменным ступеням в дежурное помещение под большой башней и опустил ключи в ящик с прорезью. А затем вернулся к своим вещам, оглядел в последний раз темный двор колледжа, попрощался с одинокой утренней звездой над шпилем часовни и с тяжелым сердцем защелкнул за собой замок. Все. Russian professor, как звали меня в эти два месяца в колледже, покинул гостеприимный кров.

Вам приходилось лежать в больнице? Маешься от безделья, скучаешь от бедной больничной пищи, тревожишься о близких, с нетерпением считаешь дни до выписки. И вот наконец прощаешься с соседями по палате, лихорадочно одеваешься в цивильный костюм, выходишь на свежий воздух, на улицу, дух захватывает от множества впечатлений... и тут же пронзает мысль, что этой обыкновенной жизни тебе теперь просто не выне-

сти. Там, в тесной палате, рядом с кряхтящими и стонущими бедолагами, ты был огражден и защищен от всех напастей. Там, расслабляясь с утра до вечера и с вечера до утра в теплой постели, ты позволял себе роскошь прислушиваться к любым своим недомоганиям и предполагать болезни даже там, где их у тебя не бывало. Здесь, в торопливом уличном потоке, в транспортной давке, ты вновь — как один напряженный комок нервов, и уже не уловить, какие смертные процессы идут сейчас в твоём организме, не до того...

Влажная каменная мостовая отсвечивала под редкими фонарями. Я был еще в Англии — и как бы уже не был. На полутемной посадочной платформе стояла по-русски длинная очередь, но спокойствие и неспешность ее были английскими. Автобус был тоже английским: руль справа, входная дверь слева, — но водитель чисто по-русски не желал отвечать на вопросы. Никто в очереди толком не знал, куда и когда он отправляется. Несмотря на это люди отдавали водителю свои чемоданы, и он забрасывал их в багажник. Меня одолевали свои проблемы: я думал, что из вещей отдать в багаж, что взять с собой в салон, — и не заметил, что водитель успел разобраться с теми, кто стоял впереди, и перешел к тем, кто сзади.

— Возьмите это! — напомнил я ему про свой чемодан.

Он не обратил на меня ни малейшего внимания. Мне стало страшно. Этот человек не понимал моего английского! До сих пор, все два месяца, меня здесь понимали и только интересовались иногда: *where do you phone from?* (так сказать, откуда вы фоните?). И вот теперь, когда я собрался возвращаться в ту страну, *откуда я фонил*, меня перестали слышать! Хмурые невыспавшиеся люди из очереди тоже, по-видимому, не понимали моего английского. Сейчас автобус уйдет, и я останусь на улице в чужой стране.

— Почему вы не берете мой чемодан? — закричал я водителю, рябому парню с короткой спортивной стрижкой. — Почему не отвечаете на вопросы? Я опаздываю на самолет!

Шофер удостоил меня короткого взгляда и вдруг отбросил ногой усердно пододвигаемый к нему чемодан. Я почувствовал себя совсем как в России и сжал кулаки.

— Подождите, — спокойно сказала женщина позади меня. — Он вначале берет багаж у тех, кто едет дальше вас.

Ах, какое доброе было у нее лицо!

Мой английский еще понимали.

В чемодане лежали одежда, запасная обувь, белье, кое-какие личные предметы, бумаги — все то, что я брал с собой в двухмесячную поездку из Москвы. Было межсезонье, я не знал, какая погода стоит в Англии от октября до Рождества, но лишнего с собой, кажется, ничего не взял. В наплечную сумку вошло два шотландских свитера, красивый клетчатый шерстяной плед, брюки и джинсы, две пары обуви, майки, носки, сувениры — все новое, купленное в Англии. Там же был ваш замечательный подарок моей жене.

Кстати, перед самым отъездом я зашел в «Marks & Spenser» (название, заслужившее множество изощренных шуток русских школяров в Оксфорде) — довольно дорогого универмага, в который я по этой причине старался не заглядывать, — нечаянно увидел на витрине этот самый предмет и пришел в замешательство от его цены. Вы предусмотрительно оборвали ярлычок с подарка — обычай, распространенный, как мне раньше думалось, только в бедной мнительной России. Много из того, что мы делаем у себя с тайным смущением, принято, оказывается, повсюду...

В ту же сумку я поместил два дорогих словаря оксфордского издания и кассету с рождественскими хоралами. Часами глядя на них в магазинах, я в конце концов справедливо рассудил, что таких словарей, равно как и такой музыки, в России не достанешь ни за какие деньги. О, сколь редко

посещала меня в Англии эта разумная мысль, сколь многое я безвозвратно упустил, понапрасну экономя!

Сейчас странно вспоминать благоговейное чувство, которое я испытывал к маленьким увесистым фунтовым монетам и хрустящим банкнотам с портретом королевы, что лежали в моем кошельке. Странно думать, какие грандиозные надежды возлагались на сэкономленные в Англии гроши. Странно отдавать себе отчет, на что они в конце концов были потрачены.

В пластиковом пакете с фруктами лежали: ананас, пять больших апельсинов, два лимона, с десяток киви (впрочем, что я прикидываюсь: их было ровно одиннадцать штук, как раз на фунт — каждый киви стоил девять пенсов), шесть жирных авокадо и большая виноградная кисть. Это предназначалось для новогоднего стола. Там же в отдельном пакете находились две коробочки с конфетами и десять плиток шоколада.

Чай... Мне бы хотелось посвятить ему отдельные страницы. Может быть, все, что я вам пишу, окажется в конце концов длинной похвалой чаю. Было же кем-то из иностранцев сказано, что именно он спасает желудки и мозги русских. Укажу приблизительное количество: упаковок двадцать разного веса, разных сортов, всего, наверное, около четырех килограммов. Не так уж много, если учесть, сколько мы его потребляем.

Опишу еще два предмета, один из которых тянул чуть не на четверть всего груза. Это была известная вам объемистая рукопись, упакованная вместе с несколькими книгами и альбомами в плотную бумагу и обвязанная бечевкой. Книги и альбомы эти я опрометчиво согласился доставить по разным адресам в Москве. Вы хорошо знаете, как это бывает: посылки из-за рубежа в Россию редко доходят благополучно, письма идут полтора-два месяца, поэтому мои соотечественники стараются до предела использовать всякую оказию. Навязывали мне еще и чужой компьютер, но, слава Богу, удалось отвертеться...

И последнее — газеты. Я собирал их с первого дня приезда: что-то успевал прочесть, что-то интересное откладывал на потом. Следил по ним за событиями в России. Огорчался, кипел, пытался объяснить вам здесь, в Англии, что все на самом деле не так, как пишут ваши обозреватели, — и тут же, бывало, находил в свежем номере подтверждение своим мыслям. По газетам узнавал о конфликтах в королевском доме и изучал родословную правящей династии. По ним, по большим цветным фотографиям на их полосах, следил за виндзорской трагедией. Эти газеты были мне дороги, они напоминали о мире, с которым я не хотел расставаться. Наконец, они питали во мне надежду побыть еще какое-то время в стихии английского языка — я был уверен, что сразу по возвращении в Москву прочту эти толстые тетрадки от первой до последней страницы.

Если бы знать!..

В аэропорту я предъявил для взвешивания чемодан и, чуть поколебавшись, поставил рядом с ним сумку. Сверток с газетами прислонил к стойке, остальное держал в руках.

— Тридцать восемь килограммов, — сказала служащая в форменном облачении. — Придется доплатить.

— Нет-нет, — торопливо возразил я. Просто потому, что заранее решил не доплачивать. Это стоило слишком дорого. «Аэрофлот» и без того изрядно обчистил мои карманы, взяв дорожку, чем я заплатил бы в Москве за билет до Лондона и обратно, дорожке даже, чем обошелся бы мне в это время года полет на комфортабельном лайнере британской компании. Соотечественники попросту обманули меня, воспользовавшись моей неопытностью. Несколько вечеров я провел в лондонском офисе «Аэрофлота» на Пиккадили, взывая к их совести, но тщетно.

Я был готов ко многому. Но не к этому громадному весу.

Не чувствовал я тяжести, когда бежал со своим багажом от ворот колледжа до автобусной станции часа два тому назад! За ручки боялся, но чтобы было слишком тяжело — не помню. Тридцать восемь! И это не считая всего того, что я едва держал в руках и чего эта женщина, к счастью, не видела.

Чемодан должен был тянуть не более чем на двадцать килограммов, предельных для бесплатного провоза. Сумка — килограммов на шесть. Ручная кладь. Допускается же брать с собой в салон пять килограммов ручной клади! Зонт, книжку и прочие мелочи. Опытные путешественники рассказывали мне, что пластиковые пакеты в руках вообще не в счет: их не принимают в багаж и потому не взвешивают. О газетах и говорить нечего. Их я взял почитать в самолете. Рейс долгий. Перечитаю все и оставляю в кресле.

— Простите, — сказал я, очнувшись. За мной стоял длинный хвост пассажиров, торопившихся оформить вылет. — Я передумал сдавать сумку. Возьму ее с собой. Там мой зонт. — И стащил сумку с весов, перехватив все пакеты в одну руку.

— Такую большую сумку нельзя брать в салон, — бесстрастно сказала служащая. — Чемодан весит двадцать семь килограммов четыреста граммов. Вам придется доплатить... — И она склонилась над конторкой, считая.

Очередь молча ждала. Я медленно соображал, как связана женщина за стойкой с «Аэрофлотом». Не на эту ли подлую организацию она работает?

— Мне продали не тот билет, какой я просил, — заговорил я, тщательно подбирая слова. — Фактически я заплатил двойную цену. И вы еще требуете доплаты за багаж! Я хотел бы побеседовать с представителем «Аэрофлота».

— Представительство «Аэрофлота» на втором этаже. Откроется в десять, через час после вылета вашего самолета.

Она тут была ни при чем. Она по-английски четко и честно выполняла свои обязанности.

— Что у вас в руках? — вдруг спросила служащая. — Положите весь багаж на весы.

— Это пакеты, — невнятно возразил я, машинально подчиняясь ее властному голосу. — Не отнимете же вы мои пакеты?

— Еще багаж есть? Кладите все, иначе вас не пропустят в самолет.

Она раскраснелась, эта честная англичанка, но продолжила сохранять достойную сдержанность. Во взгляде ее мне почудилось сострадание.

Вместе с пакетами на весы лег наконец сверток с рукописью и книгами. Газеты я выставить не решился, заранее принеся их в жертву.

— Шестьдесят два килограмма, — тихо сказала женщина. Лицо ее просто пылало, глаза из серых стали синими. Она была не первой молодости, но показалась мне теперь очень красивой. — Заплатите или откажетесь от полета? Если будете платить, я подсчитаю...

— Мне нечем платить, — уныло сказал я и медленно отошел в сторону.

Наверное, моих денег как раз хватило бы, чтобы заплатить за этот чудовищный багаж. Но с деньгами были связаны слишком большие ожидания, чтобы я мог легко с ними расстаться. А главное, стоила ли игра свеч? Газеты, рукописи, старые башмаки... Хлам. И чужие посылки.

Придется с чем-то расстаться. С чем?

Ну, с газетами я и так уже мысленно расстался. Но из остального готов был пожертвовать разве что чемоданом с домашними вещами: единственный выходной костюм, единственные туфли да штук пять рубашек, которыми тоже не было замены. Посылки? Как ни мало знал я их отправителей, все же я оказался связанным с этими людьми обещанием. О большой рукописи вообще не могло быть речи: тут я дал слово не случайному знакомому — вам; я сам выпросил у вас этот драгоценный экземпляр, чтобы помочь книге выйти в России.

Каюсь, в ту минуту я эгоистично подумал: как жаль, что вам не пришлось меня проводить! Я вернул бы вам рукопись — до лучших времен. Упросил бы взять чужие посылки и отдать их назад отправителям с моими извинениями. Это уже минус тринадцать килограммов. С радостью отдал бы вам продукты — пригодятся. Минус еще семь. Остается...

Остается сорок два.

Говорят, лишние вещи можно сдать в аэропорту и их отправят по указанному адресу. Но есть ли гарантия, что рукопись до вас дойдет?

Мне казалось, что у меня жар, лихорадка, тяжелая форма гриппа. Колени дрожали. Я прислонился спиной к колонне, и тут почему-то вспомнилось давнее событие: лет пятнадцать назад, только-только окончив институт, я вот так же стоял у колонны в ленинградском метро — никому не нужный, бездомный, не имея возможности устроиться на работу, оттого что в паспорте не было штампа о прописке, — стоял в старом мешковатом пальто с дырявыми карманами, скрипел зубами от ненависти к наглым милиционерам, к крикливым бабам в форменных тужурках у турникета, ко всей этой матерящейся, лузгающей семечки, пахнувшей чесноком и водкой толпе, спешащей с заспанными глазами на фабрики-тюрьмы без надежды, без цели, без будущего, к этой стране рабов, стране мертворожденных, — и вдруг словно из тумана или сквозь заледеневшее стекло, в котором отталось овальное окошечко, явилось передо мной участливое женское лицо.

— Вам плохо? — спросила она. — Вам помочь?

Я был здоровым парнем — может быть, лишь несколько более бледным в ту минуту, чем обычно. Она была уже немолодой и торопилась с сумочкой на работу...

До вылета оставалось не более получаса. Очереди у регистрационных стоек таяли. Я подумал, что мое положение, в конце концов, куда лучше, чем пятнадцать лет назад. У меня есть выбор. Можно было отказаться от рейса и потом учинить скандал в «Аэрофлоте». Но я не знал, сколько потеряю на билете. К тому же на Пиккадили меня заверяли, что мест на аэрофлотовские рейсы нет до середины января. Так что можно было недели на три застрять в Хитроу. Уж они постараются, чтобы все было именно так. И что значит — учинить скандал? Формально я не прав: сам купил дорогой билет, сам притащился с невообразимым багажом... Здесь Британия.

Наконец, меня ждут дома. Жена уже втиснулась в промерзший автобус и едет в Шереметьево, чтобы торчать там час, другой, третий — пока посадка, пока прибудет багаж, пока досмотр... Что она подумает, если не найдет меня? Когда и как я смогу ей все это объяснить?

Возражений было так много, что я не додумался до самого простого: ведь мой багаж останется при мне. И завтра, и через три недели. Разве что съем с голодухи виноград с апельсинами да сгрызу шоколад.

Признаться честно, дорогая моя, в моей голове бродила время от времени еще одна мысль. Ах, вы не хотите вывозить меня из Англии? Что ж, вам же хуже. Это совпадает и с моим желанием. Если расхотеть на еду так же умеренно, как я делал это до сих пор, оставшихся у меня фунтов стерлингов хватит еще месяца на три. Спать буду в аэропорту или где придется. Англия — не слишком морозная страна. Поверьте, в любом случае мне здесь будет не хуже, чем дома. Когда-нибудь вы поймете это и, может быть, отправите меня домой на казенный счет. А может быть, я получу вид на жительство и останусь тут навсегда.

Это была своего рода игра воображения — многим знакомая отчаянная игра, когда свешиваешься с балкона на двадцатом этаже и хочется нырнуть вниз.

И вот тут-то меня окликнули на чистейшем русском. Вы помните худого, нескладного молодого человека, обедавшего с нами однажды в колледже Св. Антония? Меня с ним познакомил тогда, помнится, профессор Смолянский. (Забавный старик! Он все спрашивал, ходит ли нынешняя молодежь в церковь, как будто в этом спасение России...) За кофе мы перекинулись несколькими фразами, я узнал, что юноша преподает историю в одном из наших провинциальных университетов и приехал в Оксфорд поработать в архивах, но не запомнил даже его имени. И вот теперь он шел ко мне через весь зал, размахивая длинными руками и застенчиво

улыбаясь. Он летел домой тем же рейсом! И на плече у него болталась всего одна сумка!

Договаривались на ходу. Олег (так его звали) берет на себя рукопись с книгами и два моих пакета. Мне казалось вернее подойти к старой знакомой, которую я почти уже разжалобил, но там армянская семья взвешивала с полдюжины добротных импортных чемоданов и несколько картонных коробок, разбираясь с доплатой, и Олег потянул меня к соседней, свободной, стойке. Регистрация заканчивалась.

— Здесь только книги, — зачем-то сказал Олег, положив на весы свою сумку и часть моего багажа.

Стрелка весов прыгнула к сорока. Никогда бы не подумал, что его сумка была такой тяжелой!

— Это невозможно, — сказала рыжая девушка-регистратор.

— Это невозможно, Олег, — повторил я вслед за ней по-английски. — Мы с ним едем вместе, девушка, вот в чем дело. Поэтому я возьму часть его багажа. О'кей? Мы ученые люди, русские философы. Нам нужно вернуться домой.

На весы легли мой чемодан и все пакеты. Сумка осталась у меня.

Казалось, пауза никогда не кончится. Армяне благополучно заплатили за свой багаж и освободили соседнюю стойку. Знакомая регистраторша глядела оттуда синим взором в мою сторону, но как будто сквозь меня, словно я стал прозрачным. Она о чем-то глубоко задумалась. Рыжая глядела на нее. Мне почудилось, что они давно в сговоре. Сейчас все должно было решиться.

— Поставьте на весы вашу сумку, — сказала рыжая.

— Пожалуйста, — угрюмо ответил я. — Только я все равно возьму ее с собой в салон. Там зонтик и другие необходимые мне в полете вещи.

Моя судьба была предreshена.

— Это невозможно, — вынесла ожидаемый приговор рыжая.

Самое плохое, что у нас не осталось ни минуты для маневра. Где-то в глубине холла уже закрывали двери, пропуская последних пассажиров.

— Что, мы не сможем улететь?

— Нет.

Теперь я задерживал Олега: он рисковал из-за меня остаться. Я плохо сознавал ситуацию. Например, до меня еще не дошло, что мой сверток с рукописью и книгами уже «улетел» в багаже Олега.

— По меньшей мере, — сказала рыжая, металлически чеканя звуки (о, как я ненавижу в это мгновение английскую речь!), — по меньшей мере сдайте в багаж сумку.

— Но там зонтик!

— С такой большой сумкой в салон нельзя.

— У нас нет денег!

— Ну хорошо. Вы можете сдать сумку в багаж?

— Могу. А дальше?

— Идите на посадку.

— Что? Со всеми моими пакетами?!

Олег уже ушел вперед и подмигивал мне издали.

— Да, пожалуйста.

— И ничего не надо платить?!

— Вам же нечем платить!

— Постой, — окликнул я Олега. Тяжелый рулон с газетами все стоял у соседней стойки, где я его бросил. Под взорами обеих женщин я вернулся и прихватил его под мышку (руки были заняты).

— Теперь можно, — бессмысленно бормотал я, нагнав Олега. — Теперь уже все можно...

— У нас новая собака, — осторожно сказала жена, когда мы шли от станции к дому. — Ты знаешь?

Это была невинная игра. Мы просто были рады, что мое возвращение и наша встреча все-таки состоялись. Мы старались не спугнуть настрое-

ние. Падал мягкий снег — первый для меня в этом году. Впереди ждал ужин, называемый в Англии обедом, а в сумках и пакетах, которые мы теперь едва волочили вдвоем, лежали восхитительные вещи, для меня сейчас, пожалуй, не менее заманчивые, чем для нее.

Ей ли не помнить наш телефонный разговор?

В тот день мне пришлось быть по делам в Лондоне. Я надеялся заработать на Би-би-си после долгих и мучительно сложных, взаимно нетерпимых отношений с русской редакцией. По дороге от набережной к Бушхаус решил позвонить жене. На купленной позавчера магнитной телефонной карточке у меня оставалась небольшая сумма: минута, может быть, полторы минуты разговора с Москвой.

— Говорю из Лондона. Из будки вижу Темзу. Здесь сегодня дождь. Как дела? Как там наша замечательная охранница?

Молчание.

— Ну что молчишь? Как собака поживает, спрашиваю?

Пауза. Мне показалось, жена плачет.

— Эй, что с тобой? Отвечай!

— Ничего. Со мной порядок.

— Слава Богу. А собака?

— А собаки нет...

Гудок. Пустая телефонная карточка выскочила из щели автомата.

В тот день, поверив утреннему солнцу, я не прихватил с собой из Оксфорда ни зонта, ни даже кепки. Ледяной дождь студил непокрытую голову. В кармане фунта полтора мелочью, но рядом, как назло, нет монетного автомата: все глотали только магнитные карточки. Лондон казался мне в эти минуты слишком холодным и враждебным. Он напоминал Петербург, в котором я провел юность. Та же промозглость. То же сиротливое чувство заброшенности и беспомощности.

Хотелось поскорее сесть в экспресс и снова оказаться в ставшем уже родным маленьком Оксфорде.

Главным моим переживанием был страх за жену. Мы жили на чужой даче в безлюдном лесном поселке под Москвой. Зимой в этих местах ни души. Когда я уехал, жена осталась вдвоем с собакой. По телефону она рассказывала, что по ночам в пустых окрестных домах бьют стекла и взламывают двери, два дома неподалеку сгорели. Собака поддерживала дух. Она была настоящим членом нашей маленькой семьи. Это было очень живое, подвижное существо — может быть, самое живое из нас троих...

Под мостом отыскался наконец монетный автомат. Я пристроился в небольшую очередь, пытаюсь согреть простывшую макушку ладонью. Завтра я, наверное, слягу, но сейчас это не слишком важно. Я прикидывал: фунт означает минуту разговора, не больше. Полфунта — еще секунд двадцать. Когда включается счетчик и цифры на табло стремительно мчатся к нулю, трудно произнести даже пару осмысленных фраз. Я должен взять себя в руки и успеть узнать *все*.

Тяжелая монета упала в щель, но цифра на табло не появилась. Я повесил трубку. Деньги не вернулись. Я снова снял трубку и подергал за рычаг. Попытался набрать номер. Телефон был глух, как кусок чугуна. У меня, впрочем, оставались еще полфунта. На этот раз телефон почему-то заработал. Гудки, бесконечные длинные гудки — там, дома, не берут трубку. Ты плачешь? Ты ушла? С тобой несчастье?.. Но вот ответили.

— Что с собакой? Говори, не тяни!

— Хорошо, что ты позвонил еще раз...: Она умерла. Вчера.

— Ее убили?

— Нет... Да. Почти.

В тот вечер вы, добрая душа, пригласили меня отобедать с вами в колледже Св. Антония (вы частенько подкармливали меня за свой счет). Вы помните, каким я пришел туда.

— Не верю, что я в Англии, — повторял я, не притрагиваясь к еде и вину. — Может быть, такое происходит здесь только со мной? Может

быть, это наше внутреннее свойство — навлекать на себя несчастья, свойство измордованных русских, которые, как бродячие собаки, постоянно ждут пинка?..

— Нет-нет, — утешали вы меня на своем русском. — Вы не виноваты. В Лондоне часто не работают телефоны. Их там ломают.

Московские знакомые предложили жене пса, которого они из жалости подобрали на улице. Это черное коротконогое существо невзлюбило меня с первого взгляда. Жена представила мне его с надеждой и робостью — так француженка, подумалось мне, знакомит мужа со своим неказистым любовником. Пес злобно тявкал и норовил меня укусить...

Нам, впрочем, было не до него. Вечер и часть ночи мы рассматривали и примеряли обновы. Между делом, конечно, поужинали, хотя чинного английского *обеда*, какой я предвкушал, не получилось: когда закипал, например, чайник, жена бежала заваривать чай в одном бюстгальтере и джинсах, потому что не успела натянуть новый свитер... Отщипывая между делом благополучно долетевший виноград и запивая его припасенной с лета «Массандрой», мы перебрали и перемерили все вещи и принялись рассматривать их по второму разу. Теперь уже более придирчиво. Эта вещь в самый раз, а вот эта узковата. Это тебе, это мне, а вот это подарим такому-то. Впрочем, подарков набиралось не много, только самым близким. Роскошный шотландский плед, например, я купил маме. Вы знаете фирменный магазин шерстяных вещей на углу Сейнт Олдейтс и Хай-стрит? Там же я приобрел себе и жене по свитеру, совсем недорого. О моем, крупной вязки, темно-зеленом с коричневой ниткой (мой цвет!), я мечтал, кажется, всю жизнь. Вы, должно быть, забыли, а ведь именно ради этой покупки я прибежал к вам ранним утром занять двадцать фунтов. Мне казалось, до моей полочки такие свитера не долежат, их *разберут*...

Только той ночью мы оба впервые рассмотрели ваш подарок. Не буду описывать наши чувства — об этом нужно сочинять роман. Иногда мне кажется, что я и пишу такой роман, и дай вам Бог, моя дорогая, набраться терпения дочитать его до конца, а мне — суметь сказать все, что я должен вам сказать.

Даже не знаю, кто из нас в ту ночь больше радовался — жена или я...

Наутро выглянуло робкое декабрьское солнышко. Жена отправилась выгуливать пса, я смотрел на них из окна. Этот пес, будучи по всем признакам дворнягой, имел капризный характер и ни за что не желал гулять один. Совершенно свободный, он часами недвижно сидел у крыльца на морозе, дожидаясь, пока жена прицепит его к поводку и пройдет с ним вдоль забора. Это у него, городского извращенца, и называлось прогулкой. Мы, впрочем, не знали его прошлого; жена уверяла, что у бедняги было тяжелое детство...

Их прогулка по припорошенным снегом кочкам навевала образ задумчивой, неторопливой и бедной жизни. Уже после первых реплик жены в аэропорту мне стало ясно, что в России за время моего отсутствия многое переменялось. Еще в самолете я с некоторым самодовольством ощупывал под пиджаком бумажник, где лежали сэкономленные хрустящие банкноты. По моим расчетам, этих денег вполне могло хватить на автомобиль. Когда я уезжал в Англию, «Москвичи» стоили двести — триста тысяч рублей. Теперь, бросив нечаянный взгляд на рекламную полосу в газете, с изумлением прочел цену самой дешевой марки: два с половиной миллиона! Обменный курс рубля понизился за эти два месяца всего раза в полтора, не больше.

Впрочем, машина не была для нас вещью первой необходимости. Провожая меня за границу и ничего еще не ведая о моих грядущих доходах, жена шутиливо мечтала:

— Когда у нас будет квартира, давай сначала купим холодильник, ладно?

— Нет, сначала диван.

— Нет, холодильник!

Нам обоим было уже за сорок.

Теперь мы старались избегать этой темы, все еще на что-то надеясь.

В конце концов, солнце, искристая пороша, дятел на высокой сосне возле дома — все это было не так уж плохо даже после великолепного предпраздничного Оксфорда. У вас начиналось Рождество. Мы тоже взяли обсуждать, как проведем новогодний праздник. Не поехать ли в пустующий дом в Солигаличе? Разгрести снег у крыльца, затопить русскую печь... Впрочем, сельских радостей нам хватало и здесь. После долгого путешествия мне не хотелось новых дорог и скитаний. Нам не было скучно друг с другом. Я объявил, что пожертвую два-три фунта стерлингов на отличную говяжью вырезку, что продается в валютном гастрономе на Арбате. Мне хотелось, чтобы жена хотя бы раз почувствовала себя почти совсем как в Англии.

Вечером раздался неожиданный звонок от сестры. Она жила вместе с мамой в Вятке, за несколько сотен километров от Москвы. Накануне я разговаривал с ними обеими по телефону, обещал навестить их с подарками из Англии...

— Мама уснула после обеда и теперь не встает, — встревоженно сказала сестра. — Не могу добудиться. Отвечает что-то невнятное, глаза закрыты...

— Позвони в «Скорую».

— Звонила. Обещали, до сих пор нет. Приезжай, мне страшно.

— Но я же не скоро до вас доберусь... Поторопи неотложку.

— Хорошо. Но ты все-таки постарайся приехать.

После разговора в голове моей мусором застряла никчемная фраза: «А вот и расплата». Какая расплата, за что? Взгляд упал на купленный для мамы плед, лежащий среди все еще разбросанных по комнате вещей. В Оксфорде я представлял, как долгими зимними вечерами она будет, закутавшись в него, сидеть за книгой. Расплата за два месяца, проведенные в Англии? За кратковременное неучастие в этой жизни с ее бедностью и отчаянием, с ее очередями, промерзшими поездами, остервенелыми людьми на улицах?

Только теперь я почувствовал, что моя *английская* жизнь закончилась — как отрезало, и начинается совсем другое, давно знакомое и в то же время вечно чуждое и угрожающее, «нежизнь», в которую мне заново предстояло медленно и мучительно вращаться.

Сутки спустя мы с женой устроивались на боковых полках плацкартного вагона.

Ветхая наволочка под маминой головой была разорвана почти надвое. Это сразу бросалось в глаза.

— Может быть, сменить? — нерешительно спросил я сестру. Она, казалось, не услышала. Она уже третьи сутки не спала.

Глаза у мамы были прикрыты. Влажные седые волосы спутались и прилипли к вискам, лицо осунулось.

— Ты ездил, — невнятно произнесла она, узнав меня по голосу.

— Что, мама?

— Ты куда-то ездил. Я помню.

— Да, мама. Я был в Англии.

— А я решила — в Испании. Лицо у тебя загорелое.

Врач был и ничего не прописал: «Зачем вам нужно продлевать ее мучения?» Знакомые сказали сестре, что лекарство от этой болезни есть. В аптеках не достанешь, но у врачей можно выпросить, берут по пятьсот рублей за одну ампулу.

— Не унывай. — Я старался держаться с сестрой бодро. — Это меньше фунта. Я тут кое-что с собой привез...

— В нашем городе валюту не меняют, — резко возразила она. — И потом, я все равно не сумею с этими людьми договориться...

Бедная. Сама она получала в своем институте неплохую по тем временам зарплату — около четырех фунтов в месяц. В ее глазах я был теперь миллионером.

Вы помните, как в свои первые дни в Оксфорде я жаловался вам, что не в силах тратить здесь деньги на бутерброд или кружку пива, когда вспоминаю, что значат эти два-три фунта для моих близких, оставшихся в России? Как вы категорически запрещали мне об этом думать? Потом попривык и стал расходовать на еду примерно два фунта в день — иногда больше, когда нужно было купить впрок пачку масла или пакет кукурузных хлопьев, иногда меньше. Дошел до того, что бестрепетно отдавал в Лондоне два с половиной фунта на метро, если не было времени добираться пешком. А вот теперь все возвращалось как бы с другой стороны.

В новогоднюю ночь мы втроем тихо сидели за столом, посреди которого сиротливо лежал неразрезанный ананас. Мама дремала, временами из-за перегородки доносились ее слабые стоны.

— Как встречаем новый год, так и проведем его, — причитала сестра. — Так и проведем...

— Выпей водки, — посоветовала ей жена. — Тебе нужно наконец выспаться. Мы подежурим.

— Если бы можно было отвезти маму в Англию, — сказала вдруг сестра. — Там ее вылечили бы. Тебя ведь они вылечили, да?..

Кровотечение открылось внезапно, как раз в те дни, когда я гостил у вашей мамы в Кембридже.

Вы старались, чтобы мне не было скучно в Англии, чтобы ни один час не пропадал у меня без пользы. Так родилась идея этой поездки на уик-энд. Соблазн был велик: возможность побывать в вашем родном доме, познакомиться с традиционным английским бытом, наконец, увидеть старинный университетский город...

Усаживаясь ненастным утром в автобус, я уже чувствовал недомогание. Мне бы не ездить, отлежаться в эти выходные в своей спальне, но визит был заранее оговорен, меня ждали. Больной, вымокший под дождем, я долго блуждал по предместьям незнакомого города в поисках нужного адреса, пока не ввалился, вконец измученный и взвинченный, в перепачканных ботинках, в прихожую старинного особняка — и был встречен тишиной, покоем и достоинством, какие нельзя было, кажется, возмутить ничем.

— В Англии не разуваются! — первое, что сказала мне ваша мама со сдержанной улыбкой.

Она проводила меня наверх в отведенную мне комнату и взяла обещание, что ровно через полчаса я спущусь к чаю.

Посреди комнаты стояла кровать с парой длинных узких подушек, аккуратно застланная потертым шерстяным одеялом. У неизменного камина висело на низкой деревянной стойке полотенце. Платяной шкаф, книжные полки и письменный стол с продавленным плетеным креслицем у окна дополняли убранство.

Я присел к столу и увидел портрет. Румяная и счастливая, вы во весь рот улыбались мне с цветной фотографии. На вас были черно-алая докторская мантия и черный бархатный берет. Похоже было, что вы только что одержали важную победу, но выглядели при этом столь беззащитной, ваши синие глаза светились так трогательно, что у меня вдруг выступили слезы.

Чувствуя смущение, я, однако, не мог удержаться, чтобы еще раз внимательно не оглядеть комнату. Здесь вы провели детство и юность. Сюда время от времени возвращаетесь, перелистывая эти старые книги, засыпая на этих подушках... Может, это усталость и нездоровье сделали меня таким сентиментальным, но меня целиком захватило чувство братской любви и бесконечной близости к вам...

Знаю, в этом неприлично признаваться. Простите.

Сразу уж признаюсь еще в одном грехе. На столе лежала стопка белых карточек, испранных аккуратными мелкими буквами, и я совершил запретное — протянул руку, взял верхнюю из стопки и прочел:

«I can do everything through Him Who gives me strength».

Позднее я нашел соответствующее место в русском тексте Библии. А тогда перевел это так: «Я могу все благодаря тому, кто дает мне силу». И решил про себя, что вы, когда писали это, были влюблены. И снова и снова вглядывался в портрет, словно пытаюсь открыть какую-то тайну...

— Я поместила вас в комнату младшего сына, — с опозданием известила меня ваша мама, когда я спустился. На столе уже дымился добрый кусок запеченного в тесте домашнего окорока. Тяжелый чугунный чайник пыхтел на плите. Я зашел в туалет вымыть руки: комнатка запиралась изнутри обычным железным ключом, и ключ этот поворачивался именно в ту сторону, в какую нужно. В этой простой и надежной Англии, казалось, при всем желании нельзя было совершить ничего предосудительного.

Через полчаса мне стало казаться, что я прожил в этом доме вечность и знаю вашу маму с раннего детства.

— Ешьте бананы. Как-то у меня гостили ваши дети из Чернобыля. Они тоже вначале ничего не ели, а потом, когда попривыкли, набросились на фрукты. Они поглощали столько бананов и апельсинов, что я боялась за их желудки... Вам чай с лимоном или с молоком?

— А как пьют в Англии?

— По-всякому. Мне казалось, русские больше любят с лимоном.

— Тогда с молоком, пожалуйста.

— Когда мы провожали этих детей домой, им дарили подарки. Одна девочка все ахала, что у нее набралось слишком много вещей. «Не беда, — сказала я ей. — Привезешь домой и поделишься с подругами, которым не удалось сюда приехать». «Какая глупая тетя! — сказала девочка своей воспитательнице. — Она думает, что я такими красивыми подарками буду с кем-нибудь делиться!»

— На днях я купил в Оксфорде кусок мыла, — вспомнил я. — Тоже в красивой упаковке, а на ней инструкция...

И я рассказал случившуюся со мной занятную историю.

Инструкция на мыле, которое обошлось мне в сорок пенсов, гласила:

First aid:

If swallowed give milk preferably, or water to dilute.

Do not induce vomiting.

Занялся я ею потому, что накануне вымылся этим мылом под душем и кожа почему-то зудела. Сразу вспомнилось, что несколько лет назад, в пору острого мыльного дефицита, к нам в Россию из Египта завозили мыло для кошек и собак. Ничего не подозревавшие люди им пользовались, а потом чесались и покрывались коростой. Не допустил ли и я оплошности, выбирая мыло подешевле?

Так что за мыльную обертку я принялся вполне серьезно. «Первая помощь» — тут никаких сомнений не было. Только вот помощь — чему?

«If swallowed...»

Я знал, конечно, что такое swallow, но слово это настолько не вязалось с мылом, что я решил еще раз заглянуть в словарь. Под рукой был Оксфордский толковый, и я прочел:

«Swallow ...6) engulf or absorb; exhaust».

Ну, что такое «exhaust», русским объяснять не надо: «истощать». А «engulf» — «поглощать» и «подавлять» в одном лице.

Все оказалось не так просто. Я задумался.

Наконец мне пришлось в голову спуститься в холл, где стоял телевизор, и полистать раньше примеченный мной там большой старинный англо-

русский словарь. Мои старания увенчались успехом: я сразу нашел то, что было нужно:

«Swallow ... <геол.> *рыхлая пористая часть жилы*».

Оставалось пока не совсем ясным, что в данном случае имеется в виду под «рыхлым». Мыло может размокнуть от сырости и стать противной, совершенно ни на что не годной кашицей. Летом, когда стены ванн комнат в наших нетопленных квартирах покрываются холодным потом, такое происходит сплошь и рядом. Но может быть и другая рыхлость, когда мыло, наоборот, пересыхает, трескается и крошится. Несколько лет назад, когда из магазинов исчезало самое необходимое и люди в панике запасались спичками, солью и мылом (традиционный набор, волновавший еще наших бабушек и дедушек), мы с женой тоже приобрели про запас блок банного. Как раз перед поездкой в Англию блок этот попался мне на глаза, я разорвал серую бумагу — и убедился, что старому мылу требуется помощь...

Итак, «*if swallowed*» определенно подразумевало: «Если мыло пересохло и растрескалось» (или, в первом варианте, «если мыло истощилось»)...

Тут я заинтересовался всерьез. У меня дома осталось двадцать кусков «истощенного» мыла. Что же умелая бережливая Англия рекомендует с ними сделать?

«...give milk preferably, or water to dilute».

Все понятно: надо дать мылу молока или воды, чтобы оно помягчело. Предпочтительнее, конечно, молока. (Вот они, хитроумные англичане! Кто бы додумался мочить мыло в молоке?)

Оставалась, впрочем, еще одна фраза, выделенная особенно жирным шрифтом: «**Do not induce vomiting**» — «Не вызывайте рвоту». При чем тут рвота?!

— У нас всегда, сколько я себя помню, так плохо с товарами, — сказал я в заключение этой смешной и грустной истории вашей маме, — что, когда речь заходит о первой помощи, думается прежде всего не о людях, а о вещах¹. Наши горожане, изнывая этим летом от жары, постоянно держали в квартирах зажженный газ, чтобы не тратиться на спички. Это ли не уникальная страна? Может быть, такие маленькие житейские подробности существенно рассуждений о восточных и западных корнях загадочного русского нрава...

Весь остаток дня я был экскурсантом. Ваша мама показывала мне город, виртуозно вписываясь на своем «вольво» в узкие улицы и тесные пространства переполненных автостоянок. В ее возрасте, при ее грузной комплекции эта ловкость казалась мне просто невероятной. Она не давала мне и шагу пройти пешком. Когда я попытался протестовать, она серьезно спросила:

— Неужели, когда я приеду к вам в Москву, вы бросите меня одну посреди чужого города?

Убежденность, с какой были сказаны эти слова, меня потрясла.

На ланч заглянули в маленькое кафе. Ваша мама взяла себе томатный суп-пюре, я выбрал запеченную в мундире картошку с зеленью и маслом. Когда попытался расплатиться хотя бы за себя, она искренне возмутилась:

— Неужели, если бы я была у вас в гостях, вы позволили бы мне платить за обед?

Бедная ваша мама, вынужденная столь благородно притворяться! Уж она-то в России не раз, вероятно, оказалась бы на улицах без провожатых и, разумеется, сама бы платила за обеды — не только за себя, но и за своих небескорыстных гостеприимцев...

Славный был день, к нему я еще не раз буду мысленно возвращаться.

А ночью пошла кровь.

¹ Инструкция гласит: «Первая помощь. В случае попадания мыла в пищеварительный тракт используйте молоко или воду для его растворения. Не вызывайте рвоту».

Не смыкая глаз, я едва дотянул до рассвета, а за утренним кофе попытался обиняками выведать у вашей мамы, что ожидает русского, которому случится в Англии заболеть.

— Если вы ждете ребенка и специально приехали в Англию рожать, у вас, конечно, никто не станет принимать роды бесплатно, — говорила ваша мама. — Потому что вы не могли этого не предвидеть. И все же у нас не как в Соединенных Штатах. (Я уже не в первый раз замечал, что дело чести для истинного британца или британки — уколоть при случае Америку.) Там, если даже вы попали на улице в аварию, врач первым делом поинтересуется насчет страховки и может так и оставить вас лежать на дороге...

К автобусной остановке меня, конечно, подвезли на машине. Морщась от боли, я уже занес ногу на ступеньку, и тут, нечаянно оглянувшись, увидел на лице вашей мамы то же выражение растерянной доброты и беспомощности, что поразило меня в вашем фотопортрете. Она словно хотела сказать: «Я старалась как могла и сама не знаю, почему из этого вышло так мало толку». Я не выдержал, вернулся и обнял ее. Она вдруг радостно засмеялась. Пока автобус разворачивался, я все смотрел, как она тяжело шла под своим широким черным зонтом к машине, опустив голову и чему-то про себя сосредоточенно улыбаясь. Я еще не знал, что вижу ее в последний раз...

В Оксфорде сильный ветер. Над прямоугольниками колледжей с их зубчатыми стенами, башнями и шпилями, над библиотеками, музеями, гостиницами, магазинами, ресторанами, банками — всюду полощутся большие разноцветные флаги с гербами. Это похоже на далекое воспоминание — картинку из чудесной раскрашенной книжки или детский сон. Из высокого стрельчатого окна моей спальни на третьем этаже я вижу почти полгорода и еще — квадрат зеленого двора подо мной, ограниченный массивными замшелыми стенами красновато-песочного цвета и правильно расчерченный асфальтовыми дорожками. Там пробегают студенты, чинно шествуют профессора в потертых пальто и шляпах, обмениваются при встречах звонкими приветствиями деловитые местные красавицы. Для них это каждодневная жизнь, рутина, они едва ли задумывались когда-нибудь, что живут в городе чужих снов.

Никогда не забуду, как вы, моя дорогая, узнав о моем нездоровье,если мне из своей академической квартиры через весь двор плитку, кастрюлю и чайник. Благодаря вам я мог хотя бы нормально питаться. С утра в моем кабинете варилась на электроплитке традиционная овсянка; в обед я обычно готовил картофельное пюре с маслом и иногда позволял себе побаловаться фруктовым йогуртом или апельсином; ближе к вечеру пил чай с печеньем. Всего на два фунта в день — иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Сказывались и полноценные обеды за High Table², дважды в неделю дозволенные мне за казенный счет как гостю, и отборные напитки за этими обедами; только тут я впервые убедился, что вино может не только отравлять, к чему мы в России так привыкли, но и лечить.

Единственным развлечением, какое я мог позволить себе в те дни, были короткие прогулки в ближних окрестностях колледжа. Как-то во время одной из таких прогулок, глядя по привычке все больше себе под ноги, я обратил внимание, что гранитные плиты, которыми была выложена мостовая возле небольшой часовни, — это не простые плиты, а уложенные вплотную друг к другу прямоугольные надгробные камни с полустершимися от времени и ног прохожих надписями:

² Обеденный стол для наиболее важных персон, в данном случае преподавателей и гостей колледжа (англ.).

John Davis, died Feb. 17, 1837, aged 76 years.
 Stephen Davis, died Sep. 20, 1837, aged 38 years.
 Eliz. wife of J. N. Davis, died Mar. 5, 1840, aged 77 years...

Я был моложе, чем Джон Дэвис в день его смерти, но уже старше покойного Стефена.

Валяясь с книжкой в постели, помешивая на плиточке кашу или стирая в раковине запачканное кровью белье, я все больше думал о том, что никогда не смогу вернуться к прежней жизни. Мне уже не заняться ремонтом старого дома в Солигаличе, где мы с женой мечтали проводить отпуска, не поехать на море или в горы, даже не отправиться в лес по грибы. Лучше уже не будет; оставшиеся силы придется тратить на то, чтобы как можно дольше не становилось хуже.

Госпиталь, куда меня направили из городской поликлиники, располагался в пригороде Оксфорда. В регистратуре сидели на стульях вдоль стен неважно одетые люди с землистым цветом лица, мало похожие на коренных англичан. Бормотали старики, разговаривая сами с собой. Женщины знакомились и рассказывали друг другу о своих болезнях. Между стульями бегали без присмотра чумазные дети. Это было похоже на зал ожидания провинциального российского вокзала.

— Вы знаете, что наша клиника платная? — строго спросила подсевшая ко мне сухопарая женщина в голубом халате, раскрывая на коленях папку с бумагами. — Распишитесь вот здесь.

— Я приехал в Оксфорд по официальному приглашению, — пролепетал я. — У меня нет денег.

— Вы остановились в колледже Св. Девы Марии?

— Да.

— Хорошо. Мы пришлем счет туда.

Я задумался. Мне дали небольшой грант, из которого сразу вычли квартирную плату. Остальное частями выдавалось на руки. Если в колледж придет счет, его покроют из остатков моих денег, которые были расписаны до последнего пенса. Я скосил глаза в бумагу и увидел сумму.

— Речь идет, насколько я понимаю, о двадцати фунтах?

— Это только за консультацию. Процедуры оплачиваются отдельно.

Лучше бы она этого не говорила!

— Боюсь, колледж не станет оплачивать мои больничные счета, — попытался схитрить я.

— Тогда вам придется заплатить самому. Распишитесь.

Я не шевельнулся и впал в привычное оцепенение.

Прошло время. Наконец она спросила:

— С вами все в порядке?

— Я не буду платить, — повторил я упавшим голосом. — И колледж тоже не будет. Тут не может быть никаких сомнений.

Сейчас она захлопнет свою папку и уйдет. Что ж, я сделал выбор.

— Это я уже поняла, — терпеливо сказала она. — Вам надо лишь поставить свою подпись.

— И тогда меня примет доктор?

— Конечно.

— Но кто будет платить?!

Ее взгляд говорил, что мне надо лечиться совсем от другой болезни.

Меня провели в кабинет с кшеткой, покрытой узкой бумажной простыней.

— Вы не возражаете, если здесь будет присутствовать практикант? — спросил доктор для проформы.

Конечно, я не возражал.

Потом я боком лежал на простыне, неудобно поджав ноги, а они что-то делали у меня сзади. Вначале было неловко и стыдно; почему-то казалось, что свежие носки, надетые мной перед самым выходом из дома, пах-

нут потом. Минуту спустя я про все забыл и едва не кричал от боли. «Short instrument... Long instrument», — доносились слова доктора, предназначенные то ли для моего успокоения, то ли для вразумления практиканта.

Доктор вышел, практикант остался за моей спиной, придерживая разрывавший мне кишку short instrument.

— Кем вы работаете? — спросил он, желая, вероятно, смягчить тяжесть моего положения.

— Пишу... писатель, — промычал я. У меня просто не было сил придумывать другое, а слово «writer» значит, как известно, все, что угодно: от написания романов до сочинения инструкций по использованию мыла.

— Ого! Как Лев Толстой? — хихикнул догадливый юноша.

Вернулся доктор, и попытка возобновилась.

Когда меня наконец отпустили, было такое чувство, что внутри разрушены какие-то жизненно важные органы. Больше никто мной не интересовался. Весь в холодном поту, я шел к выходу по узкому коридору, затем через многолюдный зал. Люди глядели на меня внимательно и расступались, давая дорогу. Их лица расплывались и не задерживались в сознании. Мне хотелось в туалет. С чьей-то помощью отыскав наконец уборную, я тут же убедился, что мои старания напрасны: я ничего не мог. Это открытие повергло меня в ужас. Пытаясь преодолеть немощь, уже одетый в пальто, я долго стоял в душной кабинке, пока не почувствовал, что свалюсь сейчас в обмороке...

Простите мне, добрый друг, что столь длинно и со всеми малоприятными подробностями рассказываю вам эту отнюдь не романтическую историю.

Только на крыльце, под проливным дождем, я более или менее пришел в себя.

Было уже темно. Шквалистый холодный ветер пронизывал меня, взмокшего в туалетной кабине, до костей. И по-прежнему мучила нестерпимая нужда.

Вы знаете дорогу через Хэдингтон-хилл? Шоссе и узкие тротуары зажаты здесь, как в ущелье, каменными стенами, а за ними простирается пустынный старый парк. Пока я поднимался на холм, на слабо освещенной мостовой не было ни души. Изредка обгоняли меня автомобили да однажды проехал навстречу торопившийся куда-то велосипедист. Еще днем, по пути в госпиталь, я заметил на вершине холма перекинутый над дорогой каменный мост. Наверх к этому мосту вели две узкие лестницы с поворотами: можно было подняться по одной из них и затем, перейдя через дорогу наверху, спуститься по другой. Лестницы начинались от небольших арок в стене, полуприкрытых железными воротцами. Туда-то я теперь и спешил. Мочевой пузырь, казалось, вот-вот лопнет. Терпеть до дому не было сил. Но еще важнее было убедиться, что я могу.

Перед самым мостом я оглянулся: вдалеке за мной кто-то шел под зонтом. Я нырнул в арку и спрятался в углу за воротцами. По дороге пронеслась машина, бросив мгновенный сноп света прямо на меня. Вспомнились где-то слышанные раньше истории про строгих английских полисменов, которые не допускают подобных выходов на улицах. Меня заберут в участок, оштрафуют, об этом сообщает в колледж, дойдет и до России... Лестница просматривалась только до первой площадки, за поворотом по ней вполне мог кто-то спускаться. Я решил убедиться, что наверху никого нет. За это время внизу как раз должен был пройти тот, кто шел за мной, и я смогу быть более спокойным. Для моего эксперимента, как я уже знал, требуется спокойствие и время... Поднявшись на мост и спустившись по второй лестнице до середины, я никого не обнаружил. Мне пришло в голову, что возвращаться к исходной точке нет смысла: лестницы совершенно одинаковы, я могу с такой же степенью риска устроиться на этой. На площадке повернулся к стене и глубоко перевел дух. И уже сделал привычное движение. И как раз в этот миг за спиной легко прощурился плащ. Я обернулся вслед: девушка под зонтом торопилась скрыться за поворо-

том. Она, вероятно, заметила меня слишком поздно. «Хорошо, что не полисмен», — глупо подумал я. Хотя мне было уже плевать и на полисмена. Я бы сказал ему правду: меня на чужбине убивают чужие врачи. Теперь ничто не могло остановить меня в намерении получить решающий ответ. Я снова уткнулся в стену и стоял так долго.

Все было тщетно.

Будущее представилось мне вполне определенным. Я вспомнил нашу бедную собаку и просто подумал: вот и моя очередь подошла. Ночью меня увезут в карете «скорой помощи», разрежут... Все будет по-английски деловито и ужасно. Предчувствие не обмануло мою жену, когда она, со слезами рассказывая про смерть собаки, заклинала меня беречь себя. Больше мы, возможно, никогда не увидимся.

«Почему я не умер тогда?..»

— Жалеешь, наверное, что в Англии не остался, — с неожиданной злостью сказала сестра.

— Как — остался? Зачем? Почему? — растерянно переспросила ее жена.

— Да уж нашел бы как. И работу себе со временем подыскал бы. Он у нас толковый. Один такой толковый в семье. Господи, за что же и тебе-то вместе с нами пропадать?!

Она опьянела от маленькой рюмки.

После полуночи я все-таки уговорил сестру поспать. Мама лежала неспокойно, в бреду вспоминала и звала отца, потом попросила пригласить на свои похороны умершую два года назад тетку из Солигалича. Жену она приняла ночью за врача и жаловалась ей ставшим вдруг тонким голосом, что родные сын и дочь плохо за ней смотрят. В квартире становилось все холоднее — рабочие котельной, должно быть, праздновали Новый год. Оконные стекла покрылись изнутри ледяной коркой с узорами. С потолка с шелестом сыпалась известь: этажом выше плясали подгулявшие соседи. Мама наконец задремала; мы укутали ее одеялом, а сверху я набросил еще яркий клетчатый плед.

В первый день нового года мы возвращались в Москву за лекарством.

— Не задерживайся там, — напутствовала сестра. — Бери за любые деньги, не упряйся. Если бы ты знал, как мне тут одной страшно! Когда температура ползет кверху, как было в первую ночь: тридцать девять, сорок, сорок один... И не знаешь, чем помочь.

Обычно скованная в проявлении чувств, она громко разрыдалась при расставании.

Ночью в поезде мы с женой сидели на нижней полке, прижавшись друг к другу и закутавшись в вагонное одеяло. Окно в купе было разбито, верхнее спальное место заметало снегом.

«Я ведь совсем не жил в Англии, — тихо говорил я жене, сам поражаясь внезапному своему открытию. — Жизнь там была сплошным ожиданием. Ожиданием посадки в самолет, встречи с тобой в аэропорту, новогоднего ужина, приезда к маме и сестре с подарками. Только это придавало смысл всему тому, чем я занимался в Оксфорде: работе в библиотеках, лечению, присутствию на приемах и обедах, о которых я так хотел тебе рассказать... Только ради этого сберегалась валюта. Если бы ты знала, как я исходил желчью от каждого промаха с деньгами! Как не шли мне в глотку те чай с булочкой, за которые с меня в буфете Национальной галереи спросили, к полной моей неожиданности, целых три с половиной фунта! После этого чая я уже не мог глядеть ни на какие шедевры. Там ведь тоже пользуются неопытностью и беспомощностью приезжих. В кафе через дорогу я потом увидел такой же чай за тридцать пенсов. У них все как у нас. Даже характеры похожи на наши. Англичане раздражительны и сварливы. Обожают свои очереди и никому не дают их нарушать. Ссорятся с коллегами, злословят. Мне доставляло странное удовольствие все это наблю-

дать, словно именно там я наконец впервые увидел себя обыкновенным человеком. Больше всего мне нравилось, что они молчаливы и замкнуты. В Англии я чувствовал себя лучше, чем дома, мне там жилось легко. Но когда я воображал, что остаюсь насовсем, всякий смысл из моей жизни испарялся. Не оставалось даже самых простых радостей — встреч, подарков, праздников. А кому там нужны мои русские мысли и слова? За кого я буду переживать, во что верить?..

Потом это твое известие о смерти собаки...

Уже тогда во мне что-то оборвалось. На миг даже расхотелось возвращаться. Но вспомнил о тебе, о маме с сестрой, о старом теткинском доме в Солигаличе, где мы провели последнее лето... Подумал: все можно начать заново. Каждый, в конце концов, достигает всего, чего он очень хочет, верно? Каждый оказывается там, где хотел оказаться, и живет так, как он хотел жить. Другое дело, что люди забывчивы и редко узнают по прошествии времени свои былые желания...

Сейчас, после Оксфорда, я чувствую себя гораздо увереннее, чем прежде. Не загнанным волком, в какого превращался в молодые годы. И не задавленным нуждой и обидами неудачником, каких теперь так много. В Англии я понял, что я такой же, как все, не хуже и не лучше. А ведь успех в жизни зависит именно от того, каким ты чувствуешь себя среди людей. Мы с тобой еще научимся уважать и ценить себя. К нам еще вернется уверенность юных лет, когда нас, казалось, переполняли всевозможные таланты и будущее рисовалось таким блистательным...»

В этом рассуждении был какой-то непоправимый логический изъян.

Я ведь не придумал, куда мне деться от России.

Куда мне деться от судьбы.

Куда мне деться от себя.

Год назад мы сидели с вами, моя дорогая, в вашей уютной квартирке и слушали рождественские хоралы. Эти мелодии в исполнении чистых детских голосов звучали перед праздником повсюду — на улицах, в магазинах, на студенческих вечеринках — и уже успели запомниться мне и полюбить. Я потратил целых пять фунтов на кассету с записями этих хоралов, чтобы взять их с собой в Россию, — эту-то кассету мы с вами и слушали. Пили чай с вкуснейшим печеньем, вдыхали тонкий аромат сухих цветочных лепестков, повсюду расставленных вами в плетеных корзиночках, и я, помню, сказал:

— Пройдет всего несколько дней, и, вспомнив вас, эту комнату, то, как мы сидели здесь с вами и слушали чудные мелодии, я заплачу. Нельзя дарить людям такие сны, это слишком жестоко.

Мне хотелось придать своим печальным словам шутливый оттенок, но они вас все равно смутили.

— Это напоминает цитату, которую печатают на туристских рекламных проспектах Оксфорда, — отпарировали вы. — «It is a despair to see such a place and ever to leave it». — *«Горе тому, кто, увидев однажды такое место, когда-нибудь покинет его».*

Вы не любите сантименты.

Могу вас заверить, что я и вообразить тогда не мог, *какие* слезы ждут меня дома.

Еще подходя к калитке, мы с женой почувствовали, что на даче что-то не так. Новый пес слишком уж упорно не узнавал нас, агрессивно таявка из-за забора, а когда мы вошли во двор, забрался в сугроб и стоял там в полном недоумении. На снегу перед самым крыльцом красовалась застывшая лужа разлитых помоев. А входная дверь оказалась заперта изнутри на задвижку.

— Хозяин? — предположил я.

Я постучал в окно. В комнате зажегся свет, метнулась быстрая тень, мало напоминавшая тяжеловатые очертания немолодого владельца дачи, качнулась занавеска. Кто-то пытался разглядеть нас в предрассветных сумерках.

Мы устали после бессонной ночи в промерзшем вагоне, хотелось напиться чаю и завалиться спать. После обеда я намеревался отправиться электричкой в Москву на поиски лекарства для мамы, чтобы уже сегодня, в крайнем случае завтра утром выехать в Вятку. Кто бы ни шутил с нами там, за стенами нашего дома, он поступал очень опрометчиво. Жена забарабанила в стекло, я ударил каблуком в дверь.

Скрипнула наконец задвижка, осторожно высунулось остренькое личико.

— Ах, это вы, — недовольно пробормотала совершенно незнакомая нам маленькая женщина, словно накануне мы засиделись у нее в гостях и теперь нехотели вернуться.

Все было как во сне. Женщина вернулась в прихожую. Мы последовали за ней. Там она сбросила с плеч меховую шубку и осталась в одной ночной рубашке и шерстяных носках. В доме стоял густой ночной запах парного тела и постели. Так же молча женщина проследовала на кухню, и мы увидели, как она ставит наш чайник на нашу плиту.

— Мы здесь живем, — как-то слишком обреченно произнесла жена.

— Та живите себе на здоровье, — небрежно откликнулась женщина с сильным акцентом, выдававшим жительницу юга. — Мы здесь долго не задержимся. Это место нам не нравится — слишком далеко до центра.

— До центра? — озадаченно переспросила жена, слегка покачнувшись.

— Та конечно. Где тут Кремль, а где мы. Если уж приехали в столицу, так надо по-человечески устраиваться.

Я открыл створку шкафа, чтобы положить туда шарф. На полочке поверх моих чистых рубашек лежали поношенные дамские туфли.

Жизнь приучила нас к выдержке. Раздевшись, мы прошли в зашторенную комнату и сели по разные стороны обеденного стола. В полутемном углу на разложенном старом диване кто-то спал; вокруг дивана разбросаны были штаны, носки, детская обувь; единственное в доме кресло вытасчено на середину комнаты и завалено какими-то коробками; возле серванта, куда я бережно укладывал перед нашим отъездом привезенные из Англии чай, конфеты и шоколад, валялись на полу две пустые бутылки из-под дрянного немецкого ликера и белел осколок фарфоровой тарелки. Не помня себя я кинулся проверять сервант. Ни чая, ни сладостей там не было!

— Подарок! — раздался за моей спиной жалобный вскрик жены.

Вашего подарка больше не существовало. Флакон духов, изрядно потраченный, стоял на тумбочке возле дивана. Восхитительные баночки с кремами, к девственной поверхности которых жена так и не решилась прикоснуться, служили теперь, опустошенные, посудой для замызганных кукол, устроивших пиршество под столом. А одна из кукол была заботливо укутана в грязную тряпку, в которой с трудом угадывался роскошный атласный чехол с нежно-розовыми цветами по белому полю.

— Разбудили все-таки! — раздраженно сказала маленькая женщина, появившаяся из кухни на голос ребенка. Детей на диване было двое. Мальчик лет десяти встал и одевался, поглядывая на нас, как волчонок. В простынях копошилась и капризно подискивала девочка трех-четырёх лет.

— Где наш чай? — почему-то спросил я. Можно было задать десяток других, не менее важных, вопросов.

— Та дети же, разве непонятно, — недовольно бросила через плечо женщина, одевая на постели дочь.

— Что?!

— Что, что. Дети, говорю, повытаскивали, я потом вон туда в кучу свалила все ваше.

Мальчик, широко зевая, влез грязными носками в мои зимние ботинки и потянул из шкафа что-то зеленое...

Вы уже догадались, конечно, что это был мой ни разу не надеванный шотландский свитер — «Самое теплое место на земле», как гласила еще не сорванная с него фирменная этикетка. Мальчик натягивал его привычно — судя по всему, не первый раз. Он пользовался им как удобным балахоном. Я схватил его за плечо, не веря своим глазам: этот свитер, ради которого я прибежал к вам рано утром занимать деньги, — свитер был порван, на животе зияла дыра!

Женщина проследила за моим взглядом.

— Собака у вас кусачая, — на всякий случай сказала она примирительно.

— Так это собака порвала мой свитер? — медленно произнес я, чувствуя, что теряю контроль над собой.

— А кто, мы, что ли? Будут еще за всякое свое старье с нас спрашивать. Имели бы в доме нормальный теплый туалет, никто бы ничего не надевал. Не идти же во двор в выходной одежде! Выдумали еще, свитер. Может, у вас и брильянты пропали?

— Постой, — тихо сказала жена, понимая, что сейчас может произойти что-то ужасно некрасивое.

— Та не бойтесь, мы скоро съедем. К вечеру муж вернется и скажет, нашел он другую квартиру или нет. Если найдет, сегодня же и съедем. Это не знаю кем надо быть, чтобы жить вместе с такими занудами...

Мужа мы ждаты не стали. Я сам вынес чемоданы и сумки незваных гостей на шоссе, и маленькая женщина в меховой шубке, небрежно взмахнув ручкой, затянутой в дорожную перчатку, тут же остановила машину.

— Это вам так не сойдет, — шипела она на прощанье, пропихивая детей на заднее сиденье. — Все ваши знакомые узнают, как вы выгнали мать с двумя детьми на мороз. Пересчитайте свои брильянты!

Потеря оказалось гораздо больше, чем мы могли предполагать в первые минуты. Много дней после этого, вспоминая о какой-нибудь своей вещице, жена или я обнаруживали, что она порвана, перепачкана или испорчена каким-либо иным образом. Было просто загадкой, как этой семейке удалось в три-четыре дня, что они здесь провели, имея при себе обширный гардероб своих вещей, переносить и перепробовать почти все наше. Разговор по телефону с хозяином дачи почти ничего не разъяснил. Это были знакомые его знакомых из Харькова, приехавшие в Москву искать удачи, люди при деньгах, которым захотелось — просто захотелось, и все тут, — встретить Новый год в подмосковном лесу... Да я и не настаивал на разъяснениях. В нашем положении трудно было на чем-то настаивать.

О сне после тяжелой дороги, конечно, не осталось и мысли. Бесцельно шатаюсь по квартире, где все напоминало об учиненном погроме, мы с женой замкнулись каждый в себе и старались не говорить ни слова. Слишком длинным и бурным мог бы получиться разговор, с несправедливыми взаимными упреками, как бывает всегда, когда настоящие обидчики недосягаемы. Нам обоим было тошно. Мы понимали, что произошло что-то необратимое и во взаимоотношениях с хозяином, и в нашем отношении к этому жилищу, в результате чего мы уже не выдержим долго *такой* жизни. А другой не предвиделось.

В конце концов, собравшись с духом, жена взялась перемывать посуду и убирать чужую грязь, а я отправился в Москву за лекарством.

Пытаясь навести в то несчастное утро в своих сумбурных ощущениях хоть какой-нибудь порядок, я осознавал одну постоянную и весьма существенную составляющую своего раздражения.

Дело в том, что семейка, свалившаяся на наши головы, принадлежала к определенному сословию, процветавшему и прежде, но особенно расцветавшему в последние годы. Хозяин дачи не упустил заметить в их

пользу, что они люди состоятельные. Это была правда. Меня, признаюсь честно, с первого взгляда уязвили норковая шубка (какой, я точно знал, никогда не будет у моей жены), расшитые дубленки на детях, да и весь остальной небрежно забрасываемый на наших глазах в чемоданы и сумки скарб: кожаные пиджаки и юбки, импортная обувь, яркие мохнатые джемперы, дорогие безделушки... Дело ведь не в том, что я позавидовал чужому добру. Не завидовал же я, скажем, большому дому вашей матери или вашей новой машине. Глядя на жизнь в Англии, я, не скрою, часто желал такой жизни себе и своим близким, но это не было желанием «отнять» или «перераспределить», скорее уж — «заработать». Выражаясь в традиционных русских понятиях, ваше благосостояние было *справедливым*, оно создавалось трудом, причем наибольшую ценность в моих глазах представляли не предметы, а сам уклад жизни, в который они были очень умно встроены, — то есть опять-таки прежде всего приносящий пользу труд. Труд был главной моральной ценностью вашей жизни, все остальное прилагалось к нему как необходимые или желательные условия, и этот порядок мне очень нравился. Вот еще на что стоит обратить внимание: описанный мной скарб был бы для вас, как и для большинства отнюдь не бедных ваших соотечественников, недопустимой и, главное, ненужной роскошью. Таким он был и в наших глазах. Так что дело не в вещах и предметах — дело в обстоятельствах, при которых все это было перед нами выставлено, в том, что этот набор служил знаковым отличием, символом, действительно выражающим огромное преимущество его обладателей перед нами в российской общественной иерархии. Торжество всеильного, уверенного в себе хамства выпирало в откровенном презрении этой семейки к нам, нашему неустроенному быту, нашим вещам. Они ведь не умышленно, не со зла перепортили и испоганили дорогие нам предметы; им все наше действительно казалось хламом, годным лишь для того, чтобы воспользоваться этим на скорую руку; они признавали только престижные, знаковые ценности, а представления о ценности обычных вещей, о самооценности всякой жизни и неприкосновенности чужого имущества в их головах не умещались.

Они несчастные люди, скажете вы, — и будете глубоко правы. Я сам часто так думаю. Жалкие запросы, несравнимые не только с богатством богатых, но и со средним достатком большинства жителей вашей страны. В нынешней России богатство служит не удобству и не удовлетворению жизненных нужд — оно здесь потворствует низменному тщеславию, существует исключительно напоказ; в сущности — мыльный пузырь, просто пшик. По зрелом размышлении мы с женой ни за что не променяли бы свою бедную жизнь на эту, полную неведомых нам страхов и унижений. И вообще:

Не сравнивай: живущий несравним.

Это сказал наш самолюбивый худенький поэт, часто вскидывавший подбородок, чтобы нервным движением поправить галстук. Может быть, излишне высоко вскидывавший, точно спасаясь от удушья.

Не сравнивай. Не завидуй. Таков дух христианской культуры, и вы сами глубоко им проникнуты. Но эта утешительная философия могла ведь родиться и от безысходности. Более того: беру на себя смелость утверждать, что великая русская литература создавалась людьми, которые только и делали, что сравнивали да завидовали! Толстой, Достоевский, Гоголь, Лермонтов, Пушкин... У Чехова — самого беспристрастного, пожалуй, из всех русских писателей — зависть надежно упрятана за беспросветной тоской: «В Москву! В Москву! В Москву!» — извечный вопль бездомной души, как будто кто-то постоянно подсказывает несчастному, что здесь он обречен быть чужим и одиноким, здесь никогда не будет счастливым, что его настоящий дом — Москва, Париж, Нью-Йорк, Оксфорд, все, что угодно, только бы подальше отсюда и повыше... Относительно благополучные в жизни, с положением в обществе — и сколько уязвленного самолюбия,

желчи, ярости, бунта! А у вас? Думаю, что и у вас то же. Вся классика рождалась из непрерывного унижения, из горького ощущения собственной ущербности, из предчувствия, что тебя в любой момент могут оскорбить и даже ударить. Вся была слишком обидчивой, слишком язвительной, слишком несчастной. Вся — как корчи полураздавленного червя.

И именно это разорванное, неполноценное, ущемленное сознание ложилось в фундамент современного гуманизма!

Но тогда я отказываюсь понимать, что такое культура.

По вагону пригородного поезда идет человек с клюкой. Пальто в грязи, из кармана торчит горлышко откупоренной бутылки. Лицо темное, нечистое, борода свалаялась клоками.

— Подайте слепому-увечному! Кто чем может, тем и поможет! Дай Бог вам счастья-здоровья! — вскрикивает он время от времени тонким припадочным голосом.

Вплотную за ним, вцепившись в его плечо, нетвердо шагает испитая женщина с разбитым в кровь лицом.

Подают мало. Люди в тесном проходе отворачиваются и прижимаются к сиденьям, стараясь побыстрее пропустить мимо себя этих двоих. От них разит винным перегаром, рвотой, мочой, давно не мытыми телами.

Этот чудовищный запах преследует меня уже несколько лет. Им пропитаны наши вокзалы, подземные переходы, тоннели метро, десятки других мест, где толпами скапливаются бродяги и нищие. *Я не могу избавиться от ощущения, что пахну сам.* Как-то я уже обмолвился вам, что у нас трудности с мытьем: дача, которую мы снимаем, не имеет для этого никаких приспособлений, кроме рукомойника. Раньше мы с женой посещали раз в неделю городские бани с их длинными очередями, отпотевшими грязными стенами и тлетворным запахом плесени, созревшего белья, дешевого мыла — духом нищеты... В последние годы и это сомнительное удовольствие стало в России *не для бедных*, общественная баня доступна нам теперь не чаще раза в месяц. В остальное время обмываемся над тазиком на кухне.

Так что в Англию я прилетел невымытым и рассчитывал хотя бы здесь сразу встать под душ.

Служебная квартира, предоставленная мне в колледже (как водится, в двух этажах: наверху спальня, внизу небольшой кабинет-гостиная), не имела санузла. На этаже, впрочем, был туалет и отдельно ванная комната — с выходом прямо на лестничную площадку. В этой холодной неуютной комнате стояла только ванна — без душа, даже без смесителя: холодная и горячая вода текла из разных кранов. Не зная, кто пользуется этой ванной и пользуются ли ею вообще (соседей я еще не встречал, двери трех других квартир были заперты, старые стены — глухи), я кое-как протер ее с мылом собственным носовым платком, открыл горячий кран и отправился к себе раскладывать вещи. Когда ванна, по моим расчетам, должна была почти наполниться, я пришел туда с полотенцем. Ванна действительно оказалась до половины налита водой, но вода эта была чуть теплой, что при достаточно низкой температуре воздуха совсем меня не устраивало. А из горячего крана текла и вовсе холодная! Я поспешно закрутил кран. Шум бегущей по трубам воды не прекратился — видимо, кто-то широко открыл краны в соседней квартире. Я подумал, что вода могла остыть из-за большого расхода — так часто бывает по вечерам в наших многоквартирных домах, когда горячей водой одновременно пользуются сразу все вернувшиеся с работы жильцы. Положение мое, надо сказать, было не из приятных: полураздетый, покрытый от холода мурашками, с одеждой в одной руке и полотенцем в другой (повесить или сложить было негде), в комнате, куда в любую минуту могли войти, потому что на двери не было запора...

Наутро я узнал, что никакой сосед моей горячей водой не пользовался, у ванны автономный электрический подогреватель (он-то и производил ужасный шум, наполняясь при закрытом кране), емкости которого, к несчастью, хватает лишь на четверть ванны. Все это объяснил мне добродушный толстый старик в клеенчатом фартуке, пришедший утром убирать комнаты. Я спросил, где же мне помыться; он на минуту задумался, а затем, торжествующе хлопнув себя по лбу, повел меня через двор к другому подъезду. Мы спустились в холодный сырой подвал. По одну сторону подвального коридора располагались фанерные туалетные кабины, по другую торчали два или три ничем не отгороженных душевых рожка.

— Сюда не войдут женщины? — только и оставалось спросить у слушателя.

В подвале было не теплее, чем на улице в то ноябрьское утро (градусов пять — семь по Цельсию). Вода была прохладной и едва шла. В подвал стекались студенты и другой люд, многие после туалета задерживались покурить, и все глазели на меня...

Не обижайтесь, добрая душа, на неблагодарного гостя. Я ведь говорю обо всем этом только потому, что люблю Англию до слез. Да и рассказ мой не столько об Англии, сколько о том, *какими мы к вам приезжаем*.

Кстати, помните ли ваши первые слова при встрече? Вы предупредили меня со смущением:

— В Англии не топят.

На дворе стоял, как я уже упомянул, ноябрь, мне предстояло пробить здесь до Рождества. Предупреждение звучало достаточно угрожающе.

Вот и тут, корчась под жидкими струйками на бетонном постаменте, я решил: в Англии просто не моются горячей водой, только холодной. В памяти всплыла известная строка Пушкина, изображавшего быт русских англоманов начала прошлого века:

Со сна садился в ванну со льдом...

Потом-то я узнал, что в Англии все-таки топят: об этом свидетельствовали и заботливо приготовленные в моих комнатах электропечи, и великолепные газовые камины в обеденном зале и холлах, имитирующие горение угля — как в старые времена, когда британцы были еще не столь озабочены чистотой атмосферы. Потом, недели три спустя, сам нашел и прекрасный душ в студенческом общежитии: там было сколько угодно горячей воды, дверь на задвижке, много крючков для одежды, чистая полочка для мыла с мочалкой и даже электрический подогреватель воздуха!

Но часто в Оксфорде, во время непринужденной беседы с новыми друзьями за рюмкой отличного вина где-нибудь среди портретов в золоченых рамах и средневековых витражей, утопая в мягком кресле перед камином, я вдруг цепенел при мысли, что в эту самую минуту, может быть, моя жена пристраивается в длинную очередь у двери смрадного чистилища...

В аптеке на Солянке мне сказали, что лекарства с длинным свистящим названием, которое я едва выговаривал по заранее написанной шпаргалке, в продаже нет.

— А в других аптеках?

Молодая аптекарша с угрюмым бескровным лицом равнодушно пожала плечами.

— Месяц назад его везде было навалом, — подсказал человек из очереди. — Ищите болгарское, оно лучше нашего. Я брал за пять.

— За пять — чего?

— Рублей, не тысяч же!

Кажется, у меня поднялась температура. Сказались, должно быть, бессонная ночь в промерзшем вагоне и пережитое потрясение. Все перед гла-

зами слегка дрожало и временами теряло резкость, словно испортился проектор, показывающий мне длинное скучное кино.

На Тверской я молча показал бумажку с названием.

— Это только в валютной аптеке можно найти, — небрежно сказала провизор за стеклянным барьером и вдруг подняла глаза и посмотрела на меня внимательно. Может быть, ее удивил мой усталый, болезненный вид. В ее взгляде мне почудился намек на сочувствие. Готов поклясться, в нем даже было сомнение: она точно остановилась перед выбором. В ту секунду я понял, что у нее припрятан немалый запас этого лекарства. Надо просто суметь с ней договориться.

— Сколько? — тихо спросил я.

— Восемь тыщ, — сказала она как бы и не мне, а в пространство, сосредоточенно рассматривая наклейки на пузырьках.

— Мне говорили, месяц назад это стоило пять рублей, — осторожно заметил я.

— И, милый. Когда-то я колбасу за два двадцать ела, — произнесла она тихой скороговоркой. И громко, для постороннего слуха, закончила: — Так что спрашивайте в валютных аптеках!

Я уже шел по улице, а мне все казалось, что я с трудом открываю тяжелую стеклянную дверь аптеки — открываю и придерживаю, чтобы не ударить выходящую следом девочку... Сознание работало прерывисто, то и дело куда-то проваливаясь. Вот я нахожу себя на незнакомой площади — ровной и бескрайней, как степь. Метет поземка. Машины объезжают по кругу покрытый грязным снегом холмик... Я начинаю медленно узнавать это странное место. Еще недавно тут на высоком гранитном постаменте стоял памятник Держинскому. Полтора года назад торжествующая толпа стащила железного идола. Постамент дробили на сувениры. Казалось, все беды кончились. Сколько раз уже нам так казалось!..

Валютная аптека еще работала. Я успел перед самым закрытием.

— Говорите быстро, что вам, — раздраженно спросила девушка, которую во внешнему виду вполне можно было бы принять за французскую продавщицу цветов — если бы не оттопыренные губы, выразившие вечное недовольство жизнью.

Под стеклом на самом виду лежало нужное лекарство. «Какое счастье, что мама заболела после моей Англии», — мелькнула в голове кошунственная мысль, пока я доставал пятидесятифунтовую банкноту.

— Вы берете английские фунты?

— Да, но сдача будет в долларах.

На витрине была выставлена цена — 13 долларов за упаковку. Цена доллара в те дни была около восьмисот рублей. Выходит, подпольная сделка на Тверской обошлась бы дешевле. Но об этом лучше было не думать. В таких случаях действуют законы биологического вычитания: короткий взгляд исподлобья, тебя мгновенно оценивают, взвешивают, как бы даже подбрасывают на ладони для верности — и гуляй! Я всегда проигрывал эту роковую игру.

— Какой сейчас курс фунта стерлингов? — задумчиво бормотала девушка, перебирая смуглыми надушенными пальчиками деньги в кассе.

Фунт равнялся примерно полутора долларам. Я тоже пытался считать, но у меня ничего не получалось.

— Совсем голова к концу дня не работает, — трогательно улынулась она мне. Пахло от нее восхитительно.

Моя же голова продолжала работать, как испорченный кинопроектор. Три упаковки лекарства были уже у меня в руках. Ампулы целы, дата не просрочена. Затемнение, провал сознания, затем новая короткая вспышка: у меня в руке доллары — сдача. И вместе с ними почему-то мятная карамелька.

— Что это?

— Ваша сдача. Я вам должна девяносто центов, но у меня, к сожалению, нет мелочи.

Провал — и снова неуверенный дрожащий свет. В голове медленно зреет понимание происходящего.

— Девушка, вы мне недодали почти доллар, — сказал я, придя в себя. — Это моя недельная зарплата. Вы такая красивая, такая вся европейская. А ведь за границей так не делают. Поверьте мне, я только что оттуда. Это только у нас, в нашей нищей стране, так много денег, что их не принято считать...

Мне хотелось объяснить ей, какое она дерьмо со всеми ее парижскими духами и помадами, но никак не удавалось сформулировать это достаточно внятно. Только на улице, опершись о фонарный столб и вытерев пот со лба, я догадался разжать кулак, где лежала бумажная сдача. Там было всего три доллара вместо тридцати с чем-то.

...Небритый чужак предлагает грецкие орехи, горстями перекатывая их в большом мешке. «Вещи, вещи!» — призывно кричит издали цыганка. На ступенях подземного перехода нагажено. Прямо рядом с кучей устроилась на коленках закутанная в шаль девочка, перед ней стоит до половины наполненная деньгами корзина. Ниже на перевернутом ящике сидит дьячок в рясе поверх ватника, ударяет молоточками по стеклянным бутылкам и под эту музыку выводит простуженным басом восторженные гимны. «Беспроигрышная лотерея! — наперебой орут в мегафон двое крепких парней в коже. — Билеты продаются за рубли, выигрыш — только в американских долларах! До ста тысяч долларов можно выиграть, и как бы вам ни хотелось, получить эту сумму в рублях не удастся...» Старик в валенках с галошами притащился откуда-то со стулом, пиликает на гармони и тянет старую военную песню. Из глубины каменного колодца его перебивает флейта. Флейтист безбожно фальшивит — то ли по неумелости, то ли оттого, что пальцы застыли, но так даже и лучше... Мельтешат в неверном неоновом полусвете призрачные фигуры, зывают, плачут, кривляются. Пир во время чумы, карнавал отверженных. Сердце рвется на части, обливается кровью и все-таки взмывает, заходится безумным восторгом. Страшно и весело, как будто вместе с ними идешь на плаху. Только б не взаправду. Сидеть бы себе в бархатном кресле, переживать вместе с актерами, утирать слезы, аплодировать, вызывать на бис... А по завершении спектакля провести ладонью по лицу и смахнуть наваждение.

«У нас лучше, зато у вас интересно», — часто говорили мне вы. Это и есть взгляд из зрительного зала. Мне в Англии тоже было интересно. Каждый день я встречал на улицах Оксфорда одного попрошайку. Это был рослый худой старик с крупными и жесткими чертами лица. Под Рождество он нацепил козлиную бородку из пакли, как у Санта-Клауса, вставал с протянутой кожей на обочине тротуара и изредка лениво отбивал четкую высокими каблучками с металлическими подковками — чтобы обратить на себя внимание прохожих. Вы знаете этого старика, вы как-то встретили его однажды в Лондоне на вокзале Виктория и с тех пор перестали ему подавать: если ездит, значит, не так уж беден... Однажды людской поток притер меня к нему вплотную. На лице у него играло умильно-приторное выражение. Кто-то впереди меня положил ему в руку монету. Он благодарно отстучал каблучками и с тем же выражением повернулся к следующему, ко мне. Между нами как будто проскочила искра. Он увидел, что я не подам. Разглядел мое старое пальто русского пошива. Не знаю, что там еще он увидел и понял. Но лицо его в одно мгновение стало холодно-высокомерным. В глазах даже сверкнула ненависть — едва ли ко мне лично, я не смею претендовать на столь яркие чувства к моей персоне со стороны первых встречных, — скорее всегдашняя ненависть к миру, роднящая этого старика со всеми на свете попрошайками, комедиантами, либералами и прочими профессиональными человеколюбцами, которую передо мной он просто не счел нужным скрывать за обычной расчетливой маской. Мы быстро разминулись и потеряли друг друга из виду, но этот взгляд я запомнил.

Попрошайничество, между прочим, у вас вообще распространено. Многие музеи ничего не берут за вход, но у дверей на видном месте стоит копилка с предложением пожертвовать на нужды музея, кто сколько может. В оксфордском Ботаническом саду еще откровеннее: там надпись на копилке подсказывает, что посещение подобных мест в Европе стоит не менее двух фунтов. По выходным дням граждане в фуражках Армии Спасения устраивают импровизированные концерты и гремят на всех углах банками с мелочью. Другие предлагают расписаться на каких-то листах — и опять-таки дать денег. Пожилые женщины собирают деньги под плакатом «Save the children!» («Спасите детей!»). А однажды в Лондоне мне с улыбкой вручили крохотную бумажную гвоздику (был праздник), и, когда я искренне поблагодарил маленькую смуглую женщину за этот дар, она вдруг переменялась в лице и вцепилась мне в рукав, требуя платы...

И понять их всех можно.

Пусть гnevаются на меня англичане, но Англия, как и Россия, — тяжелая страна.

Только почему, когда я думаю о вашей стране, перед моими глазами не нищие на улицах Лондона, обкладывающие себя для тепла картонными коробками, а чистые, точно вымытые камни мостовых, ухоженные газоны, красивые и крепкие дома? Почему сам воздух у вас, в стране туманов, до того прозрачен и светел, что самые заурядные предметы, кажется, излучают волшебное сияние?

Значит, один народ из поколения в поколение с терпением и верой возводил из простых камней дивный храм, очищал тусклый, хмурый мир вокруг себя от пыли, мусора и шелухи, чтобы увидеть его озаренным божественным смыслом; другой же бездумно опустошил, загадил и в конце концов отверг большую богатую страну, а теперь ходит по миру с протянутой рукой, сгорая от зависти к благополучным соседям?

Это старый вопрос. Однозначного ответа на него у меня нет. Знаю только, что те, кто довольствуется жизнью среди нечистот, равно как и те, кто их к этому понуждает, — еще не народ. Что же до протянутых рук, не всегда следует понимать этот жест буквально. Вспомните притчу о пяти хлебах и двух рыбах: «И ели все и насытились». Вспомните мысль-закливание Достоевского о старых камнях Запада, которые русскому сердцу, может быть, ближе, чем сердцу западного человека...

Об этом я еще буду с вами говорить. К этой необъятной теме и не подступался.

Наутро я не мог оторвать голову от подушки и пребывал в том блаженном, каждому с детства знакомом горячечном состоянии, когда не мучают никакие житейские заботы, а в голове живут одни лишь перепутанные сны. В дальний путь с драгоценным лекарством пришлось отправиться жене. Перед уходом она нервно поправила на мне одеяло, положила у изголовья ворох таблеток, найденных в столе, поставила рядом телефон и взяла с меня слово, что, если температура подскочит выше тридцати девяти, я вызову врача. Кажется, самой ей не удалось уснуть и в эту ночь.

Те четыре дня, что я пробыл один, меня одолевали странные видения, перетекавшие из сна в реальность и обратно. Сюжеты были хорошо мне знакомы, но они получали неожиданное, иногда игривое и даже фантастическое развитие.

То я будто подслушивал нечаянно ваш разговор с известным нам обоим лицом. Речь шла обо мне, и лицо говорило:

— Вы уверяли меня, что это человек благородный, а по-моему, он просто натаскивает себя на благородство.

— Мы все на что-то себя натаскиваем, — уклончиво отвечали вы, не желая меня обидеть.

То я начинал мечтать. В магазине, где я покупаю конфеты, взрывается бомба. В помещении вспыхивает пожар. Люди в страхе высыпают на ули-

цу, сам я ранен и изрезан осколками, а под лестницей лежит оглушенный взрывом мальчик. Превозмогая боль в ноге, я беру мальчика на руки и несу его к выходу сквозь завесу огня и дыма. Родственники, пресса, всеобщее ликование... Меня принимает королева. Я бросаюсь к ее ногам и умоляю выписать в Англию для лечения мою маму. И вот уже мы с сестрой вывозим маму в инвалидном кресле на прогулку по предпраздничному Оксфорду, я подмигиваю сестре: «How do you like it?» («Как тебе это нравится?»), мама изумляется богатым прилавкам, выбирает продукты к обеду, симпатичные девушки в кассах улыбаются ей, но каждый раз, когда они заученным движением поднимают и смотрят на свет предложенную купюру, мама обижается. «Объясни ей, что мы не печатаем фальшивых денег!» — просит она меня...

И тут оживает картина из далекого прошлого. Дощатые ряды заснеженного рынка. Мне шесть лет. Мама покупает кусок мяса с косточкой для щей — к празднику. Рассчитывается, о чем-то задумавшись. Рука торговки со сдачей: ватник, серый сатиновый нарукавник. Я хорошо вижу эту грубую цепкую руку, она на уровне моих глаз. Она застывает на мгновение, затем быстро исчезает под прилавком. Мы отходим, мама рассеянно заглядывает в свой кошелек и вдруг останавливается как вкопанная. «Я, кажется, забыла взять свои пять рублей», — смущенно говорит она торговке, вернувшись. «Какие еще пять рублей! Я все тебе отдала, поищи в своих карманах!» Мама теряет, крепко сжимает мою руку, мы быстро идем вдоль забора. Она еще раз заглядывает в кошелек. Роемся в сумке. «Ты не заметил, куда я положила сдачу?» — «Деньги были у нее в кулаке, — говорю я. — Потом она их спрятала». Мы бесцельно обходим рыночную площадь по периметру. Я чувствую, как вздрагивает мамина рука. Опять возвращаемся туда, где торгуют мясом. «Имейте совесть, — говорит мама. — Вы не дали мне сдачу. Вот и мальчик видел». — «Вы посмотрите на нее! — кричит на весь рынок торговка, уперев кулаки в бедра. — Люди добрые, вы только посмотрите!» Мы торопливо уходим. На ходу мама вынимает из рукава платочек, молча вытирает слезы...

Обычное дело — человек в инвалидном кресле на улицах и в магазинах Оксфорда. В выходные дни этих кресел на колесах видимо-невидимо. Кажется, будто в каждой английской семье есть больной ребенок или немощный старик.

А то я опять попадал в средневековый обеденный зал колледжа: высокие своды, стрельчатые окна с витражами, тяжелые деревянные скамьи и длинные, ничем не покрытые дубовые столы. И опять садился напротив той студентки в свитере и джинсах, которую так часто видел за завтраком. У нее были очень мягкие, почти славянские черты лица, хотя она, конечно, была чистокровной британкой и, судя по приветливым манерам и особой тщательности в одежде, не из бедной семьи. Я любил смотреть на нее и иногда беседовать с ней. Характер у нее был добрый и открытый. Я пытался шутить, она слушала с улыбкой, будто и не замечая моих оплошностей в языке. Потом что-то говорила она, и я млеял от сладких звуков ее речи, едва ли и наполовину схватывая смысл. Видимо, мы вкладывали в эти мимолетные отношения много теплоты, потому что в конце концов привязались друг к другу. Когда завтрак проходил без нее, я бывал удручен, нервничал и весь день потом мне не удавался. Больше нам негде было видаться. Я ни разу не осмелился пригласить ее к себе или сам попроситься в гости, хотя часто пытался вообразить себе ее комнату (она жила рядом в студенческом корпусе). Разве что случайно очень редко встречал ее с подругами во дворе колледжа, и тогда она, несколько не смущаясь перед спутницами, махала мне рукой и первая радостно кричала: «Хей!»

И вот сейчас, лежа в постели с гриппом, я пытался сообразить: если бы я был свободен, пошла бы она за меня или нет?

Вообразил себе ее скромную студенческую комнатку. Воображал слова, какие бы она шептала мне в постели, — странные, искусственные зву-

ки чужого языка, на котором меня всю жизнь учили представлять лишь ненатуральные сцены и чувства. С ней бы я в считанные дни довел до совершенства мой английский. И рассказывал бы ей на ее родном языке о России...

Но скоро она окончит колледж, станет правоведом, получит в Лондоне престижное, хорошо оплачиваемое место адвоката. А я? Что к тому времени буду делать я? Жить на ее зарплату?!

Ну, положим, у меня хватило бы силы и способностей прокормить себя в чужой стране. Но это значит начинать жизнь с нуля. Здесь, в России, я неизменно на нуле, а то и на минусовой отметке, но привык и не придаю этому особого значения: здесь таких много. Там это — катастрофа. У ее родителей, конечно, есть дом, гараж, машина (вероятно, не одна), дача у моря, счет в банке... Плоды усилий многих поколений. Ей помогут купить квартиру и машину. Я не сумею вложить в это ни пени.

Возможны ли в современной Англии подобные мезальянсы? Не говоря уже о ее родителях (которых я, как ни старался, не мог себе вообразить), едва ли и сама эта мягкая, но разумная и сильная девушка пошла бы на сумасбродство, грозящее в самом начале разрушить ее карьеру. Здешняя серьезная молодежь так не похожа на наших плохо воспитанных, провинциально-пошлых в своей телячьей неосмотрительности юнцов...

Но ночь? Но жаркий лепет на чужом языке?

Вот забираюсь я на вокзале Виктория в вечерний автобус до Оксфорда. Молодой водитель с двумя тонкими серебряными колечками в ухе проверяет при входе мой билет. А я уже замечаю в полутемном салоне девушку. В короткой черной юбчонке и темных колготках, сидит нога на ногу, между ногами ладошку свою проложила... Сесть рядом? Но место занято ее зеленым рюкзаком, неловко как-то тревожить, когда кругом свободные кресла. Англичане вообще дорожат одиночеством и предпочитают не подсаживаться без нужды. И я устраиваюсь сзади и с завистью смотрю, как на следующей остановке ее бесцеремонно теснит патлатый верзила с прыщеватым лицом и большими желтыми зубами, и она с ним всю дорогу о чем-то непринужденно болтает.

Или поднимаюсь вечером из подвального этажа супермаркета, где обычно беру продукты, а навстречу спускается по лестнице женщина — не юная уже, ближе к тридцати, не легкомысленная и отнюдь не жизнерадостная. Усталая жена и мать, забежавшая после работы сделать покупки для дома. Я смотрю на нее, она бросает на меня мимолетный ответный взгляд, и вдруг в ее глазах, в ее бледном лице, в том, как дрогнули уголки ее плотно сжатых губ, чудится мне бездна неутоленного желания. Она прошла, растворилась в толпе внизу, через секунду я уже не помнил ее лица, но это жадное подрагивание женского рта — *a grin without a cat³* — оно во мне осталось. А вместе и мысль: «Она могла бы быть моей!»

Такое ощущение от мимолетных встреч и перекрестных взглядов с незнакомками бывало и дома. Но в Англии оно приобретало особую остроту и особенный смысл. Позже мне пришло в голову сравнение: желать чужую жену и чужую страну — почти одно и то же. И тут и там — желание *иной судьбы*.

В другой раз все-таки решаюсь подсесть к молодой женщине в автобусе.

— Вы знаете, я первый раз в Англии...

— Oh, really?!⁴

— Да. Приехал из России поработать, здесь у вас прекрасные библиотеки...

³ «Ухмылка без кота» (англ.). Образ из книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес».

⁴ Как, в самом деле? (англ.)

— Oh, really?!

— Хотите, я расскажу вам о моей стране? Русские очень похожи на англичан...

— Oh, really?!

Вечерами я сидел в общей курительной комнате у телевизора. В те дни в Англии обнародовали результаты первого в стране опроса на половые темы. «При Тэтчер такой опрос был невозможен, — ехидничали телекомментаторы. — На все подобные предложения она отвечала: нам этого не нужно, мы — британцы...» Меня восхищали женские персонажи в английских фильмах. Кажется, никто не изображал с таким сарказмом раздражительность и эгоизм очаровательных английских женщин, как сами англичане... К полуночи в курилке накапливался холодный слоистый дым. Голова гудела от экранного однообразия и спертого воздуха.

Как-то после очередного затянувшегося сеанса я проснулся утром с головной болью и продолжал валяться в постели, удивляясь тому, что мне не хочется вставать. Если бы мне в России такое напроорочили, я бы не поверил. Я в Англии, и мне не хочется вставать! Кремовые стены, белые рамы и подоконники. Кран над белой раковиной, полотенце под ней. Серое солдатское одеяло, тумбочка у изголовья. По виду все это было подобно больнице или даже тюрьме. Чувствовал я себя так, словно скован по рукам и ногам и терпеливо жду, когда кончится срок.

Но ведь я был совершенно свободен! И еще вчера разгуливал в свое удовольствие по улицам Лондона. К полудню как раз оказался возле Вестминстера и услышал Биг Бен. «Смотри, запоминай на всю оставшуюся жизнь, — говорил я сам себе. — Вот здание парламента, вот знаменитая башня с часами». Прошел по набережной Темзы. Газоны уже поседели от инея, лужицы на асфальте покрылись льдом. Шагал по улицам под неотвязный, волнами накатывающий звон колоколов Св. Павла, простая мелодия которых навсегда застревает в ушах. Увидел Тауэр, легендарное место стольких страданий и казней, — он был совсем не такой мрачный, как наша Петропавловка, весь из светлого камня, похожий на большую игрушку. И снова настойчиво внушал себе: «Вот Тауэр. Запоминай. Когда-нибудь ты просто не поверишь, что был здесь и видел все это». Говорил — и тут же всё забывал, будто во сне...

Натаскиваю себя на благородство. Натаскиваю себя на влюбленность. На восприятие природы, пейзажа, искусства...

Да разве во мне уже не осталось живых чувств?!

Взяв себя в руки, я встал с постели и открыл наугад одну из книг, в беспорядке лежавших на тумбочке:

«Посетив Лондон и не найдя в нем ничего любопытного, кроме его обширности и парков, Чаадаев поспешил в Брайтон, но морские купанья не принесли ему пользы... Он все время лечится, и все без успеха. Галль вылечивает его от ипохондрии, а к концу путешествия его душевное состояние ужасно. Этот странный турист долгие месяцы проводит в полном уединении... Его гнетут какие-то мучительные настроения. Попав наконец в Англию после опасного морского путешествия, он три недели не может принудить себя написать домой первое письмо — вещь совершенно не постижимая, потому что он хорошо знал, как тревожатся о нем тетка и брат...

При том настроении, в котором находился Чаадаев, трехлетнее заграничное лечение, разумеется, не принесло ему никакой пользы; он возвращался в Россию больнее и горше прежнего».

Русский человек, зачем-то отправившийся в 20-х годах прошлого столетия в Англию, много дней проживший там в тоскливом и мрачном созерцании, а через несколько лет вдруг потрясший современников глубоким отвращением к своему отечеству, — этот человек был главным предметом моих занятий в Оксфорде.

«Мне все кажется, что он немного тронулся», — писал о нем, уже вернувшемся в Россию, Петр Вяземский, намного опередив приговор,

вынесенный Чаадаеву императором Николаем I. А другой близкий Чаадаеву человек примерно в те же дни сообщает: «Он воображает, что болезнь его, и именно открытый геморрой, делают его кандидатом смерти; от того худеет и имеет вид совершенного, но скороспелого старика, худ, плешив, с впалыми глазами и беспрестанно говорит о своем изнеможении»...

Впрочем, во время болезни на подмосковной даче я не смотрелся в зеркало, мне едва хватало сил дотрестись до холодной уборной на другом конце двора, так что внешние совпадения не сводили меня с ума.

Однажды приснилось, будто я еще в Оксфорде и мне снится сон, что я уже дома. Распаковываю багаж, полураздетая жена примеряет наряды.

— А в Британском музее ты был? — спрашивает она, полуобернувшись ко мне от зеркала, и я понимаю, что это не жена, а сестра. Узнаю об этом не по лицу и не по голосу, а по дряблой коже на шее да по отвисшей морщинистой груди, какую я видел у больной мамы, когда помогал сестре переодеть ее в постели.

И я с ужасом вспоминаю, что не видел ни Британского музея, ни собора Св. Павла, ни Тауэра, ни знаменитой башни с часами над парламентом. Ни разу не прошел мимо Уайт-Холла или Букингемского дворца. Не побывал в Гайд-парке. Не посетил ни одного музея: То есть я вообще не побывал за два месяца в Лондоне. Собирался отправиться туда, помню, в конце первой же недели. Заранее купил дорогой многоцветный билет на автобус. Накануне поездки, по-ребячьи боясь проспать, тревожно засыпал в своей холодной постели под серым солдатским одеялом. А дальше, до самого возвращения из Оксфорда в Москву, — провал, пустота. Как будто в оставшиеся семь недель я вообще не жил.

Но тут (снился мне) просыпаюсь в холодном поту и вижу серое одеяло, заваленную книгами тумбочку, раковину, включенный электрокамин у кровати и с громадным облегчением вспоминаю, что я пока еще в Оксфорде и что как раз сегодня утром собирался впервые поехать в Лондон! Нет еще и шести, но я вскакиваю, радуясь, что это был всего лишь кошмарный сон, наскоро одеваюсь и узкими переулками спешу на Хай-стрит, где останавливаются экспрессы до Лондона. Приближается красивый высокий автобус вишневого цвета, я бегу за ним — остановка совсем близко, можно успеть, — автобус уже притормаживает, я его нагоняю... И вижу, как он встает на противоположной стороне улицы, как выпускает пассажиров, закрывает двери и спокойно трогается — без меня. Я совсем забыл, что я в Англии, где все наоборот.

И тогда я просыпаюсь второй раз, уже на самом деле, и постепенно догадываюсь, что лежу с тяжелым гриппом на даче под Москвой.

Утром мне позвонила Варзикова, известная в наших литературных кругах дама из вечно молодого поколения шестидесятников, и с ходу решительно заявила, что больше всего она беспокоится за армию: если не обеспечить квартирами офицерский состав частей, отзываемых в Россию из Восточной Европы, армия может не оказать президенту в трудную минуту должной поддержки. Я не стал уточнять, с кем должна воевать наша армия за президента. Догадываясь, что это лишь вступление и дальше последует разговор по существу, я хмуро отвечал, что меня куда больше беспокоит собственная бездомность.

— Дорогой мой, но вы же не пойдете на улицу стрелять! — уверенно возразила Варзикова, не обращая внимания на мой осипший голос.

Я благоразумно промолчал.

Главный вопрос, как я и догадывался, был совсем в другом. Варзикова недоумевала, почему я так долго не печатаю великолепную, просто гениальную статью молодого автора, которую она передала для моего альманаха месяца три назад.

Я отвечал, что два месяца пробыл в Англии, а теперь свалился с гриппом. Что, по существу, не имею ничего против публикации этой статьи,

хотя и не нахожу ее гениальной, но не знаю пока будущей судьбы ни альманаха, ни своей собственной. Что как раз накануне моей поездки организация, финансировавшая наше издание, задержала выплаты. Возможно, она теперь вообще расторгнет договор, и мне придется искать другого издателя либо закрывать альманах. Все это выяснится в ближайшие дни.

— Дорогой мой, с талантами так не обращаются, — наставительно сказала Варзикова, умевшая слышать только себя. — У этого молодого человека нелегкая судьба, и, уверяю вас, вы можете своим промедлением взять большой грех на душу. Мы всегда спохватываемся после времени. Как с Кричевским. Его рукописи лежали в редакциях по полгода! Мы с вами, простите, толстокожие, мы просто не способны вообразить, что человек от такой жизни полезет в петлю! Вы помните Кричевского?

Я помнил Кричевского и в последнее время много думал о нем. Он отправился за границу, провел у родственников полгода или год, а по возвращении в Россию, не прожив здесь и недели, отравился. Только случилось это совсем не оттого, что его мало печатали. Когда-то этого писателя действительно притесняли, но тогда он, кстати, держался молодцом; в последние же годы его имя появлялось в самых престижных журналах. Настоящая причина его гибели к тому времени только-только прорисовывалась в хаосе моих переживаний.

До этого утра телефон много дней тоскливо молчал. Тут звонки, как часто бывает, сбились в кучу и пошли один за другим. Следующим был знакомый баритон, принадлежавший как раз тому банкиру, что финансировал наше издание. Он спрашивал, почему я так долго не являюсь к нему с отчетом, и, когда я заикнулся о своей болезни и попросил подождать три-четыре дня, он раздраженно хмыкнул и повесил трубку. Других я не запомнил и отвечал машинально, потому что был расстроен сулившей неприятности беседой. А затем раздалось несколько нервных пустых звонков, когда поднятая трубка упорно молчит, и наконец пробился откуда-то из сломанного автомата слабый голос жены. Она прокричала, что прибыла в Москву рано утром, но до сих пор не может выехать ко мне с вокзала: пригородные электрички в нашу сторону почему-то не ходят.

Добралась она уже к вечеру — усталая, пахнущая прокуренным вагоном, с потемневшим лицом. Рассказала, что первый укол сделали при ней, маме сразу стало полегче. Что сестра взяла для ухода за мамой отпуск без содержания и теперь они будут жить на мизерную мамину пенсию. В городе сильно подорожали продукты; фруктов и соков, которые так нужны сейчас больной, в продаже нет совсем. Сестра отрезает от английского ананаса тонкие ломтики и ложечкой выдавливает для мамы сок, но это ненадолго...

Еще жена сказала, что истратила на поездку все деньги, какие у нее были, и спросила, хватит ли нам до зарплаты.

Среди ночи я проснулся с бешено колотящимся сердцем и больше не мог уснуть. А утром уже сидел у банкира.

Это был советский кадр: немножко пьяница, немножко распутник, немножко шпион, отъявленный плут. Такие всегда хорошо понимали правила игры, поэтому новые начальники ценили их не меньше, чем прежние партийные боссы, хотя во все времена их держали на вторых ролях. Они были хороши в качестве передаточных звеньев, «для связи с массами»: ничем не управляя, никогда не оспаривая руководящих указаний, эти люди умели с видом заговорщика подмигнуть малOVERу — мол, без тебя все знаю, но *так надо*, а в трудном случае могли применить и шантаж и угрозы. Я знал этих прожженных молодцов еще со времен моей юности — их было просто не обойти, они охраняли все входы и выходы. В ту пору они терроризировали нас «единственно верной» идеологией. Теперь в их руках было еще более мощное орудие давления: прикарманенные материальные ценности и финансы, все средства к жизни.

До сих пор не понимаю, почему эта компания какое-то время поддерживала наш альманах. Вероятно, они по испытанному методу создавали

пропагандистскую завесу, чтобы надежнее обдѣлывать за ней свои делишки. Для рекламы это значило немало; а кроме того, им льстило приобщение к литературным знаменитостям...

Вот и теперь банкир вертел в руках последний номер, на обложке которого рядом с именами хороших писателей красовалась, как всегда, его фамилия.

— О чем тут?..

— Тут много всего, — сказал я, пожав плечами. — Во-первых, мы печатаем малоизвестных писателей среднего поколения. Я как-то рассказывал вам об этом. Это поколение задавленных талантов, но кое-что из созданного ими заслуживает того, чтобы наконец увидеть свет...

Мне показалось, что именно эту фразу я уже где-то произносил. Ну да, на семинаре по русской словесности в Оксфорде! Сидя прямо напротив Клары Дженкинс, поклонницы наших писательниц-феминисток. И даже раскрыл перед ней эту самую книжку и показал: вот никому еще не известный, уже не молодой, но очень сильный прозаик. Он угодил в культурный провал. При коммунистах его не печатали, потому что его аполитичные сочинения казались режиму опасными. С началом перестройки литераторы принялись соревноваться в радикальности и хлесткости, и этот задумчивый художник опять оказался не у дел со своими вечными человеческими страстями и трагедиями. Однако пишет он куда лучше многих из тех, кого переводят и издают в Англии. Их время пройдет, уже проходит, — он останется... Доктор Дженкинс была заранее со мной не согласна. На лице этой чересчур учтивой молодой леди я читал высокомерное отчуждение.

— Это все? — нетерпеливо бросил банкир, уставившись на меня в упор и для пущей значительности прищурился одним глазом.

— Трудно в двух словах пересказывать большой сборник, — заметил я, отчаянно борясь со своим насморком. — Я отношусь к нему почти как к собственному творению — как к роману, если хотите, или, если быть более точным, как режиссер к своему фильму... Это монтаж. На мой взгляд, здесь нет ничего случайного.

— «Кино», «роман», «задавленное поколение»... Красивые слова, — проворчал он. — Но вот на обложке у вас написано, что в альманахе есть политика. И если тут стоит моя подпись, могу я хотя бы теперь узнать, что это за политика?

Я едва удержался, чтобы не рассмеяться. Только теперь я понял причину его агрессивного любопытства. В стране шла война между властными группировками, приближалась очередная заварушка. И хотя теперь он был капиталистом, в нем срабатывал инстинкт старого аппаратчика. И он был, конечно же, прав. Банк, коммерция, личные права, даже состояние — все это было малозначащей мишурой, подобно должности комсомольского секретаря или мандату народного избранника в прежние времена. В России всегда существенно только одно: угодить хозяину, кто бы этим хозяином ни был.

— Цель наша, если в двух словах, — культурное примирение...

— Нормально, — сказал банкир, одернув пиджак.

— ...Речь не о том, чтобы собирать разных деятелей и заставлять их что-то там подписывать, какую-то общую декларацию или воззвание. Мы все-таки больше занимаемся культурой, чем политикой. Споры вообще глупое занятие, во время спора каждый несет такое, за что потом приходится краснеть. Легче всего заявить, например, что «молодежь нынче не та», — вот вам начало классического спора отцов и детей. Труднее понять, что человечество не становится хуже, просто каждое поколение вводит новые условия игры. Можно затеять бесконечный спор националов и космополитов, а можно, как сделал когда-то Гоголь, напомнить людям, что все они живут в одном доме, только смотрят на него из разных точек и исключительно по глупости не хотят сделать шаг, чтобы поменять ракурс. Можно устраивать потасовки по поводу того, что лучше — «чистая» или

«социальная» поэзия, — а можно, как Достоевский, разъяснить, что никакой такой «чистой» поэзии среди людей вообще не бывает. И вопросы снимаются. Потому что все споры идут от недопонимания, оттого, что люди используют неудачные или ложные понятия. По поводу Чаадаева, например, исследователи до сих пор не могут прийти к соглашению, кто он — славянофил, западник? А он, как всякий умный человек, вообще не влезает ни в какие такие рамки. Учиться глядеть на мир глазами умных людей — вот это и есть культурное примирение...

— М-да. «И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую...» Слушай, кому все это надо? — нетерпеливо спросил банкир, перейдя на «ты». Кажется, он впервые осознал, с кем имеет дело. С простофилей, за которым ничего не стоит: ни престижа, ни связей, ни влияния. — Ты когда-нибудь задумывался, для кого работаешь? Занятым людям, у которых есть деньги, это неинтересно, по себе знаю. С твоего брата интеллигента взять нечего. Думаешь, это народу нужно? Народу нужны анекдоты, скандальчики, бабы голые, чудеса в решете, понял? Погляди-ка вот на этот журнал, я его специально для тебя припас. «Сноб» называется. Тут и машины, и мода, и напитки, и светская хроника. А девочки какие! Даже рассказ есть, между прочим. О пришельцах. Красиво? Умеют люди делать, а? Красиво. И редколлегия посolidнее вашей. Кстати, твоя Варзикова тут. Да одна обложка чего стоит, смотри! Вот его — покупают, я сам наблюдал. Бери себе, подумай на досуге. Если возникнут стоящие идеи — приходи, буду рад тебя видеть...

Забавно, что он был не первым, кто ставил передо мной этот вопрос. Алиса, русская аспирантка в Оксфорде, возвратила мне наш альманах на второй же день: «Не могу это читать. Все серьезно и на высоком уровне, но слишком тяжело... Мрак какой-то. Я уже отвыкла от нашей жизни. Здесь журналы совсем другие. Почему бы вам не издавать что-нибудь повеселее?» После учебы она собиралась остаться в Англии навсегда. Родные у нее жили в Москве, я привез им от нее письмо и маленькие рождественские сувениры...

Целыми днями сидя дома с завязанным горлом (грипп не отступал, по ночам душили приступы сухого кашля), я пытался решить, что делать дальше. О подневольной работе в какой-нибудь скучной конторе — работе, едва поддерживающей полуголодное существование и не дающей ни радости, ни надежды, — невозможно было думать без отращения. Да и такую работу найти нелегко. Оставалось рассчитывать только на чудо.

Я ловил себя на том, что уже давно, может быть, не один год, живу в ожидании чуда, словно участвую в розыгрыше какой-то дивной лотереи. Вот сейчас позвонят и куда-нибудь позовут. Или придет письмо с выгодным предложением. И тогда у нас сразу появится *все*. Лучше всего, конечно, чтобы это была почетная и выгодная должность — без должности в России трудно рассчитывать на иные блага. Но можно согласиться и на крупную сумму в валюте — скажем, получить Букеровскую премию за роман: ерунда, какие-то десять тысяч фунтов, на них не приобретешь даже жалкой комнаты в московской коммуналке, и все-таки...

И я начинал понимать, что именно так — в надежде на счастливый билет — сегодня живет вся страна. А что еще остается делать народу, который лишен возможности зарабатывать на жизнь собственным трудом? Криминальными наклонностями и авантюрным нравом наделено все-таки меньшинство, а обычная работа нормальных людей потеряла смысл. Она не поддерживает даже их физического существования. Человеку же мало просто продлевать тяжелую, серую, безрадостную жизнь — зачем? для кого? — ему надо видеть перспективу, строить планы и надеяться. Оттого так популярны всевозможные лотереи: «Выигрыш — только в американских долларах!» Не догадываются простаки, что на их запредельном отчаянии тоже наживаются, что на этом-то зарабатывать легче всего...

Понял я и то, что народ, волей или неволей избравший такой способ жизни, вырождается и обречен на гибель. Ведь для уничтожения людского племени совсем не обязательно взрывать ядерные заряды. Достаточно лишь создать такие условия, при которых нет смысла работать и жить. Можно сколько угодно твердить про Бога и высшие духовные ценности — если покончено с обычными житейскими ценностями, это уже не поможет. Человеку необходимо прежде найти свое место на земле, только тогда ему приоткрываются небеса. Русский человек особенно ревностен в желании *выглядеть*; если не удастся в глазах окружающих, то хотя бы — в своих собственных; он тянется, напрягается из последних сил, подобно пьяному, которому нужно как по струночке пройти мимо постового, чтобы не угодить в кутузку... Теряя эту метафизическую опору, он разом опускается, слабнет, забывает о приличиях, не заботится уже, как он выглядит, не старается поддерживать общение, помочь или услужить другим. Общественная жизнь прекращается. Люди начинают чувствовать себя как нищие в одном большом грязном подземелье. Они одиноки и злы. Им принадлежит только то, что они сумеют выклянчить или вырвать у других.

Вот что происходит в России, с русским народом.

И я сам становился такой превращенной особью.

Обычно с утра я притворялся перед самим собой, что собираюсь заняться работой, и садился к столу. В голове всплывали один за другим разрозненные кусочки утомительного жизненного горя, но я даже не успевал разобрать их как следует и разволноваться, потому что потихоньку, по-сапьявая, начинал дремать. В таком состоянии меня могла посетить, например, мысль о потерянных по вине «Аэрофлота» фунтах стерлингов, но она была не столь яркой и мучительной, как в Англии, где я просто сходил от этой мысли с ума. Теперь я лишь начинал вяло мечтать и прикидывать, что могли принести мне пропавшие деньги: можно было купить цветной телевизор, или четыре пары обуви, или оплатить дорогу до Англии и обратно моей жене, которая ни разу в жизни не была за границей... Иногда я спохватывался, что принимаюсь храпеть. И вдруг вспоминал, что мама незадолго до болезни вот так же засыпала днем на стуле, всхрапывая, — что бы ни происходило вокруг, с какими бы проблемами ни подступали к ней мы с сестрой. И решал, что это, наверное, и есть старость. И чувствовал невидимую нить, которая связывала меня с мамой, находящейся за сотни километров отсюда. Ее болезнь лишила меня последних сил.

Жена жила в непрерывной тихой ярости и была вся как клубок нервов. Она похудела, с ее лица не сходила чернота, поразившая меня в день ее возвращения из Вятки. После моего несчастного визита к банкиру она поспешила сделать выбор и устроилась в какую-то контору клеить конверты. Мы никогда не обсуждали, сколько она будет за это получать. Мы вообще старались как можно меньше разговаривать, когда она возвращалась по вечерам с работы, и оставались каждый наедине со своими угрюмыми мыслями.

Как-то раз я включил телевизор, и после этого уже включал каждый вечер. Шел сериал про сицилийскую мафию. Фильм был дрянной, он раздражал наивной моралью и смехотворностью придуманных ужасов, но помогал домысливать скрытые пружины того, что происходило в России. Жена не разделяла мои экранные бдения, она укрывалась с головой в постели, чтобы ничего не видеть и не слышать.

Еще я полюбил в те дни смотреться в зеркало. Пустые глаза смотрели в другие пустые глаза. Иногда это приводило меня в экстаз. Я неожиданно начинал себе нравиться. И брался примерять перед зеркалом английские обновы: брюки, которые еще ни разу мне не пригодились, потраченный интервентами свитер... И глядел и узнавал: как раз в этом наряде я поворачивался перед зеркалом в своей спальне в Оксфорде, радуясь, что вернусь в Москву приедетым.

Из газет было ясно, что власть продолжала выяснять отношения в своем достаточно узком кругу. Все это в целом напоминало дрянной фарс, но иногда выходило за рамки жанра и заставляло тревожиться за собственный рассудок. Чем меньше правдоподобия было в этом фарсе, тем более заинтересованными казались зрители.

Как-то я надумал от скуки просмотреть материалы альманаха, которому уже не суждено было выйти в свет. Среди них попала мне статья молодого автора, опекаемого Варзиковой. Теперь я читал эту статью как будто новыми глазами.

Автор писал, что русский человек по натуре своей жлоб. Что его никогда не волновали страдания голодающих детей в Сомали или оставшиеся без крова жители Боснии. Он верит только себе, своим страданиям, и желает, чтобы их было как можно меньше. Оттого он предпочитает нынче закусывать немецкую водку французской ветчиной. Он уверен, что вокруг все живут прекрасно, залились этой водкой и обжираются ветчиной, и только его долю пытаются зажать. А он чувствует на эту долю свое неотъемлемое право, он ни от кого не намерен отставать в потреблении. Самая же заветная его мечта — переселиться насовсем туда, где все есть и ничего не нужно делать, куда-нибудь в тихую Канаду или, еще лучше, в спокойную далекую Австралию...

Далее следовало обвинение в жлобстве всей русской (вернее, российской, ибо в цивилизованном обществе, по убеждению автора, людей не называют по их национальности) интеллигенции. Особенно злой критике подвергалась та ее часть, что исповедует идею Достоевского о всечеловеческом духе русского народа, о его восприимчивости и дружественном интересе к другим народам и культурам. Автор называл это ветхой ширмой для прикрытия расовой нетерпимости и великодержавного шовинизма. Много цитируя (в основном из давнишнего сборника «Вехи»), он доказывал, что интеллигенция всегда учила народ дурному: завидовать, ничему не верить, бунтовать, проливать кровь — вместо того чтобы воспитывать в нем послушание и трудолюбие. Интеллигенция настолько привыкла отрицать и говорить «нет», что даже теперь, когда к власти пришли реформаторы, она не желает воспользоваться последним, может быть, историческим шансом спасения страны и поддержать правительство. Оказывается, позиция «отрицания» просто наиболее удобна и выгодна интеллигенции, ибо позволяет ей ничего не делать, не «пачкаться» и тем самым ни за что не отвечать. В этой традиции, идущей от Радищева, декабристов и нытиков вроде Чаадаева, и выявляется ее, интеллигенции, гнилая сущность.

Тут я словно услышал голос Варзиковой, твердившей на всех углах и перекрестках, что интеллигенции пора наконец перейти от конфронтации к тесному сотрудничеству с властью.

Далее автор статьи безжалостно расправлялся с самим понятием «интеллигенция», аналогов которому он не находил ни в одном языке цивилизованного мира. Этот русизм обозначал, по его мнению, малопрофессиональную, духовно нищую и даже враждебную культуре часть российского населения. Именно от нее, от ее слезливой жалости к так называемому *маленькому человеку*, пошла идея уравнительного распределения, приведшая в конце концов к братоубийственным распрям и к гибели Государства Российского. Эта по сути своей жлобская идея была охотно подхвачена толпой и превратила нацию в стонущих паразитов, только и высматривающих, где бы что стырить или нажраться задарма. Морализаторство этих корыстолюбивых юродивых, этих толстовствующих фанатиков, называющих себя интеллигентами, угрожало мировой цивилизации и культуре. Толстой, Достоевский и народники глубоко ошибались: у простого народа нет никаких глубоких истин, никакого особенного образа жизни, ничего самоценного. Большинство людей — рабы по природе, и, если их освободят от цепей, они не имеют ни нравственных, ни интеллектуальных сил, чтобы нести за себя ответственность. Тем более не способны на это жалкие, не уверенные в себе российские интеллигенты, у которых всегда

что-то не в порядке с совестью. Роль организатора новой жизни в России должна принадлежать устойчивой *элите*. Формирование такой элиты — первая задача всех интеллектуальных сил страны.

Все это излагалось уверенно, свежо и задиристо. Мысли образованного автора были правдоподобны и оттого опасно заразительны, хотя в них не было ни крупицы истины. Я люблю яростных и ненавидящих, без ярости в нашей несчастной стране не вырастает ничего живого, я и сам грешен, но тут мне открылось иное: высокомерное отчуждение, непонимание, нелюбовь. Как когда-то в Оксфорде во время обсуждений в профессорском кругу последних новостей из России, мне хотелось вскочить и зарать, что все *совсем не так...*

Помню, к вам приехал погостить профессор Макмерри из Глазго и вы любезно позвали меня, надеясь, что мне приятно будет провести вечер с известным славистом и поговорить с ним по-русски на русские темы. Профессор Макмерри имел острый ум и сыпал шутками.

— В английском языке есть слово «блат», — обмолвился он на своем чистейшем русском, когда я спросил у него что-то о деятельности ваших издательств. — Боюсь, это слово невозможно перевести на русский...

Он действительно оказался очаровательным собеседником. Но для меня вечер не удался. Я сидел как на иголках. А все из-за несчастной темы, на которую мы нечаянно набрели в разговоре.

Темой, впрочем, был Достоевский. Я сказал Макмерри, что мне совершенно непонятна ненависть, которую питает к этому классику определенная часть советской литературной эмиграции. Они видят в нем примитивного национал-патриота и антисемита и совсем не желают замечать громадный примиренческий потенциал его творчества. А между тем мало кто из мыслителей оказал нашему западничеству столько услуг, как «почвенник» Достоевский, — и, главное, совершенно искренне, без всякой задней мысли. Ради шутливого подтверждения своих слов, в тон вашему замечательному другу, я привел парадокс Аарона Штейнберга. Не окажет ли обвинение в антисемитизме такого всемирно признанного гения, как Достоевский, спрашивал Штейнберг, дурную услугу самим евреям?

После этих моих слов возникла неловкая пауза.

— Под определенной частью эмиграции вы имеете в виду евреев? — спросил наконец Макмерри. Как всегда, невозможно было понять, говорит он серьезно или просто разыгрывает ироническую ситуацию.

— У нашего московского гостя были здесь контакты с русской редакцией Би-би-си, — простодушно вставили вы, приходя мне на выручку.

— А, понятно, — заметил профессор с тонкой усмешкой. — И все же интересно, найдется ли в нынешней России хоть один еврей, способный разделить точку зрения Штейнберга?

Что касается Би-би-си, там таких не было. Меня, впрочем, приняли очень мило, перезнакомили с сотрудниками, расспрашивали о Москве, пригласили в буфет на ланч. Я предложил тему для разговора на радио, ее одобрили. Мне хотелось рассказать о последней книжке Ани Вербиной, талантливого литературоведа и философа. Она отдала много сил демократическим преобразованиям в России, а теперь была одной из немногих, кто искренне пытался осмыслить и, главное, очеловечить этот потерявший управляемость процесс. Оказалось, мои собеседники наслышаны об Ане и неплохо к ней относятся (к ней и невозможно было относиться плохо). Из-за стеклянной перегородки студии таращил на нас глаза некий важный господин, с которым меня обещали непременно познакомить в следующий раз — для успеха нашего дела.

Через несколько дней, как договаривались, я позвонил в редакцию из Оксфорда, чтобы уточнить время записи. Голос знакомой сотрудницы на другом конце провода обдал меня холодом. Она поинтересовалась, как я поступил с рукописью некоего Васина, которую мне с полгода назад передали в Москве для моего альманаха. Я едва вспомнил рукопись: это была

бессодержательная статейка с многозначительными претензиями... Так я и сказал своей собеседнице. Она сухо попросила меня перезвонить через два дня и повесила трубку.

Через два дня сотрудницы не оказалось на месте. Я потратил в автоматах не один десяток фунтов, пока наконец другая сотрудница не объяснила мне, что Васин — совсем не Васин, а тот важный господин, что сидел за стеклянной перегородкой, известный русский публицист (она назвала незнакомую мне фамилию), лет десять назад покинувший отечество и теперь желающий, чтобы о нем знали не только на Западе, но и в России. Она внушительно добавила, что мои легкомысленные суждения о творчестве не-Васина не могли, конечно, запятнать его репутацию, но сильно подмочили мою собственную. Однако, поскольку русская редакция заранее связала себя обещанием, а к тому же с уважением относится к Ане Вербиной и ценит ее труды, мне дозволялось прибыть для записи. Все остальное зависело только от меня.

Последняя фраза, сказанная с особым ударением, возбудила во мне нехорошие предчувствия. Но отказываться было поздно.

Я сумел немало сказать магнитофонной ленте в отведенные мне полчаса. И о том, что обнищавший и отчаявшийся народ может превратиться в стадо невменяемых существ. И о чреватой бедами развязности новых «хозяев жизни». И о существующей на Западе аберрации, когда кажется, что наши «партии» — это действительно партии, а «лидеры» — это лидеры. Но самое главное, конечно, — я цитировал. Уже после выхода Аниной книги случилось именно то, чего она больше всего боялась. Вожди демократии полюбили власть и деньги и отвернулись от народа. Воинствующая часть интеллигенции так увлеклась борьбой за новое светлое будущее, что сама не заметила, как взяла на вооружение принцип своих мучителей: *цель оправдывает средства*. Пропать, разделяющая политику и мораль, стала еще глубже. Духовные лидеры нации утратили авторитет и доверие. Несчастный взбудораженный народ остался без царя в голове, а то, что вытворяет с ним преступная верхушка, напоминает сцены из Оруэлла с измененными знаками — этакий «Оруэлл наоборот»...

Не-Васин за стеклянной перегородкой теперь уже не тарасил на меня глаза — он демонстративно отвернулся.

— Все это интересно, — вежливо заметила, когда я умолк, работавшая со мной золотушная девушка из Одессы, приехавшая в Англию по стипендии от Сороса, да так и застрявшая тут на Би-би-си. — Но как ваши рассуждения связаны с Англией?

Я недоуменно пожал плечами. Речь шла о передаче на Россию. Мне важно было хоть немного поднять дух моих соотечественников, убедить их, что все, что сейчас на них обрушилось, — это наносное, временное, пена. Что в душе народа живы достоинство и гуманность, роднящие нас со всем просвещенным миром, с Англией в том числе. Что, пока будут среди нас такие люди, как Аня Вербина, — будет и Россия...

— Знаете что, — задумчиво заключила девушка. — Приходите с этой темой как-нибудь еще раз. *Когда станете немного более британцем.*

Мне уже не суждено было стать британцем более, чем я был, — мой срок подходил к концу.

Прочитанная рукопись меня оживила. И мне захотелось на нее ответить — разумеется, не называя имени моего оппонента и не ссылаясь на его работу, которая к тому же не была опубликована. Да в подобных ссылках и нужды не было: рукопись не содержала ни целостного мировоззрения, ни новых сколько-нибудь оригинальных мыслей. Я должен был ответить, если хотите, на вызов эпохи, на расхожий набор идей, снаружи кажущийся таким либеральным, но внутри пропитанный ненавистью и презрением к людям.

Как раз в те дни на меня свалилось маленькое чудо. Мой бывший однокурсник, отиравшийся в последние годы среди удачливых политиков и

коммерсантов, где-то раздобыл деньги и надумал выпускать свою газету. Набирая сотрудников, он нечаянно вспомнил обо мне (мы много лет не виделись), отыскал мой телефон и пригласил меня к себе обозревателем. Работа в никому не известной новой газете — это не то, о чем можно мечтать, но к тому времени у меня уже созрел план статьи-«ответа», и я чувствовал, что статья эта будет для меня только началом. Жизнь менялась так быстро, каждодневные события настолько болезненно заявляли о себе, что требовалась немедленная ответная реакция, и газетная скоропись казалась мне в этой ситуации просто спасением. Честное слово, речь шла чуть ли не о физиологической потребности организма; во всяком случае, по вечерам после программы теленовостей меня иногда на самом деле тошнило.

Так что я с радостью согласился на предложение и выговорил себе одно-единственное условие: писать только о том, о чем хочу, и так, как считаю нужным. Подробнее наши с редактором позиции мы решили согласовать после, когда будет готова моя первая большая статья.

В статье я возвращался к разговору об интеллигенции. Ведь все, что произошло за последние годы в России, начиналось как интеллигентское движение. Аня Вербина, знакомая с европейской традицией (предметом ее докторской диссертации был западный либерализм), написала как-то небольшое эссе об интеллигенции и интеллектуалах. Понятия эти не совпадают, а в чем-то даже противоречат друг другу, считала она, и объединять их или подменять одно другим ни в коем случае нельзя. В нынешней России есть немало интеллектуалов, так же как на Западе не вывелись еще интеллигенты. Классический интеллектуал — тот, кто, к примеру, создает в лаборатории сильнодействующий яд, совершенно не интересуясь, кем и в каких целях этот яд будет использован... Интеллигента, писала Аня, отличает от интеллектуала прежде всего моральная ответственность за результат его профессиональной деятельности, иначе говоря — совесть. Однако дело обстоит не так просто, как может показаться на первый взгляд. Прописная и ханжеская мораль не имеют к интеллигентности никакого отношения. С другой стороны, известный литературный персонаж, задававший парадоксальный вопрос: миру провалиться или мне чаю не пить?⁵ — был, несомненно, интеллигентом...

Этим несколько загадочным пассажем Аня Вербина обрывала свои рассуждения об интеллигенции и больше к ним, к сожалению, уже не возвращалась.

Ее жизнь в эти бурные годы была безумным круговоротом. Нам редко удавалось видеться, новостями и впечатлениями обменивались по телефону. Но однажды я провел с ней целый день. Мы оказались в Таллинне на съезде общественности Прибалтийских республик, тогда еще входивших в Союз. В зале, где обсуждали планы развода Прибалтики с Россией (осторожно, в расчете на далекую перспективу), было душно, шумно, и мы не сговариваясь убежали с заседания, а после часами бродили вместе под весенним дождем по крутым узким улочкам Старого города.

Мы были целиком на стороне прибалтов и сочувствовали их борьбе за независимость. В Москве мы оба открыто говорили и писали об этом, что в ту пору еще было делом рискованным. Однако в Таллинне я начал ощущать невнятную тоску.

— Если бы они попросили меня выступить, — рассуждал я вслух во время наших прогулок, — я бы признался им, что оказался в этом городе впервые в жизни, провел здесь всего полдня, но как будто давно знаю его и люблю. Люблю, может быть, сильнее, чем пейзаж средней России, где родился и вырос. Только теперь я начинаю по-настоящему понимать одно место у Достоевского. Помните, как рассуждает у него Версилон: «Русско-

⁵ Герой «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского.

му Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог... Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями...»

— «И даже это нам дороже, чем им самим», — задумчиво повторила Аня. И улыбнулась: — Поразительно, насколько точен этот неряшливый слог. Возьмись править — все попадает одно за другим, как костяшки домино. Хочется убрать «и даже», слишком уж это «по-достоевски», правда? Но тогда появится совсем другой, жесткий и враждебный смысл. И книга может угодить в костер.

— Думаете, они боятся и нашей чрезмерной любви тоже? Боятся, что мы по «праву любви» наложим на их камни лапу?

— Их можно понять. Знаете, когда я ехала сюда на поезде, я все смотрела в окно. Граница все-таки существует, ее чувствуешь. Кончается расхристанная Русь, начинается почти по-немецки собранная земля. Вернее, из кожи вон лезущая, чтобы выглядеть собранной. Может быть, самое страшное наследство большевиков в том, что они все-таки сумели сровнять, унифицировать жизнь на таком огромном пространстве. В детстве я мечтала побывать во всех концах страны (тогда за границей и мысли не было): в Тбилиси, Самарканде, Ереване, Владивостоке. А потом, когда такая возможность представилась, вдруг почувствовала, что начинаю уставать от однообразия. В каждом месте мне показывали какие-то культурные памятники, но они были лишены жизни. Само понятие национальной культуры превращалось в нечто отвратительное для живого человека. На окраинах империи казалось, что омертвление идет из центра, от русских. Они долго не смогут поверить в нашу с вами бескорыстную любовь к их камням. Когда-нибудь, когда у нас кончат делить доставшееся от советской власти наследство и начнут заново строить жизнь, эта часть суши станет богатой и разнообразной. Я очень хочу этого, я вообще-то оптимист по натуре. Но в последнее время у меня появляются нехорошие предчувствия. Я никогда не доверяла коммунистическим правителям, однако мне не внушают уважения и те люди, что сейчас приходят им на смену. Они не «перестали дорожить», как вы сейчас хорошо цитировали из Достоевского, — они, думаю, просто не способны любить — ни свою, ни чужую землю.

— Они хотят власти, — заметил я.

— Да, слишком явные тщеславие и властолюбие, — задумчиво сказала Аня. — Но это не худшее... Я больше боюсь пустоты. Со многими из тех, кто сейчас возвысился, мне приходилось раньше довольно близко общаться. Их жизнь — бесконечная аппаратная сутолока, борьба за должности, мелкие интриги. Они не чувствуют жизни, не ценят ее. То есть свою-то жизнь, свои удовольствия они, конечно, ценят и вцепились в них мертвой хваткой, но не способны чувствовать и сопереживать жизнь других, вообще жизнь как таковую. Непрерывное нащупывание лазеек, выгодных связей, каждодневные предательства. Так, за рюмкой, улаживая для себя вопрос о новой даче или заграничном командировке, они решают между прочим судьбы целых стран и народов. Карьеризм, соперничество, а то и обыкновенный каприз оборачиваются потоками крови. У нас еще не создалась общественность, которая должна поминутно сечь этих недорослей за их опасные шалости. На Западе такая существует, а у нас — нет. Мы в полном их распоряжении, и они чувствуют свою безнаказанность...

Этот разговор происходил каких-нибудь три года назад — а кажется, будто совсем в другую эпоху. Мы все в ту пору полны были живых чувств, сил и надежд.

Боже, что они с нами сделали?!

Работая над статьей, я думал: Аню Вербину я им, всем этим, не отдам. И Чаадаева с Достоевским — тоже. Придется сказать правду, даже если

(как обмолвился раз Достоевский) она и покажется недостаточно либеральной.

Прежде всего нужно было разобраться с равенством. Еще недавно к нему взывали все, от генералов до бомжей. Равенство было абсолютной точкой отсчета. Народ потому и ополчился в конце концов против коммунистов, что хотел «большого равенства», истинного равенства. А различные теоретики подыгрывали этим настроениям, лукаво указывая на огромную армию высокооплачиваемых управленцев и низкие заработки рабочих, на раздутый военно-промышленный комплекс, на нищету и отсталость подавляемых центром российских окраин, наконец, на спецдома, спецпайки, спецобслуживание номенклатуры, что были у всех бельмом на глазу. Лукаво — потому что предвидели, надо думать, дальнейший ход событий и никакого «большого равенства» (в отличие от тех, кто отдавал им свои голоса) не ждали и не хотели; многие из них вскоре пополнили ряды еще более разросшегося чиновного сословия, получив в свое распоряжение доходы и привилегии, какие их предшественникам и не снились, и стали наново крепить оборону страны и подавлять «сепаратистские настроения» окраин. Тут-то и вспомнили «веховцев» с их горькими счетами к самим себе. Оказалось, что как раз забота о равенстве («уравнительная справедливость» по Бердяеву) и была первоисточником всех бед России. В обиход публицистов вошла язвительная фразочка «равенство в нищете». Ему противопоставлялось тотальное неравенство. Все общество якобы заинтересовано в том, чтобы взрастить своих богачей; нищета — порок, нищие ленивы и злы, а богатые умелы, рачительны и добры...

Мыслима ли такая пропаганда даже в вашей сравнительно благополучной Англии, славящейся консервативными устоями и бесконечным уважением к собственности? И найдется ли в современном пестром мире еще хоть одна страна, во всеуслышание провозгласившая целью своего развития социальное неравенство? Дело ведь не в результате — в конце-то концов, может быть, неравенство и неизбежно, — дело в цели, которая ставится перед живыми людьми, в жизненных стимулах. Ради благополучия немногих ни одно сообщество свободных сознательных существ жить и работать не станет. А если эти немногие еще и заранее известны, если неравенство возникло не в результате свободной игры природных сил, а, наоборот, сама «свобода» провозглашена как раз к моменту насильственно закрепленного неравенства, то такому обществу отмерен короткий срок. Положение узника, которого перестали кормить, так и не открыв двери камеры, не называется свободой.

Все политические революции на Западе, полагал Чаадаев, были духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники»... Лжи легче всего скрываться там, где много правды. Ведь христианская мысль о равенстве — это правда; народное ожидание справедливости — правда; народ снова и снова готов поверить каждому, в чьих речах почудится ему правда об истинном равенстве, высшем равенстве...

Заблуждение «веховцев» можно объяснить только вынужденной полемикой с вульгарными революционерами да неутомимостью нашей интеллигенции в самобичевании. «Чистому понятию культуры нет места в умонастроении русского интеллигента... — писал жестокий обличитель народничества, толстовства и прочего «нигилистического морализма» Франк. — Убогость, духовная нищета всей нашей жизни не дает у нас возникнуть и укрепиться непосредственной любви к культуре... Борьба против культуры есть одна из характерных черт типично русского интеллигентского духа». Истинно так, если не забывать: результатом этого перманентного бунта против культуры и стало то, в чем цивилизованный мир вынужден был признать в конце концов великую гуманистическую культуру. «Я не хочу мыслить и жить иначе...» — это Федор Достоевский, тот самый, что свою

последнюю надежду на спасение грешного мира связал не с какой-то там социальной революцией, а, как ни странно, с *красотой*. Не может он жить — как? «...иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы». В такой стране, как Россия, культура неизбежно оказывается прежде всего мостами над пропастями общественных противоречий. Пока Лев Толстой юродствовал, умышленно задевая самолюбие образованных обывателей, пока Писарев с Чернышевским предъявляли сочинителям чудовищные счета от имени всего эксплуатируемого народа, на паркеты салонов успевали ступить сапожищи очередного гения, которому в недалеком будущем суждено было стать новым властителем дум, а вместе с ним приходила и новая культурная реальность.

Я так и сказал в Англии Алику Борисевичу: русская литература со времен Белинского вламывалась в гостиные в нечищенных сапогах...

Не помню, рассказывал ли я вам о своем визите к прославленному Борисевичу. Вообще-то я не люблю бывать за границей в русских домах. *Русскими* я называю дома людей, так и не ставших иностранцами: тех, кто родился и большую часть жизни провел в России, кто оставил там родственников и знакомых, поддерживает с ними связи. Независимо от того, удачно или неудачно сложилась судьба этих людей на чужбине, в их домах всегда гнетущая атмосфера несчастья. Я мог сколько угодно жаловаться им на нищету и безысходность нашей нынешней жизни — они, поддакивая и, казалось, все понимая, слушали мои страшные рассказы с тайной завистью. Я мог вполне искренне одобрять сделанный ими выбор как единственно правильный — они почему-то считали необходимым передо мной оправдываться. Но Борисевич не был обычным эмигрантом, он прошел особенный путь: застенки и психушки, протесты в западной прессе, скандальная и постыдная для его гонителей процедура изгнания... Дом Борисевича мало походил на русские дома. Здесь не витал дух ностальгии. Хозяин вел себя непринужденно, но по-английски сдержанно; все больше помалкивал и присматривался, этакий немолодой, уставший от политического света щеголь, весь округлый и вкрадчивый в жестах... Начали мы порусски — с прекрасного чая, слегка припахивающего дегтем, и я сказал Алику об этом, и ему сравнение понравилось. После на столе появились красное вино и сыр. Стеклопанная дверь небольшой гостиной выходила в сад, прямо за ней стояли усыпанные белыми цветами вишневые деревца. На подстриженном газоне увядали последние ноябрьские розы. Это точно была Англия, не Россия. Эта страна словно специально была создана для одушевленных наслаждений. Я и об этом подумал вслух.

— Вы здесь на метро проезжаете больше, чем заработаете, — вмешался третий собеседник, друг Алика по имени Феликс. По отрывочным репликам я понял, что он тоже за что-то отсидел в России небольшой срок, а года два назад приехал в Англию и занимается здесь странным бизнесом — продает в Россию английские спички.

— При чем тут заработок? — изумился я. — Мое наслаждение этой страной, если можно так выразиться, далеко от меркантильных соображений. В конце концов, я живу не здесь, а там.

В тот вечер я выложил Алику почти все, о чем теперь писал в статье. Практика профессиональных большевиков вновь оставила далеко позади робкий полет мысли философов. Какая насмешка над миллионами людей, которые ждали перемен! Я упомянул в разговоре Аню Вербину, которую Борисевич знал, а еще подумал о маме, о сестре, из брезгливости отказавшейся в свое время вступить в партию и за это поплатившейся научной карьерой, о других рассеянных по стране знакомых и незнакомых людях, не желавших соблюдать правила плутовской игры, навязываемой обществу прежним режимом. Своим тихим укором, самим своим отдельным существованием эти люди готовили почву для будущей свободы. Где они теперь? Кто-то надорвался, не выдержав адского напряжения последних лет, кто-

то просто отошел в сторону и прозябает в нищете. Новые игры оказались для них не менее противны, чем старые.

— Лучшая часть народа вынуждена самоустраняться от собственной жизни. Это беспрерывно длящееся состояние и есть самая ужасная катастрофа, какую только можно придумать для нации.

— Совковая психология, — фыркнул Феликс. — Кто-то сумел разбогатеть, а они не сумели. Вот и дуются на весь мир. Хотят вернуться к временам, когда можно было жрать свою пайку и ничего не делать.

— Вы стали настоящим иностранцем, всех русских мажете только двумя красками — черной и белой. — Я повернулся к Борисевичу: — Вам-то, Алик, странно должно бы слышать один и тот же риторический вопрос: отчего мы там в России все такие испорченные, что не способны полюбить *нормальное* общество и *нормальную* власть? Да оттого, что иметь у нас дело с властью — это (как и десять, и двадцать лет назад, когда вы еще сами жили в России) значит иметь дело с отъявленными негодями. Ну, не все из людей могут преступать нравственные законы, не все! Хоть и считается, что за годы советской власти в стране выращено какое-то особое сплошь преступное племя, вырезан лучший генофонд и так далее. Ну, Боже мой... Мы-то с вами много знаем — и о самих себе, и о народе. Народ не бывает ни хорошим, ни плохим — он вон как та трава у вас за дверью. Хорошо, если ее начали подстригать за двести лет до вас, просто прекрасно. Однако и теперь вам приходится раза два в месяц это делать — как на тех лужайках, где ее издавна подстригают, так и там, где прежде не трогали вовсе. Народ как трава: постоянно растет и лезет кверху. В нем каждый день есть все — и хорошее, и дурное. Если жизнь и рост считать благом, то он, выходит, все-таки расположен к лучшему.

— Что вы предлагаете-то? — с вызовом спросил Феликс. Ему давно хотелось меня прервать, и он нервничал, ударяя себя кулаком по колену.

— Еще одну партию, — улыбнулся Борисевич, охлаждая его пыл. В наших перепалках он служил чем-то вроде огнетушителя.

— Согласитесь, что у нас в стране почти ничего не осталось, — продолжал я. — Нет законов, государственных институтов, да и самого государства — если, конечно, не называть этим словом бесчисленную свору чиновных воров и насильников. Нет святых, нет почитаемых всем народом авторитетов — ни в прошлом, ни в настоящем. Не сохранилось даже памятных мест: пейзажей, архитектуры, исторических названий. Все много раз оплелено, растоптано, проклято. А церковь, о которой так заинтересованно расспрашивал меня профессор Смолянский... О Боже! Нет, у народа нет и церкви. Возможно, когда отношение русских к Богу станет более обыденным, как почти у всех западных народов, мы к ней и обратимся. Пока же в крови у нас не традиции, а горе и гнев, и каждый верующий русский ведет с Богом очень трудный и очень личный разговор, в котором не может быть посредников. Во всяком случае, церковь у нас не для истинно верующих...

— Что за диковинная земля, где истинно верующие не ходят в церковь, а сознательные граждане воюют с государством! — язвительно про бурчал Феликс.

— Вот о том и речь. У нас нет ничего, кроме людей, то есть нас самих. Только благодаря нашему иррациональному упорству существуют еще в стране идеалы, дети и надежда на лучшее будущее. Здравый смысл западного человека подсказывает, что политики нигде и никогда не принадлежали к лучшей части человечества. Мы же хотим, чтобы нами правили непременно лучшие люди, и даже сумели совсем недавно соблазнить весь мир надеждой на новую эру, когда политика пойдет об руку с совестью. Так что вы со своей шуткой насчет партии попали в точку. И такая партия — если хотите, партия вечной оппозиции мародерской власти, партия совести — фактически давно существует. Но сейчас и эта единственная надежда под угрозой. Если не остановить стремительное

растление нации, которое идет прямо на глазах, мы все скоро станем жрать человечину, и чем это кончится, одному Богу известно...

— Такая партия в истории уже была, — веско и мрачно произнес Феликс.

Мы оба посмотрели на него.

— Народники? — предположил Алик.

— Ты что, не помнишь? Партия чистых и справедливых, созданная лучшим из лучших — Адольфом Гитлером.

— Если вам эта тема близка, я могу ее продолжить, — вспыхнул я.

— Нет уж, увольте.

— Нет уж, выслушайте. Я не знаю, за что вы сидели при советской власти, но больше чем уверен, что ваше имя называлось в свое время западными радиостанциями среди прочих жертв режима. Это прекрасно, что люди могли о вас узнать. Меня лишь смущает, почему в этом перечне не было меня, моих близких и еще хотя бы нескольких десятков миллионов моих сограждан. Неужели вы не понимаете, что в то самое время, когда вся забитая Россия, преодолевая страх, вслушивалась в радиоголоса сквозь треск глушилок, надеясь узнать правду о себе, а вместо этого слышала изо дня в день один и тот же *краткий список* имен, звучавших большей частью не по-русски — да как бы они ни звучали, не в том дело! — что именно тогда слова «свобода», «демократия», «права человека» должны были утратить для русского уха изрядную долю своей привлекательности? А ведь не утратили! Произошло, по-моему, чудо: люди простили вам и ваше самознание, и свою заброшенность, они как один поднялись по первому зову на защиту все тех же свободы, демократии и прав. А теперь оказывается, что некие циничные господа просто сыграли с народом злую шутку. Кто они, в чьих руках оказалась страна? Откуда возникли словно по волшебству их несметные богатства? Чем можно их остановить? Я не знаю. Они для меня все равно что инопланетяне...

— Тут что-то есть, — промолвил Алик, с трогательным смущением потирая пальцем лоб. — Я вспоминаю тех, с кем сидел в тюрьге за политику... Строганов ударился в православную мистику. Петросян спекулирует в Москве квартирами. Один Невский, пожалуй, сумел сохранить лицо, но тот нынче ходит в больших начальниках... В какой-то момент у нас у всех, наверное, появились иллюзии, что теперь, когда разрушена империя зла, политика и мораль действительно, как вы сказали, рука об руку... Хотя взять Горбачева — ну какая у него мораль? А сделал больше всех, просто невероятное совершил. С другой стороны, конечно, Сахаров, Гавел... Теперь-то видно, что все это были иллюзии.

— Западная политика прагматична, — вставил Феликс. — Англичанам все равно, с кем в России иметь дело — с Горбачевым, Ельциным или Жириновским. Лишь бы трезво оценивали реальность и умели разумно торговаться. Здесь ваша борьба за чистоту нравов никому не нужна.

— Повторяю: я живу там!..

Я живу здесь... И мне смешно и досадно вспоминать, как горячо я спорил в гостях у Борисевича (словно мы и в самом деле решали *судьбу России*) — вместо того чтобы долить в свой бокал прекрасного бордо, откинуться в кресле и отдыхать. В той стеклянной двери в сад было что-то от старого дворянского быта, что-то тургеневское, а за дверью — и розы, и японская вишня, цветущие в конце ноября, — подумать только! Еще смешнее я вел себя в редакции Би-би-си. Русский человек за границей глупеет: в этом я убедился несколько раньше на примере моих добрых знакомых из прошлого века. Достоевский, как только оказывался на чужбине, проклинал холод в домах, отсутствие горячего самовара и вообще немецкую тупость. Чаадаев, по обыкновению, шутил: «Здесь доктора запрядают думать об чем бы то ни было, всякая дума, говорят, беда, того и смотри желчь...» — но это было горькой правдой. В редких письмах — поверхностные впечатления туриста да бесконечные просьбы о деньгах. На

безденежье во время путешествий жаловались оба. И когда присылка денег почему-либо задерживалась, письма шли чаще, а тон их становился покаянно-гневливым. Только русские писатели умели так гордо каяться и так униженно гневаться...

По возвращении в Россию картина жизни переворачивается. Явь еще живых воспоминаний перемешивается с кошмарным сном реальности. Время останавливается, будто раздумывая, куда ему теперь двигаться: вперед или назад. Ум и душа, выветренные за долгое отсутствие, словно обмерзают. И медленно, медленно начинают оттаивать. Это сопряжено с ощущением невыносимой душевной боли.

Лет двадцать назад один модный и, как водится, полузапрещенный писатель говорил мне, что нам остается, мол, *делить общую с народом судьбу*. Это было как раз тогда, когда я, стиснув зубы, скитался по вокзалам и отогревался в метро, а у него тоже все не ладилось: его перестали печатать, он лишился жилья, был одинок и несчастен и перебивался кое-как у друзей. Я, помню, был польщен приглашением навестить его однажды похмельным утром в чужой квартире на Кутузовском проспекте и бережно подхватывал каждое оброненное им слово. *Делить* вот так, имея репутацию элитарного прозаика, чьи сочинения охотно издаются на Западе, в квартире, пускай и чужой, но в престижном районе, с оставшейся со вчера на дне бутылки водкой к пустому утреннему кофе — *о да, да!* Я был почти еще юнец, пригретый почти классиком. Сколь счастлив должен быть народ, удостоенный света такой высокой и яркой личности, думал я тогда, сколь внушительны блики, отраженно бросаемые на судьбу этой личности самой трагедией народа!

Несколько позже Достоевский своим бесконечным докапыванием до истины («не страдания сломали нас»; «нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши») развернул передо мной более удручающую картину: «Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он...» Довольно бы, кажется, куда уж дальше. Это вам не кофе с водкой. Нет, он добывает: «...с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его!»

— Чем отличается самоунижение от самоуничужения? — спрашивал меня, помню, лукавый профессор Макмерри у вас за чаем. Сам он пил чай по-русски, с лимоном...

А еще позже я понял, что нет ничего безысходнее жизни. Никого не заставишь хотеть дурной судьбы. Ссылки на то, что она дана нам одна на всех, могут лишь подогреть волю к сопротивлению и укрепить в несчастном решимость во что бы то ни стало вылезти из общей шкуры. Иначе отчего бы в литературе нашей, такой, в общем, демократичной и совестливой, столько места отводится испанцам с их острыми мечами и беззаветной отвагой, евреям с их золотыми монетами, немцам с их трудолюбием и упорством, англичанам с их познаниями и надменностью?

...загнем рукоять на столовом ноже
и будем все хоть на день, да испанцы.

Что у народа на уме, то у поэта на языке. Если бы каждый со смиренным нес свой крест, откуда бы тогда, спрашивается, столько подспудного влечения к ярким чертам и сильным чувствам, ко всему *характерному* у народа, на плоской физиономии которого, если верить Чаадаеву, от рода написана немота?

Да, судьбу действительно можно переменить. Иногда это удается. Тут лучше подходит другое слово: переломить. Для этого нужны очень веские причины, непреодолимые обстоятельства, которые одни только и оправдывают преступление (а иная судьба неизбежно связана с преступлением — как минимум против самого себя, своей природы). И придется смириться с уроном. В эмоциональном отношении иная жизнь, даже если

сложится удачно, будет достаточно бледной копией предыдущей жизни, какой бы серой та ни казалась, ибо запас физических и нравственных сил человека весьма и весьма ограничен. Снимая копию с копии, теряем еще больше. Это к тому, что нельзя постоянное стремление к иной судьбе обратить себе на пользу. Можно в порыве безудержной страсти стащить чужое, владеть им и даже радоваться своему незаконному приобретению, но нельзя вечно желать чужого и этим желанием жить.

И еще: разрешима ли задача, над которой бился Чаадаев, — может ли переломить свою судьбу целый народ?

Если бы я сохранил в Англии ясность ума, я бы догадался, что ни у Борисевича, ни тем более у не-Васина мне нечего искать сочувствия и поддержки. Они там были такими же несчастными транзитниками, как мы здесь, так же ждали счастливого номера, уповая теперь, конечно, на московскую лотерею. А на что еще им было уповать?

Закончив статью, я тут же отнес ее знакомому редактору. Он куда-то сильно спешил, нам не удалось перекинуться даже парой фраз, я услышал только:

— Как немного освобожусь, старик, сразу примусь за нее. Ночью буду читать, честно! А завтра утром позвоню.

Наутро звонка от редактора, конечно, не последовало. Не позвонил он и на второй, и на третий день. Я решил терпеливо ждать: дело касалось, помимо самой статьи, моей будущей работы в этой газете, и проявлять излишнюю назойливость в такой ситуации было неловко.

За те дни, пока я расслаблялся с чувством хорошо выполненного важного дела, случилось два более или менее примечательных события. Первым стало письмо от Олега, моего спасителя в Хитроу. Он сообщал, что готовится к новой научной командировке в Оксфорд и копит деньги на черный костюм, чтобы не стыдно было сесть за High Table рядом с облаченными в мантии учеными мужами. Второе событие было не столь неожиданным и куда менее приятным: в одной из самых уважаемых газет появилось открытое обращение ряда лиц к правительству. Смысл его сводился к тому, что наш народ за годы советской власти привык к плетке и обращаться с ним для его же пользы нужно как со скотом, а не то эти бесноватые свиньи кинутся с обрыва, увлекая за собой и пастухов. Обращение подписали с десяток приближенных к Кремлю писателей и артистов, правительственные сановники, несколько миллиардеров-натурщиков да еще три-четыре человека, чьи имена в недавнем прошлом олицетворяли сопротивление режиму. К моему глубокому огорчению, среди них, где-то между вездесущей Варзиковой и министром госбезопасности, нашел я и Алика Борисевича. Я живо представил себе, как он, весь круглый, потирает лоб и бормочет: «Знаете, в этом что-то есть...»

Через неделю я все-таки позвонил редактору.

— Старик, прости, у нас запарка с типографией, — сочным голосом перебил он мой лепет. — Да ты не волнуйся, я прямо сейчас не глядя подпisyваю и засылаю в очередной номер.

— Спасибо, — сказал я. — Но лучше все-таки прочти. Там не все просто.

— Ха-ха, ладно, так и быть, прочту. Только из уважения к твоему перу. В тебе я уверен, как в себе самом.

Прошло еще недели две. Каждый раз я покупал свежий выпуск газеты, специально ради этого выезжая из нашего захолустья в Москву. Моей статьи там не было.

Как-то позвонила сестра и сообщила, что маме стало хуже. Временами она впадает в забытье, перестает реагировать на окружающее и подолгу смотрит в одну точку. Врач, тот самый, что вначале советовал позволить ей спокойно умереть, теперь требует непрерывно вводить в вену дорогое лекарство. Оно уже на исходе.

— Я займу здесь и пришлю тебе, чтобы ты поменял их на доллары, ладно? — сказала сестра. — Или что-нибудь продам.

Что ей было продавать, кроме железной кровати, стола, стульев да ветхих одеял?

— Не глупи! — бодрился я. — Валюта у меня есть. Ты же знаешь, я вернулся из Англии богатым. Через неделю у вас будет лекарство.

Мы с женой доедали черствый ржаной хлеб, купленный три дня назад. Холодильник был пуст. В потайном месте у нас лежали три оставшиеся пятидесятифунтовые бумажки (вот я и проговорился!), но мы рассчитывали протянуть без них. Жена вот-вот должна была получить какие-то деньги за свои дурацкие конверты (она не знала и принципиально не желала узнавать, сколько ей заплатят). Я все еще надеялся устроиться на хорошую ставку в газету. Красивые большие банкноты с портретами ныне здравствующей королевы Елизаветы II на лицевой стороне и давно почившего архитектора сэра Кристофера Рена на обороте, с надписью «Bank of England» и автографом Главного Кассира, прошитые посередине широкой серебряной нитью, — эти бумажки все еще поддерживали нас морально. В нашем воображении они существовали либо для крупных начинаний, либо на самый черный день.

Видимо, этот день настал несколько раньше, чем мы ожидали. Подавленный после телефонного разговора с сестрой, я рассеянно оглядывал наше временное жилище — единственную комнату, которая являлась и спальней, и гостиной, и кабинетом. Взгляд упал на ненавистный мне продранный диван с торчащей из прорех ватой. На свисавшие до полу лохмотья рваных обоев. На картонные коробки с нашими книгами, которые много лет не распаковывались, потому что книги просто негде было разложить. На старый черно-белый телевизор с крошечным экраном... Было на что посмотреть. Жизнь клонится к закату, и вся она прошла вот так, будто на вокзале. Мы ведь до недавних пор не чувствовали себя нищими, не слишком мучились тем, как мы живем. И мы много работали, мы умели работать. Как бы само собой разумелось, что упорный труд наш будет в конце концов вознагражден и бедность уйдет в прошлое. Скажите мне попожа руку на сердце: разве не верно жили мы по меркам цивилизованной Англии? Разве не связываете вы свое нынешнее благополучие с трудом, и только трудом? Так что же, в конце концов, произошло с нами?

Я ловил в чужом ржавом зеркале собственный тусклый образ: бессильно опущенные плечи, всклокоченные волосы, тревожный взгляд. Такая жизнь накладывает в конце концов свой отпечаток.

На другой день по дороге в валютную аптеку я заехал к редактору. Мое настроение не располагало к уклончивым разговорам, и он, видимо, это осознал.

— Старик, — сказал он, пряча глаза. — На кой тебе далась наша газета? Выходит нерегулярно, тираж мизерный. Ты опубликуй свою статью в другом месте, в хорошем издании, она этого стоит, честно. А потом приходи к нам работать. Жду тебя через пару недель, место, считай, забронировано!

Через пару недель моя статья вышла в другой газете. Там любили печататься Варзикова и другие претендующие на известность литераторы, газета была в ту пору модной и позволяла себе иногда экстравагантные выходы. Разумеется, к моим мыслям в редакции отнеслись как к чудачеству, но — оригинальному и заманчивому. Как раз в день выхода статьи, придя в редакцию за авторским экземпляром, я застал там Варзикову. В ее руках был свежий номер, раскрытый как раз на моей статье. Заметив меня, она демонстративно отвернулась.

Вечером следующего дня статью, к полному моему изумлению, прочитали по Би-би-си.

А еще через день я совершенно случайно узнал, что место, обещанное мне моим бывшим однокурсником, поспешно отдано другому. Сам же этот «другой» и сообщил мне радостную для него новость по телефону.

Это был неплохой парень, но совершенно бездарный журналист, не способный даже составить формального письма от редакции из двух-трех фраз. Одно время он безуспешно пробовал свои силы в нашем альманахе. Он, конечно, не подозревал, что занимает предназначавшееся мне место.

Когда жена в тот день вернулась с работы, я постарался выставить ей происшедшее в самом смешном свете. Мое веселье было, конечно, на грани отчаяния. Оно как-то перекликалось с бесшабашностью подземного народа, который к весне выполз на поверхность и бродил по вокзальным площадям, наполняя мартовский воздух гулками кличами и смрадом.

— Мне выдали зарплату, — сказала жена.

Не помню, что меня в эту минуту отвлекло; кажется, я увидел в газете броский заголовок и стал читать саму статью. Прошло некоторое время, прежде чем я машинально спросил:

— Сколько?

Она не ответила.

Я обернулся и увидел, что она лежит на диване, с головой укутавшись одеялом. Сумочка ее валялась рядом на полу, из нее высыпался ворох грязных мелких купюр. На этот полуторамесячный заработок можно было, пожалуй, купить три пакета молока да штук пять булок, не больше.

— Ну, теперь-то ты, надеюсь, больше не будешь по ночам клеить конверты? — спросил я с легкомысленной досадой.

Она опять не ответила.

Что-то я еще в тот вечер делал, но мне, помню, было не по себе и все валилось из рук. К ночи вскипятил чай, но жену тревожить не стал: мне показалось, она уснула. Потом погасил свет и улегся с ней рядом. И только тогда почувствовал, как она вся дрожит, и ощутил мокрую подушку. Я протянул в темноте руку и попытался погладить ее по влажным спутанным волосам; она вся содрогнулась, как от удара током, и села на постели.

— Я больше не могу, — тихо сказала она. — Зачем мы так живем? Ведь ничего этого не нужно. И ты, ты...

— Ты хочешь пожаловаться мне на нашу общую жизнь? — жестоко спросил я. Мне следовало ее успокоить, но этот ее тон, холодный и отчужденный, меня обидел.

— Ты не понимаешь, — прошептала она, — я на самом деле не могу. Ты когда-то сказал, что каждый человек живет там, где он хочет жить, и именно так, как хочет. Это правда. Но я-то хочу не здесь и не так.

У дверей я попытался удержать ее силой, но она так взглянула на меня, что руки сами собой разжались. Глаза ее были уже совершенно сухими и блестящими — я надолго запомнил этот гневный взгляд. Пока торпливо одевался и натягивал сапоги, пока возился у дверей с ключами, она успела исчезнуть. Я наудачу побрел по грязной размокшей дороге к станции, надеясь застать ее на платформе. У нас ведь некуда больше бежать, разве что в глухой лес. Но на станции не было ни души. Машинально я сел в подошедший поезд на Москву и оказался в пустом вагоне с изрезанными и выпотрошенными сиденьями. Не рассчитывал же я, в самом деле, нагнать жену, если она успела уехать предыдущей электричкой, или отыскать ее по следам в огромной ночной Москве? Кажется, я уже вообще ни о чем не думал — не осталось ни мыслей, ни раскаянья, только разлитая в пустоте души боль да еще почему-то возникшая под стук колес и теперь рвущаяся в крик мольба:

— *Ваше Величество... Ваше Величество!..*

В ту осень несчастья сыпались на королеву одно за другим. Сын и наследник престола Чарльз и его жена Диана объявили всему свету, что не могут больше жить вместе. Это была бомба, подложенная под монархию: если дело дойдет до формального развода, Чарльз не сможет, как это положено английскому монарху, возглавить церковь. Сорокадвухлетняя дочь

Анна вздумала после развода еще раз выйти замуж — небывалый случай в королевском семействе. И наконец, внезапный опустошительный пожар в Виндзорском замке, случившемся одновременно и королевскими палатами, и величественным символом монархии, и богатейшим музеем.

На пожар Елизавета II явилась в сером плаще с нахлобученным на голову капюшоном и в резиновых сапогах, как русская баба выходит на поле копать картошку. Не было ни королевской шляпки, ни обязательного букетика в руке, ни разодетых церемониймейстеров. «Это был ужасный год», — простодушно призналась вскоре в традиционной парламентской речи охрипшим от простуды и волнения голосом, словно прибыла в Вестминстер прямо с пожара. Все это я видел и слышал по телевизору. Видел счастливую принцессу Анну с женихом. И туповатого Чарльза и стервозную Диану, почему-то полюбивших после объявления о своем разводе появляться на радость публике вместе. Подданные были сдержанны и, как обычно, почтительны к королевским особам, но на лицах пожилых англичан читалось желание вразумить безответственную чету. Пресса обсуждала еще одну новость: королева согласилась платить налоги в казну, как все британцы. Кто-то считал это недопустимым унижением для королевского дома, кто-то уже просчитывал, доживет ли монархия до двухтысячного года...

Колледж начал готовиться к визиту королевы недели за три. Ремонтировали подъездной путь и асфальтовые дорожки во дворе, щетками с мылом отмывали каменные стены часовни, красили лестницы и прихожие. Так у нас в захолустье готовятся к наезду столичного начальства. В самый день визита я хандрил, как обычно, у себя в спальне и от нечего делать пробегал глазами заметку в «The Observer». Английские студентки, проходившие стажировку в Воронежском университете, жаловались на проделки русской мафии. Они заплатили каждая по 1900 фунтов стерлингов — 1100 как бы за жилье и 800 как бы за обучение. Администрация университета заверяла, что деньги пойдут на улучшение студенческого быта и зарплату профессорам. На самом деле, по словам студентки, львиная доля денег осела в карманах мафии. Профессора получают всего по пять фунтов в месяц. В общежитии нет никакой охраны: драки, вымогательства, угрозы, половое насилие — со всем этим студентки сталкиваются каждодневно. На улице мороз, отопление не работает, а жильцам выдают всего *по одному одеялу*. (Я даже вздрогнул, дойдя до этого места. Привычные к холоду в домах юные англичанки готовы были, пожалуй, стерпеть неработающее отопление в зимнем Воронеже, но вот одно одеяло — это уже было прямым оскорблением, посягательством на личные права. Везде, где я ни оказывался в Англии, мне предлагали не меньше двух одеял.) Туалеты, кухни, душевые общежития — все это, как деликатно выражалась солидная газета, *сопряжено с риском для здоровья*. Далее шли цитаты из жалобы: «На прошлой неделе случилась вспышка дезинтерии... Пол туалета, покрытый экскрементами, неделями никто не убирает...» Студентки знали, что едут не в Париж и не в Милан, и заранее были готовы к трудностям. Англичане и даже нежные англичанки вообще всегда, по-моему, готовы к трудностям, однако им хотелось бы понимать под этим словом нечто более рациональное, чем то, что можно встретить в России, — нечто такое, что, по идее, все-таки *преодолимо*. Даже их новые русские друзья, писали девушки, свидетельствуют, что так ужасно в общежитии еще никогда не было. Только солидарность с этими студентами удерживала англичанок от того, чтобы немедленно все бросить и вернуться домой. Они надеялись довести общую борьбу с русской мафией до победного конца: ведь у них несколько больше возможностей и прав, чем у самих русских, находящихся внутри системы...

Дальше шла дипломатия. Врач британского посольства в Москве обследовал общежитие. Представитель посольства заявил, что оснований для жалоб больше чем достаточно. Администрацию университета уведомили, что в феврале возможен повторный визит врача. (И дату назвали! Как я

узнавал за всем этим уже знакомый мне почерк английского чиновника, чрезвычайно пунктуального и снисходительно-бесстрастного, возвышающегося посреди бурь и отчаянных воплей как скала.) Администрация же, в свою очередь, заверила посольство, что намерена *в ближайшем будущем направить значительные средства на улучшение студенческого быта.*

Я-то читал это не как английский обыватель. Я оставался внутри «системы», знал действующих лиц и мог со стопроцентной уверенностью прогнозировать события. И когда я добрался до конца статьи, меня просто трясло. Мне хотелось целовать руки отважным наивным девушкам и гнать поганой метлой сытых, ироничных британских бюрократов...

Оторвавшись наконец от газеты, я поразился необыкновенной тишине в комнате. Днем рама одного из окон бывала у меня обычно приподнята; с прилегающих к колледжу улиц постоянно доносились привычные звуки города, изредка возмущаемые резким воем полицейских сирен. В то утро было особенно шумно: гомонили рабочие, зачем-то огораживая газон белым шелковым шнуром; суетились пожилые привратники, надевшие ради торжества свои ордена; взволнованно переговаривались облаченные в манттии преподаватели, собираясь для торжественной церемонии; прошел в часовню в сопровождении наставников строй мальчиков в ало-белых ризах — церковный хор... Чужая, далекая от меня жизнь. Я не судил чувства верноподанных британцев, но и не мог их разделять... Внезапно наступившая тишина подавляла, как перед грозой. Я подошел к окну. В ворота въехал желтый полицейский на желтом мотоцикле. Он остановился в дальнем углу двора. За ним показался большой старомодный черный автомобиль с британским флагом на капоте, подъехавший прямо к парадному крыльцу, где столпились ветречавшие во главе с деканом колледжа. На почтительном расстоянии этот автомобиль сопровождали еще три машины; одна из них встала прямо под моим окном, из нее вышел человек в штатском, с портативным радиотелефоном, и принялся внимательно оглядывать двор. Издали мне трудно было разглядеть, что происходило на крыльце, когда королева вышла из машины. Из боковой калитки во двор вдруг хлынул народ — городские зеваки, ожидавшие приезда королевы на улице: дамы в шляпках, мужчины при галстуках... Они перемешались на газоне со студентами и персоналом колледжа. Ровный изумрудный ковер, на который в обычные дни никто не смел ступить, в один миг превратился в бурое месиво. Люди выстроились со стороны газона вдоль шнура — только теперь я догадался о его назначении, — и королева начала свой обход. Каждому она подавала руку и говорила с улыбкой какие-то фразы. Я не слышал слов, но мог хорошо ее разглядеть. Она была на этот раз в белом костюме и белой круглой шляпке, с традиционным букетом. Лицо умное и приветливое: ни следа официальности, ни тени фальши. Она казалась матерью, опечаленной большим горем и находящей единственное утешение в любви к своим детям — всем тем, кто был сейчас перед ней. Люди на газоне улыбались не слышным мне приветственным словам, время от времени раздавались всплески аплодисментов. Я вспомнил, как в разговоре с вами назвал ее однажды простоватой, а вы с несвойственным вам раздражением возразили: «Это премьеры у нас простоватые, они приходят и уходят, ничего не умея сделать, а ей достается расхлебывать...» Теперь я видел ее простой, но не простушкой.

Я наполовину свесился из окна. Никто внизу не обращал на меня внимания — ни толпа, занятая королевой, ни желтый полицейский, ни тот, что стоял подо мной. Людей было не так уж много, можно запросто протиснуться к королеве через три-четыре неплотно стоящих ряда. Почему я не подумал об этой встрече раньше? Почему не догадался подготовить послание, чтобы сейчас выйти на газон и с поклоном передать мою почтительную мольбу? Это не принято в Англии, где королеву любят бескорыстно и счастливой одной возможностью увидеть ее и прикоснуться к ее руке. Это *неприлично*. Англичане слишком дорожат репутацией: им, кажется, легче провалиться сквозь землю, чем совершить что-нибудь неприличное.

Про меня будут ходить анекдоты, мои английские друзья и знакомые усомнятся в моем здравом уме, и мне, уж конечно, навсегда будет заказана сюда дорога. Но ведь это, может быть, единственный и последний в моей жизни шанс. Через полчаса королева покинет колледж, еще через пару недель я распрощаюсь с Оксфордом, а дальше — погружение во мрак...

Так о чем просить? Чтобы мне продлили срок пребывания в Англии и я успел дописать свою книгу? Какая странная фантазия — ехать на чужбину писать про Достоевского да Чаадаева, самых русских из всех русских... Или чтобы мне позволили здесь поселиться вместе с женой, мамой и сестрой? Или чтобы королева помогла мне на сороковом году моей жизни обрести какое-то пристанище в родной стране, чтобы я мог наконец разложить по полкам свои книги и впервые сесть за собственный письменный стол? Но как она может помочь? И почему именно мне?!

«Ваше Величество! Спасите Россию! Я не знаю, как можно это сделать, но заклинаю Вас всем, что есть для меня на свете святого, — спасите!!!»

Наверное, лучше написать плакат — совсем простой, как тот, под которым женщины из общества спасения детей собирают на улице деньги. Затем встать на подоконник и прикрепить его снаружи к стене клейкой лентой. Вначале меня заметит желтый полицейский на мотоцикле, за его изумленным взглядом проследит кто-то из толпы, человек в штатском начнет вызывать подкрепление по своему радиотелефону, люди ахнут, а там и сама королева поднимет взор... Всего четыре слова:

YOUR MAJESTY, SAVE THE RUSSIA!

А когда плакат будет надежно закреплен и все его прочтут — легко оттолкнуться от подоконника и прыгнуть вниз головой на каменную дорожку. Хорошо бы умереть сразу, без мучений. Служба безопасности не успеет мне помешать. Это и есть мой последний шанс. Просто я устал и выходясь. Я не хочу больше витать где-то между жизнью и смертью. Они здесь должны наконец понять, что все в России слишком серьезно.

А через пару дней в наших теленовостях мелькнет коротенькое сообщение, что заезжий русский, личность которого устанавливается, треснувшись в Оксфорде головой об асфальт на глазах у самой королевы, вместо того чтобы поднакопить денег и приобрести квартиру в центре Лондона, как поступают более смысленные наши соотечественники...

Хотите знать, что было с нами дальше? Жена вернулась домой под утро, когда я уже принял решение. Она ведь была, в общем, права. Я давно заметил, что родные и близкие мешают человеку в двух случаях: когда ему слишком хорошо или, наоборот, слишком плохо. В том состоянии, в каком мы оба тогда находились, лучше было попытаться решить свои проблемы поодиночке. Вы ведь понимаете, о чем я говорю? Не только о трудоустройстве и уж никак не о сексе. Я любил жену и не собирался расставаться с ней навсегда; она со мной, думаю, тоже. Все прожитые вместе годы мы помогали и сочувствовали друг другу. Но как раз это-то сейчас и мучило и мешало. Нам обоим требовалось одиночество, чтобы справиться каждому со своим внутренним кризисом. Мы устали не друг от друга, подобно Чарльзу и Диане. Мы устали от плохой жизни, от нежизни.

Куда и как разъехаться — тут особенно выбирать не приходилось. Жена, конечно, останется здесь, в этом чужом и убогом, но все-таки привычном углу. Ей просто некуда деться, она сама это понимала. Утром она сказала мне, что сегодня же начнет искать работу попримичнее. Я же в тогдашнем состоянии мог собраться с силами только ради того, чтобы начать совсем другую жизнь. К счастью, у меня было для этого подходящее место — дом покойной тетки в Солигаличе, вот уже два года стоявший пустым.

Дом этот был мне не чужой: еще мальчишкой я не однажды проводил у тетки в гостях летние каникулы, заезжал проведать ее и после, а в одну из наших встреч незадолго до смерти своей она обмолвилась, что дарит дом мне и сестре, единственным своим наследникам. Я был, конечно, расстроган, но и помыслить тогда не мог, что ветхая лачуга на окраине провинциального северного городка, оцененная местными властями в считанные гроши, когда-нибудь мне пригодится...

Мы с женой поделили поровну оставшиеся фунты. Они съжились еще больше. К весне зарплата моей сестры, как сообщала она по телефону, выросла примерно до восьми фунтов, но купить на эти деньги удавалось даже меньше, чем на четыре фунта в январе. Однако при должной бережливости наших запасов, по моим расчетам, могло хватить до осени. Что будет осенью — Бог знает. В тот год особенно популярным был шлягер, в котором звучали такие слова:

Осень! Доползем ли, доживем ли до рассвета?
Что же будет с Родиной и с нами?

В самом деле, в нашей страшной жизни лучше было не строить планов.

...Пишу «в нашей страшной жизни» — и ловлю себя на мысли, что жизнь в России была для меня ужасной всегда. Лет десять — пятнадцать назад она казалась до того невыносимой, что я несколько не боялся атомной войны, которой постоянно пугала советская пропаганда. Есть предел отчаяния, за которым думается не о созидании, но лишь о дальнейшем — дотла! — разрушении. Мы в России давно живем за этим пределом. Не станем тратить время на выяснение, кто в этом виноват: никто, кроме нас самих, конечно. Это мы сами сделались опасными для всех, а в первую голову для себя. Но вот что я вам еще скажу. Мой народ напоминает мне безумно влюбленного застенчивого юношу. У него отнимают намыленную веревку, ему дают успокаивающие капли, его, наконец, связывают и запирают в чулане, где он, разумеется, будет биться об стену, пока не разобьет либо эту стену, либо свою голову... И никому не приходит на ум простое: вдохнуть в него побольше уверенности да рассказать о его беде той рассеянной красавице, что, сама того, может, не подозревая, свела его с ума: вдруг да полюбит, приглядевшись?..

Такое может прийти в голову только очень близким людям. Самым близким.

Однажды поздно вечером я возвращался на автобусе в Оксфорд. Это было после трудного дня в Лондоне, когда я сначала безуспешно пытался вернуть в агентстве «Аэрофлота» переплаченные за билет деньги, а затем на Би-би-си получил от золотушной одесситки совет «стать немного более британцем». В слабо освещенном салоне кто дремал, откинув спинку кресла, кто шептался с соседом, а несколько молодых людей — студенты, наверное — жевали сэндвичи и запивали их молоком. Атмосфера ночного автобуса была настолько знакомой и близкой, словно я ездил этим рейсом всю жизнь. Я почти автоматически поднял руку и щелкнул выключателем наверху — мне на колени упал желтый лучик фонаря. Повернул пластмассовый шпенек рядом с выключателем — в лицо ударила струя свежего воздуха. Потянулся к спинке переднего кресла, нащупал резинку сетки для газет и всякой мелочи, чуть оттянул ее и легонько щелкнул... С детства привычное развлечение. В сетке лежали старая газета и пустая бутылка из-под пива. Автобус был — «Икарус». На таких автобусах я не раз ездил в гости к тетке. Если бы водительское место не располагалось справа, вполне можно было бы решить, что ты в России. Именно тогда я как-то холодно и отстраненно подумал: не все ли равно на самом-то деле, куда ехать ночным «Икарусом» — из Лондона в Оксфорд или из Москвы в Солигалич? И почему-то вспомнил писателя Кричевского. В том автобусе у меня

впервые мелькнула догадка, от чего он погиб: от унижения, которое преследует нас повсюду. Бежишь от постоянного унижения из России и сталкиваешься с еще худшим — на чужбине. Возвращаешься с новыми надеждами домой — и видишь, что на такую жизнь у тебя после заграницы не осталось уже совсем никаких сил. Разруха, одичание, обман и насилие, затравленные лица... Здесь жить невозможно, а там — незачем.

— Не приведи Бог узнать такое место, а потом навсегда его покинуть, — пробормотал я, кажется, по-английски, наконец-то отпустив резинку багажной сетки.

— Что вы сказали? — участливо спросила молодая соседка, повернув ко мне симпатичное круглое личико. Видимо, она заняла это место на последней остановке. Еще недавно тут сидел пьяный дед в телогрейке и бессвязно матерился, мешая думать.

На этот раз я ехал то ли из Москвы в Оксфорд, то ли из Лондона в Солигалич. Но ведь в Англии молодая женщина не начнет первая разговора с незнакомым мужчиной! И там, кажется, не принято переспрашивать.

— Вы в Солигалич? — спросил я ее на всякий случай.

— Нет, я до Чухломы. А вы?

— Не все ли равно, куда ехать, — раздраженно пошутил я. — Нынче у нас везде одинаково плохо.

Она растерянно задумалась. В полумраке ее близкое круглое лицо с восторженно сдвинутыми бровями показалось мне по-детски незащитным. «Oh, really?» — вспомнилось мне...

— Я думаю, здесь тоже можно жить, — серьезно промолвила она после минутного размышления.

Интонация требовала продолжения. Мне стало даже весело: эта женщина как будто побывала со мной в Англии, так легко она проникла в дурную бесконечность моих мыслей.

— Конечно, можно — тем, кто быстро сориентировался и не терял времени даром, — желчно возразил я. — Остальным же, огромному большинству вроде нас с вами, досталось разрушать свои души бесплодной завистью.

Я уже успел ее разглядеть: она была в скромном плаще и сером тонком свитере, вся чистенькая и аккуратная. Добросовестная жена какого-нибудь ветеринара или столяра возвращается из столицы с покупками для семьи.

— Зачем завидовать, кому? — Она снова трогательно наморщила свой лобик. — У каждого своя судьба. Я бы не хотела брать на себя чужие неприятности, мне хватает своих.

— Вы всегда жили в Чухломе? — жестоко спросил я.

— Ну, как вам сказать...

— А когда вы смотрите дома телевизор — желаю вам, конечно, чтобы он был цветным, — вам не хочется стать Мадонной или, на худой конец, Аллой Пугачевой? Не хочется пройтись в лучах юпитеров, легко прошуршав золотистой юбкой и сверкнув настоящими бриллиантами, или победить в конкурсе фотомоделей, или отдохнуть на Азорских островах, или забраться в собственный «мерседес» и жевать, жевать, жевать бесчисленные «Сникерсы», «Баунти», «Твиксы»...

— А также «Педигри пал»⁶, — дополнила она не без юмора.

— Тоже неплохо. Так вам хочется всего этого — хотя бы для своих детей? Кстати, есть они у вас?

— Двое. Дочке уже девять, а сыну три годика.

— Ну вот. Вам не кажется, что рожать детей в этой стране, при наших-то с вами возможностях, — все равно что заведомо давать жизнь слепоглу-

⁶ «Pedigree Pal» — «Породистый друг» (англ.). Так называется сухой корм для собак, рекламируемый в России.

хонемым, безруким и безногим, каким-то беспомощным обрубкам человеческого тела?

Молчание.

— У дочки малокровие, — наконец тихо заговорила она, глядя на меня из темноты очень внимательно. — Я стараюсь ее подкармливать, езжу за продуктами... Ведь это поправимо, верно? Ну а насчет зависти... Каждому хочется чего-то такого, чего у него нет. Даже Пугачевой. Даже Мадонне, наверное. Почему вы ее назвали? Я мало ее слышала, но мне не нравится, как она поет.

Похоже, я недооценил свою попутчицу. Черт знает, почему я назвал именно Мадонну! Я-то ее и вовсе никогда не слышал. Видел только в лондонском книжном магазинчике фотоальбом с изображениями ее симпатичного полуобнаженного тельца, обтянутого детскими рейтузиками. «Беби с титьками» — так, кажется, называется в переводе на полурусский этот новомодный невинный имидж.

— Вы были за границей, — задумчиво произнесла попутчица, когда я во всем признался. Если бы в салоне горел свет, она увидела бы, как запылало мое лицо. — Мне тоже хочется. Когда-нибудь, наверное, побываю. Это все равно что кожаная куртка...

— Кожаная куртка? — удивленно пробормотал я. — При чем здесь кожаная куртка?

— Да просто. Сейчас все их носят, как и за границу все почти ездят. Просто с ума сошли на этих куртках. Зависть портит характер, вы правы, нам просто нужно щадить друг друга. А еще полезно иногда ставить себя на место того, кому завидуешь. Представьте, вам сейчас предложат важный пост с большим окладом, персональной машиной и госдачей. Разве откажетесь? Разве не забудете на время о тех, кто всего этого лишен? Обо мне, например, да и о себе самом, какой вы сейчас... Вам будет казаться, что вы имеете на это исключительное право, что вы это заслужили какими-то личными качествами: знаниями, там, умом, прилежанием, не знаю чем еще. Но ведь так про себя думает каждый!

— Вы меня так уговариваете, словно жалеете...

— Конечно. Я и себя иногда жалею. Есть люди богатые, есть ловкие, есть просто удачливые, только это не повод, чтобы все остальные лишали себя сна, верно?

— Вы где учились? — спросил я, окончательно растерявшись.

— О, у меня много профессий, — улыбнулась она. — Сначала училась на сварщицу. Строила дома, бегала по высотным перекрытиям... Потом устала от этого, начала серьезно учиться шить. С детства люблю чертить и рисовать. А когда увидела, что и тут мне все удается, принялась читать книги...

В этой жизни, оказывается, было возможно все. Можно было выучиться где-нибудь в Оксфорде или Кембридже на сварщицу, а потом, заскучав в незатейливой университетской дыре, вернуться к себе в Чухлому... Мне вспомнилась пышноволосая Алиса в Оксфорде. Она так тосковала по оставленным в Москве маме, бабушке и дедушке! Ей редко удавалось видеться с ними. На зимние каникулы она собиралась в Швейцарию, покататься на лыжах, — это было и ближе и дешевле, чем ехать в Москву. Да и как-то естественнее, если глядеть оттуда. Но я чувствовал, как ей туда не хочется, как уже надоела ей вся эта однообразная европейская жизнь — вдали от Москвы, от центра. Западная Европа вместе с Британией вдруг предстали передо мной не слишком большой провинцией, где люди просто помирают со скуки. И еще раз такое же чувство заброшенности возникло в разговоре с Аликом Борисевичем. Он держался с достоинством, напускал даже на себя важность, но это была поза отставленного от дел генерала или министра, какого-нибудь Меньшикова в Березове, и весь европейский антураж Алика представился мне в ту минуту не значительнее меньшиковского тулупа. Это было не мое, их чувство, всего лишь передававшееся мне... Сейчас, вспомнив тогдашние ощущения, я с тихим смехом объяснял новую точку зрения на Европу своей попутчице. Париж и Лон-

дон, не говоря уже о каком-нибудь Копенгагене, — скучные провинциальные городишки. Истинная столица в Чухломе. Или, может быть, в Солигаличе, куда я еду?..

В Солигаличе еще лежал снег. Во дворе громоздился покрытый хрупкой корочкой наста сугроб. К двери в ботинках можно было подобраться лишь вдоль самой стены под выступом крыши, где весенняя капель пробила в снегу ледяную дорожку.

Я помнил этот дом стоящим почти прямо, с каждым годом он все больше клонился. Внутри были сени, темный чулан, две небольших комнаты и кухня. Комнаты и кухня разделялись тонкими дощатыми перегородками, в дверных проемах вместо дверей висели засаленные шторы. Из коммунальных удобств имелись лишь электричество да «радиоточка» (розетка для репродуктора). Самый грязный угол на кухне занимал рукомойник с большим ржавым тазом под ним.

Впрочем, о грязи можно было бы и не упоминать. Когда-то, при жизни тетки, дом содержался в относительном порядке. Время от времени тетка сама белила потолок и печку, оклеивала стены, красила пол. Комнаты были заставлены кушетками, комодами и тумбочками с разнообразными кружевными накидками, полы покрыты разноцветными самодельными ковриками из лоскутков и покупными льняными дорожками. Даже вечно сырой угол с умывальником не слишком портил впечатление от жарко нагретой светлой кухни.

Теперь все было иным. Бумага на потолке и стенах покрылась пятнами плесени и кое-где отстала, из прорех торчали клочья пакли. В пазах под обоями шныряли мыши. Свет едва проникал через мутные оконца с двойными рамами. Из прежней обстановки остались грубо сколоченный из нестроганных досок стол, два колченогих стула, железная кровать с толстым ватным матрацем да пропахший постным маслом и мышами, до трухи съеденный древесным червем шкаф на кухне — остальную мебель тетка перед смертью либо раздарила, либо продала за гроши. Гнетущее впечатление усиливал до костей пронизывающий холод, застоявшийся в этих стенах с зимы.

Первым делом я затопил печь — она, к счастью, была исправна. Во дворе под навесом нашлись сухие щепки и обрезки старых досок. Обувь и носки у меня промокли насквозь; я сунулся было с ними на печку, но обнаружил там столько векового хлама, покрытого слоем жирной пыли, что ботинки пришлось выставить прямо на шесток, а носки повесить на веревочке, когда-то служившей, видимо, для печной занавески. Не снимая пальто (в комнатах было холоднее, чем на улице), я по-японски уселся на стуле перед огнем, поджав под себя голые ступни, и продолжал машинально соображать, как бы получше устроиться с сушкой вещей. Сменной одежды и обуви не было. Тетка, помню, перед сном валенки с чулками закидывала на печь, рукавицы совала в горнушку — наутро все было сухим. Кухня пропитывалась испарениями ношенных вещей. Казалось, тот памятный запах до сих пор здесь стоит...

Ботинки на шестке уже парили, чуть не облизываемые пламенем.

Если я и решусь разгрести завалы старого хлама на печи и в других местах, думал я, то чтобы навсегда, чтобы никогда больше не видеть грязных углов. Для обуви можно построить деревянную решетку возле хорошо прогреваемой печной стенки. За печкой я уже высмотрел неширокий закуток, где такая решетка будет скрыта от постороннего глаза. И все же лучше сделать ее съемной: закуток может понадобиться, чтобы ставить там, к примеру, ухват с кочергой. А еще лучше — подъемной; пусть это будет не решетка, а как бы частокол из гладких реек, укрепленный на шарнирах; на эти рейки можно насаживать и ботинки, и носки, и перчатки, и все будет сохнуть раздельно и не запачкает стенку... Может быть, на печке жарче, зато так гигиеничнее и пристойнее. Англичане много веков поступались удобствами ради приличий, и неплохо получилось!

Возбужденный своим замыслом, я машинально потянулся к записной книжке, вырвал листок и принялся чертить. Стержень-шарнир, рейки, расширительные брусочки между ними, опорные бруски... И тут опомнился.

Я сидел посреди неприбранной кухни в нелепой позе, согревая задом голые пятки. Рукава и полы пальто перемазаны печной известкой. Рядом нераспакованная дорожная сумка. Я не спал ночь, не умывался, не завтракал. И вместо того чтобы принести поскорее воды, напиться чаю и приняться за уборку или хотя бы завалиться спать, я битый час вывожу на клочке бумаги какие-то загогулины! Уж не сошел ли я с ума?

В конце концов, хорошенько разглядев себя со стороны, я просто рассмеялся, встал, обул пропаренные у огня ботинки и взялся за первоочередные дела. Но внезапное увлечение какой-то там сушилкой было чувством острым и неожиданным. Мне стало ясно: жить в этом доме так, как до меня жили, может, несколько поколений, я не хочу.

Другая жизнь не имела пока четкого образа. То есть разные заманчивые образы, конечно, витали в моей голове, частично английского происхождения, но они как-то не накладывались на солигаличский быт и этот дом. Одно существовало отдельно от другого, изображения не совмещались ни в какой самой даже крошечной своей части.

У меня уже тогда, правда, мелькнула догадка, что всякое преобразование следует начинать с формы. Неверно полагать, будто содержание есть душа, а форма — тело; душа-то и есть форма. Если здесь, в этом самом доме, посреди всего окружающего меня теперь безобразия, я найду в себе силы надеть свежую рубашку с белым галстуком и точно в 7.18 вечера (начало обедов в вашем колледже) сесть за стол — пусть я останусь при этом в одиночестве и сам себя буду обслуживать, — я снова почувствую себя как в Оксфорде. Мне уже не станет казаться, будто кто-то выбросил меня за ненадобностью на помойку. Душа человека крепка традициями, они составляют ее каркас. Традиции — вопреки всему: неудачам и бедности, усталому телу, порченным зубам, болезням и даже смерти. Я вспоминал вереницу профессоров в черных мантиях, чинно шествующих к длинному уставленному серебряными подсвечниками столу; вспоминал короткую молитву на латинском, во время которой все стоят возле своих стульев потупя взор; и бесконечные ряды склоненных студенческих голов внизу в общем обеденном зале, и громкий стук молоточка, приглашающий всех садиться, и разливаемое по бокалам молчаливой обслугой янтарное вино... Все это повторялось по заведенному давным-давно обычаю из вечера в вечер, нисколько не утомляя старцев и не вызывая ухмылок молодежи...

Разбирая сумку, я наткнулся в ней на шотландский свитер. Воздух в доме немного прогрелся, и я решил сменить на свитер длиннополое пальто. И начал машинально искать глазами зеркало: захотелось увидеть, как выглядит теперь затянутая женой дыра. Зеркало отыскалось там, где оно висело еще во времена моего детства. Я вспомнил этот угол в комнате возле двери, ведущей в сени, вспомнил резной узор на темной раме, покрытой сейчас густым слоем пыли. Мне было лет одиннадцать или двенадцать, у меня была вельветовая коричневая курточка (в те годы вельвет стоил дешево, это уже после он стал у нас недостижимой роскошью, дефицитом из-под прилавка). У этой курточки я любил поднимать стоймя — для форса! — отложной воротничок. И, выходя из дома, всякий раз задерживался перед зеркалом, напуская на лицо мрачную задумчивость, внушительно поднимая одну бровь и стараясь поглубже втянуть щеки. Моя природная бледность помогала созданию образа.

— Ты что тут делаешь? — как-то мимоходом спросила тетка, заметив мои старания.

— Английское лицо! — невольно выпалил я, смешавшись.

Почему английское — не знаю. В те годы я еще не читал Байрона и русских англоманов. Зато легко проглатывал длинные романы Скотта и Диккенса (едва ли рискну сесть за них сейчас), зачитывался Стивенсоном,

Конан Дойлем, Коллинзом... Особое место занимал Робинзон Крузо, но для меня этот герой был космополитом, я никогда не рисовал его в своем воображении англичанином. И рядом шли Фенимор Купер и Майн Рид, Дюма-отец и Жюль Верн, Сервантес и Гофман, и я в ту пору затруднился бы отдать кому-то из них предпочтение. (Русские классики, на беду, ничего почти не написали для мальчишек. Из интересовавших меня в детстве — всерьез, а не для показухи — писателей не могу вспомнить ни одного отечественного автора.) Так почему именно английское?

И вот теперь я разглядывал в том самом потемневшем от времени и пыли зеркале стяжки на свитере, купленном в Оксфорде на углу Сейнт Олдейтс и Хай-стрит, и думал: что за судьба такая — вечно примерять на себя чужую жизнь!..

Знаю, что вы сейчас обо мне думаете. Я глупый человек. Если бы я был чуточку умнее, я бы не ждал волшебных перемен от поездки в Англию, не рассчитывал даже в мечтах на вашу несчастную королеву, не вспоминал в Солигаличе обедов за High Table. Наверное, я не взялся бы и за это письмо к вам в наивной надежде что-то объяснить и доказать. Но если я не сумею объяснить всего этого даже вам, то кому и когда сумею?!

Да, традиции не создаются в считанные дни и недели, тем более не перенимаются таким обезьяньим способом. Смехотворность и пошлость подобных попыток многократно доказана. У себя в России мы сталкиваемся теперь с этой пошлостью каждодневно. Но что делать человеку без прочных культурных корней, воспитанному в неуважении к обычаям своего народа (действительно отталкивающим, но не более чем обычай *всякого народа* в их натуральном виде!), оказавшемуся за рамками национальных, родовых, сословных интересов, за пределами устоявшегося быта? А если он к тому же образован и догадывается, что так жить негоже, если сама натура влечет его к оседлости, к серьезному профессиональному труду, к устойчивому домашнему миру в окружении любимых предметов, к своим привычкам и к своей скромной истории, чтобы в ком-то и в чем-то продлить после смерти существование, а не пропасть бесследно, подобно беспородному псу; если в нем живет глубокая духовная (я бы уточнил: *эстетическая*) потребность в упорядоченной жизни — что такому человеку делать, спрашиваю я вас? Как, где найти свое место?

Есть два пути: либо опустить руки и поставить на своей жизни крест, либо начать с нуля строить новую жизнь — такую, какой она привиделась мне в коротком лучезарном сне, где были вы, я и волшебный город Оксфорд.

Новая жизнь начиналась естественно, без насилия над собой. Это походило на увлекательную игру: я просто вспоминал все, что видел в Англии и узнавал о ней. И далекие одна от другой картины вдруг начинали совмещаться и счастливо совпадать то в одной, то в другой своей точке.

Стоило мне, например, подумать о чае и отыскать в шкафу шерватый фаянсовый заварник с голубыми по белому цветочками (пачку чаю — все еще того, из Оксфорда! — я привез с собой), как я тут же вспомнил каминную полку. Страна, где в домах мало топят, а рамы одинарные, умеет дорожить теплом. Каминная полка такая же важная принадлежность английского домашнего обихода, как и сам камин: на ней можно согреть перед обедом тарелки или бутылку вина, туда за разговором можно поставить чашку чаю или кофе, чтобы не остывала. Удобное место для спичек, табака, подсвечника, не говоря уже о каминных часах; для книги, которую отложил на часок, задремав перед огнем... Сколь ни был условен «камин» в моем маленьком оксфордском кабинете (электрическая спираль, вделанная в стену), над ним тоже была широкая доска из полированного мрамора, которая, кстати, отлично прогревалась. На ней-то я и заваривал обычно свой чай.

Уныло скользнув глазами по русской печке, я вдруг с изумлением обнаружил, что здесь тоже имеется каминная полка! На передней стенке powyше топки был выступ, явно предназначенный для тех же целей. Карниз этот, как и все в доме, покрывала многолетняя пыль, но я быстро его очистил и водрузил туда для просушки пустой заварник, предварительно обдав его кипятком. Мне как-то не пришлось обсуждать с вами рецепты приготовления хорошего чая (кажется, вы вообще к чаю равнодушны и явно предпочитаете кофе), но вот Джордж Оруэлл, например, считал, что чай надо засыпать в *сухой* прогретый заварник. Он еще писал где-то: «*Чай является одним из оплотов цивилизации*», — как вам это нравится?!

Первый опыт оказался неудачным. Карниз промерзшей за зиму печки был еще не настолько теплым, чтобы согреть и высушить чайник, и мне скрепя сердце пришлось в конце концов высыпать две ложечки «Twinings» на мокрое дно, но в будущем успехе я не сомневался. Более того: я понял, что стану со временем реконструировать и расширять свою «каминную полку», чтобы она полностью соответствовала своему назначению.

Меня раздражал таз с помоями, стоявший под умывальником на шатком табурете. Во время мытья рук или посуды на одежду и на стены летели мыльные брызги. Еще входя в дом, я заметил в сенях в куче разного хлама нечто угловатое, напоминающее большую раковину или воронку. Сразу после чая я исследовал этот предмет. Он действительно оказался медной воронкой, позеленевшей от старости, но не имеющей никаких повреждений. Я выгреб золы из печки и принялся оттирать толстый налет окислов и грязи. Через час воронка сверкала, как корабельные поручни. И хотя подобных воронок я нигде в вашей стране не встречал, у меня почему-то не возникло сомнений, что она в точности соответствует стилю державы со славной морской традицией.

Постоянно имея в виду Англию, я теперь внимательнее приглядывался ко всем попадавшимся на глаза вещам и, к полной неожиданности для себя, в некоторые из них влюблялся. Так, при ближайшем рассмотрении мне очень понравился окованный зеленый сундук, о котором в самом начале, каюсь, я подумал с неприязнью, как о предмете из навязанного мне чуждого быта. Всякая добротная вещь обретает истинную цену лишь в достойном окружении; идеология (враждебная или дружественная), ошибочно приписываемая нами самой вещи, в большинстве случаев должна быть отнесена к обстановке, в какой эта вещь предстала. Это как строительный материал, о качестве которого нельзя судить по внешнему виду постройки: из одних и тех же камней, песка и бревен в Англии создавали одно, в России — другое. Пронафталинированный сундук, стоящий на ходу в захлапленных сенях бедняцкой избы, отвратителен, здесь он признак bestоловости и глупого терпения; тот же сундук в просторной и светлой, увешанной зеркалами прихожей, поставленный под старинным бра или рядом с другим подобающим стилю предметом, может вызвать восхищение. А прежде всего он удобен: в отсутствие платяного шкафа сундук был мне просто необходим... Пока же я его тщательно вымыл изнутри и снаружи и водворил для просушки в комнату поближе к печке. С учетом дальних рейсов с ведром на колонку и подогрева воды в чугунке это заняло у меня еще два или три часа.

День близился к концу, а я за своими разнообразными хлопотами как-то и забыл уже, что и не спал, и ничего не ел, кроме чая со старым бутербродом. Меня ждал еще один желанный предмет.

Речь идет о небольшой штучковине из бронзы — подковообразной скобе, которую я обнаружил среди мышиного помета под сдвинутым сундуком. Может быть, это была ручка от другого, не сохранившегося сундука либо от старинного чемодана, не берусь судить о ее происхождении. Скоба была шарнирно укреплена на продолговатой пластине, имевшей по углам четыре круглых отверстия для шурупов или гвоздей. Прихотливая отливка с изрядно стершимися от длительного пользования узорами свидетельствовала о давнем происхождении этой вещицы, хотя ни клейма изготовителя, ни каких-либо других свидетельств эпохи я на ней не обнаружил.

Зачем я так длинно ее описываю? Дело в том, что на дверях всех старых домов в Англии — на ваших красивых разноцветных входных дверях, открывающихся прямо на улицу, — я видел точь-в-точь такие скобы! Они свисают посередине двери и служат в качестве дверного молоточка. Когда ударяешь скобой-молоточком по металлической пластине, раздается приятный сочный звук. Это была одна из многих ярких мелочей, радовавших меня в вашей стране. Я едва ли вспомнил бы этот пустяк, если бы не нечаянная находка под сундуком. Впрочем, как заметил однажды Чаадаев, мы помним не более того, что желаем вспомнить...

Вы уже догадываетесь: мне захотелось немедленно приспособить найденную скобу на калитке в качестве молоточка.

Проблема состояла в том, чтобы отыскать пластину, о которую могла бы звучно ударяться моя скоба. Хотелось найти бронзовую или медную. Перемещаясь в тесном пространстве дома подобно ищущему добычу хищнику, я набрел на склад старой кухонной утвари под печкой. Между прочими вещами там был прогоревший в нескольких местах медный таз для варки варенья с красивой деревянной ручкой. Штука была хотя и испорченная, но очень характерная, совсем не хотелось превращать ее просто в кусок меди. Однако первая страсть оказалась сильнее. К тому же употреблять подобные вещи в качестве стильных декораций всегда казалось мне дурным вкусом, а в дело таз определенно уже не годился. Добротность и комфорт — вот что было внутренним мотивом моих усилий; ничего бесполезного, никакой похвастухи! В этом, мне думается, я ни разу не отступил от присущего британцам трезвого взгляда на вещи.

Для моей цели годилась хорошо сохранившаяся стеночка таза. Я вырвал кусок меди клещами, оставляя грубые зазубрины (более подходящего инструмента в доме не оказалось), сложил его для большей массивности вдвое и обстучал на пороге молотком, а затем и подогнул закраины, получив в конце концов довольно ровный прямоугольник нужного мне размера. Оставалось пробить по углам отверстия для гвоздей и прикрепить скобу вместе с пластиной с наружной стороны калитки...

На последнем этапе работы меня и застала Ольга Степановна.

Ольга Степановна была давнишней подругой моей тетки. Когда-то они учились в одном классе, потом вместе работали в школе, где Ольга Степановна и теперь, будучи уже несколько лет на пенсии, продолжала учительствовать. Ее дом стоял поблизости, на другом берегу реки, что тоже способствовало тесному общению. Речка служила препятствием разве что несколько недель в году, во время весеннего паводка да осенних затяжных дождей, а так — зимой по льду, летом вброд — можно было по-соседски заглядывать друг к другу каждый день. Поскольку я здесь бывал, меня Ольга Степановна, конечно, знала, но у нас как-то не возникало взаимного интереса и общих тем для разговоров. При встречах здоровались и расходились каждый по своим делам. Жила Ольга Степановна, как и моя тетка, одна в собственном домике, как можно догадываться — нелегко, но на жизнь никогда не жаловалась.

— А это вам зачем? — с ходу грубовато спросила Ольга Степановна про сооружение на калитке, в которое я как раз вбивал последний гвоздь.

В ответ я только махнул рукой. Объяснять было слишком долго.

Она поинтересовалась, надолго ли я приехал и не нужно ли мне чего. Приехал, отвечал я, жить — и прежде всего намерен сделать это место пригодным для жизни; на сколько — пока сам не знаю.

Ольга Степановна деловито прошла вместе со мной по дому и провела инвентаризацию. Печка, по ее мнению, была вполне приличная, ее следовало лишь кое-где замазать глиной и побелить. А если и потолок побелить да заменить обои, станет совсем уютненько. С неожиданной для ее возраста сноровкой Ольга Степановна забралась в чулках на скрипучий стул (резиновые сапоги она оставила при входе, несмотря на мои возражения, и ступала по грязному полу без обуви) и потыкала кухонным ножом

балку под потолком, после чего лишь плотнее сжала губы и сурово покачала головой.

Про окна заметила:

— Щели нужно заткнуть, не то к утру так выстудит, что закоченеете!

Я представил еще и на окнах ту прелую ветошь, что торчала в доме изо всех щелей и пазов, и неопределенно хмыкнул, однако смолчал. А вот когда она показала пальцем на грудку мусора под кроватью и безапелляционно сказала:

— Это вы, конечно, уберете! — не выдержал и возразил:

— Нет, не уберу, Ольга Степановна. Не потому, что люблю грязь, но мне просто некогда этим пока заниматься. Видите, пол накренился, стены падают? О каком уюте можно говорить в таком доме? Пока не поправлю основу — никакого марафета! Иначе я буду только обманывать себя.

Я высказал все это напористо и с некоторым даже вызовом, меньше всего руководствуясь здравым смыслом. Подметать и мыть пол, вытирать пыль, убирать мусор все равно нужно — да я уже и начал этим заниматься. Но Ольга Степановна олицетворяла для меня в ту минуту недоброкачественность и забитость русской жизни, нашу притерпелость к нищете и особое умение делать эту нищету по-своему «уютной»: недокрасить пол под комодом, недоклеить обоями стену за сервантом — ведь не видно! — зато накрыть то и другое кружевными скатерками. Все уловки этого *прозрания в лачугах из бревен и соломы*, по выражению Чаадаева, я хорошо помнил из детских еще наблюдений за жизнью тетки. (Не знаю, почему так вышло, что вина легла на бедную Ольгу Степановну, ибо сама она являла полную противоположность когда-то нарисованному Чаадаевым нашему национальному портрету: «немота лиц», «беспечность жизни», «равнодушные к добру и злу»... Лицо имела выразительное; временами на нем проступали, может быть, даже чересчур жесткие черты, говорящие о непреклонном характере. И разве только слепой и глухой мог упрекнуть ее в беспечности и равнодушии.) В общем-то, я воевал с самим собой, с теми вялостью и равнодушием, что гнездились и в моей душе. Мне не нужна была в Солигаличе просто какая-никакая крыша над головой; крыша-то, по правде говоря, мне здесь была совсем не нужна (я не мог представить себе, чем буду в этом заштатном городке заниматься, не мыслил постоянной жизни и работы вне столиц). Мне требовалось создать нечто совершенное, своего рода храм, чтобы доказать себе и другим, что эта страна еще на что-то годится. Почему и не здесь, раз уж выпал такой билет?

— Раковину вы хорошо отчистили, прямо горит вся, — невозмутимо похвалила меня Ольга Степановна. — А вот кольцо на калитке могло подождать. Лучше бы в комнатах прибрались, теперь придется на ночь пыль поднимать...

Ее правота меня уничтожала.

Не успел я после ухода Ольги Степановны взять в руки веник, как услышал в сенях шаги: это снова была она. В руках — огромный узел: шерстяное одеяло и подушка (новые, будто прямо из магазина), вата для оконных щелей, банка варенья, банка соленых огурцов, буханка хлеба в чистом пакете и отдельно, в промасленной бумаге, — большой кусок пирога...

— Решили, значит, с фундамента начать, — говорила она, будто не слыша моих благодарных протестов. — Крышу посмотрите, где-то крыша течет! Очень уж балка худая.

И опять:

— А я бы на вашем месте вначале побелила, обоями светленькими оклеила... Повеселее будет. Пол надо красить. У меня с прошлого года краска осталась — может, принести? Ну, дело ваше...

Выйдя проводить Ольгу Степановну до реки (русло взбухло и потемнело, но по льду еще ходили), я мимоходом нарочно клацнул несколько раз кольцом о медяшку на калитке. В морозном апрельском воздухе звуки раз-

неслись звонко и внушительно. На едва различимом в темноте строгом лице Ольги Степановны мне почудилась улыбка...

За моим домом над островерхой черной елью горела яркая звезда. Я вспомнил печальное прощание с ночным небом над шпилями и башенками Оксфорда — и весело поприветствовал эту звезду как старую знакомую.

Не знаю, может ли такое ощущение полноты и цельности жизни, внезапно наступающее каждого из нас в самых разных обстоятельствах, оправдать то, о чем я вам уже рассказал, и то еще более страшное, о чем мне только предстоит поведать. Наверное, память об этих минутах иногда удерживает человека на краю от последнего губительного шага. «*Оно* еще вернется, ради этого стоит терпеть», — думает он и остается жить даже тогда, когда боль достигает запредельной силы и никакой надежды на облегчение впереди нет. Но сейчас, вспоминая тот вечер, когда я с глупой улыбкой на лице возвращался, по щиколотку проваливаясь в ледяную крупу, к недоубранной куче мусора, к холодному чаю с дареным пирогом, к остывшей печке, к пыльному полосатому матрацу на кроватиной сетке, — осмысливая это по прошествии времени, мне хочется кричать: нет, не стоят эти блаженные минуты такой жизни! Они суть ловушка, всегдашний наш самообман. Их можно сравнить с грезами утопающего. Человеку кажется, будто он говорит с Богом, а на самом деле это вода врывается в рот и в дыхательное горло, которым он, устав бороться, позволил на миг расслабиться. Он идет ко дну и счастлив. Он забывает, где находится и что с ним на самом деле происходит. Он утрачивает спасительную ярость сопротивления. Эти бедные радости, это вялое созерцание, эта утешительная философия... Нет, нет, нет!!!

Иногда в плохом настроении я думал: заграница для нас, русских, как вредное лекарство, как наркотик. Она временно оживляет лживыми посулами, создает иллюзии новых возможностей, а впоследствии безжалостно разочаровывает. Благое ли это дело — извлекать нас из нашего мира ущербных и ущемленных, как вывозите вы на прогулку своих инвалидов?

В Солигаличе у меня было время поразмышлять о последствиях моего путешествия в Англию. А поскольку и на «необитаемом острове»-то своем я оказался во многом благодаря именно этой поездке, то принялся, подобно Робинзону Крузо, составлять таблицу положительных и отрицательных (на мой взгляд) результатов знакомства с вашей страной, мысленно заполняя столбики «Блага» и «Зла».

Итак, на первом месте в графе «Благо» стояло, конечно, чудесное исцеление от болезни, которая на всю оставшуюся жизнь обрекала меня на полубольничное существование. В России эту болезнь лечить не умели, здесь больного оперировали и в большинстве случаев оставляли инвалидом. Всякий раз, когда мне приходилось поднимать камни, бревна или тяжелые ведра с раствором (а такой работы в Солигаличе было много, об этом я скажу в своем месте), я со страхом думал: что, если все вернется? — и молился на долговязого английского кудесника, который дал мне возможность жить по-прежнему и даже заниматься тяжелым физическим трудом. (В Англии сразу после процедуры, если вы помните, я осыпал его проклятиями и считал чуть ли не убийцей; но и настрадался же я тогда!) Болезнь не возвращалась.

В перечне зол по этому поводу было лишь одно соображение: мое недомогание необычайно обострилось именно в Англии. Этот пункт я оставлял только для формы, чтобы никто не мог обвинить меня в недобросовестности, про себя же отметал его как неосновательный. Во-первых, болезнь тлела во мне давно и шла своими, одному Богу ведомыми путями. Во-вторых, условия моей жизни в Англии были все-таки комфортнее, чем дома, где я разболелся бы еще хуже.

Идем дальше. В Оксфорде я написал большую работу о Чаадаеве, каковую, сразу честно признаюсь, взялся бы писать и в России: источников

здесь было теперь предостаточно. Но: не побывав в Англии, я бы никогда не узнал, что *на самом деле* видел Чаадаев и что он *на самом деле* имел в виду в своих письмах и заметках, и статья моя получилась бы, конечно, неполной, куда более бедной, а то и вовсе не о том.

В Англии я приобрел новых друзей (или, выражаясь более сдержанно, знакомых, которых мне хотелось бы называть своими друзьями). Кроме чисто человеческого интереса к ним и удовольствия от общения, для меня, как, думаю, почти для каждого русского, в самом факте зарубежных знакомств заключался и некий внутренний, для самоуважения, престиж, и даже определенная страховка на случай непредвиденных бед. Российская власть, от Ивана Грозного до наших дней предпочитающая террор любым другим методам управления, вынуждена принимать в расчет зарубежные контакты подданных, хотя и смотрит на это дело довольно-таки угрюмо. Самим же подданным такие контакты дают надежду на огласку и иную помощь в случае незаконных притеснений со стороны властей. Нечасто такая надежда оправдывалась (ибо общность корпоративных интересов бюрократии разных стран обыкновенно пересиливает даже острые политические противоречия между ними, и скоро, боюсь, можно будет говорить о заговоре мировой бюрократии против народов), но речь не о том. Я просто пытаюсь объяснить себе и вам, как сложилось, что русский обыватель до сих пор смотрит на какого-нибудь заезжего скотовода с робостью и восхищением, как на высшее существо, и откуда во мне самом, когда я вспоминаю симпатичных английских знакомых и дружеские беседы с ними, появляются и душевный подъем, и стыдливое чувство некой избранности, которой я вроде бы и не заслужил ничем, и смешная вера, что мне теперь *не дадут пропасть*, как будто наблюдать за этим обязался сам Господь.

Зло — какое же может быть у этого во всех отношениях приятного факта зло? Ведь нынче, скажете вы, в России уже не хватают человека только за то, что он показал встречному иностранцу дорогу к метро, и не сажают в психушку за дружескую переписку?.. А вот какое.

Поговорим для начала о докторе Кларе Дженкинс. Помните ту высокомерную девушку, специалиста по русской феминистической прозе, об одной стычке с которой я уже упоминал? Был и другой эпизод. Дело в том, что девушка эта, несмотря на всю свою академическую спесь, была, в сущности, доброй. Кроме того, ее как слависта интересовали литературные связи с Россией, и я сумел подсказать ей несколько имен и адресов. В благодарность за это Клара свела меня однажды с одним издателем в Лондоне, занимавшимся переводами с русского. Со мной была рукопись, о передаче которой этому издателю мы с Кларой договорились заранее.

Издатель пригласил нас на ланч в маленький ресторанчик. Это случилось через два дня после моего визита в клинику. Я еще чувствовал себя плохо и вынужден был отказаться за столом даже от пива. Мне хотелось как можно скорее покончить с делами и вернуться в Оксфорд. Однако ланч, как назло, затянулся. Молодой худощавый издатель, потягивая вино, расспрашивал меня о впечатлениях от Англии и обменивался с мисс Дженкинс дежурными шутками. Несколько раз я пытался повернуть разговор ближе к делу, но Клара начинала ерзать и делала отчужденно-каменное лицо. Решив, что деловая часть намечена на потом, я перестал волноваться и терпеливо ждал.

Наконец издатель отложил салфетку. При выходе из ресторана он протянул мне широкую сухую ладонь, дружески кивнул Кларе и сел в свою машину.

— Постойте! — ошарашенно сказал я, невольно придержав рукой дверцу, которую он собирался уже захлопнуть. Клара Дженкинс настороженно застыла поодаль на крыльце.

— Вас подвезти? — спросил с вежливой улыбкой издатель, бросив не терпеливый взгляд на часы.

— Нет, но... моя рукопись? — В ресторане папка с рукописью неудобно лежала у меня за спиной в кресле, теперь я держал ее в руках.

— Рукопись? — повторил издатель и беспокойно перевел глаза на Клару.

— Да, — спохватилась мисс Дженкинс, подскакивая и чуть не вырывая у меня из рук папку. — Наш русский гость обещал мне показать свое новое произведение... Я думаю, это может быть интересно. Я обязательно прочту и после скажу вам о своем впечатлении.

Но она это уже читала и одобрила!

С готовностью приняв невнятное объяснение, издатель тут же укатил. А я остался на крыльце ресторана под испепеляющим взглядом Клары.

— Мне за вас стыдно, — прошипела она.

— Но разве не вы сами предложили показать ему мою рукопись?

— А вы будто не видите, что человек торопится и не может сейчас вами заниматься!

Это был неожиданный поворот. В ресторане мне не показалось, что он торопится. Ничего не понимая, измученный болью (мисс Дженкинс о моей болезни и визите в клинику, конечно, не подозревала), я тоже начал злиться:

— Если бы я знал, что дело пойдет только о закуске, я едва ли пустился бы в дальний путь из Оксфорда.

— Ничего, дорогу вы оправдали, ланч тоже чего-то стоит, — дерзко возразила она. — Прощайте, мне нужно в уборную!

Она разговаривала со мной по-русски и нарочно сказала «уборная», а не «туалет», желая, видимо, сильнее меня уязвить. А вечером, знаю с ваших слов, гневно жаловалась за преподавательским столом на неблагодарность мою и «всех русских», и вы, как умели, меня выгораживали. Но что вы могли сказать, не зная сути дела? Что-нибудь о разных ментальностях, о несовместимости культурных традиций?..

Простите, я опять злось. Уж вы-то, милая, тут ни в чем не виноваты.

После той ужасной истории я несколько дней ненавидел каждого встречного англичанина просто за то, что он англичанин. Мне стало трудно в чужой стране. И в то же время мозг сверлила мысль: значит, они не хотят признавать нас за равных; значит, мы *нелюди*.

У нас есть одна несчастная черта: мимолетный взгляд, случайное суждение человека, мнением которого мы дорожим (а граждане развитых стран практически без исключений к таковым относятся), тут же становятся на какое-то время нашим самоощущением. Скажи нам, что мы ленивые и неспособные, — и мы уже боимся браться за самые простые дела; скажи, что мы грязнули, — и мы с опаской прячем руки под стол, даже если только что тщательно их вымыли. Мы слишком впечатлительны и чересчур легко поддаемся внушению, но тотчас начинаем отчаянно бороться (инстинкт самосохранения!) с внушенными нам негативными оценками. Нас поражает прозорливость остроумных иностранцев вроде маркиза де Кюстина, мы не можем оторваться от злых карикатур на нас, но не можем и не вскипать при этом ответной злостью. На самом деле секрет прозорливости прост: все тонкое и проницательное во взгляде на Россию у того же Кюстина (если не говорить про обычную ругань) можно отнести к любому народу в любую эпоху. Здесь срабатывает тот же эффект ложной самоидентификации, что и при чтении ловко составленных астрологических прогнозов: каждый из них подойдет вам и всем другим в равной мере, но вы заранее знаете свой знак и читаете только «про себя»...

Так что, когда зарубежные друзья начинают думать про нас плохо (а такое может случиться со всякими друзьями), это сушая беда.

Тут мне снова припоминается лукавый вопрос профессора Макмерри о *самоуничтожении*. Русское отношение к загранице и есть пресловутое самоуничтожение, из которого растут внутри нас горькие самолюбивые обиды. Вы, англичане, сами же от этого страдаете, вам тяжело общаться с такими униженными. Вы не хотите видеть в нас ни самоуничтожения, ни самолюбия. Если я ругаю свою страну, англичанин считает, что я плохой сын, и его никогда не убедишь, что ненавидеть можно и любя, и больше того: в

нашем случае настоящей любви без ненависти просто не бывает. Если хвалю — это неуместное тщеславие. Вы ждете от русских застывшего немого достоинства, какое можно найти разве что на лицах избранных усопших.

Но ведь было когда-то сказано: *живая собака лучше мертвого льва*.

Несколько лет назад, когда у нас только начинали приоткрывать границы, личные контакты русских с иностранцами (в том числе с живущими за рубежом бывшими нашими соотечественниками) строились на обоюдовыгодной основе. Кто-то из наших, положим, устраивал здесь выставку вашему художнику, или концерт вашему музыканту, или публикацию писателю, а взамен получал бесплатную поездку за рубеж и щедрые подарки в придачу. Для вас это было нормально и не слишком убыточно: почти баш на баш. Тем более что и та и другая сторона, как правило, мало тратили из своего кармана, находя возможности и источники на стороне — у государства и различных общественных фондов. Но чем больше расширялся круг наших визитеров, выходя за элитно-административные пределы, тем меньше они могли вам дать; у иных не было уже и квартиры, чтобы принять зарубежного гостя с ответным визитом. Отплатив нам, по вашему разумению, сторицей, вы стали терять терпение. Вы от нас устали и не скрываете этого. (Кто посмеет упрекнуть вас за это?) И все чаще бываете потрясены черной неблагодарностью...

По этому случаю расскажу вам, моя дорогая, небольшой анекдот, чтобы хоть немного скрасить свои нудные рассуждения.

Зайдя как-то в гости к Ольге Степановне, я нечаянно заметил на буфете у нее до тоски знакомую мне открытку с Санта-Клаусом и ласковым пожеланием «Merry Christmas!». Такие продавались в благотворительных магазинчиках «Oxfam» вместе с дешевыми подержанными товарами. Если на почте рождественские открытки стоили от шестидесяти пенсов до трех фунтов, то здесь за фунт можно было приобрести целый десяток. Качество, конечно, было соответствующее, и все же — английская открытка!

— Английская открытка! — Именно это я и воскликнул, с изумлением обернувшись к Ольге Степановне.

— С посылкой пришла, гуманитарная помощь! — проворчала она, подкладывая мне на тарелку вареной картошки. — В прошлом году немцы хоть в детские дома помощь слали. А тут мне, одной на весь город, как последней нищенке. Срам! И кто их только надоумил?

Я-то сразу вспомнил кто, да смолчал. Когда я был у вашей мамы, она как раз организовывала сбор вещей для России. У нее были хорошо налаженные связи с какой-то христианской общиной в Москве, которая, по ее уверениям, справедливо распределяла помощь среди нуждающихся. Мне неловко было уточнять, что за товар приносят ей жители Кембриджа. Я лишь позволял себе вслух усомниться, что сколько-нибудь стоящие подарки доходят до адресатов, пускай и при богоугодном посредничестве. На храм Христа Спасителя собирают у нас нынче возле каждой пивной.

— Дайте мне адрес ваших нуждающихся знакомых, и вы сможете убедиться в этом сами, — твердо возразила мне ваша мама.

И я дал ей адрес одинокой пожилой женщины, живущей в глухом провинциальном городишке на мизерную учительскую зарплату... Вы уже догадываетесь чей. Ваша мама осталась довольна и нарисованным портретом, и адресом: до сих пор их помощь, по ее словам, достигала только Москвы и Петербурга. Она со всей своей неумной энергией переживала увлечение благотворительностью и твердо верила в свою миссию.

Тогда все это мигом вылетело из головы, тем более что я не рассчитывал в ближайшем будущем свидеться с Ольгой Степановной. А теперь приходилось пожинать плоды.

— Что хоть там было-то? — нарочито безразличным тоном поинтересовался я у Ольги Степановны, боясь себя выдать.

— Что было? — И она принялась добросовестно перечислять: — Тапочки были неплохие, только очень маленькие, я их соседской дочурке

отдала. Открытка вот поздравительная. Остальное — тряпье, обноски. Ночную сорочку с желтыми подмышками прислали, представляете? За кого они нас принимают? Половину я сразу в печке сожгла, а остальное в чулане бросила, летом на огородное чучело сгодится.

Ради смеха она вынесла из чулана мужскую фетровую шляпу. Шляпа была, конечно, не новая, и в Солигаличе подобных цилиндров не носили. Но я представил себе, как нелегко было кому-то из пожилых небогатых соседей вашей мамы с этой шляпой расстаться. В Англии она стояла как три-четыре неплохих обеда. С трогательной улыбкой отдавая этот дар вашей маме, которую он, конечно, глубоко уважал за ее бескорыстную деятельность, английский пенсионер, наверное, так и думал: «Пусть незнакомый мне русский джентльмен отложит покупку новой шляпы, а на сэконоленные деньги хорошо поест. У них в России, говорят, с питанием неважно». Сам-то он всегда предпочитал сытный обед покупке новых шляпы, галстука и даже башмаков...

Ну вот я с вами и позлословил. В лучших британских традициях, не так ли?

Следующим пунктом в моей сводной таблице должны, вероятно, стоять деньги, красивые фунты стерлингов. Помню, сколько было у меня переживаний в связи с тем, что курс фунта стерлингов падает! «Нам бы так падать», — заметил мне кто-то из русских в Оксфорде, имея в виду рубль, но это не утешало. Получив первые деньги, я тут же помчался в Лондон менять падающие фунты на устойчивые доллары (мне сказали, что выгоднее всего делать это у арабов на Чаринг-Кросс). И вскоре недоуменно смотрел на потертые зеленые бумажки без водяных знаков, выданные мне в сомнительном заведении в обмен на новые и хрустящие, с портретом королевы, прошитые серебряной нитью. До тех пор я никогда не держал в руках долларов. Выглядели они так, будто арабы печатали их тут же за своим фанерным барьерчиком на грубой оберточной бумаге, а после, для правды жизни, топтали грязными башмаками. На одной банкноте, как я углядел с запозданием, была к тому же сделана от руки чернильная надпись — арабской вязью! О подделке долларов, кстати, в то время много писали в газетах. Неужели кто-то так рискует в самом центре Лондона? Час или два побродив по улицам в почти невменяемом состоянии (часто останавливаясь в потоке людей, чтобы еще раз вынуть деньги и поискать на них хоть какие-нибудь признаки подлинности), я отправился в обычный банк, где меняли невыгодно, и был несказанно рад, получив назад красивые английские бумажки. Правда, сумма была уже значительно меньше.

Больше к попыткам выгадать на финансовых операциях я никогда в жизни не возвращался.

О чем это я? Ах да, о благе...

Если б не валюта, по чистой случайности оказавшаяся в моем распоряжении, когда с мамой случился удар, ее, видимо, уже не было бы в живых. Где было достать столько денег?

Но, с другой стороны, не свались на меня с неба эти деньги — разве сидел бы я столько времени дома (если, конечно, места, где я сидел, можно именовать этим словом), не делая почти никаких попыток заработать? Разве за этот ненормальный, упадочный период я не отдалился от цивилизованной жизни, от *вашей* жизни еще больше, чем прежде, когда и не подзревал, *как вы живете?* Разве дармовые, незаработанные эти деньги, говоря правду, не развратили меня?

Не стану продолжать свою таблицу — это слишком тяжело. В конце концов я осознал тщетность попыток разобраться в мешанине плюсов и минусов и подвести суммарный итог. Куда следует занести, например, то ощущение безнадежности и общего тупика, которое возникло у меня всякий раз при обсуждении с вами бездушия ваших бюрократов, глупости ваших политиков, бессовестных махинаций ваших дельцов? Благом или злом был этот дополнительный опыт, который, совсем по Екклесиасту, всего

лишь умножал скорбь? Если правы те, кто считает, что нам до вас шагать еще не одну сотню лет, то не очень-то и хочется торопиться к такому результату... А куда вписать мой неполноценный английский? К газетам, с таким трудом вывезенным из Англии, я ведь так и не притронулся. А покупки и подарки, столь печально окончившие здесь свой короткий век?

И уж совсем не поддавалась рациональному осмыслению пережитая мной мистерия с участием Ее Величества Елизаветы II.

Первым из местных жителей, пришедшим ко мне в Солигаличе знакомиться, был худой рыжий кот. Он кидался в ноги, едва завидев меня у порога, кланялся прямо-таки с восточным подобоострастием и подло вытирал об меня свалявшиеся бока. По несколько часов он осаждал закрытую дверь, вызывая меня наружу жалобными воплями. Я решил, что он бездомный и страшно голодный — только этим можно было объяснить его настырность. Пригласив кота в сени, я поделился с ним единственным, что у меня в тот момент было, — дорожным бутербродом с маслом и сыром. Кот понюхал бутерброд, кинул на меня пренебрежительный взгляд и не спеша, с чувством собственного достоинства пошел к двери. А на крыльце задрал тощий хвост и пустил на косяк струйку. Все произошло так быстро и неожиданно, что я не успел ничем запустить ему вдогонку: он мигом исчез за забором. Как мне показалось, его шпанская выходка была вполне умышленной.

Впоследствии подобные сцены с небольшими вариациями повторялись каждое утро, а то и не один раз на дню. Кот явно презирал меня за неумение жить, за скаредность и все-таки на всякий случай начинал с поклонов и лести. Это действовало: я всякий раз обманывался и искренне пытался его накормить. Изредка ему перепало от меня что-то стоящее (остатки рыбных консервов, например), но чаще приходилось уйти ни с чем: хлеб, кашу, макароны, картошку и прочее, что составляло основу моего рациона, он не признавал. Самым поразительным в нем был этот мгновенный переход от пресмыкательства к надменности, когда, в очередной раз убедившись, что поживиться нечем, он степенно уходил, задрав голову и хвост.

Я тогда не знал хозяев этого кота, своих соседей слева, с ними мне только предстояло познакомиться.

Теперь я перехожу к описанию своих трудов и дней в хронологической последовательности. Если оно наведет на вас скуку, если вам захочется вздремнуть — отложите, мой друг, это письмо и больше не возвращайтесь к нему никогда. Потому что ничего серьезнее и существеннее этого я не могу вам предложить.

Первой моей заботой было достать строительные материалы. Для ремонта требовались кирпич, цемент, щебенка; далее — доски разной толщины, бревна и брусья, стекло, гвозди, внутренняя облицовка стен и потолка, обои, краски и т. д. В местном хозяйственном магазине почти ничего из этого набора не продавалось. Продавцы вели списки: в очереди за кирпичом числилось больше двухсот горожан, за шифером — около пяти-сот. На моих глазах инвалид вывез на «Запорожце» два последних мешка цемента — ему полагалось вне очереди. Мне намекали, что существуют и другие «очереди вне очереди» и что к зиме при должном усердии и небольших дополнительных расходах можно запросто обзавестись и кирпичом и цементом, но такие сроки меня не устраивали, да и отношения с торговыми работниками как-то не складывались. Кое-что можно было выписать через многочисленные строительные организации, но там все стоило баснословные деньги. Организации уже ничего не строили и жили распродажей старых, еще в советское время накопленных запасов.

Затем нужны были инструменты и, конечно, мастера в помощь. Сам я просто не знал, с какой стороны подступиться к главному делу — приподнять и выровнять тяжелый дом.

Несколько первых дней я поневоле занимался мелочами вроде описанных выше. За это время мне удалось обследовать чердак, где не нашлось ничего интереснее еще одного сломанного сундука, прохудившегося старого чемодана да кучи поеденных мышами школьных учебников. Я также привел в порядок отыскавшийся в доме инструмент, освободив для него темный чулан и устроив там какое-то подобие мастерской, и теперь точно знал, что у меня на первое время имеется, а что необходимо доставать. Больше всего оказалось огородного инвентаря: две лопаты, грабли, источенная коса, вилы со сломанным черенком и несколько ржавых мотыжек. Топоров нашлось целых три, но все тупые и с глубокими зазубринами; к счастью, отыскался напильник, и я потратил целых полдня, чтобы привести один из этих топоров в порядок. Имелись также ножовка, молоток, клещи (я уже пользовался ими при изготовлении медной пластинки) и небольшой ящик гвоздей разной величины — все, правда, гнутые и покрытые ржавчиной. С помощью этого я мог пилить, тесать и приколачивать, что было уже немало.

Замечу, что за всеми этими хлопотами я должен был заниматься обязательными повседневными делами: топить печь, добывая для нее дрова (щепки во дворе быстро пришли к концу, и я начал разбирать на дрова полугнилые стены завалившегося под тяжестью снега сарая), ходить к колонке за водой, выбираться хотя бы раз в два дня в магазин и готовить себе еду.

На шестой или седьмой день моего пребывания в Солигаличе произошло событие, решительно перетряхнувшее прежний неторопливый порядок. Утром ко мне во двор влетел молодой человек в сапогах и ватнике, нетрезвый. Я в это время колот для печки обрубок толстой доски и невольно покрепче сжал топорище, приняв оборонительную позицию. Но незнакомец с такой неподдельной искренностью воскликнул «здорово!», что я тут же отложил оружие и пожал протянутую руку. От кого-то он знал, что я собираюсь строиться, и спросил, не нужны ли мне кирпичи.

— Все будет зависеть от цены, — осторожно ответил я.

— Десять бутылок! — сказал он.

Такой способ торга меня позабавил. Я еще не видел товара и не знал, о каком количестве идет речь.

— Две! — предложил на всякий случай.

— Ладно, сойдемся на пяти! — воскликнул он с готовностью и снова протянул мне иссеченную глубокими черными трещинами ладонь. (Я и помыслить тогда не мог, что через какой-то месяц мои собственные покрытые кровавыми волдырями и ссадинами руки будут выглядеть еще хуже.)

Кирпич оказался некондиционным, обколотым и с трещинами, много половинок, но все же это был реальный материал, с которым можно было начинать работать.

— Ворованное? — с сомнением спросил я пожилого соседа справа, вышедшего поглазеть на сваленную у моих ворот кучу.

— А кто их нынче разберет, — флегматично заметил он. — Это раньше на каждый гвоздь квитанции да накладные требовали. Нынче свобода, рынок!

Весь день я носил кирпич во двор, сортировал и укладывал возле дома штабелями. Дело оказалось нелегким. Близилась ночь, я валился с ног, успев несколько раз в кровь размозжить себе пальцы на руках и снова оставшись без обеда, а не перетаскал и половины. Если элементарная работа требует столько усилий и времени, ужасался я про себя, чего же будет стоить вырыть котлован под фундамент, залить бетоном, а затем уложить эти проклятые кирпичи один к одному ровной стенкой! А ведь это лишь начало, дальнейшим работам конца не видно. И даже напарника в помощь не сыскать. Насколько легче было бы носить эти кирпичи вдвоем на носилках!

Тут-то и явилась передо мной в очередной раз Ольга Степановна: в рабочей тужурке, на руках брезентовые рукавицы. Другую пару таких же рукавиц без лишних слов протянула мне.

У меня опять не хватило духу отказаться...

Следующие несколько дней проходили так. С утра я обычно мчался в какую-нибудь контору и договаривался о покупке нужного мне материала. Машину приходилось искать отдельно, порой это стоило дороже, чем сам товар. В самых удачных случаях продавец и перевозчик оказывались в одном лице. Так удалось, например, обзавестись щебенкой и песком, просто останавливая на дороге следовавшие с карьера груженные самосвалы. За бутылку водки шофер с радостью опрокидывал кузов возле моего дома и снова ехал под погрузку. С Ольгой Степановной я свои текущие планы никогда не обсуждал. Но как только очередной груз оказывался у ворот, она, углядев его из окошка, шествовала ко мне через речку, снарядившись соответственно. Если это были мешки с цементом, она надевала прорезиненный пыльник; если доски или бревна — волокла стальной крюк, а то и свой отлично наточенный топор, чтобы помогать мне очищать дерево от коры; если гравий — несла удобную крепкую лопату... Спорить с ней было бесполезно. Она приступала к работе уверенно, как будто это было ее кровное дело, и часто оказывалась, к моему стыду, сноровистее и выносливее меня. А сделав дело, без лишних слов меня оставляла и шла к себе, проверять к завтрашнему уроку школьные тетрадки. Глядя на горевший допоздна свет в ее одиноком окошке над рекой (почти весь город был погружен во тьму, в Солигаличе ложились рано), я вспоминал, моя милая, зеленый двор колледжа и вас, как вы несли мне тогда свою плиточку... Боже, какими давними казались мне эти воспоминания! Будто и не из моей жизни, а из чьих-то старых полузабытых рассказов.

Сходил последний снег. На реке взломало лед, и шефские визиты Ольги Степановны поневоле прервались. Выбираясь по делам на тот берег (в обход, через мост), я иногда делал крюк, чтобы ее проведать. Маленькая квартирка сияла чистотой: потолок и печка белизны безупречной, пол казался только что покрашенным.

— Каждый год мажу! — с гордостью сообщала Ольга Степановна, явно довольная моим восхищенным интересом к ее быту. — Здесь ведь не Москва: чуть упустишь время — гниль пойдет, копотью да паутиной все покроется. Будет хуже, чем в хлеву. Да вы сами с этим столкнулись. Краски теперь дорогие, обои дорогие. А что делать?

— Вы бы переехали отсюда в квартиру с удобствами? — спрашивал я, уплетая рассыпчатую картошку с солеными огурчиками из погреба.

Я никому в Солигаличе не смел признаться, в каких условиях мы с женой в Москве живем. Здесь почему-то заранее подразумевалось, что там вообще никто плохо не живет.

— Не зна-аю! — Она с сомнением качала головой в ответ. — Нечего уж мне на старости лет привычную обстановку менять.

— А когда силы оставят? Кто будет дрова колоть, огород копать? Да и всю эту вашу красоту (я показывал рукой) поддерживать?

— Не зна-а-аю... Думаете, старики отсюда не едут? Многие уезжают к детям в город, дома продают. Потом не знают, как вернуться. Чего зря говорить, — вдруг спохватывалась она. — Квартиры с удобствами теперь миллионы стоят!

— Десятки миллионов...

По вечерам у нее работал телевизор. Красивая статная девушка с экраня язвительно вещала про чьи-то новые козни против президента и демократии. Показывали московские митинги и демонстрации, брали интервью у сытых политиков.

— Вы на чьей стороне — президента или Верховного Совета? — довольно равнодушно спрашивал я Ольгу Степановну. Теперь, когда у меня

с утра ныла спина и не разгибались опухшие от работы ладони, странно было вспоминать, как еще совсем недавно я исходил желчью перед экраном телевизора.

— Да ни на чьей! — в сердцах отвечала Ольга Степановна. — Глядите, просто лоснятся от жира! Вон какой, вон, справа-то... Вначале, пока их не выбрали, такие худенькие были, все о народе, все против привилегий... Что до них было, то и осталось. Только на нас им стало легче плевать.

— Вы и ученикам своим такое говорите? — упорствовал я ради шутки.

— Ученики нынче такие, им что ни скажи... Вы сами посудите: программ не стало, учебников нет. И каждый год что-нибудь новое выдумывают. Теперь Закон Божий вводить начали. Кому это нужно? Крыша в школе течет, потолки обваливаются, детям сидеть не на чем, голодные ходят! Здесь ведь столько бедных, у многих родители пьют беспробудно. Раньше хоть в школе детишек подкармливали, мы для них горячие бесплатные завтраки выбивали у начальства. Говорят, не стало на это средств. На личные особняки у них находятся средства, на это — нет...

В мае началась жара, соседи высыпали на свои огороды. Ольга Степановна несколько раз озбоченно напоминала мне, чтобы я не упустил время и отложил ради грядки все другие дела. Сама она копала в эти дни с шести утра до работы и после — до темноты и только часов в одиннадцать вечера принималась за свои тетрадки и сидела над ними далеко за полночь. Огород — это святое; даже почерневшая от старости соседка слева (хозяйка рыжего кота), даже ее внук, известный всей округе бездельник и пьяница, выползли в эти дни с лопатами на грядки. Мастеровой, согласившийся за умеренную плату помочь мне с фундаментом (просить его об этом ходила со мной все та же Ольга Степановна), категорически отказался приступать до тех пор, пока не покончит со своим огородом. Но мне как-то скучно и не с руки было заботиться о будущих картошке и морковке, у меня хватало других забот. И если бы не одно нечаянное впечатление (из самых, впрочем, обыкновенных), я, возможно, так и не выбрался бы за огородную калитку от целиком занимавших меня в то время кирпичей да бревен.

Однажды в яркий солнечный день, поднявшись по делам на чердак (помнится, печка в то утро шибко дымила, и мне пришлось в голову осмотреть трубу), я был потрясен великолепием открывшегося мне из чердачного оконца пейзажа. Оконце выходило как раз на огороды. С них сошел снег, и плоская грязно-белая равнина вдруг преобразилась. Прямо от огородной калитки расстилалась ровная лужайка, покрытая реденькой молодой травой и пересеченная извилистой тропинкой; лужайка эта полого спускалась вниз, переходя в болотце, где протекал едва заметный ручей, высокий противоположный берег которого поднимался почти отвесной песчаной стеной. Обрыв весь был испещрен чьими-то норами и гнездами. На вершине росла желтая акация, едва распускавшая тогда почки. И лишь за кустами акации начинался собственно огород, то есть мои зарастающие сорняками грядки.

Я любовался этим видом так, будто стоял где-нибудь у гранитного парапета моста Св. Магдалины и обозревал сверху Ангельскую Поляну и Тропинку Эдисона. До меня как-то не доходило, что вся эта красота принадлежит *мне*, что она на *моей* земле и более того: что это то самое место, куда Ольга Степановна так долго уговаривает меня выйти с лопатой...

Спустившись с чердака, я внимательно рассмотрел примыкающий к дому участок земли из разных точек и убедился, что рельеф очень богат и на нем можно создать нечто уникальное и прекрасное. Мне было с чем сравнивать. Я помнил клочки скудной каменистой земли при ваших английских домах, на которых вы умудрялись разместить сказочные сады с гротами и беседками. Возникший в голове образ парка настолько меня увлек, что я тотчас приступил к новому делу, еще не зная, хватит ли у меня для него умения и усердия.

Солигалич, расположенный в окружении лесов и болот, был преимущественно деревянным городом. Даже мостовые здесь когда-то выкладывались деревянными шашками вместо камней и асфальта, а дощатые панели для пешеходов строят и поныне. Такая панель из полуистлевших в земле березовых досок тянулась и через теткин двор от входной калитки до огородного забора. Когда земля оттаяла, я вытащил из грязи эти гнилушки и приставил их к воротам сушиться, чтобы распилить и сжечь в печи, однако чище без них не стало. Была мысль засыпать тропу гравием либо вымостить половинками кирпича. И только теперь, когда в голове сложился пейзажный план в целом, я точно знал, что надо делать.

В моем распоряжении было немало округлых камней большого размера, привезенных вместе с песком и гравием. Эти камни я начал откладывать в сторону еще при перевалке сыпучего добра с улицы во двор; Ольга Степановна, со свойственными ей практичностью и знанием дела, советовала употребить их для засыпки фундамента, но я в уме отвел им более заметную роль (какую именно — сам еще не знал). Камни мне просто нравились: омытые талой водой, они приобретали всевозможные оттенки благородно-сдержанной гаммы, от белого до черного включительно. Я начинал уставать в Солигаличе от дерева, мне не хватало камня. После Оксфорда камень был для меня, если воспользоваться словами Оруэлла, *оплотом цивилизации*, синонимом прочности и красоты. Каменные дома, мостовые, ограды... Глядя на здешние крыши из замшелой дранки, я с изумлением восстанавливал вдруг в памяти, что даже на крышах ваших старинных зданий — каменные пластины!

Для начала я разметил во дворе прямую дорожку шириной около метра (там, где раньше лежали доски), с площадкой перед крыльцом и стал копать на этом месте неглубокий котлован. Лишней земли, однако, получилось много; меня раздражали новые кучи, портившие и без того обезображенный грудами щебня и кирпича двор, пока я не нашел вынужтому грунту полезного применения.

Узловой частью огородного ландшафта был в моем плане мостик через ручей, к которому от калитки должна была вести обсаженная кустарником и посыпанная песком аллея. Песчаный обрыв возвышался на какой-нибудь метр, но перепад его с другим берегом, а точнее, как я уже упоминал, и не берегом вовсе, а болотистой низинкой, был для моста слишком велик. Кроме того, болотце служило помехой на пути в огород. Во всяком случае, в той единственной паре обуви, что была на мне, я просто не мог вернуться на грядки за ручьем. (Это было еще одним «домашним» оправданием, почему не копаю грядки: совесть все-таки грызла.) Я даже подумывал, не выстроить ли мне пешеходную эстакаду на сваях от огородной калитки до куста акации (метров двадцать длиной!), и единственное, что меня от этой безумной затеи удержало, — мысль, что предполагаемая постройка не впишется в рельеф, загубит красоту.

И вот теперь излишек грунта во дворе подсказал выход. Я стал носить землю на болотце, и скоро там, прямо напротив акации, вырос солидный холмик, вершиной своей сровнявшийся с противоположным берегом. (Позднее болотце дало мне неисчерпаемый резерв использования лишней земли и строительного мусора. В конце концов от самого моего забора до ручья пролегла высокая и сухая насыпная аллея.)

Вы заметили, конечно, сколько тяжелой работы связано было у меня с перемещением строительных материалов и земли на значительные расстояния. Я не оговорился, сказав, что *носил* землю. Можете себе представить, сколько рейсов я совершал за день со двора на болото, согнувшись под тяжестью огромной неудобной бабьи! Как-то в самом начале земляных работ я заметил во дворе у соседа справа садовую тележку с кузовом и зашел попросить ее на время для перевозки земли.

— Ты хоть чем сейчас занимаешься-то? — спросил сосед, медля с ответом.

— Сразу и не объяснить, — смутился я. — Вот уж закончу, тогда...

Ну как было признаться, что я рою во дворе углубление под бульжную мостовую и таскаю землю на огород, чтобы возвести там со временем мост?!

— Тачка-то мне, понимаешь, самому нужна, — заключил он, отводя взгляд.

До этого он несколько дней к тележке не прикасался; не пользовался ею и после разговора, только переместил с глаз долой в сарай.

Когда углубление было готово, я заполнил его до самого верха чистым строительным песком и на этот дренаж стал укладывать один к одному мои красивые бульжники. Я старался подгонять их как по размеру и конфигурации, так и по цвету. Более темные и крупные располагал по краям дорожки, среднюю часть выкладывал камнями помельче и посветлее, а по самому центру бисером пустил ниточку белоснежной гальки. Теперь и ночью легко было различить тропу по светящимся в темноте камешкам. (В будущем мой сад предстояло ярко осветить разнообразными декоративными фонарями, но так далеко я пока не заглядывал.) На площадку перед крыльцом пошли плоские камни нежно-сиреневого цвета, а перед входной калиткой со стороны улицы я положил черный гранит почти правильной четырехугольной формы.

Все это я сделал наугад, не имея до той поры никакого опыта в подобных работах и ни с кем не советуясь. Меня порадовало, что камни сразу улеглись в песок плотно и не зыбили под ногами, но для окончательной проверки требовался дождик. Мне запомнился один нервный вечер в Оксфорде, когда я спешил под проливным дождем на семинар, где должен был выступать с докладом (и для того нарядился соответственно). По тротуару замусоренной Корнмаркет-стрит шла навстречу уборочная машина, вытесняя людей на проезжую часть. Из-под колес автомобилей летели брызги, раскрытые зонты загораживали путь. Заторопившись, чтобы ускользнуть от шипящего шинами автобуса, я прыгнул на тротуар позади уборочной машины, и вдруг массивная плита подо мной покачнулась и — раз! — до колен обдала грязным фонтаном мои тщательно отутюженные брюки.

— ...ать твою! — вырвалось у меня вслух. А про себя подумал: «Да чем вы, так вашу и так, отличаетесь от нас, русских разгильдяев? Да чем ваш дерьмовый городишко лучше наших?..»

Дорого бы я дал, чтобы снова оказаться в Оксфорде под тем дождем...

Через несколько дней, когда на Солигалич с первой майской грозой обрушился настоящий ливень, я с гордостью убедился, что могу теперь выйти из дома не замочив ног.

«О, русским дороги эти старые чужие камни...»

Когда-нибудь и мои любовно уложенные камни, думал я тогда, станут старыми, но будут потомкам не чужие. Как знать, может, с них-то и пойдет в этом захолустье отсчет нового времени, новой цивилизации, и мощный двор мой будут показывать туристам, как показывают в Оксфорде тысячелетний каменный колодец?

В этой игре ума не было ни крупницы тщеславия, лишь страсть к иной жизни и надежда. Одинокие размышления и тяжелый физический труд успели к тому времени достаточно закалить мою душу. Я не держал в голове ничего суетного, ничего такого, что относилось бы к выяснению моего места среди других людей, к самоутверждению — будь то солигаличское или московское окружение. Зависти и следа не осталось. Я всецело отдавался теперь одной страсти и служил только одному Богу — красоте.

В Солигаличе я заново переосмысливал многое. Интересно было вспомнить, например, какое неординарное значение придавали в прошлом русские знатоки и ценители Европы красоте жилища. Чаадаев как-то советовал своей милой корреспондентке в одном из писем, навеки ее просла-

вивших: «Сделайте свой приют как можно более привлекательным, займитесь его красивым убранством, почему бы даже не вложить в это некоторую изысканность и нарядность?.. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения искусства в нашей домашней жизни».

Мне очень хотелось вспомнить, что думал по этому поводу мой Достоевский (о, святая простота: «мой Пушкин», «мой Достоевский»...), не говорил ли и он где-нибудь об украшении дома — но ничего, кроме кадок с лимонными и жасминными деревьями на террасе дачи Лебедева в Павловске, не вспомнил. Там эти кадки против настоящих павловских деревьев ничего не стоят. Однако, помню, получалось красиво! «Когда все деревья были наконец свезены на дачу и расставлены, Лебедев несколько раз в тот день сбегал по ступенькам террасы на улицу и с улицы любовался на свое владение...» Совсем как я! Да еще пришло на память мрачное рогожинское жилище на Гороховой. Имелся ли, однако, в сознании Достоевского желанный образ земного мира, идеал не бытия — просто *быта*? То ли я отупел от тяжелой физической работы, то ли Достоевский на самом деле не любил или не умел изображать интерьеры и пейзажи, не был, как сказали бы сейчас, *дизайнером*, но ни одного красивого ландшафта, ни одной светлой картины жизненного благоустройства я в сочинениях этого писателя, всю мою сознательную жизнь учившего меня боготворить красоту, не припомнил. В голове выстроился ряд когда-то сильно подействовавших на мое воображение страниц, но все оказывалось при ближайшем рассмотрении либо выражением восторга в коротких репликах («Смотри, какой день, смотри, как хорошо!» — говорит «подросток» Аркадий Долгорукий своей сестре Лизе), либо мельтешением отрывочных образов, опять-таки преимущественно голых номинаций («деревья», «мушка в горячем солнечном луче»), либо абстрактными рассуждениями типа: «Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну...»

Теперь я частенько садился вечерами за шаткий стол, чуть не падая с колченогого стула на кривом полу (и с кровати вначале раза три скатывался во сне — пока не догадался подставить под ножки с одной стороны толстую доску), и допоздна рисовал на клочках бумаги дом с прилегающим участком в их будущем виде. Чем дальше, тем подробнее становились планы. Работа требовала иногда прорисовки мелких и даже мельчайших деталей. У меня не было никаких руководств или справочников, до всего приходилось додумываться самому, все изобретать заново. Иногда, что-то уже построив и сравнив после свое творение с изделием профессионала (чаще это относилось к плотничьим и столярным делам, по которым в Солигаличе были неплохие мастера), я с радостью убеждался, что мое решение и надежнее, и красивее общепринятого; но чаще бывало, к сожалению, наоборот, и все приходилось переделывать заново.

Засидевшись как-то над проработкой вариантов моста через ручей (их было удручающе много; начать с того, что я еще не решил, из чего строить мост: из кирпича или камня, арочным способом, или деревянный), я наутро встал поздно, около девяти. Выйдя в туалет, пристроенный к дому со стороны огорода, я услышал знакомые громкие голоса снаружи.

— Картошку-то посадили? — вопрошал голос как будто Ольги Степановны, а голос соседа справа степенно отвечал:

— Посадили, как не посадить. — И, помолчав с минуту, добавлял про кого-то: — Херней занимается...

— Я в чужие дела не суюсь, — сказал голос Ольги Степановны несколько приглушенно.

— Не суешься? А чего тогда грядки ему копаешь?

— Что не покопать, если свой огород посадила? Вон сколько земли пропадает. Хорошая земля, жалко.

Я глянул в щель между досками: Ольга Степановна согнулась над своей большой моей грядкой за оврагом...

— Вы всегда заняты, вот и решила помочь, — просто сказала она, оправдываясь, когда я выбежал к ней, что-то возмущенно крича и размахивая руками. На ее строгом лице не было и тени насмешки.

Ольгу Степановну я, конечно, тотчас с грядком прогнал; мне даже удалось зазвать ее в то утро на чашку ароматного английского чая — впервые за все дни она согласилась угоститься в моих покоях. А после чая сходила домой и принесла два ведра своей картошки на посадку...

Мостик, поскольку в нем возникла теперь насущная нужда, я построил в тот же день, позволив себе отдохнуть за этим делом от тяжелой работы на грядках. Пришлось остановиться на простом варианте. Мост был деревянный, однако не плоский, а горбатый (так было не только красивее, но и практичнее: застойная дождевая вода не гноила доски настила), и в устройство его перил мне удалось, несмотря на нехватку времени, вложить немало фантазии. Теперь к высоте обрыва с одной стороны и искусственной насыпи с другой добавлялась еще высота горбика (около полуметра), и человеку, вставшему на середине моста над ручьем, открывалось зрелище весьма впечатляющее и неожиданное для равнинных мест. Ради этого *совсем других ощущений* я, собственно, и старался...

В те дни мне удалось сделать еще кое-что. Раз уж в руках оказалась лопата, я проложил трассу аллеи от огородной калитки до моста, разровнял землю и выкопал правильные ямки под саженцы — молодые березки и рябинки, позже принесенные мной из ближнего леса. Выбор был небогат. Я постоянно сожалел про себя, что здесь нет широколиственных деревьев и я не смогу украсить свой парк кронами разных конфигураций и оттенков. Ваши внушительные дубы, буки и платаны, которыми восхищался еще Чаадаев, в наших лесах не растут. Впрочем, некоторым утешением служило воспоминание о прекрасных искусственных парках под Петербургом, где климат едва ли мягче солигаличского; особенно часто вспоминался мне облюбованный князем Мышкиным и его друзьями Павловск, и я надеялся, что когда-нибудь мне удастся привезти и укоренить на солигаличской почве «павловские деревья».

Ни от какой работы я еще так не уставал, как на грядках. Ночные бдения сами собой прекратились. Ложился рано, несмотря на белые ночи, и спал как убитый.

Как-то среди ночи я проснулся от резкого звука. Спросонок трудно было понять, что это за шум и откуда он исходит. Мне показалось, с кухни доносятся негромкая возня и хруст, как будто крыса прогрызает половую доску. Но тут повторился разбудивший меня звук: визг, сопровождаемый сдавленным хрипом, какой издает зарезанная свинья. Происходит это все у меня под кроватью, звук не мог бы быть отчетливее! Однако сейчас я уже догадался, откуда он раздается: из соседнего двора, прямо на который выходили окна. Расстояние между домами было не менее пятнадцати метров, вполне достаточное, чтобы, по английским меркам, жить спокойной, совершенно изолированной от соседей жизнью. У вас в Англии такую полоску земли засадили бы густыми кустарниками и деревьями. Перед моим окном была лишь низенькая поленница старухиных дров, поверх которых в упор глазели на меня подслеповатые оконца ее дома с розовыми наличниками. По вечерам я часто вздрагивал от нетерпеливого топота и громких вздохов: это старухина коза напоминала, что ей пора ужинать... Однако таких звуков, какие разбудили меня в ту ночь, я еще не слышивал. Режут поросенка? Но у старухи с ее внуком, кажется, никого, кроме козы да рыжего кота, не было.

Я полежал еще немного, собирая силы, чтобы встать и выглянуть в окно. И тут среди хрипа различил несколько бессвязных слов. Затем хлопнула дверь, и голос старухи возле поленницы принялся увещевать:

— Пойдем, Леша, пойдем! Пойдем, я тебя спать уложу.

В ту ночь мне удалось быстро уснуть, но подобные истории стали повторяться все чаще: напившись, внук вылезал теплыми ногами во двор и визжал на всю округу.

Много бывая в те дни на огороде, я сделал еще несколько неприятных для себя открытий. Грядки мои и соседские сходились почти вплотную. Межой между участками служила борозда, несколько более широкая, чем внутренние борозды. Однажды утром я заметил, что граница исчезла: борозда оказалась доверху засыпана мягкой землей. Ближняя к меже грядка соседей была вскопана. Старуха как раз копошилась на своем участке. Я подошел к ней и, прокричав на ухо приветствие, попросил ее или внука убрать из борозды землю.

— Знаю, милый, знаю, — прошамкала бабка, судорожно запроляя иссохшими руками волосы под платок.

После я часа на два отлучился, а когда вернулся, борозда была уже вновь прорыта, но прошла теперь по моей некопаной грядке, отхватив полуметровую полосу земли!

В общем-то, я не слишком дорожил огородом: мне просто нечего было сажать на такой большой площади. Но земля в Солигаличе неожиданно обрела для меня значение жизненного пространства, объекта для приложения творческих сил (я намеревался бесполезную часть огорода присоединить к моему будущему парку, разбить на ней «верхний парк» с беседкой возле акации и балюстрадой на краю обрыва), и столь бесцеремонное посягательство на нее, да еще со стороны ближайших соседей, меня сильно огорчило.

Скоро пришлось еще раз убедиться, что за старухой нужен глаз да глаз. Однажды, когда на огородах никого, кроме меня, не было, я отлучился на минуту в уборную, оставив на грядке свою единственную хорошую лопату. Что-то меня подтолкнуло глянуть в щель уборной, которой я уже однажды пользовался для наблюдений. К изумлению своему, я увидел, как старуха, с опаской поглядывая в сторону моей калитки, прошмыгнула на огород, схватила лопату и быстро заковыляла по бороздам к себе. Я выскочил и успел перехватить старуху уже у двери ее дома.

— Ох, милый, ничего не вижу, слепая стала, — жалобно пробормотала она, глядя на меня бесцветными слезящимися глазами. — Твоя разве лопата? Ну, бери, бери. Я думала, моя. Давеча у меня такая же лопата пропала.

Теперь, завидев меня в огороде, она нередко сама подходила и заводила бесконечные жалобные разговоры. Внук ее бил; он до последнего рубля отнимал и тут же пропивал ее пенсию, оставляя бабку неделями без куска хлеба; а однажды, крепко нализавшись, даже попытался ее изнасиловать.

— А я уж стара для этого дела! — заметила она мне с вызовом.

Горе и лукавство, реальность и вздорный вымысел так сплелись в ее бедной голове за долгую жизнь, что отделить одно от другого было невозможно. Вечерами я заставал ее и внука рядом, мирно отдыхающих на скамеечке перед воротами. Порой она сама искала для своего Лешки водку, хаживала за этим и ко мне. Но всякий раз, когда она мне на него жаловалась, по ссохшимся, как у мумии, щекам ее текли настоящие живые слезы.

Огородные работы кончились, мой помощник заявился с бензопилой, и я закурился в вихре новых дел. Щелястую уборную мы с плотником развалили за полчаса — без этого к дому было не подступиться, — но взамен требовалось срочно воздвигнуть где-то в стороне временку. (Постоянный туалет, удобный и теплый, я собирался устроить в доме после ремонта.) Однако днем я не мог ни на шаг отойти от напарника: дело, за которое мы взялись, и для двоих-то было тяжеловато — его выполняли обычно три-четыре физически крепких и умелых работника. На все остальное у меня оставались вечер да ночь. Мой плотник, отработав восемь «законных» часов, всегда давал мне задание на завтра: к примеру, отвалить землю от стен дома в подвале (без света, согнувшись в три погибели). Я же про себя держал, что надо еще обшить досками временную уборную в углу двора и привесить к ней дверь, а для этого вначале снять петли со старой

двери; затем я должен был успеть до закрытия магазинов сходить за хлебом и молоком, нарубить дров, истопить печь, сварить себе что-нибудь на ужин и на завтрашний день, выстирать носки и рабочую рубашу и перед сном еще ополоснуться в реке...

К тому времени я прожил в Солигаличе больше месяца, а в комнатах, где приходилось есть и спать, со дня приезда почти ничего не изменилось. Все так же бугрилась на потолке покрытая плесенью бумага. Все та же грубая доска приподнимала с одного боку ножки кровати. Нижнюю часть окон день и ночь закрывали пожелтевшие газеты — не мог же я думать о занавесках среди такого запустения? Возвращаясь сюда по вечерам после изнурительных работ во дворе, я порой уже досадовал на себя, что не послушался Ольги Степановны и не потратил неделю-другую на внутреннее убранство. Как было бы хорошо прилечь на широкую скамью или сесть за прочный стол, по которому не расплескиваются от малейшего толчка суп и чай! Почему я должен скользить по наклонному полу, скрипеть по ночам ломаными пружинами старой кровати, запинаться в чулане о стеклянные банки с огурцами пятилетней давности, подниматься на чердак по неудобной и опасной лестнице с выскакивающими из пазов ступенями (сколько бабушек угробилось раньше срока на таких лестницах!)... Почему мы должны так жить?!

Именно тогда я выдумал «теорию малых дел». Видимо, на практике я применял ее раньше, сам того не ведая, но теперь она оформилась как сознательный принцип. В нашей жизни накопилось слишком много неотложных дел. Мы никогда не сумеем переделать все эти дела по плану. Хуже того: мы уже не в силах составить и сам план, выстроить какую-то иерархию, чтобы отделить важнейшие дела от маловажных, срочные — от тех, что могут еще подождать. Нам просто не удержать сонмище несделанного в наших головах. Все вокруг нас — хаос и запустение. В таком положении остается один выход: немедленно приводить в порядок то, что под рукой, что в эту секунду колет глаз, забывая на время про отдаленные предметы, даже если они гораздо более важны. Так, на мелочах, может быть, удастся отвоевывать у хаоса шаг за шагом все более широкое пространство. А там, глядишь, попадут в поле зрения и большие, и великие дела...

Вы понимаете, что в моем положении это была опасная теория. Конечно, не совсем то, что предлагала мне вначале Ольга Степановна: кое-где подклеить, кое-что замазать — и успокоиться; дача, она и есть дача... (Сама-то Ольга Степановна жила не так, с раннего утра до поздней ночи не покладала рук, чтобы не потонуть в окружающем запустении, удержаться на высоте, чтобы в доме было «не хуже, чем у людей».) И все же я, следуя новому принципу, рисковал остаться ни с чем. Бежишь утром с ведрами на колонку, видишь на тропе щепку и возвращаешься, чтобы положить ее во дворе на видном месте и позднее сжечь в печи; по пути вспоминаешь про оставленную на грядке лопату и несешься в огород, бросив ведра на крыльце; в огороде обнаруживаешь, что забыл прикопать принесенное вчера из лесу деревце, и принимаешься за новую работу... Таким путем до колонки доберешься разве что к вечеру — и то если принять, что жизнь подчиняется элементарным арифметическим правилам. На самом же деле в ней, жизни, никогда не действуют простые сложение или вычитание. Пока бегаешь со щепкой, в колонке могут вдруг перекрыть воду; пока плетешься с ведрами на дальний колодец, набежит тучка, и вот уже щепку намочило дождем и она не годится в растопку: теперь надо либо сушить ее несколько дней под навесом (канители-то!), либо выбрасывать подальше за ворота, где она до сих пор и валялась, нарушая порядок... Только вздохнешь с облегчением после одной сделанной на совесть работы, только примешься за другую, глянь — а предыдущее твоё творение успело рассохнуть под палящим солнцем или, наоборот, намочить, или выскочить из пазов, или порваться, и тебе пора оборачиваться и идти поправлять старое...

Ольга Степановна, как только я при случае изложил ей свою теорию, тут же выставила мне подобные контраргументы. Это был опыт, выстраданный всей ее жизнью. Собственный дом, говорила она, особенно если старый, — это куча дел и постоянный беспорядок. В конце концов мы по моему предложению немного изменили формулировку: куча дел и постоянная угроза беспорядка. Именно таким представляется мне быт англичан, а с некоторых пор и быт самой Ольги Степановны — по ее мнению, чересчур мной приукрашиваемый.

(Вспоминая наш тогдашний обмен любезностями, я понимаю, что она не скромничала, просто лучше меня чувствовала свое положение и была, как всегда, предельно правдива. Ольга Степановна, которая так часто напоминала мне в Солигаличе вас (несмотря на большую разницу в годах) — и своими незаурядными умом и характером, и подлинным, не вымученным достоинством, и щедростью, и трудолюбием, и какой-то особенной невозмутимостью, и чисто «английской» практичностью с легким оттенком скептицизма (профессии и те у вас были родственными. Что за важность, что у одной студентки Оксфорда, а у другой провинциальные недоросли? Даже относились вы к своим подопечным почти одинаково, так же любили их в душе и так же гневались в разговоре на их распушенность и лень), — эта Ольга Степановна, говорю я, всю жизнь тянулась из последних сил, чтобы создать вокруг себя человеческую обстановку, но достигала при этом чего-то совсем другого, нежели вы. А ведь желания или, если хотите, представления о «нормальной и достойной жизни» были у вас очень схожими — голову даю на отсечение! Вы понимаете меня, дорогая моя. Пусть вас с ней и сблизает, между прочим, любовь к домашней кухне, толкую я все-таки не о посудомоечной машине и не о кухонном комбайне, которых Ольга Степановна в глаза не видывала, хотя привыкла бы к ним, уверен, так же быстро и легко, как привыкли вы. Я вот о чем: *«И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне»*. Еще проще рассказывается в вашей любимой сказке: жили-были три поросенка; один построил себе дом из соломы, другой из хвороста, третий из кирпичей. Знаете, что напоминают мне эти три дома?..

Но я отвлекся, договорю о строительных материалах в другой раз.)

Надеюсь, «теория малых дел» мне в целом не слишком навредила, а вот конкретную пользу от нее — лучше сказать, много маленьких «польз» — могу назвать сразу. В одну из ночей, проснувшись часа в два от криков пьяного соседа и не надеясь больше уснуть, я сделал генеральную приборку в сених — ведь для этого совсем не обязательно было, чтобы дом стоял прямо! Стекланные банки с испорченным добром вытряхнул и перемыл, огородный и кухонный инвентарь рассортировал. Набравшиеся четыре бадьи пустых консервных жестянок и прочего хлама, иногда очень дурно пахнущего, пришлось закопать на огороде. Пропитанные жирами и вареньями липкие полки из кладовки пустил на дрова. Эту малоприятную работу я делал яростно и с каким-то даже вожделием: дом, захламленный жилым скарбом, с детских лет был для меня одним из самых ненавистных образов людского убожества. К утру я не только избавился от грязи, но и получил в свое распоряжение много новых полезных в хозяйстве вещей (чугунки, сковородки, стеклянную посуду).

В те же дни (вернее, вечера и ночи) я принялся за мебель. Главное в доме — стол. Среди купленных стройматериалов я отыскал широкие доски со свежим и ярким рисунком. Самым трудным было гладко обстрогать их и подогнать одну к другой, ибо у меня не было ни рубанка, ни другого подходящего для этой цели инструмента. Как-то вечером, когда мой напарник уже ушел, я остался во дворе под навесом у наскоро сколоченного верстачка и с упорством ушлищенного скоблил свои доски топором, пытаясь сделать их совершенно гладкими. Навес примыкал к жиденькому забору, отделявшему мой двор от двора соседа справа. Нечаянно подняв го-

лову, я вдруг увидел в каких-нибудь полутора метрах от себя лицо соседа, участливо глядевшего на меня из-за забора.

— Что сейчас-то делаешь? — спросил он, отвечая на сердитый вопрос в моих глазах.

— Стол, — буркнул я, помня историю с тележкой и подслушанный разговор на грядках. Чем бы я ни занимался, этому борову не могли прийти по душе мои дела.

— Мне твой мост понравился, — неожиданно сказал сосед. Он явно был настроен на продолжение беседы. — И аллея. Я тоже люблю, эти твою, деревья сажать... Да чего ты канителишься, разве обстругаешь доску топором? Дай-ка я тебе фуганок свой принесу.

И сосед действительно принес мне фуганок, а после, когда дело дошло до ножек, давал и стамеску, и ручную дрель.

С нормальным инструментом в руках я позволил себе некоторый изыск: менял и сдвигал одну относительно другой доски столешницы, пока не достиг идеального совпадения рисунка сучков и волокон. Вообще чем дальше вглубь шла какая-нибудь работа, чем большего умения я в процессе ее набирался, тем требовательнее становился к самому себе. Начав с мысли о простом обеденном столе и желая только одного — чтоб стол этот не качался, я получил в конце концов красивое изделие из светлого дерева, которое можно было бы выставлять в магазинах стильной мебели. У него были, конечно, изъяны и недостатки, но о них знал только я. Чтобы не сгубить свое творение в один день, я вынужден был разориться на мебельный лак и покрыл им поверхность стола в несколько слоев. От этого оригинальный древесный рисунок проступил еще ярче. В конце концов я получил именно то, чего желал: вещь удобную, практичную и восхитительную.

— Натуральное хозяйство, — шутил я, с гордостью показывая новый стол Ольге Степановне.

— А что? Правильно. Сейчас ведь ничего не купишь, все бешеных денег стоит.

Однако особого восторга, на какой я, будто ученик-отличник, втайне рассчитывал, мое изделие у нее не вызвало. Уходя, не выдержала:

— Можно бы и попроще. Времени-то сколько ушло! Так вы и до зимы дом не справите. Крышу посмотрите, главное — чтобы крыша не текла.

Она искренне за меня переживала, но явно хватала через край. К середине лета я твердо рассчитывал покончить с основными работами. Даже подумывал, не привезти ли сюда на август маму с сестрой (сестра писала мне на солигаличский адрес, что в конце июля пойдет в отпуск и попробует поставить маму на ноги — говорят, больной надо делать массаж, заставлять больше двигаться...). Даже решал, кого позову на новоселье. Во-первых, Ольгу Степановну. Само собой, жена из Москвы придет. Хорошо бы вместе с женой зазвать хоть на несколько дней Аню Вербину (они знакомы), если будет не слишком загружена делами: ей тоже нужен отдых. Ну и... и вас — почему нет? Ведь вы хотели появиться этим летом в России! Можете смеяться сколько хотите, но у меня к тому времени созрела мечта: собрать как-нибудь вместе вас, Аню Вербину и Ольгу Степановну. Я почему-то не сомневался, что вы понравитесь друг другу.

Сосед-боров стал появляться в моем дворе, заводил душевные (на свой лад) разговоры, приносил недостающий инструмент, а то и подсобить пытался, охая и кряхтя.

— Я бы за такое большое дело уже не взялся. Годы, понимаешь, не те.

Тачка соседа была теперь в моем полном распоряжении. Его новое уважительное отношение ко мне было связано, как я чувствовал, с размахом и первыми результатами моих дел. Всего дороже было то, что моя забота о красоте в этих делах уже не отвергалась с порога, встречала даже понимание и сочувствие!

В один из светлых июньских вечеров я задержался с пустой тачкой на своем высоком мосту и окинул взглядом ближние огороды. Воздух после тихого дождя был напоен трогательными ароматами. На изумрудных склонах и в ложбинах, уже прикрытых туманом, чернели правильные четырехугольники грядок, обрамленные цветущими черемухами. А над серыми крышами домов пронзительно четко, до мельчайших архитектурных деталей вырисовывался на бледно-зеленом небе силуэт старой каменной церкви. Она показалась мне теперь гораздо ближе, чем днем. В этом дивном сумеречном свете понятие пространства как-то утрачивало смысл — как, помню, много лет назад исчезли для меня часы и расстояния на берегу Невы возле медного Петра, где я сидел такой же вот белой ночью под таким же прозрачным зеленоватым небом и засматривался на строгие очертания казарменных корпусов на другом берегу, на завораживающие силуэты Васильевской стрелки, Петропавловки со сверкающим шпилем над ней, моста... *Был в полверсте, а казалось, что до него пятьдесят шагов*, где-то сказано у Достоевского. Может быть, такое место, где мы теряем чувство пространства и времени и принимаем все окружающее как свою бегущую по жилам кровь, и называется *домом*? Безо всякого повода я вспомнил вдруг безмянную круглолицую попутчицу, с которой началось для меня обретение Солигалича, и подумал о ней со снисходительной нежностью, как о ребенке. Еще подумал, что никакого «верхнего парка» на месте грядок, наверное, устраивать не стану — здешние огороды замечательны своей особенной красотой. И совсем легко (до того легко и незаметно, что об этом и упоминать, кажется, не следовало бы, не то что спорить) задела другая мысль: может быть, Солигалич и есть то самое место, где я хотел бы жить...

В ту ночь мне снился длинный яркий сон. Хорошо помню об этом потому, что вообще сны в Солигаличе были большой редкостью: измотанный до предела, я обычно сразу проваливался в небытие и так же незаметно возвращался к дневному сознанию, не ощущая после ночи ничего, кроме ломоты в теле.

Мне снилось, что я держу в руках длинный белый конверт с красным штемпелем Букингемского дворца. Не знаю, как он ко мне попал, да и где я сам во сне находился — на даче ли под Москвой или здесь, в Солигаличе. Открываю судьбоносный конверт с волнением и трепетом, разворачиваю гербовую бумагу и читаю:

Гр. такому-то (отчество перепутано),
проживающему там-то и там-то.

На Ваше обращение к королеве Франции Екатерине отвечаем, что Вы имеете в Москве 1,9 кв. м живой площади и не подлежите постановке на жилищный учет.

Пом. субпрефекта Юго-Западного округа
Варзикова.

И снова красная печать со львом.

Самое смешное, что из этого округа мы с женой действительно получили в свое время какие-то отписки. Однако Варзикова не имела ко всему этому ни малейшего отношения. Честное слово, о ней я за все время в Солигаличе ни разу даже не вспомнил!

Но во сне меня смущало другое: почему кладбищенская площадь названа живой? (То, что речь в письме идет именно о могиле, сомнений почему-то не вызывало.) Может быть, это просто опечатка и надо читать «жилой»? И тут меня осенило: ведь кладбища-то наши в самом деле очень живые! Проплыли в мозгу тяжелые серебристые заколки в виде бабочек на взбитых прическах двух девчонок, сидевших впереди меня в солигаличском автобусе. Я тогда еще отметил про себя: как на кладбище. Там тоже

железные сварные надгробия и оградки, крашенные серебрянкой. Грубые, дорогостоящие и для всех одинаковые. Обзаводиться ими, по-видимому, просто необходимо — как необходимо покупать в дом диван или шифоньер или обносить забором двор. Это суета живых, а вовсе не память об усопших и не украшение их посмертного бытия. Это тоже судьба России, наши такие живые и такие безобразные кладбища... Мне очень захотелось потрогать бабочку-надгробие над розовой раковинной ушка. Я уже протянул было руку...

— Сосед! Соседушко! — закричала девка истошным голосом.

Я открыл глаза. Показалось, что меня окликнули по имени-отчеству, причем отчество переврали точно так, как в письме. Я выходил из сна с ужасным чувством несчастья, окончательного крушения всех надежд. Пошарил рукой по одеялу в поисках письма, чтобы перечитать его еще раз. Оно только что было здесь!

— Соседушко! Меня Леша убивает!

Старушечий вскрик захлебнулся хрипом. Я бросился к окну. В полутемном дворе мужчина наотмашь бил кулаком по голове старуху. Я заметался в поисках одежды и снова замороженно прилип к окну, дрожащими пальцами пытаясь застегнуть рубашку. Он уже втаскивал ее за волосы в дом по ступенькам крыльца, как мешок картошки...

Соседская калитка была закрыта на засов. Я босяком прошел по улице до тускло освещенного окна кухни.

— Не смей, сука, жаловаться! — донеслось из-за окна рычанье внука.

— Да какая же я тебе сука, Леша! — громко отчитывал его знакомый голос. — Мне скоро девяносто стукнет, а ты меня сукой обзываешь, жеребец бессовестный!

Слава Богу, старуха была жива. У меня подкашивались ноги. Я присел у забора и впервые перевел дух, стараясь унять тупую боль и смертельную усталость в груди. Вокруг меня сияла все та же волшебная белая ночь с ее дурманящими ароматами, только небо из зеленого стало золотистым, с легчайшими акварельными мазками облаков над горизонтом...

Старуха молила меня о помощи. Чем же я мог ей помочь?

Утром вспомнил, откуда была с вечера привязавшаяся ко мне фраза про «пятьдесят шагов»: из подробного, тщательно написанного пейзажа, к которому герой Достоевского постоянно возвращается, дополняя этот пейзаж все новыми и новыми красочными деталями! Речь идет, конечно, о князе Мышкине, идиоте. Он *живет* этим пейзажем на протяжении всего романа. С попыток пересказать некую важную для него картину, привлечь к ней внимание он начинает первые знакомства, едва вернувшись в Россию после долгого пребывания в Швейцарии: *«Тогда иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые; вверху на скале старый замок средневековый, развалины; наша деревенька далеко внизу, чуть видна; солнце яркое, небо голубое, тишина страшная...»* К своему воспоминанию он возвращается каждый раз и в минуты важных решений, и в минуты самых тяжелых душевных мук: *«Иногда ему хотелось уйти куда-нибудь, совсем исчезнуть отсюда... Мгновениями ему мечтались и горы, и именно одна знакомая точка в горах, которую он всегда любил припоминать и куда он любил ходить, когда еще жил там, и смотреть оттуда вниз на деревню, на чуть мелькавшую внизу белую нитку водопада, на белые облака, на заброшенный старый замок. О, как бы он хотел очутиться теперь там...»*

Не удивляйтесь, что много цитирую. Увлечшись своими припоминаниями из Достоевского, я посетил в Солигаличе городскую библиотеку и попросил на время никому не нужный томик «Идиота» из десятитомного издания еще пятидесятих, кажется, годов.

Как я потом специально убедился, Достоевский в самом деле не любил разворачивать пейзажные описания, несмотря на постоянно и пронзительно ощущаемые в его прозе место действия, воздух действия, чуть ли не

трепетание этого воздуха... Идиот с его навязчивым подробным воспоминанием стал в этом смысле исключением из правила. Но даже здесь, как вы чувствуете, на первом месте не картина, а «точка», некое духовное средоточие Божьего мира вне времени и пространства. Можно ли назвать такую *точку*, навсегда покинутую в чужой стране, *домом*? Если взамен нет ничего другого, если скитаешься по чужим углам, как князь Мышкин, — вероятно, можно. Не дачу же Лебедева, не террасу с кадками так звать! — она числится домом князя лишь механически, по недоразумению. Во всяком случае, эта картина, это навсегда врезавшееся в память впечатление как будто охраняет князя Мышкина в России, как будто постоянно от чего-то его спасает вплоть до настоящего безумия, которым заканчивается роман. От чего же?..

Напарник, с которым я работал уже вторую неделю, в то утро неожиданно спросил:

— Ты давно на пенсии?

Мы с ним возводили кирпичные столбики под углами дома: он клал кирпич с раствором, я подносил. После ужасной ночи все во мне как-то опустилось. Всклопоченный, в рваной перемазанной грязью рубахе, я являл собою, должно быть, жалкое зрелище.

— Что, плохо выгляжу?

— Ну почему плохо... Мне и самому уже шестьдесят третий годок пошел.

Мы встретились оценивающими взглядами. Он был роста невысокого, но прямой, крепкий, с худым мускулистым лицом. Я дал бы ему не больше пятидесяти...

С возрастaми у меня здесь, в Солигаличе, вообще была путаница. Разбираясь как-то на чердаке, я нашел в старом чемодане женские белые туфли большого размера. Одна была без каблука, из-за этого их, видимо, и забросили — кожа сверху была совсем новая, чистая, какая-то девственная... Чем-то ностальгическим на меня от этих туфель повеяло. Может быть, попалась еще тогда на глаза выцветшая фотография выпускного класса, где тетка с Ольгой Степановной, две рослые большеногие подружки, рядышком в форменных платьях с белыми фартучками... (Я перенес фотографию с чердака в дом и вскоре подарил ее Ольге Степановне — у нее такой не сохранилось.) Разглядывая эти туфли с чуть продавленными и едва успевшими отполироваться под пяткой стельками, почти новые и даже вполне современного, как ни странно, фасона, я почему-то вспомнил вас. Такая уж у меня, видать, судьба — всегда и везде теперь вас вспоминать. И подумал, что туфли эти тетка надевала лет тридцать, наверное, назад, когда ей было ровно столько, сколько вам сейчас...

Плотника, прибавившего мне два с лишком десятка лет, я постарался разубедить. А через полчаса, забежав за каким-то инструментом в дом и с любопытством глянув на себя в зеркало, сам уже был ни в чем не уверен. Напарник выглядел значительно моложе меня. Я был слишком изможден непосильной работой и дурными мыслями — короче, exhausted. (Помните тот мой перевод предостережения с мыльной обертки?)

— У меня внучка в Питере, технологический заканчивает! — хвастал мой напарник. — А дочь в Германии уехала. Не могу, говорит, здесь жить, и все тут! У нее муж, это... Из наших немцев был, из Казахстана. К Новому году посылочку с продуктами прислала. Чего только нет! Ты в жись такого не видывал.

— Видывал, — сказал я.

— Да нет, у вас в Москве не то. В Москве такого не найдешь...

— А я не в Москве. Я в Англии видел.

— В Англии? — изумленно уставился на меня напарник, отложив кирпич. — Как ты туда попал, в Англию-то? В гости иль как?

— Научная командировка.

— А-а... Ученый человек. значит. Чего ж ты здесь-то делаешь?

— Как чего? Работаю. Дом отстраиваю.

— Верно, верно. Этот дом, если за него как следует взяться... Он еще и внукам твоим послужит, — пыхтел напарник, втискивая под бревно последний ряд кирпичей, и вдруг замер на секунду и оглянулся на меня как-то странно, чуть ли не с жалостью, но и с опаской: — А чего не остался? Не нужен, что ль?

— Где не остался? — не понял я.

— Да это я так, смеюсь. — Он засуетился, торопясь просунуть между кирпичами и бревном лист рубероида. — Зайди-ка из-под дома, подсоби!..

В тот вечер он попросил меня расплатиться за сделанное. Продолжать работу на другое утро не явился: соседи сказали, что запил. Я увидел его только через неделю, он пришел поздно ночью (я был уже в постели) и попросил «вина», клятвенно обещая приступить завтра к работе. (Под «вином» подразумевалась, конечно, водка, никакого другого вина здесь не признавали.) Я не поверил, но бутылку дал (он настаивал на двух). После заявлялся еще раза три, воняя перегаром и махоркой: требовал водки «под будущую работу». Больше я не давал. В последний раз, обидевшись, сказал, что цены нынче не те, что прежде, и меньше чем за столько-то в день он работать не будет. Названная сумма была вшестеро больше, чем я платил ему до этого. После каждой встречи с ним мне казалось, что даже от рыжего кота Васьки, продолжавшего осаждать меня по утрам, несет махоркой...

Я так подробно говорю об этом плотнике, потому что позднее он примет участие в одном событии, ставшем для меня поистине катастрофическим.

Но главное было уже сделано: дом стоял прямо, на кирпичных столбах под каждым углом. Я мог начинать внутренний ремонт, а в случае нужды сумел бы, набравшись теперь некоторого опыта в кирпичной кладке, и фундамент завершить в одиночку. Разве что новоселье придется на неделю-другую отложить...

В те дни я поневоле продолжал размышлять о доме и бездомности. Мои представления об идеальном жилище складывались не в Солигаличе и сильно менялись с годами. Вначале был хмурый Петербург: холодная гармония улиц и площадей, сады и парки с заемными декоративными причудами и подлинным колдовством внутренней жизни. Именно там я научился понимать и любить цвет в архитектуре: эти блеклые зеленые или розовые особнячки в глубине дворов, в зарослях цветущей сирени... В Подмосковье мне бросалось в глаза особое умение дачников создавать относительный комфорт из всякого хлама, что оказывалось под рукой, и возводить нечто хотя и беспорядочное, но легкое и не слишком гнетущее. Надо ли говорить об Англии: у вас я не только жадно впитывал прекрасные общие виды, но всматривался буквально в каждый камень и каждый кустик, соблазняясь совсем новой для меня — как бы это точнее выразить: фактурой? иерархией? — красоты. (Чтобы ее почувствовать, достаточно посмотреть несколько старинных гравюр с видами Оксфорда.) Все это (не только из Англии, но вообще все лучшее, что к тому времени запечатлелось в моей памяти) мне хотелось вдохнуть в солигаличский мир, где из-за каждого угла глядела на меня российская покорность судьбе.

Но я уже не хотел все с ходу отвергать и ломать, как в первый день. И обождал бы теперь, видимо, с навешиванием медного кольца-молоточка на калитку (наперед ни от чего такого, впрочем, не отказываясь). Я понимал, что все, с чем я столкнулся в Солигаличе, — тоже культура: вековой мещанский уклад, содержащий в себе много просто необходимого для выживания в таком месте и по-своему привлекательного. Я начал догадываться, что иной солигаличский хлев или амбар, кое-как доживающий свой век, в дни своей молодости не уступал по практичности и красоте нашим каменным *barns* с дубовыми окованными толстым железом дверями.

Мастера здесь попадались стоящие. Но — хлипкий материал, суровый климат... Человеческое небрежение довершало дело.

Если попытаться обозначить равнодействующую моих теперешних усилий, то это была не ломка, а скорее реконструкция, иной раз даже реставрация. Я хорошо усвоил, как реставрируют в Англии: начиная средневековые здания всеми удобствами конца XX века, но не сдвигая при этом ни одной старой перегородки, не ломая ни одной лестницы или двери. Мне нравилось, что у вас почти нет руин и развалин, что все старое выполняет прежнюю функциональную роль, действует и выглядит подчас прочнее и лучше нового, нисколько не потеряв при этом своих изначальных черт. Напротив, древние черты подчеркиваются и усиливаются! Вы видите это на улицах Оксфорда и у себя дома каждый день: потрескавшиеся деревянные балки, косые распорки и столбы покрываются черным лаком, каменные простенки между ними выбеливаются до снежной чистоты. Стена, простоявшая много веков, выглядит теперь ярче и контрастнее, древняя конструкция ее выпячена. Даже если дерево изрядно попорчено и выветрено, если камень чересчур угловат, а столб слишком кривой, все остается под краской так, как оно есть, ибо в этом печать вечного времени и живая творческая мука давно ушедших мастеров, из этого-то и складывается душа дома. Не изменились ни размеры, ни конфигурация, ни назначение постройки. У вас теперь по-современному комфортно, но вы по-прежнему в средневековье. Все, что было правильным и добротным тогда, годится и теперь; что сразу признали негодным или ошибочным, давно уже стерто с лица земли...

Может быть, я идеализирую ваших реставраторов и они не обходятся без ломки и перестроек, просто умеют прятать концы в воду? Вам виднее. И в самой раскрепасной жизни все когда-нибудь стареет и требует замены.

Мой случай был несколько иным. Мне приходилось самому решать, что убрать, а что оставить. Иной раз решение давалось легко и приносило радость, но часто доставляло одни неприятности, кончалось результатами ничтожными, а то и явно отрицательными.

Взять хотя бы внутренний ремонт, отделку комнат. Старые обои были наклеены в несколько слоев, дальше шли густо промазанные хлебным клейстером слои газет, а под ними — обрывки картона, фанерки от посылочных ящиков, дранка, даже полоски жести... Все это служило для поддержания рыхлой песчаной смеси, огромные количества которой заполняли пазы между бревнами. Все было намертво, по-бабьи прибито к стене мириадами гвоздей разной величины. Картонки и фанерки эти приходилось выламывать топором да зубилом, причем ржавые гвозди оставались торчать в бревнах, будто прикипели к ним. Стены, где я успевал их ободрать и очистить, выглядели безобразно. Во многих местах голые темные бревна выпирали внутрь или, напротив, вываливались наружу, разъехавшись за многие годы в неточно вырубленных пазах. Конечно, тетка не стала бы тревожить старье и просто наклеила бы еще один слой обоев поверх бугрившихся старых. Обдирать, вытаскивать гвозди, выносить ведрами центнеры осыпавшейся замазки — да кому это нужно? И что делать с такими стенами дальше?

Однако я продолжал начатую работу, уповая на собственную изобретательность, так часто меня здесь выручавшую. До поздней ночи горела в комнате тусклая электрическая лампочка на витом шнуре; до поздней ночи балансировал я с клещами на старом ненадежном столе, осовело глядяваясь в черноту бревен, чтобы не пропустить какой-нибудь маленький гвоздик...

Спустя три или четыре дня в комнате чуть не до потолка высился ворох бумажных обрывков, картона и тряпья. Пришлось вспомнить о печке, которую я из-за жары не топил уже много дней. И тут меня ждало еще одно неприятное открытие.

Печка оказалась сломанной: выравнивая домкратами и клиньями дом, мы разрушили печной боров. Для опытного печника работы было на полдня: разобрать поврежденную потолком часть и соединить с трубой заново. Что касается меня, трудности начались уже с первых шагов.

Добравшись до стенки дымохода, я неожиданно обнаружил, что прокальные и покрытые сажей кирпичи в глубине его качаются. Не было, казалось, ни одного, который лежал бы на своем месте прочно. Глиняная обмазка осыпалась, между кирпичами изнутри зияли провалы. А ведь это было место, где бушевал огонь; от дома, от деревянных обклеенных бумагой стен отделяла его шаткая стенка толщиной всего в полкирпича!

Я взял молоток и легонько простучал всю стенку. В глубине дымохода падали вниз куски обожженной глины.

И эту печку Ольга Степановна называла хорошей, крепкой; до того дошло, что я под гипнозом ее похвал считал печку чуть ли не единственной стоящей вещью в доме!

Передо мною лежало, как водится, несколько дорог. Либо разломать печку до основания и построить новую (возможность чисто теоретическая; я заранее знал, что никогда на это не отважусь). Либо попытаться, не руша, всю ее обмазать новым раствором и таким образом укрепить. Либо быстренько поправить лишь то, что я успел разломать: стояла эта хреновина до меня десятки лет (я не помнил, чтобы тетка занималась печью, лишь белила ее иногда), послужит, Бог даст, еще...

Была еще одна возможность: позвать печника, чтобы сложил новую печь. Но я уже догадывался, во что мне это обойдется.

Выбрав средний путь, я стал приравниваться со своим раствором. Повсюду, где я мазал печку, через каких-нибудь полчаса появлялись новые щели. Я попытался обмазать дымоход изнутри, где мог достать рукой: тонкий слой глины, аккуратно наложенный мной на предварительно увлажненные кирпичи и сверху еще приглаженный мокрой тряпкой (по всем правилам!), через некоторое время отошел и стал скручиваться, как сухой осенний лист. Я добавил в раствор песок и повторил все с начала: трещины стали не такими широкими, но их было теперь значительно больше. Пришлось еще несколько раз досыпать песок. В конце концов я добился того, что на высохшей стенке не образовалось ни одной трещины. Я провел по печке ладонью, испытывая новую обмазку на прочность. Следом за моей рукой она вся обрушивалась каскадом сухих песчинок!

Я пришел в ужас. Что делать в этом исходно зыбком, на авось слепленном мире добросовестному человеку? Тут-то я и вспомнил английскую сказку про трех поросят и библейскую притчу о доме. И понял, что стараюсь напрасно. И что не поможет мне в этом деле никакой местный печник, сколько бы я ему ни заплатил: он сумеет лишь повторить то, что у меня уже есть. *«И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры...»* Просто мы, русские, — народ, основавший свой дом на песке. А потому одновременно и отчаянный, и боязливый (одно другому не противоречит). Как можно на что-то всерьез рассчитывать, живя с такими, например, печами? С этим же связано, вероятно, и наше мистическое восприятие жизни, ощущение ее тленности. Зачем обдирать старые обои, красить двери и заборы, строить удобную прочную лестницу на чердак, если все равно разольются реки, подуют ветры, вспыхнет пожар? Зачем облегчать и украшать жизнь, которая в любой миг может обратиться вся в прах? В этом всегдашнем и вполне оправданном ожидании беды одно из решающих, может быть, наших отличий от Запада, основавшего свой дом на камне.

Так что Ольга Степановна не обманывала меня, нахваливая эту печку...

Кое-как залатав поврежденный боров и стараясь больше о печке не думать, я принялся обдирать потолок. Он меня порадовал уже тем, что под белой бумагой открылась добротная картонная плита, довольно-таки аккуратно прибитая к потолочному настилу. Кое-где большие листы картона покособились от влаги, местами были не очень плотно пригнаны

один к другому, но все это было поправимо. Я сразу решил, что не буду вновь их заклеивать, а покрашу белой краской. Но прежде надо было отчистить остатки бумаги и клея. Крупитчатая хлебная размазня толстым слоем покрывала под бумагой весь потолок. Ее очень полюбили мухи, появившиеся к тому времени в доме в большом количестве. Как только я отрывал от потолка очередной лист бумаги, они тучами налетали на оголенное место. Пришлось брать ведро с тряпкой и тщательно оттирать каждый пяточок поверхности. Добавьте к этому неудобное положение на шатком столе, с задранной головой и поднятыми вверх руками: ныла шея, грязная вода с тряпки попадала на лицо и текла в рукава...

Так я добрался до потолочной балки. Что за штука эта балка, объяснять, думаю, не надо. Промежуточная опора потолочного настила, она была сделана из очень толстого и прочного бревна и тянулась через все мои покои, выступая под потолком как раз посередине. В народе ее зовут еще, кажется, матицей и даже *маткой*. Моя балка оказалась под бумагой на удивление гладко и изящно обструганной, с фигурно выточенными бороздками во всю длину. Когда-то, вероятно, свежая и смолистая, не уступавшая по декоративным свойствам моей столешнице, она была теперь буро-пестрой, залепленной грязью и хлебными крошками. Я механически отскоблил и вымыл балку вместе со всем потолком — больше для того, чтобы избавиться от привлеченных хлебным запахом назойливых мух, нежели для красоты, — и тут убедился, что дерево не испорчено. Пятна исчезли без следа, старая древесина обрела ровный серовато-коричневый цвет, напоминающий цвет мореного дуба — только, пожалуй, чуть более холодноватого оттенка.

Открытием следовало распорядиться с большой осторожностью. В тот день я кончил работу пораньше и отправился в хозяйственный магазин. Голова моя была занята одним видением: белоснежная плоскость потолка, пересеченная массивной черной балкой. Образ этот, как вы догадываетесь, я вывез из Оксфорда. Потолок должен быть небесами. Стены не слишком темные, граница между стенами и потолком (бордюр) еще светлее, а уж сам потолок — уходящее в бесконечную вышину сияние...

Ольга Степановна, когда я выпытывал ее домашние секреты, говорила мне, что идеально белого потолка она добивается с помощью мела. И точно: простенки оксфордских зданий по штукатурке не маслом же красят! Значит, опять возвращаться к отвергнутой мной бумаге, опять мазать отмытый потолок клейстером? Впрочем, балку оставлю незаклеенной. Для балки я мысленно выбрал битумный лак. Матовые меловые плоскости и глянцево-черный брус — ведь это как раз то, на что я так заглядывался у вас!..

Ни битумного лака, ни мела для побелки в магазине не было.

Как ни странно, эта неудача не слишком меня обескуражила. Я задумчиво побрел по городу. Мне еще не приходилось шататься по улицам Солигалича просто так, никуда не спеша, не сгорая от нетерпеливого желания поскорее разделаться в городе с делами и вернуться домой к прерванной работе. Обычно во время суетливых пробежек я не поднимал глаз и лишь досадовал на слякоть или пыль, смотря по погоде. А тут поднял — и удивился.

Нет, не наличникам с вычурной резьбой, не балкончикам с точеными баясинами, не светелкам под коньками крыши. Всего этого в центре города было довольно, и сделано со вкусом, но меня как-то мало трогала эта классика. Иной раз даже думал с раздражением: зачем столько сил убивать на наличники и резные крылечки, в то время как в домах нет самого необходимого: водопровода, ванной, канализации? В старину, когда ни о чем подобном не мечталось, — понятно: резьба по дереву давала естественный выход творческим силам, больше их просто некуда было здесь приложить. Но как может нынче взрослый мужик днями точить затейливые баясинки или вырезать из жести петушка на трубу, когда его жена таскает бабьи с помоями и бегаёт на речку полоскать белье? (Все это

дважды забавно, если вдуматься. Я ведь и сам частенько поступал, как тот мужик, то есть начинал преобразование быта с красоты, только моя красота представлялась мне, видимо, более значимой, более универсальной, чем мужикова, и к тому же я всегда держал в голове конечную цель, без которой забота о красоте дома лишалась для меня смысла: жизнь надежную и комфортную.) Нет, меня другое поразило, нечто до странности простое и естественное. Прямо перед собой на высокой открытой террасе, построенной без излишеств и свежепокрашенной (а мне все казалось теперь, что только в Англии умеют красить!), я увидел цветущие розы в больших глиняных вазах. Не букеты — живые розовые кусты с пышными цветами, выставленные на всеобщее обозрение поближе к перильцам. Не так уж и высоко, рукой с тротуара можно дотянуться... На террасе — никого, ведущая во внутренние помещения стеклянная дверь плотно прикрыта. Как выросли розы в этом климате? Ради чего их сюда выставили? Они что, и *ночью* тут стоят и их до сих пор не украли?! Смешные, невообразимые для нормального человека вопросы закружились в голове. Очень уж не вязались правильные и строгие архитектурные формы, тщательность, с какой было выбрано место для цветов, тонкий переплет двери и чисто вымытые стекла с тем, что я всегда знал и думал о Солигаличе. У меня даже сомнения закралось: уж не заезжий ли коммерсант отстроил здесь дачу, не из столицы ли приехали сюда эти розы и эта дверь? Но богачи как будто поближе к Москве селиться предпочитают... Я удалялся и все оглядывался. Дом был старый, деревянный, издали он ничем не выделялся в ряду других домов.

Я весело побрел дальше, размышляя над сюрпризами провинциальной жизни, и тут заметил на дороге необычное транспортное средство. Солигаличские улицы, надо сказать, пустынные: прохожих почти нет, машины ездят редко. Мне навстречу катила самодельная трехколесная тележка, сделанная, очевидно, из старых велосипедов, с педалями и велосипедным рулем. В тележке, чуть не касаясь спиной земли, полулежал и крутил педали худой, заросший щетиной человек средних лет. Заметив, как я на него смотрю, он оскалился в добродушной улыбке — и приветственно помахал мне рукой!

Только клубы пыли следом за промчавшимся по улице самосвалом, надолго разлучившие нас, напомнили мне, что я все-таки не в Оксфорде.

Но, выходит, я плохо знал этот город? Сосредоточив для себя все мыслимые его достоинства в одной только Ольге Степановне, я, пожалуй, несколько заузил поле зрения. Или лучше так: достоинства Ольги Степановны на этом более широком фоне начали играть новыми красками! Солигалич обладал, оказывается, своей особенной, просвещенной и свободной душой.

Обойдя чуть не полгорода, я успел еще раз зайти в магазин (в Солигаличе магазины работают на час дольше, чем в Оксфорде) и взял, что там было: бутылку бесцветного мебельного лака, которым покрывал стол, и большую банку светлой масляной краски цвета «слоновая кость». Лучше не буду говорить вам, сколько пришлось за это заплатить — разве что в фунты перевести? Но зато теперь я точно знал, что нужно для моего потолка. Зачем так уж буквально копировать чужое? Согласитесь, с моей стороны было бы непростительно замазывать балку цвета мореного дуба (с очень тонким и приятным оттенком) чем-то черным только из-за того, что так якобы всегда поступают в Оксфорде. И потом — какие небеса?! В тесном пространстве моих комнат не может быть никаких небес. Это же каюта, корабельная каюта. Иметь прилично отделанную каюту тоже неплохо...

Расскажу еще об одной нечаянной находке, просто чтоб вы знали, чем была в Солигаличе занята моя голова.

Это случилось позже, когда я уже покрыл балку бесцветным лаком (и она стала немного другой, еще красивее!), выкрасил потолок «слоновой костью» и обрамил глянцевитые плоскости деревянными лакированными рейками (как в каюте), подобрал под свою новую идею обои, оштукатурил неровные стены специально составленной прочной замазкой... Работа заняла много дней и ночей. Видели бы вы меня тогда! В своей кепочке с длинным козырьком я был похож на самодовольного попугая, рекламирующего вафли «Куку-руку» (зимой этот попугай нахально глядел на меня одним глазом во всех вагонах московского метро). С Ольгой Степановной я в те дни не встречался. Лишь раз заметил ее издали на моем огороде с ведром и лейкой в руках — она поливала мои грядки! Но я был до того занят и взволнован своими художествами, что не решился ее окликнуть и махнул в душе на это рукой: ладно, мне все равно некогда поливать...

Проснувшись однажды рано утром, я отворил дверь и был поражен неожиданным ярким желтым светом в обыкновенно темных сенях. Эта внезапная перемена, этот ниоткуда льющийся свет вселили в меня ощущение праздника. Растерянно я стал оглядываться и отыскивал большое яркое пятно света на смолистых досках обшивки под потолком. Оно просто плавилось в глазах и было подобно второму солнцу. Я с любопытством проследил путь луча и обнаружил, что солнце попадает сюда через разбитое чердачное оконце и щель в настиле потолка. Путь был настолько узким, что «второе солнце» светило каких-нибудь десять — пятнадцать минут в сутки; именно поэтому я до сих пор ни разу его не замечал.

Худой потолок в сенях был моей давней головной болью, одним из сотни самых неотложных дел. В щели сыпались с чердака вороха сухих листьев, стружек и опилок, особенно когда наверху гулял ветер; все это попадало на вешалку с одеждой у двери и на множество других вещей, хранившихся в сенях и в чулане. С неплотно уложенных плашек гирляндами свисала старая паутина с мусором. Я не раз уже примеривался к этому потолку, надеясь сделать его таким же плотным и чистым, как в комнатах, но меня пугал объем работы. По меньшей мере треть худого настила требовалось менять либо восстанавливать заново.

Утреннее событие подсказало новую идею. На место недостающих плашек надо вставить стекло! И тогда мрачные холодные сени будут днем всегда освещены. Со временем здесь можно будет обустроить уютную прихожую. Мне запомнилось необыкновенное впечатление от мансардных окон в верхних этажах английских домов. Вы, например, лежите с книжкой на диване или моетесь в ванной, а над головой у вас — огромное окно без переплета, через которое видно небо с облаками, солнце или капли дождя... Это прекрасно в любую погоду. Я не мог устроить такого на своей крыше: обычную деревянную раму загерметизировать невозможно, а на настоящее мансардное окно, какие стали уже появляться в продаже в Москве, не хватило бы и всей привезенной мной из Англии суммы. Но я мог сделать простое окно — в потолке, под крышей! Свет будет проникать в него с чердака.

На мое счастье, в магазин как раз накануне завезли толстые витринные стекла. Я довольно быстро очистил и сплотил тот потолочный настил, что уже имелся; затем долго (дня четыре) изготавливал большую раму по размеру проема. Далее предстояло перестроить и расширить оконце на чердаке: мне хотелось, чтобы солнце сияло в сенях целое утро. И еще я думал, какой должна быть стена, на которую падают лучи. Выкрасить ее белилами, чтобы еще ярче светила? Или сберечь естественный горячий смолистый цвет, только набить доски посвежее да покрыть их бесцветным лаком, чтоб не тускнели? Или (вот уж фантастическая и непредсказуемая по результатам затея!) развесить на обращенной к солнцу стене зеркала?..

К сожалению, ни завершить, ни даже додумать эту работу я не успел.

Я отлично вас вижу: вы проходите к длинному столу, рядом садится аспирантка Алиса, напротив доктор Клара Дженкинс.

— Решились потратиться на обед? — спрашиваете вы Алису дружелюбно.

— Да, — отвечает Алиса. — Знаете, раньше я не могла понять, почему, если я покупаю из стипендии туфли за двадцать фунтов, на меня смотрят с осуждением и качают головами и те же самые люди каждый день спокойно оставляют в ресторане десять или пятнадцать фунтов за обед. Теперь понимаю. Теперь сама так делаю.

— Значит, вы простили нам *обжорство*? — шутит по-русски доктор Дженкинс. — Вам хорошо в Англии? Вы успели привыкнуть?

— Вчера меня останавливает на улице пожилой человек, — рассказывает Алиса. — Спрашивает: вы заметили, как красив этот город? Но я здесь живу, отвечаю я. А он: я сам живу здесь всю жизнь, но не устаю любоваться!

— Прекрасный ответ.

— С некоторыми русскими бывает очень трудно, — замечает доктор Дженкинс. — По-моему, наш недавний гость до последнего дня чувствовал себя не в своей тарелке.

— Вы заметили, что он всегда был очень бледным? — жалостливо говорит Алиса.

— О да, — отвечаете вы. — Это от недостатка витаминов. У вас в России очень бедная пища, но он и здесь, по-моему, недоедал, сэкономил деньги, вам так не кажется?

— Он ел за обедом много хлеба, — говорит доктор Дженкинс. — В России все так любят хлеб?

— Там есть очень черный хлеб, он вкусный, — зачем-то вставляете вы.

— Должен вам сказать, — приятным старческим баритоном неспешно произносит профессор Смолянский, сидящий от вас по другую руку, — должен вам сказать, что наш бледнолицый друг меня однажды очень удивил. Я расспрашивал его о преступности в нынешней России, растет ли она. Он подумал и ответил: нет, не растет. Неужели правда? В Англии, к сожалению, преступность растет, и весьма ощутимо.

— Меня он спрашивал, случается ли, что в наш колледж поступают по благу, — замечаете вы.

— Но это же нонсенс!

— Разумеется. Я так ему и сказала.

— Это значит совсем ничего не понимать!

— И откуда эта манера постоянно жаловаться на обстоятельства?

— Я думаю, между русскими и англичанами можно найти много общего...

— Конечно. У меня был знакомый японец, он говорил: если бы вы знали, как Япония похожа на Англию! Мы точь-в-точь такие же, как вы!

Общий смех.

— Клара, простите, я плохо вижу без очков, — говорит Алиса. — Что там возле вас на тарелочке, пирожные? Если вас не затруднит, будьте так добры...

Доктор Дженкинс передает ей сухие жесткие круглые хлебцы. Алиса берет один, растерянно держит в руке, затем кладет возле себя. Покраснев, объясняет:

— Я думала, это пирожные.

— Простите, это я виновата. — Доктор Дженкинс брезгливо морщит крохотный носик. — Я решила, что вы просто хотите хлеба за десертом. Почему не дать, если человек просит?..

Беда пришла внезапно, вот уж поистине — свалилась на голову. Я как раз закончил в основном отделку комнат, побелил печку, расставил на прежние места стол, сундук и кровать. Нежась в то утро в постели после тяжелой ночной работы, я удовлетворенно оглядывал потолок с лакированной балкой и корабельным бордюром и мысленно пытался подсчитать, что мне еще осталось сделать «в первую очередь». Закончить с фундамен-

том, то есть подвести под стоящий на столбах дом кирпичную ленту, — раз, это самое тяжелое. Доделать потолок с окном в сенях и перестроить светелку на чердаке. Покрасить полы. Теплый туалет, чердачная лестница, оконные рамы... Да, еще сушилка у печки! Сушилка, с мысли о которой и началась вся эта кутерьма. Как я мог про нее забыть? Что-то Ольга Степановна говорила еще о крыше — проверить, не течет ли... Уже чуть не половина августа миновала. Когда-то я собирался в июле отпраздновать новоселье. Больше всего меня тревожили деньги — их хватит самое большее на две-три недели очень скромной жизни. Впрочем, картошка и кое-какая зелень были у меня теперь свои, с огорода (спасибо Ольге Степановне). Несколько дней назад я разговаривал по телефону с женой: ей опять удалось устроиться на работу, она предлагала мне помощь из оставшихся у нее фунтов стерлингов. Принять?

Сонно потягиваясь, я снова и снова глядел вприщур, как изумительно сочтается на потолке неброская масляная краска с лакированным деревом, и тут в какой-то момент мне почудилось, что балка моя расположена не вполне горизонтально. Кляня всех пьяных плотников, строивших этот дом, я вскочил на кровати и дотянулся до балки, заглядывая на нее сбоку и пытаюсь таким образом проверить свои ощущения. Один раз даже подпрыгнул на кровати сетке, ухватившись за балку обеими руками. В это мгновение раздался сухой шорох, и я с ужасом увидел, как мой конец балки на глазах пошел вниз, разрывая новые обои. Послышался треск крашеного «слоновой костью» картона, с потолка посыпался песок. Я инстинктивно встал в позу кариатиды, пытаюсь защитить себя и удержать потолок. Но балка продолжала неуклонно оседать мне на голову...

— Как ее укрепить? — мрачно спросил я у плотника, с которым вывешивал дом. Пришлось за ним сбегать, кое-как подперев горбылями просевшую балку.

— Как укрепить? Подставь слегу, вот и укрепишь. Или веревками к стропиле на чердаке привяжи. Ты ведь сам все умеешь.

— Веревками? Это что, долбить в потолке дыры, чтоб веревку продеть? — Я был в растерянности. — Да и сама веревка — долго ли она прослужит?

— А это смотря какая веревка. Найди вожду ременную, она и три, и четыре года держать будет. Ты сперва крышу глянул бы. У тебя вся стена в этом месте гнилая, небось крыша-то ручьем течет!

— Стена?.. Давайте займемся. Надо что-нибудь делать. Я заплачу.

— Э, сокол милый! «Заплачу». Крышу надо разбирать, бревна подстропильные менять, стену вычинивать. Знаешь, сколько сейчас одно дерево стоит? А работа? Тут работы ой-ой-ой. Дешевле новый дом построить. Ты живи, пока живется. Занимайся в Москве своим ученым делом, а сюда — отдыхать или там картошечку посадить... Так-то вернее будет. А то вишь развел тут галантерею. Делать ему больше нечего. Иль в Москве тоже не ладится?..

С полгода назад я впал бы от случившегося в прострацию и перестал бы шевелиться. Солигаличская жизнь меня закалила. Когда плотник получил за консультацию «граммульку» и ушел, я поднялся на чердак. Ступать на провалившийся настил было теперь нельзя. По венцу под самым скатом крыши я прополз к тому месту, где кончалась балка, и пощупал бревна сруба. Рука по локоть утонула в древесной трухе. Плотник оказался прав: годами мокнувшая в этом месте стена была почти пустой. Права оказалась и Ольга Степановна, в первый же день обратившая внимание на эту балку и советовавшая мне посмотреть крышу. Может быть, если бы я вовремя спохватился, стену удалось бы сохранить? Ведь при мне прошло столько ливней! Запоздалые сожаления... Я сошел в комнату и потрогал стену. Под обоями была лишь тонкая корочка древесины. Ткнешь пальцем — и ты на улице.

Горбыли согнулись под грузом продолжающего медленно оседать потолка. Если он рухнет, мне его никогда уже не собрать!

Я снова взлетел на чердак, лихорадочно соображая, к чему подвесить балку. Вбить крюк? Но какой крюк и какая веревка выдержат эту тяжесть? Чем внимательнее я вглядывался в деревянную механику, тем в большее отчаяние приходил. Плотник был дважды прав: бревна, в которые упирались стропила, тоже сгнили, крыша сама могла в любую минуту развалиться. До того я был на чердаке десятки раз и ничего, ничего не видел! Выходит, балку можно крепить только снизу, из комнаты. И я опять сломя голову несся вниз...

К вечеру мне удалось подпереть балку крепким бревном. Оно красовалось теперь посреди моей «каюты», продавливая пол, со всеми своими сучками и топорными зарубами. Чтобы поднять искореженный потолок до начального горизонтального положения, пришлось изрядно повозиться; основная стойка и дополнительные опоры, которые я при этом использовал, были очень тяжелыми; кажется, я надсадился.

Ночью в постели меня пронзило сравнение: все, над чем я с таким упоением четыре месяца работал, — это ледяной дом. Царские ледяные палаты создавали лучшие мастера. Наверное, этот труд имел какое-то значение, если оставил даже след в истории. Но в ледяном доме нельзя жить, он не для того предназначен. В конце сезона все вложенное в него старание и искусство обращается в ничто. Результат врожденного бесплодия. Награда за пошлость. Плотник трижды прав: для вечности надо трудиться иначе и в другом месте. Грандиозные замыслы в сочетании с неизбежным (при моих малых силах и более чем скромных финансовых возможностях) долгострем в этом климате просто не имеют смысла...

Климат? При чем тут климат?!

Но вреден север для меня.

Князь Мышкин где-то в самом начале беспокоится о том же: как бы здешний климат ему не повредил. И менее чем через год... Да, так. Вернувшись в Россию к зиме, почти когда я из Оксфорда, он сошел с ума в конце лета — может быть, в этот самый день августа, вернее, в эту самую ночь. Какая связь между климатом и психическим здоровьем? Что произошло с ним за это время?

Я включил свет. Мне захотелось еще раз перелистать единственную имевшуюся в доме книгу.

«Он был в мучительном напряжении и беспокойстве и в то же самое время чувствовал необыкновенную потребность уединения. Ему хотелось быть одному и отдаться всему этому страдательному напряжению совершенно пассивно, не ища ни малейшего выхода...»

«Он с мучительно напрягаемым вниманием всматривался во все, что попадалось ему на глаза, смотрел на небо, на Неву. Он заговорил было со встретившимся маленьким ребенком... Гроза, кажется, действительно надвигалась, хотя и медленно. Начинался уже отдаленный гром. Становилось очень душно...»

«Несмотря на все утешения и обнадеживания, совершенное отчаяние овладело душой князя... Летний, пыльный, душный Петербург давил его как в тисках; он толкался между суровым или пьяным народом, всматривался без цели в лица, может быть, прошел гораздо больше, чем следовало...»

«Но беспокойство князя возрастало с минуты на минуту. Он бродил по парку, рассеянно смотря кругом себя, и с удивлением остановился, когда дошел до площадки пред вокзалом и увидел ряд пустых скамеек и пюпитров для оркестра. Его поразило это место и показалось почему-то ужасно безобразным...»

«Он сам опять начал дрожать, и опять как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечною тоской.»

Между тем совсем рассвело; наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и отчаянии... Но он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: „Идиот!“»

Наконец-то я поймал его, пейзаж Достоевского. Он весь был растворен в безумном воздухе пропащей страны.

От этого-то *климата*, от этого воздуха и пытался безуспешно защититься князь Мышкин — другим пейзажем.

«Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас.

...Вам придется себе все создавать, сударыня, **вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами».**

Эти слова принадлежали другому, невыдуманному безумцу. Дальше у него шло: «И это буквально так». Я давно знал наизусть чаадаевские строчки, но только теперь до меня дошел их простой смысл. Достоевский этот вещей смысл всегда держал в голове; князь Мышкин болен у него той же болезнью и сам пытается разъяснить себе эту русскую болезнь в других: «Отчего это, отчего разом такое исступление? Неужто не знаете? Оттого, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался; берег, землю нашел и бросился ее целовать!»

Я припомнил свой неосуществленный замысел: выходить в Солигаличе к обеду в белом галстуке ровно в 7.18 вечера. Как давно это было!..

Еще ночью, в постели, у меня появилось дурное предчувствие. Страх перед возвращением болезни, впрочем, подступал и прежде, но я старался гнать его от себя подальше.

Утром на стульчаке туалета-временки остались лужи крови. Сомнений уже не было.

Весь день я промаялся на ногах, не решаясь почему-то лечь в постель, хотя накануне так и не сомкнул глаз, а вечером приковывал к Ольге Степановне. Она угощала меня со всегдашним радушием, но я едва усаживал на краешке стула и чувствовал себя совсем как тогда в гостях у вашей мамы, с той лишь разницей, что это был Солигалич, не Кембридж, и впереди у меня не было уже никаких надежд.

— Плотник считает, что я наказан по заслугам, — сказал я Ольге Степановне. — Надо было думать о выживании, а я захотел жить. Или наоборот: надо было махнуть на все рукой и отдыхать, а я чего-то там копошился. Не помню, короче говоря, что он считает, но мой крашенный потолок шибко ему не понравился.

— Каждый судит, как умеет, на всех не потрафишь, — спокойно и грустно утешала меня Ольга Степановна. — Вы, наверное, в Англии подсмотрели это, с потолком-то?

— Не совсем это, а в общем — да, там... Я представлял себе, будто у меня каюта.

— Красиво было. Неужели ничего нельзя исправить?

— Он сказал, что дешевле построить новый дом... В морской практике есть такое понятие: цементный ящик. Когда корабль внезапно дает течь, поврежденное место забивают досками и бетонируют. Это позволяет добраться до ближайшего порта или базы, где есть условия для настоящего ремонта. Конечно, мой ветхий дом тоже можно по аналогии весь обложить такими ящиками...

— И тихо добрести до порта.

— Да.

— Да-а... Я-то в свою гавань уже пришла. На корабельное кладбище. А вас мне жалко.

Я впервые слышал от нее нечто сентиментальное.

— Солигалич не кладбище, — возразил я. — Это превосходное место для того, чтобы начать здесь жить. Просто у меня, видимо, слишком мало сил для каких-либо начинаний.

Вечером, по пути от Ольги Степановны домой — в обход, через мост, — я позвонил с почты жене. Она по голосу моему догадалась, что дело плохо.

— Приезжай, — сказала она. — Отлежишься здесь, а дальше что-нибудь придумаем. Деньги пока есть, не беспокойся. Нельзя было так себя изнурять...

Нищего в московской электричке я узнал. Все такой же грязный, далеко распространяющий свой нестерпимый дух, он все тем же припадочным голосом зачитывал пассажирам целое стихотворное обращение:

Чистого вам неба,
Душистого хлеба,
Родниковой воды
И никакой вам беды,
 добрые люди!
Кто чем может,
Тем и поможет!
Подайте слепому калек!

Держал он себя увереннее и развязнее, чем полгода назад, несколько даже вальяжно.

По сторонам дороги мелькали выросшие без меня частные многоэтажные терема из превосходного кирпича, с мансардными окнами, со множеством архитектурных излишеств: лоджиями, большими арочными проемами с цветными витражами, башенками и шпилями, сверкающие на солнце дорогим металлом крыш — и с бронированными ставнями, конечно. Где-то тут мой бывший банкир. Где-то тут наши зимние обидчики, наверняка уже тут...

— Помнишь: «Выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!» — долетело до меня с соседней скамьи. — Хороший тост.

Странное дело, сам я не испытывал уже ни зависти, ни злобы. Меня не оставляло чувство, что в этой стране, пока она вся такая, какая есть, никто не может быть счастлив. Как-то я, помню, у вас спрашивал: а как ваш народ относится к несправедно нажитым миллионам и миллиардам, почему не бунтует? А зачем бунтовать, изумлялись вы, когда большинству очень даже неплохо живется... Окажись вы теперь здесь, думал я, вы сказали бы, что те, кто строит на пустырях и помойках дворцы и покупает самые дорогие машины, — что они очень *глупые*. Наверняка бы так сказали, ведь в вашей умной головке собран и классифицирован многовековой опыт трагических оплошностей человечества. В конце концов, этим выскочкам придется дышать одним со всеми смрадом, ездить по тем же разбитым дорогам и пользоваться теми же разрушенными коммуникациями, сидеть без газа, электричества и воды, подвергаться столь же дикому произволу со стороны государства, попадать в общие аварии и катастрофы, а вдобавок ко всему этому ощущать на себе горящие ненавистью взоры обделенной толпы и бояться за себя и своих близких... Они ошибаются, надеясь спастись за толстыми каменными стенами и чугунными решетками. Никому не будет спасения.

Жена сообщила, что накануне моего приезда кто-то звонил и по-английски спрашивал меня. Языка она почти не знала, слышно было плохо, и она не поняла, в чем дело.

Мне стало не по себе. Может, это был тот самый спасительный знак, которого я втайне ждал все эти месяцы? Но от кого?.. Надо же так — опоздать всего на день! Жена меня успокаивала: она почему-то была уверена, что позвонят еще.

С дороги я почти сутки проспал на старом продранном диване, показавшемся мне после Солигалича невероятно уютным. А проснувшись, вспомнил об Ане Вербиной и набрал наудачу ее номер.

— Я пыталась с вами связаться, — сказала Аня. — Здесь много событий. Вас так долго не было!

— Да, я пробовал начать другую жизнь.

— Не получилось? Да что я, можно и не спрашивать. Помните, у Хомякова где-то сказано: «Малейший угол мира, независимый от духа, достаточен для необходимости». А у нас такую махину как складывали сотни лет из одних необходимостей, так все складывают и складывают... Конечно, рухнет.

— Скоро?

— А вы этого хотите?

— Хочу. Опять хочу.

— Не знаю. Я недавно вернулась из командировки в провинцию... Что мы делаем с людьми, чего от них добиваемся, чему пытаемся научить? Если ребенка не кормить, но раз в неделю давать ему, скажем, по конфете, он протянет какое-то время — может быть, даже долго — на одном ожидании, на одном моральном подъеме. Это плохо, нездорово, опасно для жизни, о чем мы без конца и твердили в последние годы. Но единственным результатом этих наших интеллигентских консилиумов, всей нашей говорильни стало то, что спасительную конфету отняли, а взамен — ничего...

Голос у нее был усталый и тихий. Эти слова оказались последними слышанными мной ее словами.

Я боялся звонить сестре и спрашивать про маму. Последняя весточка от нее пришла в Солигалич с месяц назад. Письмо было невразумительным, полным сентиментальных воспоминаний о нашем детстве и странных намеков, смысла которых я разгадать не сумел. Теперь я ничем, совсем уже ничем не мог им помочь. Денег не было; пускаться больному в новую дальнюю дорогу, чтобы объедать там мать с сестрой, было бы безумием.

Жена с утра уходила на работу. Я пробовал заняться привычным делом, клал перед собой книги, лист бумаги — и через полчаса бумага оказывалась против моей воли испещренной с двух сторон рисунками и чертежами: светелка на чердаке, пристройка с теплым туалетом, беседка в саду... Все то, чего я еще не успел сделать в жизни.

В один из дней раздался звонок, которого я ни на минуту не переставал ждать. Это были вы. И вы были рядом, в Москве.

— Вы похудели, — услышал я от вас, когда мы наконец встретились. — Вам явно не хватает витаминов. Почему? Сейчас лето, у вас в продаже, кажется, имеются фрукты и овощи?

Свидание было назначено вами у английского посольства. Закончив тут свои дела, вы очень спешили на окраину Москвы к своим знакомым. Пришлось ловить такси. Когда машина подъехала, мы успели сказать друг другу всего несколько фраз, поэтому я не раздумывая уселся рядом с вами.

— Отчего здесь такая ужасная очередь? — спросили вы шофера на плохом русском.

Очереди, собственно, не было; у дверей английского консульства просто толпились две или три сотни людей, запрудив пол-улицы. Похоже было, что они стоят под палящим солнцем много часов. Время от времени в толпе вспыхивали скандалы: люди пытались выяснить, кто за кем стоит, и вытолкнуть слабых. Когда приотворялась дверь, все бросались к ней, от-

пихивая друг друга локтями. Оттуда показывался широкоскулый рябой громила, орал две-три невнятных, с матерком, фразы и снова исчезал за дверью, оставляя толпу в тупом оцепенении.

— Уехать хотят! — бесшабашно ответил шофер.

— Как? Насовсем? — ужаснулись вы.

— Ну почему насовсем... Тут все, и командированные, и которые в гости. Недавно мои знакомые ездили по приглашению, так они трое суток жили здесь прямо у подъезда в своей машине. И ели, и спали тут, и оправлялись, прошу прощения... Ребеночек у них. А у кого нет машины, тем беда — не выстоишь! Отлучаться — ни-ни, быстро из списков вычеркнут.

— Кто все это устроил, вы знаете?

— Англичане, кто же еще... Нашим властям теперь до лампочки: пожалуйста, езжай куда хочешь, если ты, конечно, не засекреченный. Были бы деньги. Бойтесь, наверное, что скоро мы все передем к вам жить, а?..

— Куда-то едем... Как во сне! — пробормотал я. — Мог ли я вообразить, что когда-нибудь буду ехать с вами по Москве?

— Вы покупали в Англии много чаю. Но я видела в ваших магазинах хороший чай, нет?

— Не такой хороший. И он стоит раза в три дороже, чем в Англии...

— Это и есть рынок. Нужно больше торговцев, тогда цены станут падать.

— ...а зарплаты здесь раз в двадцать меньше ваших. Ну как вам Москва? Что вы про все это думаете?

— У вас стало больше машин.

— Слишком много! — вставил словоохотливый водитель, нервничая в очередной пробке.

— Скажите, почему нельзя убрать грязь? Почему каждый из вас не возьмет в руки метлу и не приберет свою улицу, свой подъезд? Чего вы ждете? Я ни разу не смогла воспользоваться в Москве общественным туалетом. Это ужасно!

— Простите, — сказал я. — Наверное, я начал не с тех вопросов. Просто растерялся, я ведь безумно рад вас видеть.

— Россия едва ли дождетсЯ новой помощи от Запада. Вместо того чтобы запастись на зиму мукой и картофелем, вы услаждаете себя иностранными напитками и шоколадом. Нам говорят, что у вас голод; я никакого голода не вижу. Вы просто не умеете жить по средствам.

— Вы упрекаете меня?..

— Нет, конечно. Простите. Я говорю обо всех.

— Обо всех? — не выдержал я. — Посмотрите в окно. Смотрите, смотрите на них! Вам кажется, они заелись?

— И кто, по-вашему, в этом виноват? Да почему вы думаете, что после всего этого вам должно быть хорошо?

— После чего *этого*? — невольно вскрикнул я. — Вы рассуждаете, как профессор Смолянский, увезенный отсюда ребенком еще в гражданскую войну. Эмигрантам кажется, что вся Россия должна теперь думать только об искуплении вековой вины перед ними, ни о чем более. А мы здесь уже устали от их страданий, точно так же как Запад устал от наших. Что нам до чьих-то старых обид, при нынешних-то наших делах! И какое отношение к *этому* имею я, все они? Ведь я никого не убивал и не грабил. Ни я, ни мой отец, ни дедушка. Нас всю жизнь только давили: вначале царские опричники, затем большевистские, теперь какие-то другие. За что же вы так безвинных-то?

— Если вы терпели, значит, виноваты. И потом, это неизбежно. Старое должно уйти, иначе не будет нового. Говорят, советские привычки трудно поддаются ломке, нет?

— О, это уже напоминает мне слова маркиза де Кюстина: «Здесь все нужно разрушить и заново создать народ»... Не бойтесь, коммунисты в старых мундирах уже не вернуться. Но это не спасает от худшего. Вы сами,

помню, где-то писали: государство, которое не защищает своих подданных, не может ждать от них лояльности...

Не знаю, какое помрачение на меня нашло, и это в самые-то первые минуты долгожданной встречи! К тому же во многом, чуть ли не наполовину, я был с вами согласен. И о Смоленском рассуждал про себя иначе: для них, несчастных стариков, гласность на родине только началась, они рады возможности вспоминать и рассказывать, а мы их уже не слышим... Меня задела, должно быть, однозначность ваших суждений, даже кровожадность какая-то. Это было новым, в Англии ничего такого я от вас не слышал.

— Боже, о чем мы говорим!..

— Вы правы, в конце концов, это глупо.

Вы тогда замкнулись и надолго перестали со мной разговаривать. Мы были рядом на заднем сиденье; вы откинулись к открытому окну и зажмурились, подставляя лицо ветру...

Дорога, к счастью, оказалась длинной; спустя время мы разговаривали так, будто ничего не случилось. Вы старались, чтобы было так. И лишь однажды снова взорвалось — но тут уж не знаю, чему это и приписать... Дело в том, что вы обмолвились о смерти вашей мамы.

Я не поверил своим ушам. Я обмер и долго не мог собраться, чтобы вымолвить приличествующие случаю слова соболезнования. Она стояла перед моими глазами такая, какой я покинул ее в тот дождливый день на автобусной остановке в Кембридже: растерянная, смущенная моим неожиданным порывом благодарности, с блуждающей на губах детской улыбкой... Мне казалось невозможным, чтобы что-то могло отнять такую крепкую жизнь, и где — в надежной Англии!

— Если бы я сумел рассказать вам, — начал я чужим, булькающим голосом, — как много ваша мама для меня...

— Да что вы все мне сочувствуете! — вдруг визгливо перебили вы. — Какое вам всем дело до моей матери! Я прихожу в совершенно незнакомый дом, и мне тут же начинают сочувствовать — все, кто и в глаза ее не видел! *Вы правда так сильно любите чужих матерей?*

Я готов был выскочить на ходу из машины — до того жутко стало мне от вашего крика. Последняя фраза, впрочем, была произнесена спокойнее и даже с издевкой. Больше я не решился издавать ни звука и забился в угол, вжался в сиденье. Мне хотелось, чтобы вы меня не замечали, забыли о моем существовании.

Знаю, минуту спустя вы уже сожалели о своей вспышке.

— Она спускалась по лестнице с подносом, упала и ушибла голову, — рассказывали вы, как бы заглаживая свою вину. — Ей удалось вызвать неотложку, но машины почему-то долго не было. Она звонила мне в Оксфорд и спрашивала: почему не едет машина?.. У нас просто ужасные врачи! Когда приехала, она была уже без сознания. Они не знали, что с ней, стали делать разные уколы... Я рада, что все кончилось быстро. У матери было кровоизлияние. Она все равно осталась бы инвалидом, прикованной к постели. Моя мать была энергичным человеком, она не выдержала бы неподвижности...

Мы с вами так и не успели ни о чем толком поговорить. Хватая последние убегающие минуты, я предложил — как в холодную воду бросился — познакомить вас с Аней Вербиной, о которой много рассказывал еще в Англии. Свести вас с ней было давней моей мечтой.

— Нет, — сдержанно ответили вы. — Как-нибудь в другой раз.

Оказывается, вы послезавтра улетали назад.

— А я? У меня будет еще возможность повидать вас?

— Боюсь, что нет.

— Я приеду в аэропорт, назовите время!

— Нет.

Последнее «нет» прозвучало мягко, совсем не обидно.

— Приезжайте в гости, — тепло сказали вы, прощаясь со мной у чужого подъезда. — Буду вас ждать. — И вдруг (Боже, никогда еще вы этого не

делали!) притянули меня за руку, подставили щеку для поцелуя и сами меня поцеловали!..

Идя через пустырь к далекому шоссе, я думал: отчего и в самом деле не поехать? — продолжая машинально шевелить губами, все шепча не высказанные вам слова моей любви. Вот устроюсь на денежную работу, думал, скопим с женой к лету нужную сумму, а там и махнем вдвоем на недельку... Как хочется повидать Оксфорд летом!

Но вспомнил потную толпу у двери британского консульства. И горький прощальный смысл нашей встречи и нашего расставания вдруг разом хлынул в сердце, выжигая его изнутри.

Мы люди, маленькие живые тельца. Нам больно. Господи, прости нам все, что было и чего не было, забери эту боль!

В тот день я слишком долго был на ногах, болезнь снова причиняла мне ужасное страдание. Добравшись кое-как до автобусной остановки, где стояла в ожидании толпа, я привалился к железной будке и устало перебирал в уме каждое сказанное вами слово. В самом деле, что уж мы так жалеем чужих матерей, когда рядом умирают без внимания и помощи наши матери? Неужели все в той же рабской надежде заслужить благодарность, переменить с вашей помощью страшную судьбу, неужели оттого, что продолжаем смотреть на вас снизу вверх, как псы на своих хозяев? Если вы от нас отворачиваетесь, нам уже кажется, что мы покинуты Богом и никому не нужны. Нам и в голову не приходит, что мы можем еще пригодиться друг другу. Одна только Аня Вербина пытается перевернуть этот поставленный с ног на голову мир. Да, ведь именно об этом она мне говорила...

Уже в автобусе я принял решение сейчас же ехать к маме и сестре. Что значит — ничем не могу помочь? Надо просто находиться рядом с ними и жить: есть, спать, болеть... Как мама.

Осталось досказать вам, мой друг, совсем немного.

В тот вечер я связался по телефону с сестрой и сказал ей, что хочу приехать.

— Если приедешь, я сразу уйду из дома, — ответила она.

Я ничего не понял. В трубке слышались треск и отдаленные гудки.

— Что ты сказала?

— Ты прекрасно слышал, не притворяйся. Я сразу уйду. Лучше не начинай.

— Да о чем ты? Я сознаю, что мало чем смогу тебе помочь. Ко мне вернулась болезнь. То же, что было в Англии. Понимаешь? И все-таки вдвоем... втроем нам будет легче. Сейчас лучше быть вместе.

— Послушай, я же не дуручка. Я зарабатывала эту квартиру пятнадцать лет. Конечно, тебе хочется прибрать ее к рукам, ведь у вас там, в Москве, никаких видов, ха-ха-ха. Рассчитываешь, что мама скоро умрет? Может, поторопить ее хочешь? Не дам, не надейся!

Мне второй раз за день стало по-настоящему страшно. Я вспомнил ее странное письмо полуторамесячной давности.

— Милая, дружочек... Ладно, не будем об этом, я пока не приеду... Как мама? Ты уверена, что справишься одна?..

— Уверена! Во всем уверена! Но если увижу тебя здесь, так и знай: ни минуты не останусь! У меня есть куда уйти!..

Климат делал свое дело, пророчества сбывались.

Глядя на исхудавшую и задерганную жену, я обреченно думал: с ней скоро будет то же. Она уже и теперь, придя вечером с работы в изношенных промокших туфельках, о чем-то глубоко задумывалась, уставившись неподвижным голубеющим взором в далекую точку за окном и подолгу не слыша обращенных к ней слов... И я действительно не в силах помочь. Я могу лишь избавить близких от бремени моего присутствия, от дополнительных нервных и физических трат, со мной связанных.

Так я снова собрался в середине сентября в Солигалич.

Жену перед отъездом успокаивал: надо закончить мелкие дела по дому, прибраться все на зиму; как вернусь, буду лечиться, буду работать, дам ей немножко отдохнуть... Денег взял у нее в обрез, только на дорогу.

В Солигаличе открылись без меня два новых ларька. В них продавали жидкие импортные ликеры, просроченные шоколадки да гниловатый лук с местных полей. Дом стоял на столбах, открытый снизу всем ветрам. В комнаты надувало холоду, протопить их уже в те дни было невозможно. Крыша текла по-прежнему, а возле моей кровати торчал шершавый столб.

Ольга Степановна готовила на зиму запасы. Год был урожайный. Когда я к ней заглядывал, стол оказывался много разнообразнее, чем весной и в начале лета: к традиционной картошке добавились жареные грибы, огурчики свежего посола, пироги с капустой, с грибами, сладкие; к чаю — два или три сорта варенья. Жаль, что теперь на многое мне оставалось только смотреть: после соленого и острого кровь лилась ручьем... Я старался не злоупотреблять ее гостеприимством. Раз или два, впрочем, Ольга Степановна пожаловалась, что все в эти трудные годы бросают и забывают друг друга: родственники перестали слать к праздникам открытки (да и праздников-то осталось — раз-два и обчелся: старые отменили, к новым, особенно религиозным, никак не привыкнуть), по многу лет не навещают. Знакомых тоже не дозовешься в гости. Шумных семейных застолий, какие устраивали по всякому поводу еще недавно, теперь во всем городе не слышать.

Старый телевизор Ольги Степановны показывал инфантильные лица комментаторов, заинтересованно говоривших о каких-то глупых вещах. Тут кого-то из больших начальников не пустили на собственную дачу. Там отобрали у кого-то положенный ему по рангу «мерседес» и заменили его «Волгой»... Кто не пустил и отобрал, зачем, в чем тайный смысл этих странных пустяков и еще более странных громких пересудов о них на всю страну? Ответов не было. В верхах шла такая же по-детски бессмысленная и жестокая возня, какими были лица на экране. Я слушал все это довольно равнодушно. И только раз пониже нагнул голову, чтобы не выдать себя и избежать лишних расспросов, когда выступавшая по телевизору Варзикова (она вела теперь свою еженедельную программу) сказала мимоходом о «путанице, которую вносила в умы сограждан ныне покойная Анна Вербина». Именно так я узнал, что Ани больше нет.

С того раза мне совсем расхотелось бывать у Ольги Степановны. Давняя цель подчинила все мое существо. Я шел к ней быстро и спокойно, без истерики. Ведь меня уже ничто не держало здесь и не привязывало. Вечерами при тусклом электрическом свете заканчивал свое письмо к вам. Перечитывая старое, утешался тем, что никакого другого выхода не маячило на горизонте и полгода, и год назад, хоть тогда я и не сознавал этого вполне, пытаюсь отчаянной риторикой заговорить смерть. На днях, засидевшись допоздна над описанием последней встречи с вами в Москве (щемило сердце и слезы застилали глаза, давно уже мне не было так больно, как при этом воспоминании), нечаянно глянул в старое зеркало в темной деревянной раме на стене напротив, и вдруг почудилось, что рука тетки ласково дернула сзади за полу детской вельветовой курточки:

— Ты что тут делаешь?

А сегодня, прогуливаясь тихим и морозным, как в Оксфорде, утром не по историческим плитам — по комковатому стылому огороду, ждущему снега, взошел на горбатый мостик (ему-то ничего не сделалось) и явственно услышал сдвоенный рассыпчатый телефонный звонок, какой заливаются по утрам в вашей спальне, когда вы, моя дорогая, отлучаетесь ненадолго в свой крошечный сад, чтобы полить розы... И с облегчением почувствовал: это меня.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ДЕРЕК УОЛКОТТ

*

РАНЫ И КОРНИ

(Из книги «Омерос»)

* *
*

«Мы порубили их на каноэ, — рассказывал Филоктет,
щурясь перед настырными объективами,
но улыбаясь туристам. — Беду предвещал рассвет...

Laurier-cannelles¹ в испуге качнули гривами,
топор зари ударил по стройным кедром,
но взгляды людей сверкали страшней топора.

Синий плаунник, колеблемый ранним ветром,
Взывал, шумя, как родное море: «Пора, пора!
Деревьям положено гибнуть!» С крутой вершины

Повеяло холодом. Белые хлопья и перья
вырвались изо ртов. Дрожа, мы хлебнули джина:
это и дало нам силу убить деревья.

Но прежде чем первое дерево было ранено,
я помолился Богу и сделал еще глоток,
взмахнул топором — но даль слезами была затуманена...»

За доллар серебряный он под миндальной кроной,
стена, штанину задрал на одной из ног —
у раковин в море грустней не бывает стога!

Как венчик морского ежа, пламенел горицвет
незаживающей ссадины под коленом
от ржавого якоря: «Ей исцеления нет!» —

сказал Филоктет, и доллар исчез в водопаде пенном,
пусть быстрина засверкает еще прекраснее!
Лавры были повержены. С кроткой песнею

Родился в 1930 году в Сент-Люсии. Лауреат Нобелевской (1992) и ряда литературных премий. Живет на Тринидаде и в Бостоне (в Бостонском университете преподает писательское мастерство). Автор стихотворных книг «В зеленой ночи» (1962), «Изгнанник» (1965), «Залив» (1969), «Гроздь моря» (1976), «Середина лета» (1979), «Омерос» (1988) и других, а также многих драматических произведений. Одна из его пьес («День поминовения» в переводе Андрея Сергеева) напечатана в журнале «Иностранная литература» (1993, № 3). Иосиф Бродский написал о Дерек Уолкотте эссе «Шум прибой».

¹ Бурые лавры (франц.).

земляная голубка к холмам обращалась синим;
сбежавшие с гор ручейки болтливые
стоячей водой легли с пескаринным плеском,

и белые цапли, колено поджав брезгливо,
как статуи, застывали над илом вязким.
Стрекоза пополам перерезала тишину.

Угорь чертил свои имена по светлому дну.
Раннее солнце звало к воспоминаниям.
Плауны повторяли движения волн.

Дым забывает мир, над которым вознесся он.
В крапиву ляжет стройного лавра ствол,
но, взор туманя над древним своим названием,

игуана чует недоброе... С давних времен
горбатый остров зовут Игуаний Дом,
Игуана-лао... Но ей, игуане, с трудом

дотащить до воды удастся тяжелый зад.
Ее подгрудок имеет форму крыла,
и глазок щели стручкообразные

созрели за много веков,
пока дымок Аруака поднялся до новой расы.
Но ящерке, знающей лишь высоту ствола,

неведома высота облаков...
Единый Бог на место многих богов
пришел. Но Gompiе² древнее, чем Саваоф.

Акуля челюсть пилы подплыла к стволу,
макрель опилок подняв, как над пеной валов,
над стихшей травой. Потом Филоктет отложил пилу,

дрожащую и накаленную. Люди сошлись над ранюю:
скребли гангренозный мох, обрывали
последнюю связь с землей: канитель виноградную.

Подали знак. Акула вновь завелась скулить.
Зубы размеренно грызли, и рыбаки закрывали
глаза, чтобы их не поранить щепой.

В покровах банановых остров, казалось, спит.
Заря зажгла свой огонь над затишьем мертвенным,
стройные кедры кровавой росой кропит.

Вот уже день воцарился над лесом жертвенным.
Gompiег пошатнулся, и в вышине заметалась
крона его, словно мачта вверху корабля.

Ветер прошел в плаунах. Рыбакам на миг показалось,
что это у них из-под ног уплывает земля.
Потом волна улеглась, и дело их продолжалось.

² Камедное дерево (франц.).

* *
*

К бару Ма Килман тем часом шел Филоктет,

навстречу больной ноге пригибая спину.
Хозяйка привстала от углового окна,
достала белого акажу и желтого вазелину,

поставила ванну со льдом. Он мог пробыть дотемна
в кафе «Несть боли». И сразу, только войдет —
наклонится к ране и смажет ей алый рот.

.....

«Что мучит тебя, Филоктет?» — «Я был ранен в ногу...
Эта рана, Ма Килман, она никогда не пройдет!»
Он закатал штанину и посмотрел на воду

в большое окно. Рану раздраживал зуд —
так усики анемона щекочут венчик,
так мучит мозоль новобранца, когда сапоги ему жмут.

Он считал эту рану проклятьем: следы оков
на ногах у невольников. Рану не смогут вылечить,
она пришла по наследству от дедов через отцов.

Все его племя, нищее, черное, бойкое,
попалось на якорь, как рыба на крюк, как свинья
из нечистот попадает на скотобойню...

Однажды Ма Килман, подняв глаза от шитья,
увидела, как Филоктет косится на окна бара,
и так продолжалось день ото дня.

Лед растаял бы и докипел до пара,
имей он глаза и видь, как Филоктет сжимал себе голову,
ненавидя себя. «Эй, Фило-философи...» —

дразнили его мальчишки, бегущие в школу...
Мертвеца кладут в вазелин, а потом в эфир —
выходит мумия. Египетскую безглагольность

прервал ее голос: «Ведь есть же такой цветок...
бабушка знала заваривать... Я все смотрела...
Господи, как он? Еще мураши ползли на белый горшок...»

Но ни корень жизни, ни теплый отвар, ни сenna
не вычистят кровь, что его отравила недра —
не кровь в нем течет, а сок сокрушенного кедра.

«Имя твое — огонь лихорадки. Но ты бы
мог спасти свое имя: возьми мотыгу,
пойди и выполи ямсы». Он прошептал: «Спасибо!»

* *
*

Как больной меж палатами, он ковылял между гряд.
Он чувствовал: руки его, как крапива, горят,
мозг — муравьиный базар, крабья клешня берет

печень, полусверчок-полукрот
роет, сверлит ему рану, в ноге — электрический скат,
грудь — ледяной мешок... В жестяной ограде

ржавых зубов, как мангуст в засаде,
бьется безумный крик, на языке мозоли
натерлись о грубое небо. Он захрипел от боли.

Он видел синий дым от дворов, высокий бамбук,
склоненный под тяжестью гнезд, перо на шляпе священника...
«Когда мотыга научится резать дым, а петух

разинет зад и уронит яйцо —
только тогда Господь дарует нам отпущение», —
богохульствовал он, закрыв руками лицо.

Тысячи стрел впились в гниющее мясо
незаживающей язвы. Сперва наточив о ладонь
свою мотыгу, он шел меж грядками ямса,

выдергивая корни и клубни, злобно топча их ногой.
Листья сморщились, словно их опалил огонь.
«Что, сучье отродье, сладко вам без корней?»

Он упал на груды листвы и долго рыдал на ней.
Стебли точили соком, как сердце тоской.
Стрекоза умывала лапки: «Резня? Я тут ни при чем!»

Повеяло свежестью. Мелкий мураш бегом
прополз по лицу. Он видел, как стриж морской
присел на ветку над вечным покоем бездны.

Он чувствовал болью тела родное селенье, лес.
Внизу гудели машины. И стриж за ним наблюдал с небес,
потом закутался в пену облака и исчез.

Столько минут, сколько надо, чтоб капле с листка испариться,
Филоктет лежал на костях своей больной поясницы,
греясь о жар земли. Ветер менял границы

ватных материков. Он стал вспоминать слова
молитвы Господу о прощенье. О Боже, как пахнет Твоя трава!
И облака надо мной прекрасны, как острова!

Ему показалось, что где-то воинов строят в отряды.
Но это шумели мертвые ямсы, тряслись ограды,
качались пальмы и пастухи окликали стадо.

...Я о тех, кто жить не желает в больших городах,
любой победе предпочитая крах,
тех, кто в глазах победителей — прах.

И равна им в терпении старая лошадь разве:
она хвостом колотит по вешней грязи
и гонит мух, подступивших к язве.

Но если лошадь в страданье столь велика,
не больше ль ее человек? Филоктет шевельнул слегка
больной ногой — она, как губка, была мертва и легка.

* *
*

Девушка рассмеялась: «О-мерос, так произносят по-гречески» —
и повернула Гомеров бюст в пене лепных кудрей
с боксерским носом. От запаха рыбной нечисти

так воротил свой паяльник старик Семь Морей:
«Гомер и Вергилий — фермеры, а Пегас —
лошадка с крыльями — возит на фермы газ», —

сказал я, ловя ее руку на мраморном лбу певца.
«О-мер-ос», — хотелось мне повторять без конца.
Начальным «О» выдают себя радость и горе,

«мер» — по-антильски матерь, а также море,
«ос» — окрыленный рой или кость сухая,
так волны свистят, на белые кружева

свой дар — ожерéлие черных камней — бросая.
«Омерос» — так, умирая, шумит листва,
и с этим звуком вода покидает гроты.

Имя смолкло. Тонких теней тенеты
легли на смуглость ее азиатских скул —
и в этот миг она была Антигоной:

«Ум устал от Америки. Чтобы он отдохнул,
нужна Эллада, мой острова», — похоже
говорила и та, всколыхнув красоту волос;

пена крахмальных кружев светилась на смуглой коже,
и, словно на мелководье прибой,
прозрачный шелк шумел над ее локтями...

Но слепой и холодный бюст — не в ее, в твоей мастерской,
с миндалевидными, мраморными глазами,
под шум шелков отвернул свой сломанный нос,

как будто глаза его, полупрозревши,
пол студии приняли за раскаленную добела
палубу... Он отвернулся, не потерпевши

зловонья кофейных локтей, шоколадных ног,
взятых в оковы, шумные, как листва...
Или же он отвратился от белых своих семян,

капризные губы из-под стола кривя,
отресея от лиры, от крытого белым хитоном кресла —
и жажда страданья и гнева в нем вновь воскресла...

Гречанка уснула. Тень мачты и тень моя
упали ей на чело. Из волос ее темных
выплыл древний девичий лик на носу корабля.

Вещее имя в вазочке горла. Но не для томных
важных царей, а для грубой прозы
двух рыбаков, посылавших свои угрозы...

* *
*

Что такое базар? Историческая эклектика.
Полумесяцы магометанских дынь,
гроздь бананов, как фараонья каскетка,

мячик этрусского льва — золотой мандарин,
северные сияния ледяной макрели,
африканские кудри капустных голов,

чтоб кровожадные цезари, видя, млели,
потрошенные туши — распять мятежных рабов
под карнизамии вилл, на развилках лавров,

сердечки перцев, ягодки нежных сосков
для убаженья конкистадоров и мавров...
Здесь уместилась история островов —

и рядом — история Древнего Рима.
На прилавке качаются чаши весов,
но равновесье вряд ли установимо,

ибо не может капля чугунной тяжести
уравновесить старое слово и новое слово:
тождество таковым лишь кажется.

Они уходили с базара. Корзина была тяжела.
Ахилл ее отдал Елене: «Вот, на-ка,
сама волоки: я не раб, которого ты наняла!

Довыставлялась на публике!» — в гневе выкрикнул он.
Ему ответил самодовольный звон
Еленина хохота... Чем же он стал? Собакой,

способной нюхать лишь воздух ее следов.
Он завопил как безумец: «Позор! Проклятье!»
На вопль обернулись. Тем часом желтое платье,

тараня плечом толпу, волокло по земле
тяжеленную тяжесть. Несносное существо!
Своим упрямством Елена бесила его.

Догнал, рванул корзину — она не давала:
«Ты же не раб, которого я нанимала!» —
«Отдай, мы оба устали!..» Он плелся за ней по пятам

туда, где машины гордые, как колесницы
богов и полубогов, мычали моторами
и ослепляли блистанием. Там

она обернулась, вспыхнув жестоким взглядом:
«Мальчишка, уйди!» — на миг он застыл у фургона,
испугавшись пантеры... Ее коготки

царапнули ему щеку. Они не спускали друг другу.
Она впиалась ему в палец, он изорвал ей платье —
но Гектор выпрыгнул из машины и подал ей руку.

Он тянул ее в свой фургон, как пантеру в клеть.
Ахилл ощущал, как гордость его по капле
уходит из жил. Он больше не мог смотреть

в ту сторону. Крупные слезы падали
из глаз его. В дверцах мелькнул ее локоток.
Фургон отошел. Ахилл поднял плод, упавший в песок.

* *
*

Она распрямила плечи
и кинула взор, который меня потряс,
как ни одна фигура английской речи...

Ее находили непредсказуемой, а подчас
и злой на язык. В рестораны ее не брали.
Она продавала бусы, платки, монисто,

переплетала бисером косы туристов,
а потом выбирала какой-нибудь угол тихий
вдали от женщин, бранившихся, как дрожиди,

за место на площади... У хижин, где манекены
красуются в пестрых саронгах и цельнокроенных
блузках, порхала моя Елена.

Витрины кокосовых масок, коралловых алых серег
отражались в волнах спокойных,
но взгляд Елены оценивал и стерег.

Холодной, нечеловеческой силой
она, как пантера, меня влекла.
О, как я тогда понимал Ахилла!

Собрав всю храбрость, какая во мне была,
я подошел к прилавку — как тот охотник,
который крадется к пантере шелковой,

уснувшей на ветке. Сказать ей, что я охотник
до карнавалов? Или купил бы шелковый
женский наряд? Но ее загадочный взгляд

выразил скуку. С минуту она постояла,
потом зевнула, еще улыбнулась вяло —
и пропала за спинами манекенов.

Точь-в-точь как кошка: устало зевнет — и прыг!
Мне показалось, что там, где была Елена,
воздух, порванный эхом, дрожит, как тростник.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

«Омерос» — книга о Гомере и о море. Орфоэпическая доминанта Гомерова имени «мер» означает на антильском наречии «мать» и «море». «Возлюбленная нежная мать!» — обращался к морю Эдджернон Суинберн, и цинизм Джойсова Быка Маллигана не свел на нет возвышенной патетики этого обращения. Между прочим, ведь и по-русски Гомер и море, по существу, анаграммы друг друга, о чем напоминают стихи Мандельштама:

И море, и Гомер — все движется любовью.

Гомером и морем книга Уолкотта проаллигирована насквозь — вплоть до сцен африканского сражения второй мировой войны, где «омер» сквозит в именах Монтгомери и Роммеля.

Разговор с художницей-гречанкой о Гомере, красота звучания исконного имени поэта — Омерос, благородное очарование собеседницы — все это рождает напор ассоциаций и идей, которым суждено развиться в большое эпическое произведение. Одна из линий сюжета — война двух рыбаков Ахилла и Гектора за честь и любовь чернокожей красавицы служанки, тринидадской Елены.

Где-то на середине чтения вдруг выясняется, что о черной Елене повествует тот, кому она служит, — фермер-свиновод, ирландский эмигрант майор Планкетт. Он же представляет на островной конкурс эссе свою работу, явно нищенский подтекст которой подчеркивает наивную провинциальность отставного майора:

В истории он был учеником
Загадочного ментора, на ком
Остался и теперь ярлык фашиста,
Хоть все, что он писал, дышало чистой
Любовью к древней и к родной культуре...
Ни принцесов Ганновера, ни бури
Вильгельма — с высшим он не ставил в ряд,
Когда сказал: «Историю творят
Немногие, а большинство людей
Свидетельствовать рождены о ней...»

В раннем сочинении немецкого философа речь идет о «пластической силе человека, народа или культуры как способности претворять и поглощать прошедшее и чужое и излечивать раны». Лишь тот, кто осознал свое существование как наследство, чувствует благополучие дерева, пустившего прочные корни. Но, вечно опровергающий самого себя, Ницше говорит «да» и тому, кто не захотел никаких прочных корней, а выбрал погибнуть от глубины своих ран. Как могучие деревья падают от ран и, потеряв корни, носятся по бескрайнему морю, так Филоктет в наказание за убийство деревьев примет незаживающую ссадину от ржавого якоря и, не похожий на Филоктета античной трагедии, возлюбит свою рану, даже возгордится ею: станет вечерами мазать мазью ее «запекшиеся губы» и радоваться, что ей «нет исцеления».

«Раны» и «корни» — две равноправные темы этой книги.

Планкетт — романтический герой книги, Филоктет — трагедийный. Есть в «Омерос» и эпический центральный персонаж — Ахилл. Его чувства просты, ему покровительствуют божества земли и моря, он нашел дорогу в родную Африку, к племени своих предков, и ему, обретшему корни, будет принадлежать любовь Елены.

Вовлеченный в громадную круговерть своего повествования, Уолкотт все же не забывает возвращаться к тому, чьим именем названа книга. И кульминация «Омерос» — разговор автора с великим поэтом древности. «Кожа девушки пахнет лучше, чем все библиотеки мира», — говорит Гомер, но автор слышит из его уст и другое: «Снискать любовь своего народа — это больше, чем просто найти любовь».

Дерек Уолкотт прославил в мире несколько маленьких островов, имена которых мало что говорили множеству обитателей больших стран. И нашел больше, чем просто любовь.

Перевела с английского А. Шарпова.

ПУБЛИЦИСТИКА

ОЛЕГ ЛАРИН

*

ТОГДА МЕНЯ ЗВАЛИ ВОЛЬДЕМАР И ВИЛЛИ

К Белому дому меня привело желание защитить демократию. Строил баррикады, а потом держался танкистов. Договорился с ними, что в случае атаки буду работать на крупнокалиберном пулемете... Я готов был на все ради защиты свободы, чтобы мои дети не были «мечеными», каким система сделала меня.

Из интервью В. Т. Куца, опубликованного в книге «В августе 91-го». Лимбус-Пресс. Москва — Санкт-Петербург. 1993.

Мы познакомились с ним лет пять назад у газетного киоска. Громкая, импульсивная речь, мгновенно оценивающий взгляд, располагающая улыбка на круглом лице не оставляли сомнения в том, что этот человек многое повидал на своем веку и знает толк в человеческом общении. Слово за слово — и разговорились. Оказалось, живем в соседних домах, хотя видеться до сих пор не приходилось. Мы почти с ходу перешли на «ты».

Память — единственная река, которая движется против течения Леты. И Владимир Терентьевич Куц в своих рассказах упорно противостоял этому течению, выкладывая передо мной такие эпизоды, такие жизненные переплеты, в которых он побывал, что Боже ты мой... Первое время закрадывалось сомнение: а не заливает ли? Потому что в одном и том же рассказе соседствовали, к примеру, лагерь для «остарбайтеров» в Германии и прием в Доме независимости в Филадельфии, взятие Мюнхена американцами и Норильское восстание заключенных летом 1953 года; «Мишка-кнехт» из селения Деванген мирно «уживался» с супругой президента Клинтона, а сам Куц оказывался то подневольной рабсилой германского рейха, то солдатом Зеленого Креста, то сотрудником контрразведки 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии... Жизнь закрутила с ним жестокий сюжет со счастливым концом.

После каждой встречи я записывал воспоминания В. Т. Куца, но, так как они были отрывочны и эпизодичны, я вскоре почувствовал, что тону, как перегруженный корабль. Детали и частности, вырванные из потока жизни, оказались настолько запутанными, что не укладывались в хронологию его биографии, и я потерял всякую связь. Во многом был «виноват» и сам Куц: его горячий темперамент, природный юмор и тот свободный, образный разговорный язык, которым он так мастерски владел, — все это заставляло его то уходить назад, в прошлое, то безоглядно рваться к финалу, не заботясь о стройности изложения.

— Терентьич, — сказал я, — вот перед тобой магнитофон, и давай начнем все сначала. Прошу только — не забегай вперед...

Три зимы и два лета

— Если бы мы встретились с тобой лет на двадцать раньше, тебе было бы опасно со мной разговаривать. Что смеешься? Я — дважды изменник Родины. Понял? Первый раз я «изменил», работая на Великий Рейх в лагерях для «ост-

арбайтеров» (восточных рабочих) и на ферме бауэра Антона Старца под Штутгартом. Второй раз — когда надел форму солдата Зеленого Креста. А служба в американской армии, по неписаным законам советского времени, приравнивалась к службе в германской: ведь обе страны считались капиталистическими...

— Давай все по порядку, Владимир Терентьевич! А то так можно запутаться...

— По порядку так по порядку. А откуда начинать? Обо мне вообще-то можно написать полдюжины авантюрных романов, и каждый следующий будет интереснее предыдущего.

— Я знаю, что в тридцать седьмом твой отец был главным механиком на строительстве железнодорожного моста через Енисей. Когда начались репрессии, Терентий Митрофанович обвинялся в том, что якобы готовил покушение на наркома Лазаря Кагановича. Начальника стройки расстреляли сразу, а твоему отцу дали восемь лет — и прямиком в Норильские лагеря...

— Когда отца посадили, мы оказались на Украине, в дедовской ветхой хате на окраине села Веприк, что в Полтавской области. Мне — десять лет, сестренка на год моложе. Огорода и дров нет, средств к существованию — никаких: живи как знаешь. Мать — жена «врага народа» — устроилась прачкой в больнице, потом обстирывала местное начальство. Но когда пришли немцы, мы лишились и этого.

Хорошо помню первую неделю войны — все время ждали сообщений: где наши? То ли в Варшаве, то ли еще дальше, где-нибудь под Берлином? Тогда мы такие патриоты были — что ты, парень! Умереть за Родину почиталось высшей привилегией. Поэтому ужас войны начался для меня не с того, что в небе сбивали наши самолеты, а с крушения веры в непобедимость Красной Армии. Мы ведь всенародно готовились бить врага на чужой территории...

Немцы шли по селу, и кругом горели хаты. Я видел, как они вылавливали наших солдат. Гоняли их, как зайцев в поле, и убивали поодиночке. Молодых, красивых, чуть постарше меня, брошенных на произвол судьбы бездарными командирами. Ночами мы хоронили их, замерзших: кого в какой позе находили, в такой и земле предавали — кого сидя, кого лежа, кого согнувшись.

Немцы сделали свое дело и ушли дальше, на восток. Но всегда есть и будут люди, готовые служить любому режиму. В селе был назначен староста, начала действовать сельская полиция. Вот из-за этой полиции я и загремел в Германию.

В поле, возле села, были бурты, где хранилась свекла. Я ходил туда подбирать то, что осталось. А для чего, знаешь? Я ведь не только дважды изменник Родины, но еще и старый самогонщик, которому было тогда четырнадцать лет. Мне приходилось таскать буряк, а мать варила самогон, который потом меняла на хлеб и картошку. Тем и жили. Но, бывало, и сам я сидел за кубом: эта работа — самогонку гнать — что ты, парень! К утру пьяный в стельку. Если воды переборщишь — получается слабая фактура, ее брать никто не будет. А мало воды — меньше выделится самогона, так что пробовать приходилось. А что такое «пробовать» для пацана, который всегда голодный?

На тех же саночках, на которых возил сахарную свеклу, я отправлялся в лес за сушняком. Сначала все было тихо-спокойно, а потом партизаны порубали шашками местных полицейев. После этого власти выпустили приказ: кого найдем в лесу — расстреляем на месте! Но я все равно продолжал ходить туда — по ночам. Или немцы убьют, или наши партизаны подстрелят — не все ли равно? Жить-то надо, хату дырявую топить надо! И вот весной сорок второго я нашел в лесу листовки. Огромную кипу наших листовок на немецком языке. Они, наверное, еще осенью были сброшены с самолета. Бумага есть бумага, печь растопить или завернуть чего — в хозяйстве все пригодится...

Только разложил на печке, чтобы просушить, а тут полицай. Он заскочил к нам купить самогонки. Представляешь, какое положение? Меня за шкирку — и в комендатуру. А там, как назло, немец какой-то важный сидит: мы, говорит, его сейчас в гестапо отправим. Но вместо гестапо отправили меня на принудительные работы в Германию. Фактически это самоуправство: в Рейх гнали с шестнадцати лет, а мне было только четырнадцать. Но с пересыльного пункта под Брестом я все-таки удрал. Несколько недель скрывался дома,

мать с сестрой подкармливали и прятали. Но разве от чужих глаз и ушей скроешься? Пронюхал тот же полицей: «Если не поедешь в Германию, возьмем мать и сестру». И я пошел сдаваться. Было это летом сорок второго года.

— И снова пересильный пункт?

— Вначале был карантин. Это чтоб, значит, не завезли мы в Рейх вшей и прочую русскую заразу. Друг друга обстригали, обмывали, списки для вагона-«телятника» составляли — «пассажиров» должно было быть не меньше шестидесяти. Немецкая машина работала, как всегда, четко.

Правда, и у нее бывали сбои, технические недосмотры. Однажды двери «телятника» вдруг открылись на ходу. Произошло это само по себе: от толчков и рывков дверь на роликах поехала назад... и что мы видим? Серенький дождик, поле в рыжих стогах сена, маленькая речка. И по этой речке едет на велосипеде человек в шляпе. Чертовщина какая-то! А я до этого много где успел побывать — в Москве, Киеве, Днепропетровске, Твери. Я знал, что такое асфальт, в особенности мокрый асфальт, но большинство «пассажиров» его никогда не видели. «Дывысь! — кричат. — Як это по ричке да на самокатке?!» Я говорю: дурни, вы що, яка тут ричка — це шлях... А кругом белые дома, обложенные снизу камнем, готические шпили церквей, клумбы с цветами. Вот, говорят, как живет буржуазия! А где живут «труженики», мы не увидели. Вообще жизнь, открывшаяся из вагона, была так не похожа на ту, в которой пребывали мы и которой гордились, что жилище обыкновенного селянина принимали за палаты буржуа-миродея.

Так я и ехал, зажатый со всех сторон телами, пока нас не выгрузили под Берлином. Эшелон встречал гитлерюгенд. Как сейчас помню: стоят мальчишки в черных шортах и коричневых рубашках и орут во все горло: «Славяне будут в этом мире рабами арийцев...» Каждый мальчишка старался, как мог: кто камнем запустит, кто тухлым яйцом, а кто и палкой благословит...

Работа была по отсыпке гравия на железной дороге, а в бараке — вавилонское столпотворение тел на клоповых матрацах. Потом нас перебросили под Гамбург. Там грызку себе нашол. В штутгартском арбайтлагере я, можно сказать, уже отдавал концы. (Такое со мной было, пожалуй, только в Норильске.) Разгружал известь из вагонов, а из еды — жидкая баланда да булка хлеба из жмыха на пятерых голодных мужиков. Чувствую: хана! От известковой пыли дышать нечем, глаза на лоб лезут, внутри все окаменело, и язык не слушается. Зачем жить? Отец в одном лагере, я — в другом. Бог, наверное, помог. И еще помог бауэр Антон Старц из селения Деванген земли Баден-Вюртемберг. Царство ему небесное!

— Расскажи подробнее, как ты к нему попал и почему он выбрал именно тебя?

— Помогли хорошие люди из земляков-украинцев, сказали по секрету: утром в лагерь приедут бауэры из окрестных деревень набирать себе рабсилу. Понравишься — возьмут. Я так волновался, что даже заснуть не мог. Понимал, что это последний шанс, чтобы выжить...

Привели нас на какой-то хоздвор, а там базарная суета. Прямо как в «Хижине дяди Тома», помнишь? Ходят дюжие работорговцы и, засучив рукава, щупают грудь, мускулы наших мужиков, чуть ли не в рот заглядывают. А я был такой тощий, что ко мне ни один хозяин не сунулся. На кой им такой кнехт, еще загнется раньше времени! Короче говоря, всех разобрали, и остался я один-одинешенек; охранник собирается отвести меня в зону.

И тут заскакивает какой-то человек в картузе, опоздал, судя по всему, глядит — никого, кроме меня, нет. Посмотрел на мои деревянные башмаки, обошел кругом и рукой махнул: ладно, говорит, пошли! Оформили меня в конторе; оставил я там свои отпечатки пальцев, расписался, что если убегу от хозяйина, то немедленно попаду в концлагерь, а то и под расстрел.

Едем. У хозяина Антона Старца подвода с углем и две пары коров, запряженные цугом. Бауэр все пытается меня разговорить, но ничего у него не получается. Он и так и эдак — а я глух-нем, как рыба. (Чего ты хочешь, у меня образования неполных семь классов!) Едем. А местность, где предстоит пребывать в рабстве, мне все больше и больше нравится. Представь себе: округлые, пологие холмы чередуются с ухоженными долинами. Вдоль обочины дороги — фруктовые деревья, за ними — пшеничные и ячменные поля, влажные

пастбища, уходящие за горизонт, а еще дальше — синие предгорья Швейцарских Альп. И среди этой идиллии притулились на склонах и в низинах крытые черепицей средневековые селения земли Баден-Вюртемберг, которая граничит с Францией. Вот такая была география, где мне предстояло жить.

Подъезжаем к селу, и на дорожном указателе я читаю вслух и по слогам: «Де-ван-ген». Хозяин остановил телегу и смотрит на меня: о-о-о, хлопчик, оказывается, непростой, — кое-что кумекает, кое-что знает. Мне показалось, что Антон даже повеселел. А как к дому подкатили, он меня на второй этаж позвал, чтобы с домашними познакомиться. Там у него сестра посуду мыла. Как зыркнула на мои деревянные башмаки, так сразу все поняла: кого, мол, ты привел, братец?! Жрать-то этот кнехт будет за двоих, это понятно, но вот сможет ли он работать по-людски — это еще большой-большой вопрос. Неприятная оказалась сеструха — звали ее Баббет, — но в чем-то была и права. Я ведь не знал тогда, что с коровами надо делать, как к ним подступиться. А тут еще свиней полон двор...

— Действительно, из всех крестьянских наук ты освоил только самогонование...

— Это точно!.. Вообще, Антон Старц взял меня к себе, видимо, из чувства жалости. Поэтому первое время кормил от пуза — молоко, сало, брюква, картошка, яблоки. У него был большой двухэтажный дом, утепленный сарай со свиньями и коровами (одних коров было четырнадцать штук), сеновал и живописный, гектара на два, яблоневый сад. Сколько было земли, я уже не помню, — много. Но и вкалывал он — дай Бог каждому. Первое время я смотрел, как он все делает, и старался запоминать. В его семье меня стали звать Вольдемаром. Спустя некоторое время я уже запросто шпарил по-немецки: хаус — дом, швайн — свинья, фогель — птица, хунд — собака, киндер — ребенок...

Но земли у бауэра были неважнецкие, каменистые, по весне и в сильные дожди их заливало водой. На полях сеяли овес, рожь, ячмень, удобряли навозом. Если Антон что-то и получал с этих полей, то только за счет того, что работал не покладая рук, от зари до зари. Работал — как песню пел. У него каждый квадратный метр был на учете. Одни участки засеивал, другим давал отдыхать. Если бы с таким усердием трудиться на наших благодатных черноземах, мы бы весь мир завалили продуктами.

В Девангене по соседству еще до меня жили «остарбайтеры» — два западных украинца и два поляка, чуть постарше. Иногда мы собирались вместе, обменивались новостями о положении на фронте. Но главное была работа. Работа, сон и опять работа! Антон выделил мне каморку рядом с теплым сараем, и все эти годы я прожил в ней, поднимаясь наверх, только чтобы поесть. После ужина я уже не имел права никуда отлучаться: бауэр отвечал за меня перед властями, и я не хотел его подводить.

Когда рано утром хозяин выходил из дома, чтобы приступить к работе, я уже успевал почистить хлева. Ни в коем случае нельзя было проспать. Это борьба за жизнь, понимаешь! Удар колокола с сельской кирхи совпадал по времени с первым взмахом вил, когда я задавал корм коровам и свиньям. По принципу: втыкай глубже, бери больше, кидай дальше, пока летит — отдыхай! Дождь стучал по черепичной крыше, однако нигде не протекало и не дуло, потому что немецкий свиарник (это я понял позже) отличался от русского свиарника тем, что в нем всегда было чисто, тепло и сухо.

Вот так и шла моя жизнь: пахал, сеял, косил, доил, ухаживал за скотиной. Вместе с французскими военнопленными работал на лесоповале.

— Какой же в Германии лесоповал?

— А топить чем — что ты, парень?! Кругом леса были, особенно возле Штутгарта. Но заготавливали древесину с большим выбором, каждому бревну счет вели, а ветки и сучья себе забирали... На восстановление дорог меня тоже гоняли, это когда бомбежки начались. Так что вкалывал будь здоров — во славу германского оружия и для подъема имперской экономики. Что такое выходные, я не знал. И не видел, чтобы бауэры ими пользовались. Разве чтобы на пару часов отлучиться в церковь...

Когда по воскресеньям Антон с сестрой уходил в кирху, я пробирался в дом и слушал московское радио. Это уже в сорок третьем было, после Сталин-

града. Слушать русскую речь, да еще с победными маршами, — передать это невозможно! Я крутил приемник, забыв об элементарной осторожности. И однажды бауэр меня застучал: смотри, Вольдемар, так можно и в концлагерь загреть! Но сказал это как бы вскользь, почти беззлобно: мол, продолжай слушать, коли тебе нравится, только держи язык за зубами. А как его «держать», когда Петро с Мишкой, с Украины которые, пристают с расспросами? (Вообще о Мишке — теперь его зовут Михель — разговор будет особый. Если у тебя хватит терпения, расскажу о его судьбе под занавес. Согласен?) Конечно, все, что слышал, им передавал, а они по цепочке — дальше.

Некоторые из соседей Старца на меня косились — уж больно шустрый у тебя кнехт, Антон, больно грамотный, речистый. А он, мне кажется, по-своему гордился мною, хотя и считал, что я из «дикарского края». Мне однажды передали, как он ответил одному бауэру: у тебя кнехты в навозе копаются, а у меня Вольдемар вовсю по-немецки «шпрехает». Спустя какое-то время я ел с его семьей за одним столом... Познакомился и с его будущей женой — Хильдегард, которую я звал просто Хильда. Мы с ней сейчас переписываемся. Женщина, каких поискать! Восемьдесят четыре года — а шпарит на своем «ауди» по всей Европе!

— Погоди, ты опять забегаешь вперед... Сколько лет ты прожил у бауэра?

— Три зимы и два лета. Можно сказать, стал своим человеком в доме Антона и смотрел на него более независимо. Да и он ко мне во многом переменялся: как-никак война идет у границ Германии, фронт англо-американских союзников приближается. К тому же немцы не дураки, они нутром чуяли: таких, как я, «остарбайтеров» в стране несколько миллионов, а это сила, подобная динамиту. Я уже «норку» себе подготовил, если бои приблизятся, — своего рода наблюдательный пункт, чтобы встретить первых освободителей. И очень боялся, как бы меня не засекли эсэсовские заградотряды, которые рыскали по окрестностям. Полевая жандармерия с бляхами на груди тоже в Деванген наведывалась, следила, как бы отступающие немецкие части не превратились в толпы дезертиров.

Под Зеленым Крестом

— Возвращаемся мы как-то с Антоном из города. Вижу — закопанные танки стоят, замаскированные тяжелые орудия, и нацелены они на узкую ложину между холмами, откуда по шоссе должны появиться американские танки. В селе их ожидали со дня на день, а я так совсем сон потерял и работу забросил: вдруг прозеваю? Антон говорит: «Здесь Америка попадет в мышеловку», — а я промолчал, как будто и не слышал.

Проходит некоторое время, и к окраине села подваливает «виллис»: головной разведдозор. Выскакиваю на дорогу, кричу: «Хальт! Хальт!» Машина останавливается, но никто не может понять, чего хочет этот кнехт в деревянных башмаках. А я продолжаю кричать: дальше нельзя, не пушу, вас ждет ловушка! Тут вторая машина останавливается, выходит из нее симпатичный американец — это был Юджин Мейли, о нем речь впереди — и говорит мне по-немецки: что, мол, тебе нужно, хлопец? «Как что?! Немцы вам ловушку приготовили. Танки с артиллерией нацелены на дорогу». — «А карту понимаешь?» — спрашивает. «Понимаю». Принесли карту, и я показал: тут... тут... и тут вас ждет засада. Думаешь, американцы поверили? Что ты, парень: поехали, проверили, возвращаются обратно — и сразу ко мне. «Ты кто?» — спрашивает Юджин. «Я здешний батрак... русский, — говорю, — кроме немецкого, понимаю еще по-польски и по-украински». — «Молодец, хлопец! — улыбается американец. — Хочешь служить в нашей армии?» — «Вот так сразу?» — «А что тут чикаться?! Где тебя найти?» — спрашивает Юджин. Я сказал. «Хорошо, мы согласуем этот вопрос с командованием и сообщим тебе вечером».

Только мы сели ужинать, дверь вдруг распахивается... «Ты готов?» — спрашивает Юджин. Я набираюсь смелости и говорю бауэру: так, мол, и так, Антон, я пошел воевать, меня пригласают в американскую армию. Он ничего не понимает, только глазами хлопает. Видимо, до конца жизни я остался в памяти хозяина личностью с непредсказуемыми ходами. Может быть, он даже до-

пускал мысль, что его Вольдемар являлся янки-агентом, посланным в Деванген для сбора сведений.

Я как был, так и ушел. Даже поужинать не успел. Автоматически сказал «ауфвидерзеен» — и аллюр три креста. Не поблагодарил, не попрощался по-человечески... Молодость эгоистична и не знает угрызений совести. Понимаешь это только теперь, когда ничего нельзя поправить. А ведь Антон, по сути дела, спас мне жизнь...

Привез меня Юджин на соседнюю ферму, где расположилось отделение разведотряда. Там у меня знакомые работали: Ядвига — полячка, за которой ухлестывал «остарбайтер» Стефан, тоже из Польши. Юджин говорит: «Раздевайся и примерь форму!» А на мне ботинки-деревяшки, грязное исподнее и штаны, которыми впору мыть полы. Только я надел защитного цвета трусы, майку и каску стальную натянул — входит Ядвига. Смотрит на меня и не понимает: я это или не я? «Владек, то ты ест?» — «А то кто же?» — «А что, Стефана моего тоже возьмут в американскую армию?» — и в слезы. «Что ты, дураха! — Я грудь выпятил и фертом хожу перед ней. — В эту армию берут только выдающихся личностей. Твой Стефан на эту роль не тянет». А он старше меня на четыре года и в два раза сильнее. Юджин, конечно, смеется. «Тебя, — говорит, — наш капрал еще не видел, Билл Рииска, надо ему представиться». Ну что ж, надо так надо.

Билл Рииска, здоровенный такой детина, пистолет за столом чистит и смазывает. Как вошел — отдал ему честь, хотя никто меня этому не учил. Сейчас выходим на исходные позиции, говорит он, скоро начнется наступление. Подвели меня к «виллису», объяснили: крупнокалиберный пулемет — это теперь твое рабочее место, ты заменишь в машине недавно убитого стрелка. Показали, как пользоваться пулеметом, вручили автомат и пару гранат, похожих на консервные банки. И стали все называть меня Вилли. Вилли-пулеметчик... На второй день я уже был в бою.

— Честно говоря, как-то не верится...

— Мне и самому не верится, если следовать нашим идеологическим установкам: сначала изучим анкету, а потом глянем на человека. Американцы другим миром мазаны. Юджин сказал начальству: я беру русского паренька под свою ответственность, и этого было достаточно, чтобы ему, простому солдату, поверили. Между прочим, я прочитал недавно в книге «Вычеркнутые из памяти», которая вышла в Париже в серии «Исследования новейшей русской истории», что после высадки десанта союзников во Франции американскую армию пополнили несколько десятков советских военнопленных и «остарбайтеров». Честно говоря, я о таких тогда не слышал, но это не значит, что их не было. Большинство добровольцев служило в пехоте и транспортных войсках, но были и танкисты. Те, кто погиб, лежат всеми забытые в безвестных могилах. Их вклад в Победу остался неотмеченным. А те, кто выжил, — почему они молчат?.. «Вступая в армию США, — говорится в этой книге, — пленные не подозревали, что этот шаг будет им зачтен как еще одна измена родине»... Вот такие пироги!

— Итак, ты сел за крупнокалиберный пулемет, установленный на «виллисе», и пошли вы на восток. А как называлась часть, где ты воевал?

— Что ты, парень, — Четвертую дивизию в Штатах знает каждый мальчишка! Прославленная, оваянная победами дивизия, которая ведет свою родословную из Бог весть какого далека! На левом плече куртки у меня был пришит ромб с зеленым крестом, эмблемой нашей части. Нас так и звали в армии — солдаты Зеленого Креста, и все гордились, что попали именно в эту дивизию. Я служил в ней на самом что ни есть острие.

— А именно?

— Я с Юджином Мейли и Ричардом Фитцсиммонсом — в головной машине 4-го разведотряда. А за нами вплотную шел броневик Роберта Нистрома. Он был выше «виллиса» и в случае нужды бил через нас, чтобы подстраховать. Помню, первое время, когда я стоял за пулеметом, очень боялся, как бы меня не подстрелили... Мы форсировали с боями Дунай в Баварии, брали Аугсбург и Мюнхен. Из пленника, чудом выжившего раба Третьего рейха, я вдруг превратился в освободителя, и это ощущение непередаваемо. Представляешь,

семнадцатилетний пацан из украинской глуши на боевой американской машине берет немецкие города!

— А как к тебе относились солдаты? Может, кто-то с легкой усмешкой, кто-то с подозрением: не переодетый ли ты шпион со спецзаданием? К тому же не говоришь по-английски. «Чужеродное тело» — по общепринятым понятиям...

— Нормально относились. К тому же мое появление в разведотряде не было какой-то неожиданностью. До меня у них уже служил один француз-доброволец, который остался на родине, когда союзные войска перешли франко-германскую границу... Да и как можно относиться к мальчишке-заморышу, когда он только-только выбрался из фашистской неволи?!

Вот мы лежим с Юджином в канаве под обстрелом, и я рассказываю ему свою историю: откуда я, кто мои мать-отец, где они сейчас, как попал в Германию. Рассказываю все как на духу, и Юджин про себя думает: да ты, оказывается, хлебнул дерьма выше горла — и уже по-другому ко мне относится. Если раньше он считал, что «Вилли» с его знанием языков, местного быта и природной смекалкой окажет неоценимые услуги при сборе разведанных, то теперь он стал относиться ко мне еще и как старший брат. Сколько раз прикрывал он меня, когда мы выходили на боевые позиции! Сколько шишек перепало ему от капрала Билла Рииска! Понимаешь, какое дело: не мог я носить каску, и Юджин, признаться, мне в этом потакал. При каждом удобном случае я сбрасывал этот «горшок» — слишком был тяжел для моей цыплячьей шеи... Но, с другой стороны, каска — неотъемлемая часть формы. Она двойная: изнутри — прессованный картон, а снаружи на него надевается стальная оболочка. Я пытался ходить в одном «картоне», но Рииска это сразу усек и отчитал меня. Хотя и по-английски, но тоже очень доходчиво. (У блатных есть такое выражение: «глаз — ватерпас и ухо зверское» — так это о нашем капрале сказано. Он, между прочим, сейчас профессор, несколько раз избирался мэром города Винстедт штата Коннектикут.)

У нас в разведотряде служил солдат-мексиканец — единственный, кто был меньше меня ростом. Так он пытался втолковать мне: видишь, у меня две вмятины на голове? Одна вмятина — осколок снаряда, вторая — пуля. Если бы не каска, меня бы уже два раза убило. Самое интересное, что он вспомнил об этом разговоре в августе восемьдесят девятого года, когда мы встретились с ним в Филадельфии.

— Владимир Терентьевич, мы же договорились: не надо опережать события, все в свое время... Лучше скажи, как ты воевал в составе 4-го разведотряда?

— Наше оружие — глаза и уши. Как можно ближе выдвигаться к арьергарду немецких войск (части СС и фельджандармерии), наступать ему на пятки, не давать закрепиться. Одним словом, вели разведку боем. Как врежем крупнокалиберными: я с «виллиса», Роберт Нистром через меня с броневика, и смотрим по обстановке — если противник не отступает, вызываем по радию танки или артиллерию. Так, с переменными боями, дошли мы до Мюнхена, и там встретилась нам недобитая эсэсовская дивизия. Сражалась она отчаянно.

Вижу, башня «тигра» разворачивается в мою сторону. Юджин кричит: бей по щелям, чтобы лишить его маневра! А сам дает задний ход, чтобы прикрыть меня в случае отхода. Но тут раздался грохот, и так как я стоял выше всех, меня оглушило взрывной волной. В двух местах осколками был задет череп. Я свалился на брусчатку. Меня хотели госпитализировать, но я решительно отказался: еще затеряешься где-нибудь по армейским тылам. А мне хотелось к нашим попасть, у них служить. И хотя в голове шумело и видел неважно, все же так остался в строю. Я, парень, знаешь, какой был? На ходу подметки рвал. Это сейчас стал как спитой чай...

Никогда не забуду такую картину: плац в пригороде Мюнхена и шеренги власовцев, которых разоружают наши солдаты. И вдруг — как туча, как наводнение! — серополосатая лавина полутрупов-полулюдей. Такое впечатление произвели они на всех. Я кинулся навстречу, вывернул из карманов все, что было, за мной последовали остальные. Кто одежду давал, кто хлеб, кто шоколад. Спрашиваю: среди вас русские есть? А там были немцы, англичане,

французы, поляки. Нет, говорят, они ушли на север навстречу своим. Я потом узнал: это были узники из Дахау.

— Я помню по твоим рассказам, что после освобождения Баварии дивизия Зеленого Креста должна была повернуть к итальянской границе. Именно тогда ты принял решение покинуть армию США?

— Да, я попросил командование перевести меня в другую часть, которая двигалась на Вену. Ребята очень удивились, но уговаривать меня было бесполезно: если решил — значит, все. Я ведь хоть и сосунок был, а понимал: отец мой в ГУЛАГе «загорает», мать с сестренкой тоже под НКВД ходят. Так что мои плутания «по Европам» им могут боком выйти...

Первого мая сорок пятого года меня провожали Юджин Мейли, Ричард Фитцсиммонс, Роберт Нистром. Роберт сказал: «Вилли, мало ли что в жизни бывает. Возьми мой адрес на всякий случай. Может, когда и свидимся». Достает бумагу, и на капоте машины он и Ричард записывают свои координаты. Ну а Юджин подарил мне свою куртку и в подкладку вшил какую-то бумажку. (Потом оказалось, это была молитва.) Настроение было такое, что вот сейчас я встречаюсь с соотечественниками, мы разобьем фашистов, отпразднуем победу и я снова вернусь в свой родной 4-й разведотряд.

Мне выдали все полагающиеся документы, ящик с продуктами на неделю, поблагодарили за службу и подарили на память трофейный «мерседес-бенц». Юджин предложил накрыть машину оранжевым тентом. Знаешь почему? Потому что вдоль шоссе дорог постоянно барражирует авиация союзников; увидит машину немецкой марки — и капец. Не посмотрит, что там сидит русский солдат американской армии...

Дорога на Зальцбург была перегружена техникой. Танки, самоходки, орудия, броневики — я лавировал среди этого ревушего металла, как заправский слаломист. Хотя машиной правил тогда довольно посредственно: всего несколько уроков вождения получил на плацу французской дивизии Леклерка, которая всегда воевала рядом с нами. Скоро техника кончилась, и открылся... рай. Прямо как в Девангене, только еще красивее. Голубые провальные озера, серые скалы, оплетенные разноцветными лишайниками, залитые солнцем кудрявые леса и воздух, настоящий на хвое. И тишина кругом, полное безлюдье — отвык я от этого.

Еду и чувствую: что-то не то. А что именно «не то», понять не могу. Какая-то тревога притаилась за спиной, и я чувствую ее кожей. К тому же у развилки нет дорожных указателей: где поворот на Зальцбург? Нутром понимаю, что еду по территории, еще не занятой американскими войсками, а остановиться не могу.

И вдруг вижу: из-за поворота под углом сорок пять градусов выскочил броневик и пошел впереди меня. Немецкий! Если бы я был опытный водитель, я бы развернулся на одном колесе и рванул обратно, пока не поздно. А я просто-напросто опешил. Когда пришел в себя, вижу, что броневик дошел до развилки и чуть притормозил. А слева — не поверишь! — легкие немецкие танки стоят, грузовики под брезентом. Сколько именно, не успел сосчитать. А на другой стороне — эсэсовцы на мотоциклах, целая колонна. Они смотрят на броневик, за которым я еду. Смотрят и на меня: немецкая машина с американскими опознавательными знаками и водитель с русской рывкой в форме солдата-янки. Броневик едет, я еду за ним. (Сколько раз рассказывал, никто не верит: говорят, врешь!) А эсэсовцы сидят, курят, никаких тебе «хальт!», никаких предупредительных выстрелов. Как будто так и должно быть. Видать, с броневика меня не заметили, а эсэсовцы подумали, что мы в паре едем в свое расположение. Представляешь? Я вцепился в руль и кобуру с «вальтером» растегнул на всякий случай. Но, слава Богу, пронесло: броневик повернул вправо, колонна кончилась, и я даванул на все сто. Машина завизжала, запрыгала на выбоинах — что ты, парень!..

Сколько ехал — не помню. Показался какой-то населенный пункт, и на перекрестке свирепый негр стоит двухметрового роста. На его белой каске написано «МП» — военная американская полиция. Негр показывает мне «стоп», а я вместо тормоза жму на газ, чуть его не задавил. Хорошо, что ударился бампером в стоящий рядом «студебекер». Завоняло горелой резиной, мотор заглох — руки у меня ходят, как у алкаша. В шоке был! Тут негр подсакивает,

громила такой, дверцу распахивает и орет на меня. А я: «Вас воллен зи?» (По-немецки: «Что вы хотите?») Он тогда выбрасывает меня из машины, как котенка, а мой «вальтер» кладет к себе в карман. Тут еще какие-то чины подскакивают, толпа собирается, и мой негр объясняет ей, что поймал опасного немецкого шпиона.

Я уже начал приходить в себя: раз, думаю, он меня с ходу не пристрелил — значит, порядок. «Веди, — говорю, — в комендатуру, там разберутся». Негр мне пистолет между лопаток — и пошли, Пат и Паташон. Такой чумовой тип попался, чуть спину мне стволом не продавил. Из-за таких можно расистом стать, честное слово...

Пришли в комендатуру. А там офицеры сидят-гудят, и девки молодые у них на коленях. Оказалось, я попал в расположение армии генерала Паттона, она только что заняла Зальцбург, оттого такая радость и пылкое изъясление чувств. Настроение у всех гулящее, и никому не охота мною заниматься. Тут мой сторож увидел подполковника — и к нему: так, мол, и так, поймал шпиона тире диверсанта. Я вытянулся, как полагается, отдал честь и говорю: «Вилли Куц, солдат Четвертой американской дивизии», — и достаю документы. Подполковник начал читать, и все сразу затихли. Вдруг он как заорет: «О, рашен, рашен!» Негр сразу вдвое меньше ростом сделался, глаза из орбит повылазили. Слыханное ли дело: приехал на немецком автомобиле, опознавательные знаки — американские, а по национальности — русский. Подполковник меня по плечу хлопает: поезжай, мол, сынок, к своим, доброй тебе дороги и горячий привет союзникам! Я — к негру: давай гони «вальтер», задрыга, и чеши отсюда, пока я добрый! И не забудь, беби, мой персональный «мерседес» подогнать к подъезду комендатуры...

Спрашиваю у девок, кто из них знает немецкий язык. Ну, тут сразу все вскакивают: для милого, мол, дружка и сережка из ушка! Я беру под ручку которую покрасивше и предлагаю подполковнику пройти в другую комнату. Рассказываю ему, что увидел сегодня на шоссе. Американец спрашивает: а сколько у них там танков, орудий, автомашин? «Там, — говорю, — должно быть, вся немецкая армия собралась, только Гитлера не хватает». Он усмехается: тоже мне разведчик! Я говорю: «А давайте съездим подсчитаем». Он смеется: да ты, брат, с юмором, с тобой не сосучишься. Но распоряжения отдал, позвонил куда следует, чтобы проверили мои сведения. Ну а меня — за стол! Так налимонился, понимаешь, на другой день ничего не соображал...

— А ты интересовался, что представляла собой эта загадочная эсэсовская группировка на дороге Мюнхен — Зальцбург? Чем она там занималась? Какое задание выполняла?

— Еще как интересовался, но у американцев не больно-то добьешься. Да они и сами толком не знали. Потом уже, когда я работал в контрразведке 16-го полка, офицеры говорили между собой, что в этом районе нацисты спрятали ценности и секретную документацию. Но какие ценности, какую документацию? Об этом много писали в шестидесятых — семидесятых годах, точнее, напустили газетного тумана, и где тут правда, где вранье — не разберешь...

Жить, чтобы выжить

— Шестого мая с армией Паттона я оказался на речушке Энс в Австрии. Разведотряду, к которому меня прикрепили, поручили установить пулеметные гнезда на восточном берегу у железнодорожного моста. Это была демаркационная линия, будущее место встречи с Красной Армией. Мы заняли оборону и стали принимать первых немецких военнопленных. Под напором наших войск они торопились сдать именно американцам. На той стороне, судя по канонаде, шел страшный бой. Это арьергард фашистов отбивался от наших танков.

— «Наших» — это американских или «наших» — советских? Давай-ка, чтобы не запутать читателя, проведем свою «демаркационную линию»...

— Ты прав. «Наши» отныне будут русские, советские. Хотя я никогда не откажусь и от «наших» парней из 4-го разведотряда, которые сделали из меня солдата и которым я буду благодарен по гроб жизни...

Я спросил одного сержанта: почему бы нам (опять «нам» — что ты будешь делать!) не ударить в тыл немцам? Он как-то странно на меня посмотрел, в том смысле — а на фига нам эта самодеятельность, зачем лезть в пекло, когда этого можно избежать? Кроме того, демаркационная линия установлена высшим командованием, и не нашего ума дело лезть в распоряжения начальства. Приказ — стоять! И точка.

Мне было непонятно и обидно, что мог появиться такой приказ. Почему бы не помочь Красной Армии, своему союзнику, который на глазах у всех несет человеческие потери? А у американцев за Энсом стоят-пылятся танки, бронетранспортеры, артиллерия. Одним махом можно закончить войну! Только спустя много лет я понял, что они берегли своих людей, ведь за считанные часы до капитуляции могли оборваться сотни жизней.

Мне потом рассказывали бойцы наступавшей дивизии, как они прорывались к Энсу, сколько потерь понесли. А я что помню? Американцы в «виллисах» разезжали по вражеской территории, и немцы их не трогали. Более того, они даже командовали эсэсовцами — уберите с дороги свои танки! — и те их слушались. На переднем крае гитлеровцы из последних сил держат оборону и одновременно позволяют отдельным подразделениям армии Паттона разезжать по их тылам!..

Восьмого мая, ближе к обеду, весь мост и ближайшие к нему подступы были забиты людьми и техникой — это немцы стояли в очереди, чтобы сдать в плен. Едва они прошли на американскую территорию, где был обустроен лагерь для военнопленных, — слышу оглушительный лязг гусениц. Идут советские танки с десанниками на броне! Идут к мосту в сплошном потоке новых, не успевших сдать фашистов. Грохот, крики, суматоха — Содом и Гоморра!

Я объехал на «мерседесе» первый советский танк, чтобы перейти к своим. Но мне наперерез бросился верзила из военной полиции: «Ты куда, сукин сын?» — «Как куда? — говорю. — Я — русский, к русским и иду». А у него голос — как у танкового стартера: «Нельзя! Назад! Нет приказа! Вон отсюда!» Тут знакомый сержант ко мне подходит: ничего не поделаешь, Вилли, жди, парень, когда обстановка прояснится.

Прошло примерно часа два, и вижу, как с советской стороны к мосту несутся черные машины. «Эмки» — помнишь такие? С нашего берега тоже едет полномочная делегация. Встретились посередке, по рукам ударили, речами обменялись; гляжу — бутылки откупоривают. Тут меня лейтенант-переводчик за руку хватать — и туда.

— Не страшно было?

— Что ты, парень?! Был бы я робкого десятка — в штаны наложил бы от страха. Что смеешься? За семнадцать своих лет никогда таких «бояр» видеть не приходилось. Я опешил от русских! Рот у меня был шире банного окна.

— В каком смысле?

— Видишь ли, у американцев не отличишь — генерал ты или кто. Одет, как рядовой, и только по звездочкам можно определить звание. А наши — чистые бояре из Большого театра: грудь в орденах, золотые погоны, алые лампасы, сапоги — как зеркало, бриться можно. Хоть стой, хоть падай!.. Тут американский переводчик вперед выходит: среди нас находится (показывает на меня) юный русский солдат, воевавший с нами от самых западных границ. Передаем его вам, господа советские товарищи! Мне фужер поднесли — клянись, чтоб до утра не дожить! — и я чокнулся с обоими генералами. Даже тост произнес — «за великую победу над фашистским чудовищем»...

После этого я был официально переведен в Пятую гвардейскую воздушно-десантную дивизию, которая базировалась в городе Амштеттен. Вместе с трофейной машиной «мерседес-бенц» и в форме американского солдата. Так и служил в ней — на удивление рядовому и офицерскому составу. Немцы меня звали Вольдемар-кнехт, американцы — Вилли-пулеметчик, а здесь я стал Володькой-американцем.

— Психологически как-нибудь отразился на тебе этот переход?

— Нет, что ты! Была весна Победы, молодость, подъем духа. И все виделось в розовом свете! Я не принадлежу к сентиментальным людям, но, кажется, в самом воздухе, помимо кислорода, азота и прочих скучных материй, ви-

тал дух свободы и обновления, такой непривычный для русских легких. И не существовало никакого страха перед будущим... И хотя первым, кто проявил ко мне живой интерес, был СМЕРШ, это меня совсем не напугало. Как же без этого? Надо же органам проверить, что за птичка в их сети залетела! Был бы человек, а статья для него всегда найдется... Но мне, дурню, повезло: опять попал в хорошие руки! Капитан Шварев, из контрразведки 16-го полка, сразу меня на глазок взял, что я за парень, сразу мне поверил. Такой вот человек, Николай Иванович, — я ему все выложил без утайки. Он мне потом и «легенду» придумал на будущее: о том, что служил в армии США, — забудь; тебя освободили советские войска — понял? Конечно, понял! Я парень сообразительный...

Он определил меня шофером-переводчиком в особый отдел контрразведки. Развозил разные приказы, донесения, доставлял армейских разведчиков к демаркационной линии и помогал им перебираться в расположения союзников. (А что они дальше там делали, можно только догадываться... Позволь одну деталь привести и, ради Бога, не перебивай: спустя сорок четыре года, когда в Бостоне Билл с Ричардом услышали об этом, они в один голос закричали: «Вилли, как ты мог?!» А я им ответил: «Угрызений совести не испытывал. Вместе с вами, ребята, я бил фашистов, а со своими был готов воевать с кем угодно. Так что поймите и не обессудьте»... Они поняли меня как надо.)

Бывали случаи, правда редко, когда переводил допросы подозрительных лиц: много тогда народа по тылам бродило — и недобитые эсэсовцы, и власовцы, и «остарбайтеры», не желавшие возвращаться на родину. И даже подгулявшие американские солдаты, которые ездили на нашу сторону за водкой и к девочкам. С каждым надо было переговорить... Так и работал — на собственной машине, при «вальтере» и в куртке Юджина Мейли.

— В этой «форме», надо полагать, ты ни у кого не вызывал подозрений, и контрразведка по-своему использовала твой имидж «вольного стрелка». Правильно я понял?

— Конечно. Другому, будь он в офицерском мундире, ничего не скажут, побоятся. А мне доверяли... Кроме того, чтобы выдать советскую форму, меня нужно официально призвать в армию, я должен принять присягу. А как это сделать в условиях оккупационного режима?

Через три месяца дивизию отвели от границы, и мои функции шофера-переводчика отпали сами по себе. Мы прочесывали леса, искали прятавшихся там власовцев, которые рвались на запад, а потом начались строевые. Я маялся от безделья. Как-то в контрразведку приехал комдив. «Как жизнь, американец?» — спрашивает. «Все нормально, товарищ генерал. Только вот домой хочу». — «Как это домой?!» — Он даже возмутился. «Пускай меня в армию возьмут, как полагается, — говорю. — Тогда готов служить дальше». — «А сколько тебе лет?» — «В ноябре будет восемнадцать». Он задумался, покачал головой. «Ладно, — говорит, — посоветуемся, разберемся».

Скоро меня перевели в лагерь для перемещенных лиц, и поехал я домой в эшелоне... Как думаешь, в каком? В таком же, в каком везли меня в Германию три года назад. Целый месяц тащились — через Австрию, Венгрию, Румынию... В Веприк приехал осенью. Родная хата совсем ветхой стала, крыша течет, в темном углу мать стирает. И я специально, чтобы не напугать ее: «Тетя, переночевать пустите?» Она поднимает голову: «Володя, а я тебя завтра ждала, сон видела». И — в обморок. Последние месяцы она жила исключительно за счет посылок, что я присылал из Австрии. Что-то продавала, что-то выменивала.

Всю осень и зиму я проболел, весь коростой покрылся. Выходила меня мать благодаря козьему молоку, иначе сдох бы. Все ждал: либо меня в Красную Армию призвуют, либо 58-я статья — и на Колыму. Как-то под вечер мать ко мне подходит, глаза напуганные: «Вставай, за тобой пришли!» Выхожу во двор... и что вижу? Николай Иванович Шварев собственной персоной! На рыжем жеребце, в кожаном реглане с португеей и с наганом на боку. Прямо как с неба свалился! Он хотел меня обнять — и с лошади кувырнулся. Ну, было радости!.. Оказывается, 16-й полк, где мы служили, перевели в райцентр Гадяч, рукой от нас подать. Шварев говорит: иди, Володя, в нашу полковую школу, у меня будешь под началом...

Я бы с большой радостью пошел, но его часть опять куда-то перевели. Однако Николай Иванович успел мне оформить годичный паспорт: колхозный люд, как тебе известно, никаких паспортов тогда не имел. И я подумал: есть документ — надо рвать когти! Коза у матери есть, сено припасено — в общем, проживет. Но куда ехать? Конечно, к отцу! Он уже год как освобожден и жил в Норильске без права выезда. В сущности говоря, тот же заключенный, только без конвоя и тюремных решеток на окнах. И вот на «пятьсот веселом» поезде (он у каждого столба останавливался) без копейки денег отправился я до Красноярска, а потом на теплоходе «Иосиф Сталин» до Дудинки. Ехал, чтобы переждать глухие сталинские времена, и застрял там на долгие двадцать семь лет.

— А как долго пришлось молчать о своем «американском прошлом»?

— Что тут скрывать — боялся. Одни дураки никого не боятся. А тут, как говорится, или молотком по кумполу, или серпом... по нежному месту. В колокола, конечно, не звонил, но от родных не утаивал.

Первое время в Норильске жил с отцом в одном бараке, работал в котельной ТЭЦ. Окончил вечернюю школу, институт, был свидетелем страшного восстания в особорежимных лагерях Норильска летом пятьдесят третьего года, когда десятки тысяч заключенных бросили вызов бериевскому режиму. Вообще восстание — особая тема, и не хотелось бы касаться ее походя... Здесь я женился, пошли дети, занимал всякие начальственные должности, отсюда уходил на повышение в Москву.

Помню, лежал я как-то в кремлевской больнице с замминистра тяжелого машиностроения. А в это время я уже был одним из номенклатурных тузов Госснаба СССР. Так что имел право! Разговорились с ним о том о сем, ну и бухнул я про свою американскую одиссею. А тут в палату медсестра входит, укол ему собирается делать. Он и говорит: «Ты лучше не мне вколи, сестричка, а моему разговорчивому соседу. Что-то у него фантазия разыгралась». Вот так! И стыдно мне стало, и обидно. Он ведь подумал, что я брехал ему эти три часа. Слыханное ли дело, чтобы человек, обладающий правом лечиться в «кремлевке», служил в американской армии разведчиком и чтобы об этом не знало, не ведало КГБ?!

— И ты решил идти «сдаваться»?

— Сколько же можно таиться? Душе хотелось дать освобождение. К тому же время было подходящее: восемьдесят восьмой год, начало перестройки, я уже на пенсию собрался... Но в Комитете ветеранов войны меня слушать не захотели: иди, говорят, на Лубянку! Так Маресьев сказал, знаменитый наш герой. А в КГБ ответили: у нас демократия, можете рассказывать все, как есть. Один генерал все удивлялся: как это, мол, вы уцелели с такой биографией; это, выходит, большая недоработка с нашей стороны. Расстрелять бы вас не расстреляли, а лет двадцать — двадцать пять схлопотали бы за милую душу... Он посоветовал мне искать людей, которые подтвердили бы мое участие в боевых действиях. А что их искать? Их адреса у меня до сих пор хранятся: Ричарда Фитцсиммонса и Роберта Нистрома — куцы, лохматые бумажки с почти выцветшими буквами. Короче говоря, развил бурную деятельность, напечатал статью в газете «Московские новости», которая выходит на английском языке, и раскрыл в ней фамилии и адреса своих однополчан. А в это время в Москве был президент Рейган, с ним порядка двух тысяч корреспондентов. По-видимому, они взяли экземпляр «МН» с собой и распечатали мою статью в своих газетах. Иного объяснения у меня нет, потому что спустя какое-то время я получил официальное приглашение президента международной организации «Ветераны за мир» Джерри Дженезио посетить Соединенные Штаты.

44 года спустя

— Эта поездка была — как сладкий сон. Что ты, парень! Десять американских штатов в сопровождении репортеров радио и телевидения. Передавали меня с сыном, как эстафетную палочку, из города в город. Совершенно одурел от вспышек фотокамер. Встречали как героя, и, признайся, было неловко чувствовать себя в этой роли. Какой я, к черту, герой! Видел аршинные плакаты с надписью «Вэлком, Вилли!» («Добро пожаловать, Вилли!»). На встречу

со мной приходили дети и внуки погибших солдат моей Четвертой дивизии...

— А ребят своих встретил — из 4-го разведотряда?

— А то как же! Первая встреча произошла в аэропорту Бостона. Выходим с сыном из самолета, а встречать нас некому. И неизвестно куда ехать. Что делать? В сторонке какие-то старички стоят, среди них выделяется один здоровенный, осанистый, представительный. Гляжу, табличка у него на груди болтается: «Вилли Куц» — по-английски. Я к нему, он — ко мне. Чуть за шкирку меня не хватает: ты что ж, своего командира не узнаешь? «А кто ты такой?» — спрашиваю. Сын переводит. Тот как рывкнет: «Я твой командир отделения — капрал Билл Рииска». А капрал у американцев — величина похлеще генерала. Ну, мы, конечно, обнялись и расцеловались. «Помнишь, — говорит Билл, — я тебя чуть не за уши драл, когда ты каску снимал?» — «Господи, как не помнить-то, Билл! Еще как помню!..»

Ночью он привез нас в поместье полковника Джона Бэра, вице-президента ассоциации ветеранов войны. Утром проснулись и не поймем: на какой мы планете? Хозяйство у Бэра такое — что ты, парень! Огромный дом, парк, идеальные газоны, и комаров нет. Сидим, беседуем, пивко попиваем. И вдруг с ревом врываются машины телехроники. В чем дело, чего ради? И следом за ними медленно подкатывает «бьюик-ривьера», длинная красная машина. Все встают и меня глазами просят подняться. Думаю, губернатор какой пожаловал или сам президент решил почтить меня своим присутствием? Операторы, осветители с места на место перебегают, лица у всех напряжены. Я Билла плечом подталкиваю: «Что происходит?» А он сам ничего понять не может. Тут из «бьюика» выходит полный, вальжного вида мужчина в темных очках и идет мне навстречу. Осталось между нами метров пять, и я понял, что это... Ричард Фитцсиммонс, наш водитель.

— Инсценированная встреча?

— Понимаешь, какое дело: всем было интересно, узнаем ли мы друг друга через сорок четыре года, потому и устроили этот маленький спектакль. Вечером его уже крутили по телевидению штата Мэн. Ричард специально из-за меня приехал из Вермонта, простой электрик, отец шестерых сыновей, обаятельный человек. Между прочим, вермонтское телевидение снимало фильм о нем: сначала он рассказывает о войне, потом едет на встречу со мной в Бостон и, наконец, сама встреча: объятия, слезы, поцелуи. Я, конечно, об этой телевизионной акции ничего не знал...

Все вместе мы поехали на официальный прием, Джерри Дженезио речь держал. Потом слово предоставили мне, и я показал дряхлые листочки с адресами своих боевых друзей. Зал ахнул, когда увидел. Первого мая сорок пятого года ребята писали их наскоро, карандашом, и мне приходилось (английского языка я не знаю) обводить чернилами каждый буквенный значок, чтобы сохранить текст.

«Я специально заставлял сына учить английский язык, чтобы приехать сюда и говорить с вами», — сказал я на пресс-конференции. И к Ричарду обращаюсь с подвохом: «А ты кого-нибудь из своих детей заставил выучить русский язык?» Он, правда, растерялся: «Вилли, тебе проще, — ответил он, — у тебя один сын. Одному сказал — как отрезал. А тут надо шестерых уговаривать»... Я несколько дней гостил в его доме, познакомился со всеми его детьми, а потом переехал к Биллу Рииска в Винстедт, штат Коннектикут, где он несколько лет был мэром.

— А Юджина Мейли видел?

— И Юджина тоже. Я его узнал сразу, хоть и без очков был. Он стоял у подъезда гостиницы в Филадельфии, когда мы с Ричардом проезжали мимо. «Останови!» — кричу. (Фитцсиммонс потом смеялся: я думал, Вилли мне вышибет дверцу...)

Мы как посмотрели в глаза друг другу, так и закаменели. У меня дыхание перехватило, спазм в горле. И не знаем, что нам делать: то ли обниматься, целоваться, то ли реветь. А в таком состоянии, сам понимаешь, много не наговоришься. Ведь именно благодаря Юджину я попал в американскую армию, именно он повернул мою судьбу... «Вилли, — спросил он, — ты верил, что мы встретимся?» — «Конечно, верил, — говорю. — Потому и сына своего готовил к этой встрече. Английский он знает в совершенстве». — «А мы тебя, при-

знаться, похоронили, — сказал Юджин. — Помнишь наше расставание под Мюнхеном?» — «Еще как помню!» — «Так вот, мы вскоре узнали, что шоссе Мюнхен — Зальцбург было заблокировано нацистами. Все думали, тебе крышка. Как же ты уцелел?» — «Я везунчик, Юджин, вся моя жизнь — цепь счастливых случайностей»...

После войны Юджину предлагали остаться в армии, но он решил совершенствоваться в юриспруденции — окончил Цюрихский и Боннский университеты. Сейчас у него свой офис, два или три дома, и вообще Юджин, сказали ребята, один из богатейших юристов Америки.

Все время, пока мы разговаривали, возле нас топтался какой-то поджарый старичок. «Вилли, ты помнишь меня?» — спрашивает. А я уже был настолько выжат, столько впечатлений свалилось — смотрю на него и не знаю, что сказать. Им-то, американцам, меня запомнить легче, ведь я один был такой в разведотряде — русский пацан. «Это же Роберт Нистром, — пришли мне на помощь Юджин с Ричардом. — Помнишь броневик, который шел за нами следом?» Так мне стало перед ним стыдно: сорок четыре года хранил его адрес, а при встрече не узнал! Роберт всегда стрелял из башни броневика, и первое время я сжимал плечи, боялся, как бы он меня не зацепил. Когда до Нистрома дошла весть, что я вернулся из небытия, он собрал обо мне целый альбом газетных вырезок...

А потом мы все вместе сидели на торжественной встрече ветеранов Четвертой дивизии. Тысяча двести человек собралось — представляешь! Сто двадцать столов по десять человек за каждым. Разведчики, пехотинцы, артиллеристы, связисты — у всех свое место, ритуал неукоснительный. Впервые услышал гимн дивизии Зеленого Креста. Подняли тост за погибших и умерших. Потом что-то объявили по микрофону, зал зашумел, сын не успел мне перевести, а ребята уже тянут меня на сцену: давай, Вилли, толкай речь от имени 4-го разведотряда!..

Прошлым летом в Шербуре

— Владимир Терентьевич, как произошло, что ты был единственным российским ветераном на торжествах в Нормандии по случаю пятидесятилетия открытия Второго фронта, которые состоялись в июне прошлого года?

— Я об этом подробно говорил в интервью парижской радиостанции «Радио-3» четвертого июня девяносто четвертого года, но могу и повторить. Не пригласили! Ни нас, российских ветеранов войны, ни представителей Германии. Если французы хотят мира и реально стремятся к нему, они обязаны были позвать две наши великие державы. Те преобразования, которые произошли в Германии, дают основание считать итог второй мировой войны победой не над немецким народом, а над системой фашизма. К тому же этот народ покаяться, чего мы, кстати, не сделали после крушения коммунизма. Поэтому праздновать должны все, в том числе и немцы. А уж Россия, которая вынесла основную тяжесть войны, тем более...

— Выходит, там, в Нормандии, ты представлял Россию как частное лицо?

— Да. А пропуск на нормандское побережье, туда, где шестого июня сорок четвертого года одной из первых высаживалась моя дивизия, мне выдали в американском посольстве в Париже. Принял меня помощник военного атташе сидя: давай, мол, паспорт, анкету и прочее! Прочел внимательно, позвонил по телефону, надел фуражку, встал и отдал честь. Бумажке отдал честь, а не мне! Бюрократия одним миром мазана — что наша, что ихняя... Я ему говорю: так ведь со мной будут еще жена, сын и невеста сына. Как с ними быть? Снова все проверил, снова позвонил по телефону и выдал на них гостевые пропуска. После этого мы рванули в Шербур к Биллу Рииска, который, единственный из моих друзей, был включен в состав американской делегации ветеранов как представитель Четвертой дивизии.

Подъехали к гостинице, и администратор говорит: ветераны только что сели за ужин. Я подумал: если ветераны сели за ужин накануне великого юбилея — это действительно надолго. И говорю сыну: «Давай, Юрка, ищи Билла. Надо с ним посоветоваться, как быть дальше». Дело в том, что еще в Париже

нас предупреждали: после девяти вечера все дороги, ведущие на побережье, будут перекрыты жандармерией. Гостиницы уже переполнены, поэтому следует искать французов, которые бы согласились принять у себя дома...

Билл пришел тепленький, рот до ушей: обнялись, познакомили наших жен. Он пытался с кем-то связаться, кому-то звонил по телефону, чтобы нас устроили, но все было бесполезно. А время идет. Я говорю Биллу: «Ты знаешь меня?» — «Знаю». — «Вот и хорошо. Возвращайся в банкетный зал. Встречаемся завтра утром на торжествах». — «А сейчас-то как?» — «Чтоб бывший разведчик, — говорю я гордо, — и по материально-техническому снабжению спец да не устроился бы?! Быть такого не может!»

Принимаю решение: едем прямо туда, где будут юбилейные торжества. Прорываемся на побережье, поблизости какая-то ферма стоит и аэродром, который охраняет французская воинская часть. Вызываю старшего: так, мол, и так, командир, можно ли здесь поставить машину и переночевать? «Нет проблем», — говорит офицер, проверяя наши пропуска. «А что вы охраняете?» — спрашиваю. «Аэродром и вертолетную площадку. Завтра рано утром здесь будут высаживаться высокие государственные лица». — «Какие?» — «Не имею права разглашать», — говорит он и подмигивает мне: мол, эти «секреты» больше для дураков придуманы, а нормальные люди и так все знают.

Гляжу, а там у них припарковано десятка два старых «виллисов». Точь-в-точь такие, на каком мы с Юджином и Ричардом воевали! Что ты, парень! Меня азарт охватил, бес под ребро кольнул. «Ребята, — прошу, — дайте прокатиться!» — «Нельзя, — говорят, — папаша!» — «Как это нельзя? Я с французскими военнопленными на лесоповале работал, с легионерами дивизии Леклерка бок о бок воевал, французы меня на шофера выучили, а вы говорите «нельзя»?!» А сам уже лезу в машину, показываю место, где стоял крупнокалиберный пулемет, за которым я работал. Тут кто-то винцо поднес, выпили мы маленько, я бросил ключ — и аллюр три креста. Дождь хлещет, а мы гоняем на «виллисах» по побережью. Туда-сюда, туда-сюда, представляешь? В мальчишку превратился. Это же машина такая — «виллис!» Я ведь его почти пятьдесят лет не видел, а до сих пор помню каждую деталь. И вижу Ричарда, который вел машину, и Юджина, который сидел за малым пулеметом.

Ночью я слышал, как гремело небо, думал — гроза, а это с десятков вертолетов приземлялись неподалеку от нас. А в четыре утра жена видела, как сел большой двухвинтовой вагон: это, видимо, сам Клинтон прилетел с супругой.

По расейскому обыкновению мы, конечно, проспали. Время около десяти, все уже в сборе, а мы еще только проходим первый кордон. Полицейским чинам невдомек: на мне голубой берет русского десантника с кокардой и колодки медалей, а пропуск — американский. Но пропускают охотно, честь отдают. Только предупреждают: там дальше такие строгости пойдут — что ты, парень!

Два французских поста прошли, теперь — американская охрана. Слева — трибуны для гостей, прямо — правительственная, где сидят руководители двенадцати государств Европы и Америки. Президенты, премьеры, короли, герцоги. Иду прямо, к правительственной, но лейтенант-охранник ни в какую. «Я здесь единственный российский ветеран, говорю, а ты, елки-моталки, фордыбачишься!» Тот разводит руками: я, мол, человек военный, что приказали, то и делаю. И глазами мне показывает на двух штатских в светлых плащах: попытай-ка у них счастья! А это, видать, настолько важные чины, что в мою сторону даже голов не повернули. Я на них: да вы что, ядрена феня, бюрократию разводите! Такой праздник, охломоны вы хреновые, только раз в жизни бывает, а вы его отравить мне хотите?! Слов-то моих они не поняли, но смысл в точности дошел, это я по их глазам увидел. Посмотрели на меня и говорят: идите, но дальше вас все равно не пропустят. И действительно: трибуны там переполнены, и на каждой лестнице когорты охранников. И выражения лиц у этих охранников примерно такие же, как у наших «топтунов», их, видать, на одном конвейере пачкуют. Юрка пошел вперед, но его выкинули. Такие «буфеты» стоят — будь здоров: кого хочешь заломают. И личики у них краснофиолетовые с переходом в густую синеву. Обстановка такая, что морду бить вроде бы рано, а в дипломатию играть уже поздно. Надо как-то выкручиваться. «Слышь ты, Баклажан Помидорович, — говорю, — пропусти нас, а то хуже будет». А они смотрят и не знают, как со мной поступить: берет какой-то не-

понятный, колодки наград на груди и морда нахальная. В руках у них радиотелефоны, начали совещаться с начальством. И тут как из-под земли — корреспонденты. Кто такие, спрашивают нас, что происходит, почему не пускают? Юра только успевает переводить. Охрана объясняет: мест свободных нет, а стоять на трибуне запрещено. Тогда английский и американский журналисты отдают свои места нам. (Жену с невестой сына еще на втором кордоне отсеяли.) И только мы сели — сразу началась торжественная часть. Как будто только этого и ждали.

— Я надеюсь, ты не станешь излагать содержание речей Миттерана и Клинтона...

— Конечно, нет. А вот о том, как познакомился с Хиллари, почему бы не рассказать?

— Кто такая Хиллари?

— Здрасьте пожалуйста. Первая леди Америки, хозяйка Белого дома... После официальной части я хотел сфотографироваться с Клинтонем, но тот оказался в окружении огромной толпы. И тогда я переключил внимание на Хиллари, которая находилась ближе ко мне. «Юра! — кричу, — за мной!» Такой кураж на меня нашел, понимаешь, невозможно остановиться!.. Потихоньку разгреб ветеранов и охрану, а сын сзади разбирается и фотографирует сверху. Хватаю ее руки в лайковых перчатках. «Миссис Хиллари, говорю, ай рашен ветеран Вилли Куц... ол райт вэри гуд». На этом мой английский истощился. Фотокорреспонденты вокруг как загудят: «Ра-а-шен ветеран?!» Откуда, мол, он здесь, да еще в первых рядах, когда его нацию сюда не приглашали? И давай общелкивать меня со всех позиций. Тут Хиллари поворачивается ко мне, — улыбка во все лицо, — и я хватаю ее в охапку. Леди, конечно, упирается, глазами в сторону мужа показывает, а я ей глазами же отвечаю: ничего, потерпит муж, мы ему тоже маленько оставим. И сыну кричу: «Юрка, давай!» А он руками разводит: все, папа, кончилась пленка! Такая, понимаешь, вышла накладка.

Я потом письмо написал Хиллари: нет ли случайно в архиве Белого дома нашей с вами фотографии, миссис? А мне ответили, что, «к сожалению, после обширных розысков, мистер Куц, наш отдел фото не в состоянии найти интересующий Вас снимок, а потому посылаем официальный портрет Президента Клинтона для Вашего персонального использования». Он стоит у меня сейчас на письменном столе.

И выражение лица у президента довольно грозное: будешь знать, как обнимать чужих жен!

Деванген-хаус

— Насколько я помню, после нормандских торжеств ты отправился в Деванген, на ферму Антона Старца?

— Нет, сначала я навел справки: жив ли кто-нибудь из моих бывших хозяев? Потому что ехать в пятидесятилетней давности «никуда», отметить, так сказать, своим присутствием — мне не интересно. Без человека любое место мертво и пусто. Пусть даже самое что ни есть распрекрасное! Пейзаж, он всегда должен быть очеловечен. Есть человек — есть толчок для воспоминаний, привязка к местности. А бродить просто так по земле, застроенной незнакомыми домами, застеленной толстым слоем асфальта (а опыт моей жизни подсказывал, что именно такую картину я могу застать на родине Антона Старца), и с натугой вспоминать, что ты здесь когда-то бегал босиком, пас скотину и пахал, — нет, это не для меня. Нет человека — и сердце не дрогнет. Кроме того, надо было найти попутчиков, чтобы подбросили меня до Девангена.

Знакомые моей дочери — а она постоянно живет во Франции — собирались в отпуск в Германию и, узнав, что я мечтаю посетить землю Баден-Вюртемберг, согласились меня отвезти. В немецком консульстве в Париже я получил транзитную визу — и вот стою в растерянности на развилке, у дорожного указателя под названием «Деванген». Все оказалось, как и ожидал, — ничего похожего на прежнее уютное средневековое селение. Единственный ориентир — кирха, от нее и танцую!

Земля Антона Старца превратилась в район массовой застройки, и, судя по всему, этой стройке не видно конца. Двух-трехэтажные коттеджи, аккуратно возделанные участки без ограждений, припаркованные машины, клумбы под окнами. Ни одна знакомая деталь не бросилась мне в глаза, ни одна примета не выдала, что я жил здесь когда-то. Все такое чистенькое, удобное, картинное, но чужое. Торжество стерильного бюргерского разума!

Иду и думаю: зачем я здесь? Антона нет в живых, а родственники... как встретят меня, захотят ли видеть бывшего батрака-кнехта, который когда-то гнул на них шею? Не будут ли испытывать неловкость от рассказов шестидесятилетнего непоседы о том, что было жизнь тому назад? Ведь не каждому человеку хочется снова окунаться в свое прошлое... Иду и оглядываюсь на кирху: не заблудился ли? Нет, все правильно, а если что не так — у прохожих спрашиваю. Я ведь по-немецки еще «шпрехаю».

Остановился у дома, который мне показали, нажимаю кнопку звонка. Время — начало девятого вечера, но никто не открывает. Неужели легли спать? И тут слышу, кто-то спускается со второго этажа. Открывается дверь — пожилая немка: «Вас воллен зи?» Не знаю почему, но я сразу понял, что это Хильда. Тогда, в сорок пятом, у нее с Антоном назревала любовь. Даже родственники не догадывались об их отношениях, а я уже знал, вернее, чувствовал, что между ними протянулась ниточка. Хильде тогда было чуть больше тридцати, а Антону — около пятидесяти.

— Хильда, — говорю. — Я — Вольдемар Куц. — И делаю паузу: вспомнит или нет?

Ее реакция меня поразила: это ведь только в плохих романах люди узнают друг друга, если до этого не виделись целую вечность. А Хильда не то что узнала, она еще шире открыла дверь: заходи, мол, Вольдемар, что-то ты очень долго отсутствовал. В общем, не виделись пятьдесят лет, а встретились как родные. Я, признаться, на такую встречу не рассчитывал, даже в горле запершило.

Тут подъехали на машине Магда, дочь Хильды и Антона, и ее муж — тоже Антон. Сели ужинать при свечах, и меня посадили во главе праздничного стола. Я мысленно подсчитал, что Хильде сейчас за восемьдесят, а выглядит — дай Бог каждому! Живой ум, память, никаких старческих признаков на лице, не ходит — летает. Хильда сказала, что они с мужем часто меня вспоминали: не потому, что шустрый был малый и хороший работник, а потому, что единственный из всей их округи, кто ушел с американской армией. После смерти Антона она сдавала землю в аренду и получала приличную ренту. Никуда из Девангена не уезжала, здесь родились и выросли ее дети, потом разбрелись по разным краям, и теперь она их ежегодно навещает, разъезжая на своем новеньком «ауди»...

Утром, наверное еще во сне, я услышал удар колокола. Потом еще и еще. Что это — полусон, полуявь? Звуки были сочные, раскатистые, требовательные: хватит, мол, спать, пора приниматься за дела. Я слышал отчетливо, как мычала в хлеву корова, как свиньи затеяли голодную перебранку. Толком не соображая, я вскочил в холодном поту: неужели проспал? Бауэр, поди, уж за работой, а я нежусь в теплой постели. Схватил рубашку, натянул брюки... и расхохотался. Дошло наконец! Это через пятьдесят лет во мне сработал рефлекс «остарбайтера», подневольной рабсилы. Видимо, он был заложен в какой-то клеточке моего мозга, молчал долгие годы, но с ударами колокола на кирхе напомнил о себе и вышел наружу... Вот ведь как бывает, а? После этого я уже уснуть не смог. Пришла Хильда, принесла альбом семейных фотографий, и на одном из снимков я узнал себя, семнадцатилетнего, стоящего на фоне коровника.

В этот же день я положил цветы на могилу Антона.

— Помнится, ты обещал рассказать о судьбе Мишки, такого же, как ты, кнехта из Западной Украины, который жил по соседству...

— Вообще-то их было двое — Петро и Мишка, одногодки, родом из одной деревни. И решили они остаться в Девангене насовсем. Так мне Иосиф сказал, сын двоюродного брата Антона Старца, мой ровесник. Как они избежали депортации — непонятно. Женились на немках, обзавелись собственными хозяйствами и плюнули на свою «ридну Украину». Их сестры-украинки не-

сколько раз приезжали сюда, гостили неделями, а Мишка с Петром забыли дорогу на родину. Одним словом, онемечились и стали заправскими бауэрами.

«Петро недавно умер, — сказал Иосиф, — а Мишка где-то неподалеку живет. Его теперь Михель зовут». Вот такие пироги!.. Ты знаешь, я живчик по натуре, и чтобы не откладывать в долгий ящик, говорю Иосифу: заводи машину! И поехали мы искать Мишкин дом. Проехали две или три деревни, спрашиваем: где такой-то живет? Нам объясняют: проедете столько-то, повернете туда-то. И, наверное, о том, что мы разыскиваем Михеля тире Мишку, он узнал раньше (телефон-то на что?), чем мы постучались в его дверь... Но жена его нас не пустила, представляешь! Встала на пороге, как двадцать восемь героев-панфиловцев, — и ни в какую! Хотя и пожилая бабенка, а взгляд такой настырный, вьедливый. Говорит: муж очень больной, пять инфарктов перенес, и, боюсь, встреча с другом детства может отрицательно отразиться на его слабом здоровье...

Не могу сказать, что мы были друзьями не разлей вода, но и подлянки я от него не видел. Каждый из нас тогда спасался в одиночку, жил затаившись и в любом соседе подозревал потенциального стукача. В таком переплете обнаружить смелость и доброту в человеке почти невозможно. Но мы все же преодолели свой страх, хотя и не лезли. Тварь дрожащая — это не о нас сказано!.. А сейчас я смотрел в глубину затемненной квартиры и чувствовал, кожей своей чувствовал присутствие затаившегося там человека. Даю все сто, что Мишка слышал наш разговор, но он так и не подал голоса. Почему? Может, своим внезапным появлением я разбудил в нем какие-то неприятные воспоминания, растревожил совесть? Не хочу ничего домысливать: загадка — человек, и чем ближе к нему приближаешься, пытаюсь влезть в его потроха, тем больше он задает загадок...

Самое интересное: только мы отошли от его дома и сели в машину — гляжу, какой-то старпер в тренировочных штанах бежит к гаражу. Походка суевливая, озирается вокруг, и руки трясутся. «Мишка?» — спросил я у Иосифа. Но он ничего не ответил, только головой кивнул и засмеялся. Вот такие, брат, дела!

Потом мы поехали с Хильдой в Штутгарт, столицу земли Баден-Вюртемберг. Я там в лагере загибался, помнишь? И Антон меня выдернул оттуда, как морковку из грядки. Приехал к шапочному разбору — и ни одного рабочего мужика. Только пыль клубится известковая и посерединке мальчонка стоит — тонкий, звонкий и прозрачный, того гляди, расплчется... Это он Хильде так рассказывал, когда я ушел с американцами.

А сейчас Штутгарт — что ты, парень! Я его помнил в дымящихся развалинах, сам попал там под бомбежку в начале сорок пятого, когда налетело три сотни американских бомбардировщиков, — страшная была картина... А сейчас кругом зелень, цветы, воздух почти деревенский, и лебеди в прудах плавают. Живет же буржуазия! А мы все социализм строим непонятного образца... Там есть улицы вроде нашего Арбата, где транспорт запрещен. И вот мы прогуливаемся с Хильдой под ручку, и я замечаю, что она как-то странно на меня поглядывает. «Вольдемар, — говорит, — что ты ходишь, как мальчишка? Давай я тебе костюм куплю и ботинки». А на мне легкие такие джинсики и кроссовки ношенные, Юрка свои отдал. Господи, думаю, до чего я дожил! Мне, победителю фашизма, бывшему номенклатурному работнику, кавалеру дожины правительственных наград, автору четырнадцати научных трудов, восьмидесятичетырехлетняя немка-пенсионерка предлагает купить свежую обнову! И от всего сердца предлагает, не желая обидеть... Но ведь у нас, советских, «собственная гордость», мы врем и не краснеем. «Что ты, Хильдушка, — говорю, — у меня этого добра хватает, у меня вообще всего до горла. Просто сейчас мода такая пошла — легкомысленно-мальчишеская». Хильда хоть и рассмеялась, но разве ее проведешь? Она в жизни столько всего хлебнула — что ты, парень!..

А вот что касается знакомых примет, тут я маленько загнул. Нашел я одну приметку в Девангене! В яблоневом саду, за которым когда-то ухаживал, будучи батраком... Антон, зять Хильды, спросил у меня накануне отъезда: какие культуры мы высаживали с хозяином? «Яблони, — говорю, — вишню, смородину, крыжовник». — «Это мы давно вырубili и новые посадили. А еще?» — спрашивает. «Грецкие орехи, помню, сажали». Он улыбается и подводит меня

к кряжистому, ветвистому дереву с гроздьями зеленых плодов: «Вот ваш орех, Вольдемар! Ему пятьдесят с небольшим лет». И еще показывает на несколько деревьев. Я просто опешил.

Хозяева провожали меня до границы с Францией и вручили на дорогу большой-большой пакет с грецкими орехами...

На письменном столе Владимира Терентьевича — свежие письма из Бостона, Филадельфии, Вермонта, Девангена... «Твоя комната на втором этаже полностью отремонтирована и ждет тебя в любое время», — пишет Хильда Старц. Билл Рииска с Ричардом Фитцсиммонсом тоже приглашают в гости, обещают увлекательное путешествие по Штатам и возможность отдохнуть на атлантическом побережье, а Роберт Нистром сообщает, что выслал посылку с двенадцатью сортами сыра... Куц показывает мне дорогой его сердцу документ в твердом коленкоре:

«По имеющимся свидетельствам бывших членов 4-го механизированного разведотряда Четвертой Пехотной Дивизии, Владимир «Вилли» Куц честно служил весной 1945 года в Германии, и его действия оказали неоценимую помощь армии США.

В связи с этим я, Гарри Грамп, национальный Президент национальной Ассоциации Четвертой Пехотной Дивизии, заявляю, что Владимир Куц, Москва, Советский Союз, является пожизненным почетным членом национальной Ассоциации Четвертой Пехотной Дивизии.

В доказательство сказанного я приложил руку в Нарагансетте, Род-Айленд, 5 мая 1990 года».

Между прочим, наш отечественный Комитет ветеранов войны признал Куца участником войны значительно позже. Видимо, долго проверяли...



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. И. ВЕРНАДСКИЙ



«КОРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕИЗБЕЖНЫ...»

Дневник 1941 года

Этот дневник академика Владимира Ивановича Вернадского (1863 — 1945) — один из интереснейших в его рукописном наследии — делится как бы на две части, рубежом между которыми стал трагический день 22 июня. Как и в предыдущих публикациях дневников Вернадского 1938 — 1940 годов («Дружба народов», 1991, № 2 и 3; 1992, № 11 — 12; 1993, № 9), для удобства восприятия текста авторские сокращения и кюптуры публикатора не показываются; смысловые вставки заключены в угловые скобки.

Рукопись дневника хранится в Архиве Российской академии наук, фонд 518 В. И. Вернадского (опись 2).

21 января. Москва.

Вчера с Ненадкевичем¹ был в Минералогическом Музее. Положение Музея безрадостное. Результаты научной минералогической работы Академии туда попадают случайно. Везде хаос.

Кашинский² жалуется на грубость Баха³. Это модный теперь курс, взятый в Академии, — аналогичный тому яркому огрублению жизни и резкому пренебрежению к достоинству личности, который сейчас у нас растет в связи с бездарностью государственной машины. Люди страдают — и на каждом шагу растут их недовольство.

Полицейский коммунизм растет и фактически разъедает государственную структуру. Все пронизано шпионажем. Никаких снисхождений.

Лысенко разогнал Институт Вавилова. Любопытная фигура: властная и сейчас влиятельная. Любопытно, что он явно не дарвинист: <но> называет себя дарвинистом, официально <к> таковому приравнен.

Всюду все растущее воровство. Продавцы продуктовых магазинов повсеместно этим занимаются. Их ссылают — через много лет возвращаются, и начинается та же канитель. Нет чувства прочности режима через 20 с лишком лет <после революции>. Но что-то большое все-таки делается — но не по тому направлению, по которому «ведет власть».

С Наташей⁴ все больше вспоминаем прошлое. Некого спросить. Быстро уходят отвечающие мне поколения. С Наташей хочу восстановить первые дни нашей совместной жизни — <прожили вместе> больше полустолетия, больше 54 лет!

Публикация, подготовка текста и примечания *И. МОЧАЛОВА*

¹ Ненадкевич Константин Автономович (1880 — 1963) — химик, минералог, член-корр. АН СССР, ученик Вернадского.

² Кашинский Павел Александрович — гидрохимик и биохимик.

³ Бах Алексей Николаевич (1857 — 1946) — биохимик, академик, директор Института биохимии АН СССР (1935 — 1946).

⁴ Наташа — Вернадская (Старицкая) Наталия Егоровна (1860 — 1943), жена Вернадского.

22 января.

Вчера сидел дома. Сводил переписку. Работал хорошо над «Проблемами биогеохимии». Много читал и думал.

Пытаюсь вспомнить реально — с помощью Наташи — былое: что было в 1886 году, когда мы стали жить вместе почти 55 лет тому назад! Как переменялась жизнь — наша страна и мировое окружение, а главное, <произошел> переворот в научном и техническом жизненном проявлении.

Я получил письмо от Анны Михайловны Болдыревой; пишет, что ее муж¹ — единственный из всех — переведен в ГРУ (не понимаю, что это значит) в магазине. Она считает, что это ответ на летние заявления, <предпринятые> по моей инициативе и усилиями всех академиков по геологии и минералогии о необходимости поставить <ее мужа> в другие условия, где могут быть использованы его знания. Он работал как простой горнорабочий, заболел, отморозил лицо. Абсолютно невинный человек в <своих> проявлениях — думаю, и в <своих> речах <также>: если допустил что<-то> в такой опасный для страны момент — и громкие выявления <своих> мнений могут быть опасны. Бывший эсер. Я опять при необходимости заменить кафедру по минералогии в Академии опять вижу только <кандидатуру> Болдырева. Думаю написать письмо Молотову. Колебания — не знаем, что делается в центре власти. Как бы теперь не повредить.

¹ Болдырев Анатолий Капитонович (1883 — 1946), кристаллограф и минералог, профессор. Жертва большевистского террора, погиб в ссылке в окрестности Магадана.

25 января. Суббота.

Вчера вечером собрались в память Дм. Ив. Шаховского¹, — Аня², Наташа, Анна Николаевна Шаховская³, Паша Старицкий⁴, Дима и Сережа Шики⁵. Было очень хорошо. Аня наново прочла прелестные письма Мити от 1911 — 1912 годов и в связи с тюрьмой за Выборгское воззвание (<сидел> в тюрьме в Ярославле). Наташа моя <прочла> очень интересную памятку с выдержками из нашей переписки.

23.I.1941 года умер в Москве Александр Никандрович Лебеяднцев⁶ — крупный ученый и близкий мне человек, который, сам это не сознавая, много мне дал.

¹ Шаховской Дмитрий Иванович (1861 — 1939) — общественный и политический деятель, историк, литературовед, публицист, внук декабриста князя Ф. П. Шаховского, внучатый племянник П. Я. Чаадаева, друг Вернадского. Жертва большевистского террора. О Д. И. Шаховском и его трагической судьбе см. записи в дневниках Вернадского 1938 — 1939 годов. — «Дружба народов», 1991, № 3; 1992, № 11 — 12. См. также: Шаховской Д. И. Письма о Братстве. «Звенья». Исторический альманах. Вып. 2. М. — СПб. 1992.

² Аня — Шаховская Анна Дмитриевна (1889 — 1959), дочь Д. И. Шаховского, литератор, секретарь П. А. Кропоткина в последние годы его жизни, с 1938 по 1945 годы секретарь Вернадского, хранитель мемориального Музея В. И. Вернадского после его кончины.

³ Шаховская (Сиротинина) Анна Николаевна (1860 — 1951) — жена Д. И. Шаховского.

⁴ Старицкий Павел Егорович (1862 — 1942) — инженер, профессор, брат жены Вернадского Наталии Егоровны.

⁵ Сыновья дочери Д. И. и А. Н. Шаховских Наталии Дмитриевны Шаховской-Шик (1890 — 1942).

⁶ Лебеяднцев Александр Никандрович (1878 — 1941) — агроном и агрохимик, в 1906 — 1927 годах директор Шатиловской опытной станции, профессор, ученик и сотрудник Вернадского.

1 февраля.

Днем был у себя <в Биогеохимической лаборатории>. М. А. Савицкая¹ и ее работа.

Назначение Берия: генеральный Комиссар Государственной безопасности — диктатор? В связи с упорными толками о безнадежном положении Сталина (рак?) и расколе среди коммунистов (евреи — английской ориен-

тации, Молотов — немецкой?) — перед XIX съездом Коммунистической Партии².

Кончил мою переписку с Наташей 1886 года. Удивительно, что мое нервное состояние <было тогда> то же, что и сейчас. Но тогда я воспринимал это более реально, как объективное явление — теперь <воспринимаю> как объективное выявление моего физического состояния, в связи с моими глазами без очек при засыпании, реже при просыпании, в полусвете. Последний раз (было 4 <часа утра>) яркие галлюцинации в конце декабря или начале января: из стены у постели вышла и через меня прошла человеческая фигура малого, но не детского роста, одетая в древнюю (как на картинках) темную одежду.

¹ Савицкая Мария Александровна — гидролог, сотрудница Вернадского.

² Здесь и далее имеется в виду XVIII конференция ВКП(б), проходившая в Москве с 15 по 20 февраля 1941 года.

4 февраля. Вторник.

Чувствую старость реально: зубы выпадают и качаются — очевидно, придется пережить тяжелую операцию, реставрировать или вставить. Худею в ногах, и их костный характер резко меняется. Непрерывно ухудшаются зрение и слух. В области сердца какие-то новые тупые болевые ощущения. Сегодня хочу просить приехать <врача> Мар. Ник. Столярову. Может быть, быстро подойдет время, когда и «Проблемы биогеохимии» будут мне трудны и надо будет спуститься к «Воспоминаниям» — впервые об этом реально думаю. Приближаюсь к 78 годам.

Вчера днем был Леонид Ликарионович Иванов¹, сильно подавшийся, но бодрый умом и сильно нагруженный педагогической работой — профессор. Сейчас это <стало> гораздо труднее. Много лишнего, давление, сыск и формализм невежд и дураков, <среди которых>, с одной стороны, — идейные, с другой — полицейские.

Пересматривая список выбранных в Академию Наук 28 и 29 января 1939 года, вижу, что многих я не знаю даже в лицо и неясно представляю себе их умственную и творческую силу. В общем, все же выборы были реальные — и умственный ценз <выбранных> высок. В первый раз в академии прошла женщина — Штерн². Я думаю, вполне заслуженно. Удивительно — и непонятно, что при огромном числе женщин — например, у меня в Лаборатории — в общем, то же и в других, — женщины преобладают, а между тем резко в ведущей, талантливой части преобладают мужчины. В общем, надо признать, что выборы дали неправильную картину только благодаря тому, что часть крупнейших ученых — арестована. Среди них такие крупные люди, как Болдырев, Туполев и многие другие, выбор которых <в Академию> был бы несомненным. Из этих выбранных Луппол³ арестован в 1940 году — партийный, но человек широкообразованный и знающий.

¹ Иванов Леонид Ликарионович (1877 — 1946) — геолог и минералог, профессор, ученик Вернадского.

² Штерн Лина Соломоновна (1878 — 1968) — физиолог, академик АН СССР и АМН СССР.

³ Луппол Иван Капитонович (1896 — 1943) — философ и литературовед, академик.

7 февраля.

Вчера весь день лежал — работал и читал. Может быть, такой «отдых» и не вреден. Много читал.

Мне кажется — если доживу, — мои записи вроде этого дневника и моя «Хронология» семьи явятся основой моих «Записок» о пережитом и передуманном.

Сложность жизни все увеличивается. Мы имеем возможности исключительные, и все же трудно. Трудно добывать молоко, и теперь — сливки вместо

него. Приспособила Нюша¹, которая дорабатывает — служит няней в Кремлевской больнице. Должна быть у них на службе утром в 8 часов.

Бездарное, формальное творчество жизни. Но, может быть, в этот <перехватываемый нами> момент необходима внешняя дисциплина.

О занятии <немцами> Финляндии из партийных кругов просачиваются в общественную среду слухи, явно имеющие реальное основание².

¹ Нюша — Прасковья Кирилловна Казакова, домработница, фактически член семьи Вернадского.

² В сентябре 1940 года Германия направила войска в Финляндию, которая рассматривалась, особенно после советско-финской войны, как ее будущий союзник в войне против СССР.

8 февраля. Суббота.

Вчера последний день <моего> лежания, мне кажется, лишний — пересоллил. Годы заставляют считаться, но тут надо вносить индивидуальные поправки.

Одно из <моих> мечтаний — дать биографический очерк Александра Федоровича Лебедева¹. Это одна из моих текущих утопий. Или действительно мне удастся дать мемуары — <представить> картину моего времени в моих записях?

За это время сын — Николай Александрович² — в ссылке, и одновременно пострадала моя Лаборатория — Симорин, Кирсанов³. Невинные люди. Если и были какие-нибудь разговоры — больше те, которые имели реальное значение только с точки зрения «службы» сыщиков, разьедающих и уничтожающих положительную работу именем «тоталитарного государства», резко отличающегося от Германии и Италии тем, что <его> идеалы — лозунги вселенские.

Много читал. Кое-что писал в мою «Хронику».

¹ Лебедев Александр Федорович (1882 — 1936) — почвовед, гидролог, агрофизик. О нем см. в кн.: Перченко Ф. и др. Репрессированные геологи. СПб. 1992.

² Лебедев Николай Александрович — геолог-нефтяник, историк науки, сын А. Ф. Лебедева.

³ Симорин Александр Михайлович (1899 — 1961) — биогеохимик, врач. Кирсанов Анатолий Александрович (1910 — 1937) — физико-химик, геохимик. Сотрудники Биогеохимической лаборатории АН СССР, ученики Вернадского. О них см. в кн.: «Памяти первых российских биогеохимиков». М. 1994.

9 февраля. Воскресенье.

Почти стихийно работаю над «Хронологией». Неужели напишу «Воспоминания»? Может быть, это старческая работа?

1936 год. — Вышел огромный двухтомный сборник статей под заглавием: «Академику В. И. Вернадскому к пятидесятилетию научной и педагогической деятельности». I том 606 стр. Сдан в набор 23.III.1936, подписан к печати 5.IX.1936. — Те же числа и для II-го тома: стр. 607 — 1272. Почетный редактор А. П. Карпинский, президент Академии Наук, разрешение печатать дано Н. П. Горбуновым — Непременным Секретарем <Академии>. Без его согласия сборник не мог бы выйти в свет. <Посвящение:> «Глубокоуважаемому и дорогому Владимиру Ивановичу Вернадскому. — Друзья, ученики и сотрудники».

А. П. Виноградов¹, который организовал сборник, говорил со мною о моем юбилее — я решительно отказался его праздновать, указывая, что я не допустил <празднования> и 25-летнего юбилея. Тогда был издан сборник, и Александр Павлович <этим прецедентом> воспользовался. Я сказал, что при трудностях печатания — многое остается в рукописях — я не могу возражать <против издания сборника>, особенно <тогда>, когда был <издан> сборник 25-летия, когда было гораздо легче печататься.

В этом сборнике помещены статьи и духовно близких мне людей, и чуждых по духу или по характеру работы лиц. Из них были арестованы к сегодняшнему дню: Болдырев, Полюнов (вернулся — постарел и осунулся), Зиль-

берминц, Бруновский (умер в тюрьме; никаких сомнений, что невинны), Федоровский (старый коммунист), Н. Безбородько, В. Аршинов (вернулся, потерял глаз), Г. А. Надсон (умер?) = 8 человек, из них 2 умерли. Сомнение в «виновности» может возбуждать только Федоровский, крупный большевик. Арестован и Горбунов.

Надсон и Горбунов исключены из Академии².

¹ Виноградов Александр Павлович (1895 — 1975) — геолог, геохимик, биогеохимик, академик, ученик Вернадского.

² См. в кн.: «Памяти первых российских биогеохимиков»; Перченко Ф. и др. Указ. соч.; «Репрессированная наука». Вып. 1. М. 1991; Вып. 2. М. 1994.

16 февраля. Воскресенье.

Вчера работал с Аней — диктовал свой доклад о космической пыли для 28 февраля. Как всегда в таких случаях, творчески менял и неожиданно получал выводы, о существовании которых не подозревал. Читая свою статью 1932 года, нашел там выводы, о которых не помнил¹. Решил выдвинуть гипотезу космического облака для Тунгусского метеорита².

Был доктор Владимир Николаевич Блохин, хирург, специалист в определенной области — консультант в Кремлевской больнице. Его вызывали к Наташе. С Блохиным интересный разговор о значении изотопов и радиоактивности <в медицине>. Он говорит, что сейчас перегружен тяжелой работой в связи с подготовкой медицинского персонала к войне. Ему и Институту, где он служит, это главное дело. В объяснениях военных, с которыми им приходится говорить, выясняется, что <нам> придется воевать с победителем <в идущей войне>. Я это считаю правильным, и война, как бы <к ней> ни подходить, поставит вопрос о социальном сдвиге, который так или иначе может привести к революционному — насильственному — социальному перевороту — «лево-му» — в пользу народных масс. Блохин говорит, что паразителен низкий средний научный уровень врачей.

Все ждут от XVIII Конференции <ВКП(б)> стеснений жизни и увеличения чисток — сокращения аппарата и т. п.

¹ Вернадский В. И. Об изучении космической пыли. — «Мироведение», 1932, т. 21, № 5.

² Вернадский В. И. О необходимости организованной научной работы по космической пыли. — «Проблемы Арктики», 1941, № 5.

17 февраля. Понедельник.

Вчера днем был Мих. Ив. Сумгин¹. С ним об организации <изучения космической пыли> через Институт мерзлотоведения, общий разговор о значении космической пыли. Он обещал всю работу Института мерзлотоведения направить в этом направлении.

Очень выражал мне свое отношение к моим работам: «Пашете так глубоко, как никто у нас». Чувствую всегда <в таких случаях> неловкость, хотя ему я безусловно верю, как глубокому, искреннему человеку. Должен был убеждать <его>, что я не философствую и что сейчас философия не идет так глубоко, как наука.

Рассказывал, что около 5 1/2 лет просидел в тюрьме — выпущен больной и ослабленный голодом. Его должны были выслать на 3 1/2 года в Сибирь — призывают его и дают подписать бумагу, что его высылают на три года за границу².

Днем был А. И. Яковлев³. Живой разговор — всегда рад его видеть. Между прочим, <он> часто переходит на французский язык, так как думает, что во многих домах в стенах есть слуховые устройства для подслушивания. Передает, что есть случаи, которые иначе <как подслушиванием> нельзя объяснить. Я думаю, что он пересаливает.

Колхозы все более превращаются — вернее, утверждаются — как форма 2-го крепостного права — с партийцами во главе. Сейчас, <в связи> с раз-ной платой при урожае, выступает социальное неравенство.

Был Анатолий Михайлович Фокин⁴. Рассказывал о двоюродной тете, зажиточной женщине (300 р. в месяц). После 1905 года <она> научилась музыке как <средству> *заработка* в случае будущей революции. «Умные» люди считали <это> чудачеством — но в последнюю революцию она благодаря этому действительно прожила «хорошо».

На Кубани (он из Майкопа) осталась едва 1/3 станиц — жители других частей были выселены. Сейчас кубанцы оказались рыбаками у Белого моря (<рассказывал> Ферсман⁵ при поездке в Кировск).

¹ Сумгин Михаил Иванович (1873 — 1942) — геолог-мерзлотовед.

² См. также дневниковые записи Вернадского 19 апреля 1938 года и 8 октября 1939 года. — «Дружба народов», 1991, № 3; 1992, № 11 — 12.

³ Яковлев Алексей Иванович (1878 — 1951) — историк, член-корр. АН СССР, друг Вернадского.

⁴ Фокин Анатолий Михайлович — геолог, профессор, ученик Вернадского.

⁵ Ферсман Александр Евгеньевич (1883 — 1945) — геолог, геохимик, минералог, историк и популяризатор науки, академик, ученик Вернадского.

19 февраля.

2 декабря 1940 года в Ленинграде неожиданно умер Николай Константинович Кольцов, крупный ученый и сознательный гражданин своей страны¹. Играл до большевистской победы крупную роль в московском обществе. Я с ним сталкивался часто по Высшим Женским Курсам с 1903 до 1911 года. Очень высоко ставил его научную работу, но в значительной мере разное <был с ним> в политическом <отношении>. Он был социал-демократом, но не большевиком. Однако не того направления, как Виппер², <он был> более радикальным. Он вышел в 1911 году <из Московского Университета>, а Виппер остался³.

На Высших Женских Курсах я замечал, что Николай Константинович имел тактический прием выдвигать к концу заседаний самые важные вопросы, которые он проводил под сурдинку, когда все устали. Заметив это, я внимательно следил за ним и выступал в конце, не давая ему употреблять эту тактику. Кажется, он это заметил.

Его первая работа — или одна из первых, где он указывал <на> скелетные образования в клетках, — особенно мною ценилась. Блестящий лектор и превосходный педагог и организатор. Его представление о живом белке мне было всегда чуждо — даже теперь я отношусь более осторожно, чем до 1911 года. Он один из первых ясно оценил правильность моего определения живого вещества как совокупности живых организмов и оттенил <это> в одной из своих статей по биохимии в одном из энциклопедических словарей.

Он был арестован в 1917 году (?)⁴ и судим. В тюрьме он изучал последствия голодания на своем организме. После освобождения — он одно время добился широкой постановки своей научной работы, главным образом в 1920-х годах. Постепенно он столкнулся с официальной схоластической формой левого гегельянства (ленинизм — сталинизм?), и в 1939 году его экспериментальная работа была разрушена. Это — течение мысли, проводимое Филиппенко, Н. Вавиловым и Кольцовым.

В 1939 году его лаборатория была из Наркомздрава переведена в Академию и была фактически разрушена. Ему предлагали сохранить двух научных сотрудников (одна из них — его жена Садовникова (?)⁵) и вести свою работу. Но он отказался. Вся работа по егенике была признана вредной и ненаучной (!). [Но сам Кольцов продолжал работать. Умер внезапно в Ленинграде, его жена на другой день здесь, в Москве, кончила самоубийством]⁶. Это — жертва «философских», по существу, религиозных преследований идеологического характера. Мне кажется, Кольцов стоял в стороне от философии — но был скорее материалистом, а не скептиком. Его социал-демократизм был весь в рамках *свободы* и не перешел в «тоталитаризм» — <форму,> какую приняло большевистское его течение. Для Кольцова свобода мысли и научной работы — основная <слагаемая> счастья.

В. Н. Лебедев⁷ передал мне более точные сведения о его смерти и последних днях — он с ним и дружил, и работал более 30 лет. Гонения на Кольцова начались на идейной почве в связи с его увлечением *евгеникой* (одновременно с Филипченко, который работал в КЕПСе⁸). Эту работу он должен был прекратить. Но работу над генетикой и экспериментальной биологией он вел до последних месяцев. Гонения начались с выступления в «Правде» в 1938 году — при первых больших выборах <в Академию Наук>, где Бах, Келлер и К^о выступили с обвинением Берга и Кольцова⁹.

По поводу «Проблем биогеохимии. — IV. О правизне и левизне». В разговоре со мной 17.II.1941 года А. И. Яковлев (разговор записал), между прочим, указал на роль Вейнберга в Издательстве — образованного, ведущего все дела. Он считает его самым в политическом отношении вредным. По поводу <того>, что в «Проблемах биогеохимии. — IV» <на титуле> стоит: «Ответственный редактор академик В. И. Вернадский» — <это> совершенно исключительное явление, как будто <у нас существует> возможность печатать без цензуры. <Разговор с А. И. Яковлевым> напомнил мне, как это <...>¹⁰.

Ко мне неожиданно явились три лица из Издательства, из которых помню только Вейнберга, с которым у меня был главный разговор. Меня немного удивил их приезд (был, кажется, заведующий Издательством). Я сказал, что я абсолютно не понимаю, в чем дело и почему «правизна — левизна» может возбуждать такое, непонятное мне, политическое сомнение. Вейнберг ответил: «Вы не ошиблись. Если есть правое, то есть и левое». Я ему говорю: «Вот видите, какое это глубокое понятие». Он сказал, что книга выйдет. Она вышла с надписью: «Ответственный редактор академик В. И. Вернадский». Это обратило на себя внимание. Я обратился к Н. Г. Садчикову¹¹, и, очевидно, он приказал.

Издательство умыло руки? И отвело от себя кару?

¹ Кольцов Николай Константинович (1872 — 1940) — биолог, генетик, член-кор. АН СССР, академик ВАСХНИЛ. Многие годы Кольцов и Вернадский находились в дружеских отношениях. См., в частности: Кольцов Н. К. Письма к В. И. Вернадскому. — «Генетика», 1968, № 4. Кольцов скончался в ленинградской гостинице от инфаркта.

² Виппер Роберт Юрьевич (1859 — 1954) — историк, академик, в 1897 — 1922 годах профессор Московского университета.

³ Имеется в виду коллективный выход из Московского университета в 1911 году большой группы профессоров и преподавателей в знак протеста против политики возглавлявшегося Л. А. Кассо Министерства народного просвещения. Среди них были Кольцов и Вернадский.

⁴ Вопросительный знак Вернадского. Н. К. Кольцов был арестован в 1920 году московской ЧК и проходил по делу Тактического центра — антибольшевистской подпольной организации, участники которой нередко собирались на его квартире. С частью других членов организации Кольцов был приговорен Верховным трибуналом к расстрелу. Помилрован решением ВЦИКа.

⁵ Вопросительный знак Вернадского. М. П. Садовникова-Кольцова — биолог, жена Н. К. Кольцова. Вскоре после смерти мужа она покончила жизнь самоубийством.

⁶ Два предложения в квадратных скобках автором зачеркнуты.

⁷ Биолог, сотрудник и друг Н. К. Кольцова.

⁸ К Е П С — Комиссия по изучению естественных производительных сил России (СССР), организатором и председателем которой с 1915 по 1930 год был Вернадский.

⁹ См. запись 12 января 1939 года. — «Дружба народов», 1992, № 11 — 12.

¹⁰ Два слова неразборчивы; по смыслу: «тогда произошло».

¹¹ Начальник Главлита.

20 февраля, утро. Четверг.

Упорно — почти бессознательно — «тянет» работать над хронологией жизни, в аспекте рода моих детей; углубляюсь вглубь (до XVII столетия) и ловлю момент. Наташа помогает — по письмам, остаткам семейного архива, медленно приводимого в порядок. <Происходит это> точно стихийно — неужели напишу «Воспоминания о пережитом», большое значение которых я ярко сознаю. Много видел людей из ряда вон выдающихся, диапазон и научной, и общественной жизни был очень велик.

Газеты переполнены бездарной болтовней XVIII съезда партии. Ни одной живой речи. Поражает убогость и отсутствие живой мысли и одаренности выступающих большевиков. Сильно пала их умственная сила. Собрались чиновники — боящиеся сказать правду. Показывает, мне кажется, большое понижение их умственного и нравственного уровня по сравнению с реальной силой нации. Ни одной почти живой мысли. Ход роста жизни ими не затрагивается. Жизнь идет — сколько это возможно при диктатуре — вне их.

4 марта. Вторник.

Эти ближайшие дни увлечен разбором и выяснением «Хронологии» — моих писем к Наташе 1911 года, ровно 30 лет назад, — год, который сыграл поворотную, еще до революции, роль в моем миропонимании. Я перестал читать лекции и ушел исключительно в научную работу. Работал интенсивно — впрочем, почти так же, как <работаю> теперь.

Вернулся, прогулявшись по Воробьевым <горам> (Можайское шоссе), и затем продолжил «Хронологию». Думаю, что фактически я подготавливаю материал для «Жизненного пути».

9 марта. Москва.

Мы ограничены в наших научных представлениях научной работой прошлых поколений, в рамках которой мы неизбежно идем, на которую мы опираемся и корни которой идут в десятки тысяч лет вглубь от нашей жизни.

С каждым поколением эта зависимость от прошлого упрочняется и логически уточняется. За самые последние поколения мы явно входим в критический период усиления этого процесса, и научная работа становится проявлением геологической работы человечества, создает особое состояние геологической оболочки — биосферы, где сосредоточено живое вещество планеты: биосфера переходит в новое состояние — в *ноосферу*.

13 апреля, утро.

Пережил очередную сердечную спазму, как всегда появляющуюся неожиданно. Пришлось обратиться к врачу (Мар. Ник. Столяровой), пролежать наполовину в постели. Я думаю, что это еще одно из кровоизлияний. Прислушиваясь к себе и к своим внутренним переживаниям, я вижу, что базис жизни неуклонно понижается, но пока не затрагивает мой основной корень сознательной жизни.

Сейчас еще не оправился.

24 апреля, утро. Четверг.

Судьба Тихоновича¹ — судьба тысяч, если не сотен тысяч людей: это общее явление, создающее неудобство жизни в нашей стране, — одно из проявлений гниения государственного аппарата, общественно-политическое явление резко отрицательного характера. Все будущее зависит для России от того, победит ли оно или <победит> ему противоположное — <то> положительное и большое, что у нас делается. — Кто знает? Каковы реальные — нами, к сожалению, не улавливаемые — формы происходящего процесса?

Николай Николаевич — сохранившийся, здоровый старик, мой старый ученик. В последние годы работал как геолог. Сейчас он имеет право жить за районом Москвы. В Москве он имеет комнату в квартире жены — в Черемушках. Служит в тресте.

¹ Тихонович (Тиханович) Николай Николаевич (1872 — 1952) — геолог и минералог, ученик Вернадского, профессор, с 1904 года работал в Геологическом комитете. В 1928 году во время направлявшейся И. М. Губкиным кампании травли Геолкома был арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности», приговорен к расстрелу, замененному 10 годами лагерей. В конце 1939 года возвратился в Москву.

25 апреля, утро. Пятница.

Тихонович кочует для ночевки <в Москве>, обычно спит с кем-нибудь. Иногда много <людей> в комнате. Имея комнату в Черемушках, не может там пока прописаться.

Любопытно, что помощник Берия, к которому он обращался за помощью, — его знакомый и товарищ по заключению в лагерях. Он и в лагере был на особом положении: за ним ходил «штатский», а не солдат, — но он находился на положении заключенного. Тихонович говорит, что он вполне понимает <его> положение, но пока сделать ничего не может.

Растущее недовольство.

Шоферы — «добровольно» — сравнивали свою оплату по предложению Шверника, которое было проведено как будто решением собрания. Никто не решился протестовать. Часть шоферов получала 800 <рублей>, а теперь все будут получать 500. Мой шофер (Николай Никифорович Свережевский) вместо 800 <будет получать> — 500. Примерно пополам. Но с семьей на 500 жить, как жили, — нельзя. А наряду <с этим> Шверник и в <его> окружении получают много. Проведено сразу, без всякой подготовки.

Все непрочно. И полное недоумение о японском пакте¹. Всюду явная подготовка к быстрой войне.

¹ 13 апреля 1941 года во время пребывания японского министра иностранных дел Мацуока в Москве между СССР и Японией был подписан договор о нейтралитете.

26 апреля, утро. Суббота.

Второй день все покрыто снегом, все крыши и улицы. Держится немного ниже нуля. Чрезвычайно поздняя весна.

Физически все-таки чувствую себя не первый сорт. Но мысль работает хорошо.

Уже в XVIII веке надо было покончить с крепостным правом. Узость и вредоносность таких лиц, как Филофей¹ и царская семья, ярко вырисовываются. Настоящая история шла стороной — и пришла к большевизму. Но, в другой форме его, охватило разложение и большевизм: так или иначе, мильоны людей (НКВД) попали в положение *рабов*, и идет развал — все воры в партии и только думают, как бы больше заработать, — действуют вопреки основной идее коммунизма (органическая *свобода*). Наркоматы — их число *все растет* — представляют из себя *живой брак*.

¹ Филофей (Лещинский; 1650 — 1727) — русский религиозный деятель.

27 апреля, утро. Воскресенье.

Вчера сидел дома — не хочу еще выходить пешком, целый день был ремонт машины. Физическое разложение организма медленно, но упорно идет в трех направлениях: глаза (главным образом правый), сердце и нервная система (галлюцинации). И в то же самое время умственный аппарат находится в творческом расцвете.

Утром по делам метеоритным — с Криновым. Подписал к печати 1 и 2 выпуски «Метеоритики», хлопоты об издании которых и само название которых были отчасти мною обязаны Н. П. Горбунову, тогда <бывшему> в полной силе; он грубо был исключен из академиков, когда была уничтожена должность Непременного секретаря — с полным нарушением академического устава.

Но я, конечно, и не смотрю на современное законодательство как на нечто абсолютно стойкое, и для меня оно в такой абстрактной форме не есть даже идейное реальное, каким оно является и к чему как будто шла демократия и парламентаризм. Эта форма не смогла обеспечить основы безбедной и безголодной жизни массы населения — что вполне обеспечено той силой энергии, которой реально владеет человечество

По-видимому, Горбунов находится не в тюрьме, но исключен из партии и занимает какое-то маленькое место в провинции. Но кто знает — человек исчез...¹

Ввиду того, что *мои две статьи о Павлове*² не были допущены цензурой и № «Бюллетеня МОИП» вышел без них, я 25 марта написал жалобу начальнику Главлита Н. Г. Садчикову с жалобой на цензоров и с просьбой о помощи. Вчера секретарь Садчикова известил меня, что статья пропущена, и о том же было извещено Московское Общество Испытателей Природы. К вечеру звонили еще от Садчикова, что они разобрались, в чем дело. На корректуре была надпись Г. Ф. Мирчинка³, что редакция не согласна с высказываниями автора, — но Мирчинк отказался объяснить, в чем не согласна, и цензор Котов подумал, что что-то неладно, тем более что я вице-президент Общества, и задержал статью; <что> теперь Котову разрешено выпустить и что Главлит не видит ничего в статье подозрительного. В экземпляре, мною посланном Садчикову, не было этого примечания Мирчинка, и я просил его мне прочесть — там было сказано просто: не согласна — и баста. Всюду страх, и Мирчинк, и Котов — перестраховщики.

Вчера у меня была Варвара Алекс. Левицкая. В той неразберихе, которая идет сейчас в высшей школе, — она, окончив *картографический* отдел факультета, не находит места — картографы не нужны. Ее хотят послать как топографа в глушь. Узкая специализация сказывается.

Я все более и более убеждаюсь, что главный наш брак — наркомы и другое начальство. Оно ниже среднего уровня, например, научного работника или физического рабочего.

¹ Н. П. Горбунов был расстрелян 7 сентября 1938 года.

² Павлов Алексей Петрович (1854 — 1929) — геолог, палеонтолог, академик, друг, коллега и отчасти учитель Вернадского по Московскому университету (1890 — 1911). Обе статьи Вернадского, посвященные памяти А. П. Павлова, при его жизни не публиковались. Впервые увидели свет в 1988 году. См. в кн.: Вернадский В. И. Труды по истории науки в России. М. 1988.

³ Мирчинк Георгий Федорович (1889 — 1942) — геолог, палеогеограф, академик АН БССР, ответственный секретарь журнала «Бюллетень Московского общества испытателей природы».

30 апреля. Среда.

Вчера написал и послал председателю Комитета Высшей Школы Кафтанову¹ о Личкове². Я требовал пересмотреть дело <Личкова>: его утвердили профессором в Самарканде до 1.1.1942 года и отказали в праве защиты готовой <докторской> диссертации («О геологическом значении рек»), двухтомной <работы>, принятой к защите в Географическом Институте, и требуют сдачи кандидатского экзамена. Письмо написано резко и откровенно. Не знаю, подействует ли это на Кафтанова, — это дубина малообразованная. Типичный современный бракованный нарком.

¹ Кафтанов Сергей Васильевич — химик-технолог, председатель Высшей аттестационной комиссии.

² Личков Борис Леонидович (1888 — 1966) — геолог и философ, ученик и друг Вернадского. Изданы два тома их интереснейшей переписки (к сожалению, с цензурными купюрами). В 30-х годах Личков был репрессирован. С 1934 года работал на строительстве канала Москва — Волга. Вернадский неоднократно хлопотал об облегчении его положения и реабилитации, чего в конечном счете удалось добиться.

1 мая.

Холодный, но прекрасный весенний день.

Я весь под впечатлением моего вмешательства — неожиданно для меня удачного — в судьбу Б. Л. Личкова.

29 апреля написал письмо Кафтанову с просьбой о пересмотре решения о Личкове — письмо конфиденциальное (ввиду <...>¹ на НКВД), но откровен-

ное и резкое в оценке решения ВАК. Вчера днем мне позвонили, как я просил, от Кафтанова и сообщили, что Личкову разрешается защищать диссертацию без <сдачи> кандидатского экзамена и что вопрос о профессуре будет решаться в связи с утверждением <в> степени доктора после диспута. Послал <Личкову> телеграмму и сегодня письмо. Вчера все время находился под влиянием этих событий.

В Президиуме <Академии>, который завален работой с плохим, почти негодным аппаратом, не справляются с делом. Комаров болен. Борисьяк говорит, что он <Комаров> теперь заговаривается. Ужасно жаль — большое это несчастье для Академии. Шмидт, его явный враг, тоже болен — удар? Чудаков честлюбив, но недостаточно образован, и все они трое в ссоре...²

Кончаю *вчерне* пятый выпуск «Биогеохимических проблем». Выйдет целая книжка, и, мне кажется, мне удалось здесь связать ряд явлений по более верному и новому <пути>.

Подписал <в печать> два номера «Метеоритики».

Геологический Институт представляет из себя сейчас крыловский концерт. Маразм.

¹ Одно слово неразборчиво; по смыслу: «ссылки», «указаний».

² В это время академики О. Ю. Шмидт и Е. А. Чудаков были вице-президентами АН СССР, а В. Л. Комаров — президентом.

2 мая, утро. Пятница.

Вчера весь день — как навязчивая идея — <находился> под влиянием моего письма к Кафтанову и его эффекта. Позвонил Щербакову¹, поблагодарил за <его> совет — от себя просить пересмотр дела <Личкова>. Он был совершенно поражен эффектом — никогда этого не бывало. Ответ на 2-ой день! Что менее всего вероятно, <сыграл роль> мой официальный «авторитет». Я не раз сталкивался <с тем>, что в этом отношении я не могу жаловаться.

¹ Щербаков Дмитрий Иванович (1893 — 1966) — геолог и геохимик, академик, ученик Вернадского и Ферсмана.

3 мая. Суббота.

Холодная весна. Утром 3 — 8°.

Вчера днем была Мария Павловна Белая, одна из моих старых работниц по Биогелу¹. Она работала в Петербурге у Н. И. Вавилова над анализом семян ржи, собранных с огромными затратами из всего Союза. Когда мы приступили к работе, то оказалось, что *de facto* из того, что числилось, осталось не много. Огромный научный труд Н. И. Вавилова был уничтожен чиновниками.

Ее братья, украинцы, в ссылке — семья пострадала, дети и т. п. Это одна из характерных черт современного положения. Огромное количество — тысячи, сотни тысяч и миллионы — страдающих невинно людей. Искажается этим путем идеал коммунизма, и состояние нашей страны в мировом аспекте теряет свою моральную силу. Это — язва, которая скажется при первом серьезном столкновении.

¹ Биогел — Биогеохимическая лаборатория АН СССР.

8 мая. Четверг.

Вчера утром занимался с Аней — запущенная текущая работа. Переписка.

В Лаборатории был большой разговор. Вынуждены считаться с партийной «общественностью», которая всецело проникнута полицейским сыском и <полицейскими> способами действия. Это — то разлагающее, которое сказывается

ся на каждом шагу. Несмотря на эту принижающую обстановку, все-таки работа идет сколько возможно.

Очень большое впечатление на меня произвела Ротмистрова (моя ученица по Высшим Женским Курсам начала столетия). Так редко среди женщин — <она> немолодая — встретишь такую глубину и оригинальность мысли. Надо прочесть ее работу.

11 мая. Воскресенье.

Холодный май. Сейчас утро. Ясная солнечная погода и 0° в 7 часов утра.

Любопытной чертой нашего времени являются некоторые неожиданные и непонятные черты организованного невежества — патологическое явление, однако очень глубоко влияющее на жизнь. Два явления здесь бросаются в глаза.

<Первое. — > Запрещение синоптических карт, искажение одно время высоко стоявшей работы Главной физической обсерватории. Не только не печатаются карты — исчезли в работе циклоны и антициклоны. Одно время в «Социалистическом земледелии» — органе Комиссариата земледелия — печатались данные о температуре, дождях и т. д. Не знаю, печатаются ли они и теперь. Трудно достать: в киосках Москвы их почти нет. А между тем, несомненно, для авиации — которая растет — эти данные должны быть.

Но сейчас, мне кажется, мы переживаем какое-то глубокое изменение климата. Опять — второй — резко аномальный год. Холод и дождь. Приезжие с юга ворчат о затруднениях машинного и железнодорожного сообщения. Залито водой — сплошные болота, запоздание поездов.

Второе <явление связано с> географическими картами. Все искажено, и здесь цензура превзошла все когда-то бывшее. Вредители сознательные и бессознательные слились. Оппоков¹ сидит из-за своих исследований Днепра, сделанных до революции. Работы Выржиковского² (сидит) полужаскренены. Дерюгин³ не мог напечатать карт Японского и Охотского морей. Дурак цензор <...>⁴ ему сказал, когда он показал ему опубликованную японскую карту: «А может быть, они нарочно это напечатали, чтобы провести нас?»

Шмидт правильно дал Кулику⁵ нагоняй <за то>, что он недостаточно внимательно отнесся к болиду, наблюдавшемуся под Москвой «членом правительства». Кулик вынужден ехать <на место> сам. При реальных наших условиях — диктатура «правительства» — это неизбежно.

Начинаю думать, что моя «Хронология» — ценный материал для моих «Воспоминаний», которые, может быть, еще придется написать, — если придется прожить несколько лет.

Днем Аня прочла мою статью о Гёте. Вероятно, опять придется столкнуться с дурацкой невежественной цензурой.

Третьего дня <был> у Авербаха (мой «ученик» 1890 года!)⁶. Осмотрели <глаза> со всеми приборами. А вчера — у Бакулева⁷. Ясно, что современная медицина бессильна в этой области. Авербах говорит, что для моего возраста — у меня глаза прекрасные, а Бакулев ворчал, что изменения так глубоки, что никакие очки не помогут, а о биноклях они ничего не знают. Медицинское стекло очень плохое, и врачи не могут добиться, чтобы на это обратили внимание. Всюду — брак.

¹ Оппоков Евгений Владимирович (1869 — 1937) — гидролог, гидрогеолог, академик АН УССР.

² Выржиковский Роман Романович (1891 — 1938) — геолог, гидрогеолог, работал в Украинском отделении Геологического комитета.

³ Дерюгин Константин Михайлович (1878 — 1938) — зоолог и гидробиолог.

⁴ Два слова неразборчивы.

⁵ Кулик Леонид Алексеевич (1883 — 1942) — геолог и метеоритик, ученый секретарь Комитета по метеоритам, ученик Вернадского.

⁶ Авербах Михаил Иосифович (1872 — 1944) — офтальмолог, академик, в 1895 году окончил Московский университет, где в то время на медицинском факультете вел занятия Вернадский.

⁷ Бакулев Александр Николаевич (1890 — 1967) — известный хирург.

12 мая. Понедельник.

Статью о Гёте принял для печати Струмилин¹, председатель Комиссии по истории науки и техники. В сложной, полной интриг, политических и личных интересов <обстановке> (причем и коммунисты попали в разные группы) образовались две комиссии: «Научное Наследство» (<председатель —> Комаров, куда и я попал) и Комиссия по истории науки и техники, которая прошла среди интриг и непонятных махинаций. Струмилин — вполне порядочный человек и добрый, идейный, хороший.

Вчера видел много народа. Никуда не выходил. Холодно и неуютно. Работал над «Хронологией» и много читал.

Утром приходил начать писать мой портрет художник Ростислав Николаевич Барт — от Ферсмана, по инициативе которого я согласился. Я хотел бы, если бы <портрет> оказался хороший, послать <его> Танечке².

¹ Струмилин Станислав Густавович (1877 — 1974) — экономист, статистик, историк науки и техники, академик.

² Танечка — Толль Татьяна Николаевна (р. 1929), внучка Вернадского, живет в США.

14 мая. Среда.

Третьего дня интересный разговор с Валентином Трофимовичем Малышковым¹. С ним я и Лаборатория уже несколько лет поддерживаем научный контакт. Он завален текущей, во многом ненужной работой. Никак не может обработать огромного материала химического анализа нефтяных вод. Теперь как будто это сделает. Убеждение о подземной жизни у него наконец складывается.

В Баку сильно ухудшились условия жизни. Все привозное — всего не хватает. Еще — войска.

Жалуются на рознь азербайджанцев с русскими — стремление всех заместить местными. Его и тому подобных людей, выдающихся и нужных, не трогают — но замещение местным человеком каждой вакансии, часто в ущерб возможному лучшему русскому кандидату, <встречается> на каждом шагу.

Это естественно, и, по-моему, выход один <для достижения того>, когда этого не будет: русский должен свободно владеть местным языком — и понимать ее <нации> культуру.

¹ Бакинский геолог-нефтяник.

16 мая. Пятница.

Был у О. Ю. Шмидта. С ним разговор по вопросу об *уране* и о прекращении работ в Табошарском <месторождении>. Он сказал, чтобы В. Г. Хлопин¹ прислал <данные о месторождении>, прежде чем обращаться *лично* — например, мне — к Сталину. Между прочим, я ему указал, что сейчас обструкция у физиков (Иоффе, С. Вавилов — я не называл лиц): они направляют все усилия на изучение атомного ядра и его теории, и здесь (например, Капица, Ландау) делается много важного — но жизнь требует <развития> рудно-химического направления. Я ему напомнил, что наши физики остались в исторически важный момент при создании учения о радиоактивности в стороне от мирового движения и теперь <история> повторяется. Тогда, может быть, <сыграла свою отрицательную роль> ранняя смерть П. Н. Лебедева — а вступившие <после него> не имели нужного авторитета. Ведь ненормально, что я, не физик, организовал Радиевый институт.

¹ Хлопин Виталий Григорьевич (1890 — 1950) — радиолог и радиохимик, академик, ученик Вернадского.

17 мая. Утро. Суббота.

Вчера утром умер Иван¹. Так мы с ним и не увиделись. Он хотел приехать, и надо было бы перед уходом из жизни повидаться.

Все построения — религиозные и философские — о смерти являются сложными концепциями, в которых научно реальное, вероятно, едва сказывается, — а научная мысль еще не подошла даже к первым построениям.

Станным образом, я подхожу к идее, что атомы — изотопы — иные в живом и косном. Это во-первых, и, во-вторых, ясно, что: 1) все живое, от мельчайшей бактерии и амебы и до человека, — единое, 2) что материально оно отличается от всех косных природных тел мироздания — поскольку мы его знаем. Я думаю, что различие кроется глубже, чем в физико-химических свойствах (которые одинаковы), но в состояниях пространства-времени. 3) Мы не знаем еще многого основного: есть неизвестные нам свойства человека, которые затронуты, по-видимому, индийскими мыслителями, и мы не знаем, какие процессы были или есть в природе — на Земле, в частности, — которые отвечают созданию пространства-времени, отвечающего живому организму. 4) Возможно, что жизнь — живой организм в отличие от всего, в природе существующего, отличается *атомами*. Идея Лукашевича² имеет прочные основания. 5) Это явление космическое. В Космосе Солнечная система заняла особое положение в Галактике — около <ее> центра.

Николай Павлович Анциферов³ звонил мне, что он недавно видел Ивана — он <был> бодрый, собирался к нам в ближайшее время. Умер внезапно. Был христианином с мистическим оттенком — глубже понимал христианство, чем, например, Шики-Шаховские. Думаю, Георгий мой⁴ к его настроениям близок.

Была вчера Екатерина Николаевна Котляревская-Орлова⁵. Страдает за мужа. Грубое отношение меркуловских молодцов к семьям пострадавших. Изысканная жестокость, <...>⁶ опасное семья.

Никогда в последнее время не было такого интереса к внешней политике — как «бегство» Гесса. Все считают, что это переговоры Германии с Англией за наш счет. Говорят, что немецкие войска <находятся> на <нашей> границе. Думают, что они с нами не будут церемониться — и пустят в действие газы.

И в то же время ослабление — умственное — Коммунистического Центра, нелепые действия властей (мошенники и воры проникли в партию), грозный рост недовольства, все растущий. «Любовь» к Сталину — есть фикция, которой никто не верит.

Будущее чревато <неожиданностями>. Я уверен в силе русского (украинского и т. п.) народа. Он устоит.

¹ Друг Вернадского, историк-медиевист Иван Михайлович Гревс скончался в Ленинграде 16 мая 1941 года.

² Лукашевич Юзеф (Иосиф Дементьевич; 1863 — 1928) — геолог, революционер, друг Вернадского по Петербургскому университету.

³ Анциферов Николай Павлович (1889 — 1958) — культуролог, историк, литературовед, ученик И. М. Гревса.

⁴ Сын Вернадского, историк Георгий Владимирович Вернадский, проживал в США. См. дневниковую запись Вернадского 7 января 1939 года. — «Дружба народов», 1992, № 11 — 12.

⁵ Жена арестованного в 1938 году историка и юриста С. А. Котляревского.

⁶ Одно слово неразборчиво; по смыслу: «заронено», «посеяно».

18 мая. Воскресенье.

Мысль об Иване — все время. Последний (и самый старый по возрасту) из нашего Братства¹ ушел, полный сил умственных. Тяжелые и хорошие переживания нас связывали теснейшим образом — его и Машу², меня и Наташу. Неожиданно для меня все тяжелое забыто и в корне <переосмыслено>. Иван здесь играл пассивную роль — страдающего. Это явно указывает, что с точки зрения истины — как она сейчас выработана человечеством — это тяжелое переживание (грех) — *второстепенно*.

Иван должен был приехать к нам на днях. Фатум древних резко сказался в жизни нашего Братства, характерным для которого были его интимность и

<...>³ большой организованности. Попали в такой мировой катастрофический период, который многое во всем происходящем объясняет.

Надо сохранить архив Ивана.

¹ Братство — возникший в 1886 году дружеский кружок выпускников Петербургского университета, в который входили ставшие впоследствии крупными учеными и общественными деятелями В. И. Вернадский, Д. И. Шаховской, С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбурги, А. Н. Краснов, И. М. Гревс и другие.

² Маша — Гревс (Зарудная) Мария Сергеевна (1860 — 1941), выпускница Бестужевских высших женских курсов, педагог, общественный деятель, двоюродная сестра Н. Е. Вернадской (Старицкой), жена И. М. Гревса.

³ Одно слово неразборчиво; по смыслу: «понимание», «стремление к».

19 мая. Понедельник.

Читал с большим интересом книгу Rauschnig'a о Гитлере. А. И. Яковлев считает — мне кажется, ошибочно, — что за Гитлером <стоят> настоящие хозяева — генералы. Все, что пришлось слышать за границей, говорит обратное.

Большое возбуждение вызывает бегство или поездка Гесса в Англию. Рассказывают о возможности войны с Германией. Официальные влиятельные круги скорее ближе к английской ориентации. Я боюсь, что официальная лезть и пресмыкательство ЦК партии принимает за реальность. А между тем грозно всюду идет недовольство, и власть, окруженная морально и идейно более слабой, чем беспартийная, массой, может оторваться от реальности. *Две фигуры: Сталин и Молотов — остальное <...>*¹.

Большинство думает, что мы и наша армия не можем бороться с немецкой <армией>.

Я думаю, что в конце концов немцы не справятся <с нами> — но фикция революционности, которая у нас существует, где две жандармские армии и мильоны каторжников (в том числе цвет нации), не может дать устойчивости.

Получил от Георгия вырезку: огромные успехи в Америке с новым циклотроном, перед которым пасуют все больше <циклотроны>, у нас еще строящиеся.

При великолепном, в общем, людском материале, возможность их <научных работников> проявления <очень ограничена> — *методика не на высоте*.

¹ Одно слово неразборчиво; по смыслу: «серое», «ординарное».

20 мая. Узкое¹.

Сегодня приехали к 2 часам дня в Узкое. Дожливый холодный день.

Сегодня получили от Ниночки² старые письма от 22 — 23 марта — о той поразительной перемене, которая произошла с Танечкой, когда ей позволили писать левой рукой³.

7.IV.1941 года — письмо Степанову⁴ в связи с реконструкцией Геологического Института Академии Наук. Нездоровье не позволяет лично присутствовать при обсуждении <на Президиуме этого вопроса>. В сущности, эта организация Института введена в 1938 году распоряжением Кагановича (как бы постановлением <Академии>). Маразм научной работы при наличии талантливых и работающих людей — явно благодаря гниению центра, который в XX веке организован, как при царе Алексее Михайловиче. Добился малого — если добился. Безответственная роль партийной организации из молодежи, фактически схватившей только верхи и этого не сознающей и в то же время все усилия которой направлены на «лучшую» жизнь — на всяческое получение денег. Кашкины, Коневы и т. п. <партийцы> представляют организацию в организации и в значительной мере искажают структуру Академии. Один, как покойный Архангельский⁵, из мелкого честолюбия пытался этим воспользоваться — А. Е. <Ферсман> из боязни, так как ему не верят, и не-

уменья выбирать людей менее сознательно шел на недопустимые компромиссы. Жизнь вносит поправки, но с опозданием. Чувство гниения направляющих центров.

5.V.1941 года *Сталин* стал *председателем Совнаркома*, Молотов — его заместителем. Личная диктатура выявилась наружу. Говорят, он вылечился.

¹ Узкое — академический дом отдыха (санаторий) под Москвой, в настоящее время в черте города.

² Ниночка — дочь Вернадского Нина Владимировна Вернадская-Голль, проживала в США. См. дневниковую запись Вернадского 7 января 1939 года. — «Дружба народов», 1992, № 11 — 12.

³ В письмах к отцу Н. В. Вернадская-Голль сообщала, что ее дочь Татьяна оказалась левой от рождения, о чем первоначально родители не подозревали, воспитывая ее, как обычного ребенка, в правостороннем «рабочем пространстве». Это отрицательно сказалось на ее психическом развитии, успеваемости в школе. Одним из толчков, побудивших родителей постепенно перевести дочь в «левостороннее пространство», стало учение Вернадского о резко дисимметрической пространственно-временной организации живых организмов, включая человека. Позитивные результаты этой переориентации оказались очень впечатляющими.

⁴ Степанов Павел Иванович (1880 — 1947) — геолог, академик, с 1939 года руководитель угольной группы в Институте геологических наук, академик-секретарь Отделения геолого-географических наук, член президиума АН СССР.

⁵ Архангельский Андрей Дмитриевич (1879 — 1940) — геолог, академик.

21 мая, утро. Узкое.

Холодное, ветренное, но солнечное утро. Санатория почти пустая. В санатории нет градусника — еще не повесили! Это повторяется каждый год.

Написал три открытки Ниночке в связи с ее интересными письмами о Танечке: левша — и резкое изменение в ее поведении и способностях.

Чем более думаю, тем более убеждаюсь, что я правильно охватил левизну-правизну, охватил явление: разное состояние пространства в живом и косном. Это — явления новообразований состояний пространства, неизученное реальное явление в истории нашей планеты и, очевидно, мироздания.

Надо добиться четкого письма — следить за собой¹.

Здесь — бывший мой слушатель — «средний» студент, по его словам, — жизнь которого была разбита *fatum*'ом, — Иван Иванович Мельников².

¹ С середины 1930-х годов превосходный ранее почерк Владимира Ивановича стал резко меняться в худшую сторону, что отразилось также и на дневниковых записях, в ряде случаев с трудом поддающихся расшифровке.

² Геолог, минералог, ученик Вернадского.

24 мая. Узкое.

Немедленно по утверждению меня Головой Украинской Академии Наук¹ я вышел из Конституционно-демократической партии и ее Центрального Комитета². Во всех киевских газетах появилось мое мотивированное письмо об этом. Я мотивировал это тем, что считаю президентство в Академии Наук несовместимым с политической деятельностью. Такое же письмо я отправил в Киевский комитет Конституционно-демократической партии. Секретарем его была тогда сестра Луначарского, симпатичная и умная женщина. Она позже перешла в партию большевиков, говорят. Я тогда уже потерял ее из виду.

Когда в 1922 году я уехал в Прагу, там я заявил об этом князю П. Д. Долгорукову³, и помню, раз рядом в комнате заседал Центральный Комитет Конституционно-демократической партии: я отказался прийти.

Этот выход не был только следствием этой формальной причины. У меня уже <тогда>, когда я был во Временном правительстве⁴, я глубоко был не согласен с правительством князя Львова, не говоря о Керенском. Считал ошибочной всю тактику <кадетов>. Деятельность кадетов во время междоусобной

войны у Деникина окончательно меня <от них> оттолкнула — и в земельном, и в национальном вопросах.

¹ Президентом Украинской академии наук В. И. Вернадский был избран в октябре 1918 года. Подробнее см. в кн.: Сытник К. М. и др. В. И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. Киев. 1988.

² Членом ЦК Конституционно-демократической партии В. И. Вернадский избирался неизменно с основания партии в октябре 1905 года. Подробнее см.: Волков В. П. Кадет Вернадский. — «Нева», 1992, № 11 — 12.

³ Долгоруков Павел Дмитриевич (1866 — 1927) — политический деятель, литератор и публицист, один из лидеров Конституционно-демократической партии.

⁴ В 1917 году во Временном правительстве Вернадский занимал посты председателя Ученого сельскохозяйственного комитета Министерства земледелия, товарища министра народного просвещения.

27 мая. Узкое.

В записке 17.II.1932 года, поданной В. М. Молотову, я писал: «Больше года назад я обратился через Академию Наук в Ученый Комитет при ЦИК с ходатайством о моей заграничной командировке на год. Это мое ходатайство рассматривалось по неизвестной мне причине в особом порядке».

Второй раз писал Сталину о заграничной командировке, по совету Луначарского. Я упомянул о том, что пишу ему по совету Луначарского.

Луначарский говорил мне, что он получил выговор <от> Сталина — как же я могу вмешиваться в эти дела, беспартийный. Мне кажется, с 1930 года в партийной среде впервые осознали силу Сталина — он становится диктатором. Разговор со Сталиным произвел тогда на Луначарского большое впечатление, которое он не скрывал.

28 мая. Узкое.

1932 год. — На Украине голод. Он произведен распоряжениями центральной власти — не сознательно, но бездарностью властей. Доходило до людоедства¹. В конце концов местная украинская власть оказалась бессильной. Кончилось самоубийством Скрыпника² — хотя украинское правительство исполняло веления Москвы. Крестьяне бежали в Москву, в Питер — много детей вымерло. В то же время в связи с неприятием колхозов (Второе (народное) Крепостное Право — Всесоюзная (народная) Коммунистическая Партия) <последовали репрессии>. Л. Н. Яснопольский³ бежал из Киева от голода в Москву.

В феврале 1932 года я так и не мог видеть Молотова, так как он сидел целые дни и вечера в связи с какими-то происходящими в это время аграрными преобразованиями. Мне кажется, в это время шла какая-то большая работа по учету колхозов и совхозов?

В это время Молотов только принял Гамова⁴, который его обманул и не вернулся. Молотов был тогда еще homo novus и только приобретал влияние. Я встретил Гамова в Париже, и он сразу — в разговорах и поступках — ясно выступал, открыто говорил об условиях нашей жизни — о терроре и бестолочи. Гамов имел большой успех как ученый своими мировыми <работами>.

В конце концов Молотов поручил мое дело Куйбышеву, который прочел мою записку, и в связи с этим я имел с ним короткий разговор. Впечатление от него было скорее благоприятное. Очень <был> любезен. «Зачем же Вы хотите уехать?» — <спросил он>. Я ему сказал, что они заставляют меня уехать, так как здесь — без заграничных командировок — я не могу иметь нужных для меня условий научной работы. Я желаю этого избежать, так как работа, которую я здесь веду, мне дорога и ломать ее я не хотел бы. «Вы меня заставляете <уехать>, — говорил я, — не давая возможности вести основную мою работу, которой я, как ученый, жертвовать не могу и где я дошел до больших обобщений».

Куйбышев, который произвел на меня впечатление порядочного человека, заявил мне, что я могу ехать, но он просил меня пробить <в Москве> еще несколько дней и принять участие в *Совещании по гелию*, которое на днях <должно было> состояться в Кремле под его председательством.

Я согласился, конечно. Еще 3 — 4 дня пришлось ждать. Перед этим я был на гелиевом Совещании в Госплане (под председательством Сыромолотова, одного из убийц царской семьи⁵). В этом совещании мне пришлось выступить. Совещание <было> беспорядочное. Я выступил с указанием необходимости снять засекречивание, считая, что это позволяет работать хуже, без критики, и фактически дело не двигается. Как будто и Сыромолотов <меня> поддерживал.

Возвращаясь к куйбышевскому совещанию, я увидел там многих из тех лиц, которые были немного недель тому назад в Госплане. Мое появление произвело сенсацию; но кроме них здесь было много важных чиновников и дельцов, среди которых огромное большинство были евреи, мне незнакомые. Некоторые из них держали себя комично важно. Один из них (фамилию которого не помню) погиб во время воздушной катастрофы — какой-то заместитель наркома. Я здесь защищал ту же точку зрения о необходимости гласности в вопросе о гелии, указывая, что при отсутствии критики работа идет неизбежно ухудшаясь и сводится на нет. В заключительном слове Куйбышев присоединился к моему мнению, но ничего из этого не вышло.

Я помню, что в 1932 — 1933 <годах>, когда я был за границей, меня поразило в заграничной эмигрантской печати малое влияние, которое в ней занимал голод <в нашей стране>. И близкие мне <люди> этого не сознавали. Иностранцы корреспонденты в Москве указали на это много позже.

Перед отъездом из-за границы я получил трогательное прощальное письмо от Фед. Изм. Родичева⁶. Он как бы сознавал, что мы <больше> не увидимся. Не знаю, вывезла ли Ниночка тот архив, который мы оставили у нее в Праге, когда уезжали в Россию, когда она переехала в Америку⁷.

Когда мы приехали в Прагу, незадолго перед этим умерла Анастасия Сергеевна Петрункевич — один из наших друзей, наиболее близких и дорогих. Иван Ильич <Петрункевич> умер раньше. Есть его «Записки» (и у меня) — интересные⁸. Надеюсь, сохранилась наша переписка с Анастасией Сергеевной. Я думаю — так мне тогда казалось, и я как-то говорил об этом с Иваном Ильичом, — что у Анастасии Сергеевны — эпистолярный талант.

¹ По оценкам украинского ОГПУ, только за первые четыре с половиной месяца 1933 года на Украине было зафиксировано 2500 случаев людоедства, за это же время от голода умерло около 2,5 млн. человек. Как теперь установлено, голод помимо Украины охватил территорию Кубани и Ростовской области и был сознательно организован Сталиным и его кликой с целью окончательно сломить сопротивление крестьянства южных районов СССР насильственной коллективизацией. См.: Максудов Сергей. Потери населения СССР в годы коллективизации. «Звенья». Вып. I. М. 1991; Капелюшный Леонид. Голодомор. — «Известия», 3.7.93.

² Скрыпник Николай Алексеевич (1872 — 1933) — революционер-большевик, государственный и партийный деятель, член ЦК ВКП(б). С февраля 1933 года заместитель председателя СНК и председатель Госплана Украины, один из главных противников антикрестьянской и антиукраинской политики Сталина. В июле 1933 года, доведенный до отчаяния, покончил жизнь самоубийством.

³ Яснопольский Леонид Николаевич (1873 — 1957) — экономист, академик АН УССР.

⁴ Гамов Джордж (Георгий Антонович; 1904 — 1968) — русско-американский физик, космолог, генетик, член-корр. АН СССР (избранный по представлению также и Вернадского), в 1933 году эмигрировал сначала во Францию, затем в Англию. С 1934 года — в США.

⁵ Сыромолотов Федор Федорович (1877 — 1949) — горный инженер, революционер-большевик. Когда 12 июля 1918 года на заседании Уралсовета в Екатеринбурге решался вопрос, как быть с царем, Сыромолотов был среди тех, кто требовал его немедленного расстрела.

⁶ Родичев Федор Измаилович (1854 — 1933) — общественный деятель, публицист, один из лидеров Конституционно-демократической партии, член Государственной думы всех созывов, после Октябрьского переворота — в эмиграции.

⁷ Свою последнюю поездку по странам Европы В. И. и Н. Е. Вернадские предприняли в 1936 году. Н. В. Вернадская-Толль из Чехословакии в США выехала с семьей в 1938 году.

⁸ Петрункевич Иван Ильич (1843 — 1928) — общественный деятель, публицист, один из лидеров Конституционно-демократической партии, после Октябрьского переворота — в эмиграции. Петрункевич Анастасия Сергеевна — жена И. И. Петрункевича. Здесь имеются в виду изданные за рубежом «Записки общественного деятеля» Петрункевича, хранящиеся в личной библиотеке Вернадского.

30 мая. Пятница. Узкое.

Вчера — начало сессии Общего Собрания <Академии Наук>.

К моему удивлению, она интересная, хотя организована — в смысле демонстрации — плохо.

Мои глаза и уши явно ухудшились. И меня поразило резкое изменение — явное старение — моих сверстников и даже более молодых, чем я: резко постарели, явно сдали за прошлый год академики Ферсман, Прянишников, Шмидт, Бах, Фаворский, Ляпунов, Щербатский и другие.

В самую последнюю минуту — очевидно, <вмешался> Сталин (?)¹ — произошло изменение тематики: выдвинуты проблемы организованного срочного поднятия плодородия, урожаев. Уже в толпе, входя в зал, я встретился, мне кажется, с Лискуном², которого давно — года два — не видел; он постарел и потолстел. Он мне сказал: «А Ваша Академия поставила наш вопрос — вопрос урожаев». Я спросил: «Что же — совместная работа?» Он сказал: «Да неизвестно — может быть, слияние». Потом я его не видел.

Открывая заседание, Шмидт сказал, что общий плановый доклад сделает Прянишников³, который подготовился — хотя раньше думал, что не успеет.

Его доклад очень интересен — расчет на 15 лет; в основе — <упор> на скотоводство (навоз) и на химизацию. Для меня ясно, что это — если осуществится — будет иметь решающее <значение>. Точки над *i* поставил Варга⁴: через 15 лет — *даровой хлеб для всех граждан*. Он указал и на огромное политическое значение этого достижения. На меня это произвело огромное впечатление. Возражал Прянишникову Лысенко — очень мало и слабо, — против клевера.

Но я решил двинуть *радиевое удобрение* — надо переговорить с Виноградовым, Барановым⁵, Хлопиным. Надо попытаться поставить этот вопрос реально — как задачу дня.

Был доклад Бу...⁶, внешне небезынтересный, но весь проникнутый фальшью и всем официальным лакейством. Понимаю отношение Прянишникова к этому ученику Вильямса⁷.

Для меня очень интересны <были> разговоры с Николаем Дмитриевичем Папалекси⁸. Он, с которым вместе ездили на заседание, <говорили> о космической пыли, ионосфере. Надо привлечь его в Метеоритный Комитет.

¹ Вопросительный знак Вернадского.

² Лискун Ефим Федотович (1873 — 1958) — животновод и зоотехник.

³ Прянишников Дмитрий Николаевич (1865 — 1948) — агрохимик, биохимик, физиолог, академик АН СССР и ВАСХНИЛ, друг Вернадского, принципиальный противник Т. Д. Лысенко и его агробиологического «учения».

⁴ Варга Евгений Самуилович (1879 — 1964) — экономист, академик.

⁵ Баранов Владимир Ильич — геофизик, радиолог и радиолог, ученик Вернадского.

⁶ Бушинский Владимир Петрович (1885 — 1960), почвовед, член-корр. АН СССР, академик ВАСХНИЛ, ученик В. Р. Вильямса.

⁷ Вильямс Василий Робертович (1863 — 1939) — почвовед, академик АН СССР.

⁸ Папалекси Николай Дмитриевич (1880 — 1947) — физик, академик.

31 мая. Узкое.

Малая Советская Энциклопедия. 2-ое изд. Том 2-ой. Москва. ОГИЗ. 1934 г. Стр. 375:

«Вернадский В. И. (Род. 1863) — академик, минералог, геохимик и кристаллограф, один из основателей новой научной дисциплины — геохимии и генетической школы в минералогии. Наиболее крупные работы В.: «Опыт описательной минералогии», «Очерки геохимии», «Биосфера», «История минералов земной коры» и др. Участвовал в борьбе высшей школы со старым режимом. По своему мировоззрению — сторонник идеалистической философии. В научных работах В. проводит идеи «нейтрализма» науки, выступает в защиту религии, мистики, исконности жизни и живой материи и ряда виталистических антиматериалистических концепций, отрицающая материалистическую диалектику».

Мне говорил С. Ф. Ольденбург, что биографический очерк, составленный в Большой Энциклопедии А. Е. Ферсманом, явился одним из инкриминируемых, когда была в 1930-х годах изменена редакция Большой Энциклопедии.

Мое выступление в защиту религии: я ставлю или ставил сознательно на равное место философию, науку, религию. Это раздражает. Как-то Лузин¹ мне предложил вопрос — религиозен ли я? Я ответил положительно. Но я не вижу <в мире> проявлений Бога и думаю, что это представление вошло в человечество не научным путем и явилось следствием неправильного толкования окружающей нас природы (биосферы и видимого и осязаемого космоса). Элемент веры есть и в большевизме. Мистика мне чужда, но я сознаю, что нам неизвестны огромные области сознания, доступные, однако, до конца научному, поколениями длающемуся исканию. Я давно не христианин и все высказывания диалектиков-материалистов считаю в значительной мере «религией» — философской, но для меня ясно противоречащей даже современной науке. «Сознание» — «мысль» — в атомистическом аспекте связано с определенными изотопами. Метампсихоз² в этом отношении — дальше идти нельзя пока — допустим, но едва ли можно думать, что *личность* <после смерти> сохраняется. Гилюзоистический пантеизм, может быть, одна из форм будущих религиозно-философских исканий. От витализма я так же далек, как от материализма. Думаю, что живое отличается от мертвого другим *состоянием пространства*. Это все доступно научному исканию. Может быть, наибольшее понимание дает для отдельного человека не наука его времени, а мир звуков — музыка.

¹ Лузин Николай Николаевич (1883 — 1950) — математик, академик, друг Вернадского.

² Метампсихоз — религиозно-мифологическое и философское учение о переселении душ.

1 июня. Воскресенье. Узкое.

29 — 31 мая *Общее Собрание Академии Наук*, в котором подняты общие вопросы, частью заставившие меня задуматься над темами работы своей и Лаборатории и выступить принципиально, что я делаю редко. В этой сессии подняты основные вопросы — и научно-государственные, и вопросы организации самой Академии.

Очень поразило и поражает меня явное ослабление и старение Академии. Чаплыгин¹ страшно поддался и трогательно нежен со мной. Приходится доживающим <свой век> переживать трагедию жизни — ее «загадку» — в грубой форме быстрого исчезновения того *поколения*, к которому относишься. Их еще много — от 70 до 80 <лет>, но они быстро исчезают. Если проживешь еще 10 лет, это будет менее осязаемо, так как их меньше осталось и уходят они из жизни медленнее — так будет казаться.

Академия это очень чувствует: Президиум из Комарова, Шмидта, Чудакова — все серьезно больны. Мне кажется, у Комарова и Шмидта — <был> удар. От этого не оправляются, и люди, так заболевшие, не могут вести такую ответственную работу без вреда для себя и для Академии. Но нет путей из этого выйти, едва ли они из личных или идейных соображений уйдут сами. На это у них нет сил — люди все честолюбивые.

Грубое постановление Президиума об Институте по экономике. Это все наследие Коммунистической Академии. Там всегда был, в общем, резко более низкий научный уровень и всегда был дележ пирога и чисто буржуазное желание больше зарабатывать — <это> так характерно для партийных работников Академии, для «секретарей» (как говорил покойный Сушкин²: «Ученые коты — могут рассуждать только от печки»). Мы все это видим и знаем — в академической среде партийный состав среди научного персонала явно ниже <беспартийных>. Интриги — характерное явление среди партийцев, к сожалению и к огромному вреду для государства. Мне кажется, морально и интеллектуально партия ослабела. Это было видно и сегодня, когда Ярославский возражал (очень неудачно и слабо) Капице.

Прения были интересны. Первым выступил я — совершенно неожиданно <для себя>.

Я указал, что в своем плане организации научной работы Президиум не коснулся того, что нам нужно. Он хочет руководить и контролировать нашу работу, тогда как об основных данных, необходимых для работы, он не заботится. Так, большинство наших помещений никуда не годятся, так как переезд учреждений Академии Наук <из Ленинграда в Москву> семь лет назад был временный — мы приехали и поместились в негодных помещениях. Нельзя с этим мириться.

Еще хуже — если <это> возможно с оборудованием. Всем ясно — и это учитывается, — что современный завод или фабрика требуют прежде всего соответствующего для их целей здания. В плохих помещениях можно оставаться только временно. Но еще важнее — отсутствие научных приборов или долгодетия их постройки. У нас годами строятся циклотроны, которые в Америке и, по-видимому, Японии строятся месяцами. До сих пор у нас один циклотрон, построенный в 1939 году в бытность мою директором Радиевого Института. У нас нет ни одного масс-спектрографа, который <впервые за рубежом> был построен 30 лет назад, — у нас они построены, но не используются. Когда мы три года назад начали его строить в нашей Лаборатории, то модель этого московского масс-спектрографа мы видели и пользовались советами ее строителя профессора Яковлева. Нам отказали в покупке масс-спектрографа за границей, без которого нельзя работать по изотопам; нам дали деньги — достаточно — и материалы, которые мы доставали с трудом. Мастера могли работать в свободное время за большую оплату своего труда. Работа была всякая заторможена. Мы нашли талантливого конструктора и в этом году надеялись <построить> два масс-спектрографа. В 1940 году Нир в Америке упростил <масс-спектрограф> для легких элементов, а затем доделал большой <масс-спектрограф> Бэнбридж. То же американский. Но прошло три года — и наша работа стоит.

Сейчас поставлена проблема урана как источника энергии — реальной, технической, которая может перевернуть всю техническую мощь человечества. Я начал работать в области радиоактивности почти сейчас же после <ее> открытия — больше 30 лет назад, и ясно вижу, что это движение не остановится. Но у нас идут споры — физики направляют внимание на теорию ядра, а не на ту прямую задачу, которая стоит перед физико-химиками и геохимиками, — выделение изотопа-235 из урана. Здесь нужно идти теорией, немедленно проверяя <ее> опытом. Начал работать большой циклотрон в Калифорнии, и сразу мы получили новые и неожиданные для всякой теории результаты: во-первых, по указанию американской прессы, удалось разбить урановое ядро так, что получается почти только <изотоп->235, и, во-вторых, <азот> № 14 переведен в радиоактивный углерод C¹⁴. Этот тяжелый углерод живет тысячу — по-видимому, больше — лет, и <он> радиоактивен. Это открытие огромного теоретического значения. Не отрицая, конечно, значения теории, я считаю, что сейчас не она должна привлекать к себе наше внимание — а опыт и новые нужные для этого приборы. Теория ограничена посылками — а сейчас здесь природные явления и опыт могут и действительно расширяют <...>³.

¹ Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869 — 1942) — математик, физик-механик, академик, друг Вернадского.

² Сушкин Петр Петрович (1868 — 1928) — зоолог, академик.

³ Фраза не окончена; возможный вариант: «расширяют научные представления человечества».

12 июня. Четверг. Узкое.

Несколько дней не писал.

Погода со вчерашнего, третьего дня улучшилась резко. Тепло. Садовый мир проснулся, и лето вступает в свои права. — Обычное явление аномалии? Или проявление геологического <изменения> погоды?

Читал Ненгам'а «Lenin» (1937). Многое для меня интересного. Пережил опять время моей молодости — студенческие годы, Шевырев¹, Лукашевич, Александр Ильич Ульянов. Многое рисуется теперь иначе, чем тогда. Это и понятно. Пришлось пережить целый исторический перелом: начало ноосферы.

Переживаем вторую <мировую> бойню — последствия которой должны быть еще большие. Из первой мировой бойни создано полицейское, как и прежде, <государство,> но власть находится в новых руках и <существлены> основные стремления социализма — без свободы личности, без свободы мысли. Но это не ноосфера — и совершенно иначе будет оценена творческая деятельность В. И. Ульянова-Ленина.

Многое было бы иначе, если бы его жизнь не была насильственно прервана. Или и без этого <у него была> неизлечимая болезнь? И. П. Павлов относился к нему иначе, считая, что это — патологический тип волевого «преступника». 1924 год — еще не сложилось Советское государство. 17 лет, <прошедшие> после его смерти, не дали развиваться многому, что он мог бы дать.

В конце концов, 1924 — 1941 годы резко в основном разные, и сейчас нет той пропасти <между прежним и теперешним полицейскими государствами>, какую можно было видеть в 1924 году. Положение неустойчивое — но основные линии экономические останутся. Но непрочно то, что может существовать только при росте научной мысли, когда <эта> мысль не имеет свободы проявления и развития. Чувство непрочности и преходящести <существующего> очень сильно растет.

¹ Шевырев Петр Яковлевич (1863 — 1887) — товарищ Вернадского по Петербургскому университету, революционер-народник, 8(20) мая 1887 года казнен вместе с А. И. Ульяновым, В. Д. Генераловым и другими.

13 июня. Пятница. Узкое.

Жаркий день утром. В тени больше 20°С.

Приезжал на днях ко мне доцент С. В. Грабянко из Львова, с которым я был одно время в переписке. Он кончил Технологический Институт в Петербурге. Говорит по-русски без акцента, также пишет <по-русски>. Польские общества во Львове закрыты. Из магазинов выбирают книги, часть идет в массу, <часть> уничтожается, кроме экземпляров для библиотек. В городе очень повысилось религиозное настроение. Верит, что испытания Польши временны. Отрезаны от Варшавы. Подтверждает известия (англичан) о массовых расстрелах в Польше. Знает мало, может быть, меньше, чем мы.

Профессора официально читают по-русски и по-украински, но некоторые de facto по-польски.

Сейчас лучше, не так давно во Львове был совсем голод. Масса войск. Я думаю, что помимо плохой и бездарной организации главная причина нарушения питания — в известной степени голод и затруднения с получением припасов — связаны не с Германией, а с необходимостью содержать миллионы войск на всех границах.

Вчера у меня ясно сложилось представление о *свободе мысли* как основной геологической силе. Под влиянием чтения Hengam'a «Ленин». Развить в «Ноосфере». Ярко сказывается в строении нашей страны. Интересно, насколько в этом виновата ранняя смерть Ленина?

Как-то в Академии Ярославский сказал, что старые партийные <деятели> — в партии 1941 года <составляют> один с небольшим процента. Поразительно пала умственная их сила и удивительно количество в партии «хозяйственников» (теперь это слово даже не употребляется, как несколько лет тому назад). Аппарат партийный даже в Академии очень низкого уровня.

Вчера для меня стало ясно, что в структуре *ноосферы* <на первое место> выходит человеческая мысль, то есть в реальной жизни человека *свобода мысли* должна стоять наравне с теми экономическими «свободами», которые лежат в основе всякого социализма. Без внимания в этой <...>¹.

¹ Фраза не окончена; возможное прочтение: «Без внимания к этой стороне — ничего реального достигнуть невозможно».

15 июня. Узкое.

В «Правде» от 13.VI.1941 года помещена статья Д. П. Малюги¹ «Об успехах биогеохимии». Статья, как и надо ждать от Малюги, не всегда фактически верная — но все же знамение времени. Статья, говорят, сокращена чуть не вдвое. Д. П. Малюга — долгое время единственный коммунист в моей Лаборатории (сперва кандидат партии). Как все средние коммунисты, стремится достигнуть *довольства*, материальные блага. Он родом из Черниговщины, человек средних способностей, но в работе не фальшивит. Кандидатскую диссертацию он защитил давно. Докторскую я его заставил (да еще раньше А. П. Виноградов) переделывать раза 3 — 4. Он с ленцой и недостаточно общего образования. Одно время, перед войной, его отставили от Лаборатории и собирались послать в Бельгийское полпредство. Он знает французский язык и т. д. Это разрушилось, и он вернулся к нам. Так как все места были заняты — нам прибавили единицу. А. П. Виноградову пришлось много с ним считаться — это было «око» в нашей Лаборатории. Но среди других его коллег он, пожалуй, лучше среднего коммуниста. Я думаю, что его «пролетарское» происхождение подозрительное.

Сегодня кончил и завтра посылаю О. Ю. Шмидту мое заявление в Президиум в связи с *моим выступлением 30.V о научной работе Академии Наук*. Мне кажется, мне удалось изложить главное все довольно ясно. Это мое выступление, несомненно, произвело впечатление. Еще сегодня мне об этом говорил Х. Коштоянц². Мне несколько раз звонили из Президиума о присылке им изложения. Должно быть, заинтересовались в партийных кругах, следящих за академической жизнью. <Вопрос> должен рассматриваться в Президиуме 17 июня — по состоянию здоровья решил не ехать. А. П. Виноградов отвезет 16 июня мою записку Шмидту.

¹ Малюга Дмитрий Петрович — парторг, сотрудник Биогеохимической лаборатории.

² Коштоянц Хачатур Седракович (1900 — 1961) — физиолог, историк науки, член-корр. АН СССР.

16 июня. Понедельник. Узкое.

Невольно мысль направляется к необходимости *свободы мысли* как основной <составляющей>, равноценной основной структуре социального строя, в котором личность не является распорядителем орудий производства. Равенство всех без этого невозможно. Но оно и невозможно без свободы мысли.

Наш строй это ярко показывает, когда миллионы людей превращены — «на время» — в заключенных: своего рода рабство.

В конце концов великие идеи, <выросшие> в науке, искажаются.

Надо пересмотреть с этой точки зрения Маркса: он ясно видел, что мысль человека создает производительную силу.

Еще больше и глубже это проявляется в *ноосфере*. Но для этого необходимое условие — *свобода мысли*.

18 июня. Узкое.

17 июня 1941 года В. Г. Хлопин, как председатель Урановой Комиссии¹, по согласованию со мной — подал в Президиум от имени своего, моего, как заместителя председателя, и А. Е. Ферсмана, как председателя бригады, едвншей на Табошарский рудник весной, <заявление> об обращении в Правительство от Урановой Комиссии об изменении решения начальника Главметалла Егошина и наркома цветных металлов Ломова и об изъятии (со сметой) Табошарского уранового рудника *на доразведку* в трест Среднеазиатских цветных металлов. Егошин и Ломов, по-видимому, никуда не годные «дельцы», предлагали, истратив больше 20 миллионов в течение 7 лет, направить Табошарское месторождение на «консервацию». История с Табошарским месторождением урана — типична для бессмысленной траты денег и бессознательного вредительства. Надеюсь, что мы пробьем рутину и невежество советских бюрократов. — Посмотрим.

17 июня 1941 года в Президиуме Академии прошло создание на Биологическом Отделении Лаборатории по физиологии микроэлементов при Институте биохимии. Во главе поставлен Д. Н. Прянишников. Наша с ним работа останется нетронутой. Надо ее расширить радиоактивными элементами. В «Известиях» 12.VI упомянуто мое имя, вместе с Прянишниковым, <как> обративших внимание на значение «микроэлементов». Это название вошло, мне кажется, через нашу Лабораторию, но не я <один> был его автором — и А. П. Виноградов <также>.

Смерть Горького 18 июня 1936 года. Об убийстве его тогда никто не подозревал. Это «открылось» позже, и жертвами явились Левин и Плетнев — которые «сознались» во время процесса².

Уже во время процесса мне показалась подозрительной роль *Ежова* — помощника Ягоды — грубо-глупым рассказом об обоях его помещения. В 1941 году, в пятилетие смерти Горького, ни в «Правде», ни в «Известиях», ни в «Литературной газете» об этом «убийстве» никто не говорил.

¹ Комиссия по проблеме урана была создана в системе АН СССР в 1940 году. Председателем ее стал ученик Вернадского академик В. Г. Хлопин, Вернадский — заместителем председателя.

² См. дневниковые записи Вернадского 13 января, 1 и 13 марта 1938 года. — «Дружба народов», 1991, № 2.

19 июня. Четверг. Узкое.

Вчера <исполнилось> пятилетие со времени смерти Горького. Поразительно, что никто не говорит — и не верит? — в его убийство врагами. В «печати» («Правда» и «Известия») только Ярославский, между прочим, об этом упомянул.

Бедные Д. Д. Плетнев и Левин — пострадали напрасно; а Левин уже убит. Друг Я. В. Самойлова¹, мягкий человек и хороший врач, — он был у нас в начале нашей московской жизни: в 1890-х годах он был <нашим> домашним врачом. Потом <были> Филатов, Аргутинский — главным образом детские <врачи>. А. Я. Самойлова рассказывала, что так как Левин был кремлевским врачом и лечил <сотрудников> НКВД, — то он, когда его пришли арестовать, позвонил Ежову; тот его успокоил и сказал, что все это выяснится.

Среда, окружавшая Горького (один Ягода чего стоит), явно была подозрительна. По-видимому, и Луппол, тихо арестованный и исключенный из академиков, связан <был> с гешефтами этой семьи?

Интересно, сколько правды в том, как объясняют <...>² ТАСС о Германии, бывшие на днях в связи с отъездом Криппса и публикацией об этом в связи с нашими отношениями с Германией³.

Говорят, что Германии <нами> был предъявлен ультиматум — в 40 часов вывести ее войска из Финляндии — на севере у наших границ. Немцы согласились, но просили об отсрочке — 70 часов, что и было дано.

¹ Самойлов Яков Владимирович (1870 — 1925) — минералог, геолог, биогеохимик, ученик Вернадского.

² Два слова неразборчивы; по смыслу: «официальные сообщения».

³ Имеется в виду печально знаменитое «Сообщение ТАСС» от 14 июня 1941 года в связи с отъездом в Лондон английского посла Криппса и появившимися в западной печати сообщениями о концентрации германских войск на западных границах СССР.

22 июня, утро. Воскресенье. Узкое.

По-видимому, действительно произошло улучшение — вернее, временное успокоение с Германией. Ультиматум был представлен. Немцы уступили. Финляндия должна была уничтожить укрепления вблизи наших границ (на севере), построенные немцами. По-видимому, в связи с этим — отъезд английского посла и финляндского?

Грабарь¹ рассказывал, что он видел одного из генералов, которого сейчас и в партийной, и в бюрократической среде осведомляют о политическом по-

ложении, который говорил ему, что на несколько месяцев опасность столкновения с Германией отпала.

И. К. Луппол пострадал в связи с Горьким. Говорят, он расстрелян. Он был мужем вдовы сына Горького, которая служила в Институте Горького. Арестованы были и Луппол, и вдова сына Горького в связи с тем, что в Дерпте при обыске у какой-то баронессы, старой знакомой Горького, нашли дневники Горького, содержащие критику деятельности Советского правительства из тех лет, когда Горький <был на границе разрыва> с Советской властью. Горький взял обещание от вдовы сына, что она эти дневники перешлет от баронессы <ему>. Ее выпустили, а Луппола арестовали и, говорят, расстреляли. Луппол был образованным человеком, не симпатичным — но одним из многих культурных правительственных деятелей. Из румын.

...1872 год. Помню <себя> в большой комнате (спальня) моей матери в Харькове, разделенной на две части большой перегородкой из материи. Большая покрытая низкая тахта стояла в ней, и я любил на ней лежать и читать. Отец с Каченовским² ходили по большой комнате и говорили о гарибальдийцах и франко-немецкой войне³, которой я интересовался. Вдруг отец меня позвал и сказал Каченовскому: «Мой отец⁴ думал, что я доживу до конституции, но я этого не думаю, но уверен, что Володя будет жить в свободной стране».

¹ Грабарь Владимир Эммануилович (1865 — 1956) — юрист, друг Вернадского.

² Вернадский Иван Васильевич (1821 — 1884), экономист и статистик, общественный деятель, публицист, профессор, отец Вернадского. Каченовский Дмитрий Иванович (1827 — 1872) — юрист, историк, с 1849 года профессор Харьковского университета, друг семьи Вернадских.

³ Во время франко-прусской войны 1870 — 1871 годов вождь национально-освободительного движения Италии Гарибальди предложил свои услуги республиканскому правительству Франции, командовал Вогезской армией, которая нанесла ряд поражений войскам Пруссии.

⁴ Вернадский Василий Иванович (1769 — 1838), врач, окончил медицинский факультет Московского университета, участник войн с Наполеоном, дед В. И. Вернадского.

22 июня, вечер. Воскресенье. Узкое.

В 4 часа утра — *без предупреждения и объявления войны — в воскресенье 22 июня германские войска двинулись на нашу страну, застав ее врасплох.*

Мы узнали об этом в Узком в санатории через радио из речи В. М. Молотова.

Он сообщил, что в этот час немецкие аэропланы бомбардировали Киев, Житомир, Каунас и <нас атаковали> с румынской границы. Больше 200 убитых и раненых. Одновременно произошло нападение на наши пограничные войска на западной границе — и в Финляндии.

Из речи как будто выходит, что хотя немцы и были отбиты, не застали <нас> врасплох — но находятся на нашей территории. Граф Шуленбург в 5 1/2 утра сообщил, что это вызвано сосредоточением наших войск на немецкой границе.

Речь Молотова была не очень удачной. Он объявил, что это вторая отечественная война и Гитлера постигнет судьба Наполеона. Призывал сплотиться вокруг большевистской партии.

Ясно, что <нас> застали врасплох. Скрыли все, что многие, по-видимому, знали из немецкого и английского радио.

Они говорят, что Германия предложила Англии заключить мир (Гесс? — я не верил). Говорили, Рузвельт это предложение отверг. Мне кажется маловероятным, чтобы Англия могла пойти на заключение мира с Германией в этой обстановке — за счет нас.

23 июня. Понедельник.

Только в понедельник выяснилось несколько положение. Ясно, что опять, как <в войне> с Финляндией, власть прозевала. Очень многие думали, что

Англия за наш счет сговорится с Германией (и Наташа <так думала>). Я считал это невозможным. Речь Черчилля стала известна.

Бездарный ТАСС со своей информацией сообщает чепуху и совершенно не удовлетворяет. Еще никогда это не было так ярко, как теперь.

Читал — но настоящим образом не работал.

Интересный разговор с П. П. Масловым¹ об Институте Экономики. Работа Института «коммунистическая» — дорого стоит и плохого качества. Много сотрудников, которые ничего не делают. Но сейчас и невозможно научно работать в этой области, так как нет свободы искания.

¹ Маслов Петр Павлович (1867 — 1946) — экономист, академик.

3 июля. Узкое.

Только утром 23.VI — была передана по радио речь Черчилля, и получилось более правильное представление.

29.VI.1941 появилось в газетах *воззвание Академии Наук «К ученым всех стран»*, которое и я подписал. Это — первое воззвание, которое не содержит раболепных официальных восхвалений: «Вокруг своего правительства, вокруг И. В. Сталина»; говорится о фашизме: «Фашистский солдатский сапог угрожает задавить (?)»¹ во всем мире яркий свет человечества — свободу человеческой мысли, право народов самостоятельно развивать свою культуру». Выдержано <так> до конца. Я думаю, что такое воззвание может сейчас иметь значение. Подчеркнуто то, что отличает нашу диктатуру идеологически от немецкой и итальянской.

¹ Вопросительный знак Вернадского, очевидно, относится к стилистически корявому словосочетанию «задавить... свет».

4 июля. Узкое.

1 июля 1941 года образован *Государственный Комитет Оборона* из Сталина, Молотова, Ворошилова, Маленкова, Берия. В общем, ясно, что это идейная диктатура Сталина.

3 июля 1941 года — *выступление по радио Сталина*. Речь очень хорошая и умная. Дня за два или за день перед этим были всюду <сняты> радио, и поэтому прошло ознакомление с большой заминкой. Это снятие радио — одно из очень немногих признаков путаницы. В общем, мобилизация и т. п. идет хорошо. Говорят, <радио> будет восстановлено в другом виде.

12 июля, утро. Суббота. Москва.

Произошли события — может быть, исторический перелом в истории человечества, пока я не заносил свои записи в эту тетрадку.

9 июля мы приехали из Узкого, а накануне нам дали знать, что Академия переезжает в Томск, и мы должны были решить — едем ли мы.

Сомнений для меня не было, если только условия поездки были <бы> благоприятны и приемлемы. Мы узнали об этом решении 8 июля — и 9-го утром выехали; так как у меня не было моей машины, то была прислана машина <...>¹. Мы подвезли проф. Андреева, который был в Узком — больной.

Здесь выяснилось, что — в связи с ходом событий — правительство решило перевести подальше от театра военных действий Академию Наук в Томск со всеми академиками и учреждениями. Несколько дней перед 8 июля состоялось заседание — по поручению «правительства» (то есть Комитета по обороне?), под председательством Шверника. Он заявил, что правительство озабочено сохранением основного и главного умственного коллектива ученых и непрерывностью его научной работы, а потому решило перевести Академию и ее научные учреждения в Томск. Кроме Шмидта, Борисьяка, Капицы и других было несколько академиков.

¹ Два слова неразборчивы; по смыслу: «распоряжением Президиума», «управделами Академии».

13 июля. Воскресенье. Москва.

Становится все яснее и яснее, что переезд Академии в Томск может кончиться развалом большой научной работы и патологическим проявлением реального состава ее — и правительственного — аппарата.

Люди начинают отходить <от первых волнений>.

Переезд откладывается, и сейчас и у меня, и у других является сомнение, все растущее, <в> правильности решения.

Мне кажется, что при теперешнем состоянии Академии и реального правительства это может кончиться ее разгромом, что отразится на всей научной работе.

Основное — слабость Президиума. Главные больны — Комаров, Шмидт, Чудаков.

Надо вновь обсуждать <этот> вопрос.

Вчера у меня был Якушкин. Он рассказывал, что в Академии Сельского Хозяйства¹ произошел такой комически-трагический казус. Академики вдруг узнали, что вся канцелярия президента <Академии> (Лысенко) переехала в Омск и что президент Лысенко собирается туда же. Он <этого> не отрицал — говорил, что вообще до сих пор не может понять, что такое «академия». Обратились к наркому. <Решение> изменили.

Хаос государственной структуры — в области, которая является второстепенной в понимании людей, стоящих у кормила власти. Может быть, это и правильно в настоящий момент, но неправильно то, что они распоряжаются, не имея времени обдумать.

Что происходит на фронте? — Начало развала гитлеровской силы? Или остановка перед применением последнего отчаянного средства — газов или урановой энергии?

Три дня на фронте относительно спокойно. Подходят с нашей стороны все новые войска. Это кажется верно, и верно то, что здесь нет ни паники, ни растерянности.

Моя мысль все время пытается охватить происходящее. По-видимому, *неожиданно* для всех проявилось огромного значения мировое явление: победа красного интернационала — нашей коммунистической партии — как исторического проявления евразийского государства.

Сейчас возможно остановить фашистское движение в его нападении на нашу страну. Создана впервые «Красная» армия (любопытно, отброшено название «крестьянски-рабочая»). Гитлер фактически уничтожил все европейские правительства (кроме Швейцарии, Испании, Португалии, Швеции, Турции). В Европе Англия — остров. На континенте — мы и Гитлер. Мы в союзе с США и Английской империей.

Кто будет решать? Очевидно, и для Германии, Бельгии, Голландии, Франции, Польши, Чехословакии, Румынии, Греции, Болгарии, Югославии, Италии явится вопрос — с кем стовариваться? Плебисцитные правительства — под контролем нашим, США и Англии? Все граждане — женщины и мужчины?

Это та революция, которой, может быть, Гитлер думал убедить английских государственных деятелей соединиться с ним против нас?

Я думаю, что тот новый <мирный> конгресс, который соберется где-нибудь в Лондоне или Женеве (может быть — Москва?), будет резко иной, чем Версальский.

Новая — Красная Армия — военная сила, остановившая германскую армию, — если это действительно произошло.

Вот тут нужно то спокойствие и государственный ум, который проявили Сталин — Молотов — Берия. Два грузина, один русский — но <грузины> русские по исторической культуре.

Реакция против отъезда в Томск все увеличивается среди академиков и академического персонала. Но, в сущности, мы мало знаем о положении на фронтах. Мы исходили из сознания огромных потерь немецких <войск>, остановки их.

Сегодня день начинается со все большего укрепления <веры в возможность> нашего оставления в Москве.

В этот исторический момент резко проявилась вероятная разная сущность «тоталитарных организаций»: нашей — коммунистической и германской — на-

ционал-социалистической. В обоих случаях — диктатура, и в обоих случаях — жестокий полицейский режим. В обоих случаях миллионы людей неравноправных — но в случае национал-социалистической <организации> это истекает из принципа неравенства людей, и без этого национал-социалистическая <организация> (Германия, Италия) <...>².

¹ Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ).

² Фраза не закончена; по смыслу: «не может существовать», «теряет свою опору».

14 июля. Понедельник. Москва.

Вчера резко изменилось настроение.

Физико-математическое Отделение и его учреждения не уезжают — в том числе и Метеоритный Комитет.

Целый день с часу дня у нас пробыли Ферсман и Виноградовы — обсуждали положение наше личное и Академии — до 6 — 7 вечера.

Сильная безоблачная жара уже более недели — пожалуй, две недели. Сейчас 8 утра и <температура> 18° С, быстро поднимающаяся.

Резко меняются планы. Я приехал из Узкого, думал через день-два выехать в Томск. Решил взять много книг и работать над «Проблемами биогеохимии» и хронологией моей жизни — матерьялами для автобиографии. Поэтому забрал часть архива — неразобранного, но, как я вижу теперь, драгоценного.

Теперь все это придется вновь вынимать из ящиков — <а их> 22! Их поставили было на лестницу, но вчера надо было спешно перенести в кабинет, так как в связи с правилами защиты от бомбардировок лестницы должны быть свободны.

Из обсуждения выяснилось, что Химическое Отделение должно выехать в Томск — но в то же время оборонная («секретная»?) работа не должна прерываться. Это все не так легко согласовать, так как вся наша работа экспериментальная тесно связана с рядом других учреждений — наши работы по спектроскопии, радио, масс-спектроскопии, электронографии, рентгенографии и т. п. переплетаются с другими лабораториями и институтами.

Пока такой временный план. Мне (и другим академикам-химикам) ехать куда-нибудь в санаторий в район Поволжья — лаборатории пока не трогать, так как оборонная работа идет и должна продолжаться.

Москва все-таки эвакуируется — особенно дети. Эвакуация идет, в общем, более чем сносно, а в значительном числе случаев хорошо.

Опасаются, что немцы остановились, подготовляя новое нападение на Москву (газы!) и бомбардировку типа лондонской. Думаю, что возможно, что произойдет что-нибудь вроде 1918 года <на Украине>, когда рухнули сопротивление и их <немцев> сила — сразу и неожиданно для людей, находившихся в нашем положении. Тогда в Киеве я лично был к этому подготовлен, так как в Германии побывал Франкфурт¹ и привез нам мрачный прогноз их силы — неожиданный для всех. Ему даже не все верили.

Сейчас положение немцев еще более безнадежное. Газы и урановая энергия — все эти возможности есть и у нас. И это очень обоюдоострое средство.

Сегодня буду стараться с А. П. <Виноградовым> свидеться с Вольфковичем² и Шмидтом.

Вчера еще много времени заняло — обращение от ВОКС³ об организации выступления советских ученых для Англии. Мое личное <обращение> я переделал⁴. Обращение советских ученых к английским связано с подписанием Молотовым и Криппсом военного договора между Англией и Советским Союзом⁵.

¹ Франкфурт С. Л. — биолог, ученик К. А. Тимирязева, профессор.

² Вольфкович Семен Исаакович — химик и технолог, академик.

³ ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, организация, объединявшая в своих секциях деятелей советской науки и культуры.

⁴ Полный текст обращения Вернадского к английским ученым см. в кн.: Мочалов И. И. Владимир Иванович Вернадский (1863 — 1945). М. 1982, стр. 344.

⁵ Криппс Ричард Стаффорд (1889 — 1952) — английский государственный деятель, в 1940 — 1942 годах был послом в СССР, от имени Великобритании подписал в июле 1941 года соглашение с Советским Союзом о совместных действиях в войне против фашистской Германии.

16 июля, утро. Среда.

Вчера все решительно изменилось, и мы сегодня едем в Боровое Акмолинской области в санаторий. Об этом мелькала у меня <в> эти дни мысль как о возможном.

Утром вчера в радиоцентре <состоялось> мое обращение к английским ученым в связи с заключением военного договора с Англией. Очень порядочная, культурная публика и симпатичная старая ирландка-диктор. Их сильно сократили транспортом — <осталось> две машины.

Оттуда <направился> в Академию в Химическое Отделение <на встречу с> Вольфовичем. Выяснилась полная неразбериха — такая картина, что о всяком решении, даже в пределах разрешенного, требуется одобрение Совнаркома. Шверник стоит во главе эвакуации <во время> войны. Решения основные — например, переезд в Томск Химического Отделения — считаются не подлежащими изменению. Жизнь возьмет свое, так как в такой абстрактной форме оно <решение> нереально — но масса всяких затруднений. Должна быть нетронута оборонная работа и тому подобное.

Выяснилось, что 16-го идет детский поезд в Боровое — говорят, чудный санаторий, — и прикрепили <к поезду> мягкий вагон для академиков — старых и т. п. Решил ехать, так как это ближе <Томска> и, может быть, — как я думаю — осенью выяснится несколько положение, <так> что вернусь в Москву, а не в Томск.

Были Т. Е. Каминская с С. Г. Цейтлин — последняя <рассказывала> о бомбардировке Минска и бегстве <населения> отсюда. Об этом ничего и нигде не говорится в печати.

Очень большое недовольство осведомлением по радио <о ходе> военных действий. По-видимому, армия на высоте: русский солдат теперь и раньше был <на высоте>, были и офицеры на высоте. Командование исчезает.

Общее удовлетворение, что отошли от Германии, и очень популярен союз с Англией и демократиями.

Идут аресты — по-видимому, в связи с нападением <Германии> и фашизмом. Между прочим, <арестован> геолог Мирчинк — хороший геолог, но морально не высокий человек.

17 июля. Станция Буй.

Вчера выехали¹. Едем в совершенно исключительных условиях — в купе мягком (Наташа и я внизу, Аня и Прасковья Кирилловна наверху). Катя в среднем отделении в другом вагоне. Поезд для детей академических служащих — около 500 — 600 <детей>. О положении на фронте <ничего> не знаем.

¹ В Боровое, Акмолинской обл., Казахской ССР, Вернадский выехал вместе с женой, А. Д. Шаховской, П. К. Казаковой и дальней родственницей — Екатериной Владимировной Ильинской, сестрой жены сына Вернадского Нины Владимировны Вернадской (Ильинской).

18 июля. Пятница. Станция Свеча.

Всю ночь стояли на разъезде после Шарьи — пропускали ряд военных поездов с людьми и оборудованием, военным. Идут с огромной скоростью на фронт; как критерии неразберихи — отвод техники и т. п. с Урала.

Свеча <в> 817 километрах от Москвы и <в> 138 — от Вятки (Киров). Ужасно неприятное впечатление у меня от замены исторических названий городов: Горький — Нижний Новгород, Молотов — Пермь, Калинин — Тверь. Из них Пермь наиболее древняя? Связанная с нерусской старой культурой.

Едем в детском поезде. С нами на станции стоят еще два таких поезда — один из Ленинграда.

В общем, организовано хорошо.

Из академиков и членов-корреспондентов едут с семьями — Зелинский, Борисяк, Мандельштам, Струмилин, Лейбензон, кажется, дочь Деборина.

Поражает полное отсутствие сведений о войне — с Москвы; даже в городах не знают. Наши последние сведения из газет <относятся к> 16.VII. Здесь меняются паровозы — простояли еще несколько часов.

18 июля. На пути от Свечи.

Наконец в Свече достали вчерашнюю «Кировскую Правду» от 17 июля — первое <известие> после Москвы. Плохая — бездарная — информация; с этим приходится мириться. То же и в Наркомате иностранных дел. Серые люди. <Все одно и> то же, что видишь кругом. Партия-диктатор — вследствие внутренних раздоров — умственно ослабела: ниже среднего уровня интеллигенции страны. В ней все растет число перестраховщиков, боящихся взять на себя малейшую ответственность.

Выехавши из разъезда после Свечи, мы обогнали поезд с детьми, <вышедший> из Ленинграда 5 июля с направлением на Киров. Очень вероятно, доберутся сегодня.

Обогнали на станции Свеча поезд с детьми — беженцами из окрестностей Витебска: выехали «без всего»; собирали <деньги> на покупку еды для них; пищу — провизию — купить было возможно.

Помимо эшелонов войск везут автомобили, которые всюду берутся на войну; по-видимому, <везут> танки, аэропланы и т. д. Северная дорога состоит из одного пути; нас объезжают. Множество разъездов. Очевидно, это сделано загодя?

19 июля. Разъезд № 2 Коса.

Вчера стало известно — по радио (<слышал> Струмилин), что не действует московская станция Коминтерн. Это единственное мощное радио в Москве.

Очень интересный разговор с Ник. Фед. Гамалеем¹. Приятно было видеть чисто украинский благородный тип. Гамалея считает вирусы *живыми*. Он считает испанку (инфлюэнцу) за вирус.

¹ Гамалея Николай Федорович (1859 — 1949) — микробиолог, академик.

19 июля. Разъезд № 11 Лаваны.

Чудный солнечный день. Видны отроги Урала. Никогда не думал, что еще раз увижу Россию вне Москвы и ее окрестностей.

20 июля, утро. Станция Георгиевская и дальше.

Начался эрозионный ландшафт — холмистые увалы.

В 10 часов 10 <минут> приехали в Пермь (Молотов). Переправились через Каму. Я был здесь последний раз до революции — мне кажется, но сомневаюсь, в 1916 году; не останавливался. Когда я сделал поездку по Каме до Нижнего — выехал из сольвычских заводов? Кама тогда — цвела, липовые леса; я понял впервые <тогда>, что Кама — есть Волга. Южнее Саратова я не был.

Сегодня мы на станции Чехривль (Струмилин прочел объявление) узнали сводку от 18.VII утреннюю. Поразительно бездарно это дело организовано.

И в Перми нет известий позже 18-го утра. Газет нет.

С продуктами на станции скудно. Киоски бедны. Купили «Прикамье» за 20.VII.1941. Медленно растет — но растет — разгромленное живое течение, <существовавшее> до диктатуры печальной ГПУ.

Провинция, такая далекая, как Пермь (название «Молотов» туго <прививается>, по-видимому), живет совсем в ином темпе в связи с войной, чем Москва и Ленинград. Это понятно. Но такое спокойствие для меня неожиданно.

«Кунгурская Правда», купленная в Кунгуре, дала нам сведения для вечера 18.VII. Газета довольно жалкая. Из статьи А. И. Яковлева, но все-таки *два дня назад*, мы знаем, что делается на фронте.

23 июля, утро. Среда. Станция Боровое-Курорт.

Ночевали в поезде. Утро. Дождь.

Вчера уже на станции узнали о бомбардировке Москвы — в ночь с 21 на 22-е, — <прошел> месяц войны. Говорят, 200 самолетов немецких прорвались, из них 20 прорвались к Москве — бомбы брошены в окрестностях Москвы, есть жертвы. Впечатление здесь среди нас, москвичей, огромное. Теперь стал вопрос: случайный <это> прорыв или начало бомбардировок сериями вроде <бомбардировок> Лондона?

24 июля. Четверг.

Боровое. Государственный санаторий.

25 июля. Пятница.

Здесь есть радио, и мы больше в курсе событий.

До сих пор (10 часов утра) мы на бивуаке. Спим втроем — Наталья Егоровна, я и Прасковья Кирилловна в одной комнате.

Вчера прилетел из Караганды начальник курортов Казахской республики (центр Алма-Ата) — Сергей Иванович Замятин. Молодой, энергичный, умный человек, русский. Очень осведомленный и, мне кажется, образованный, энергичный. Хорошее впечатление производит и директор курорта Орлова.

Мы до 27 июля останемся на бивуачном положении. Часть багажа осталась на станции Боровое-Курорт.

Зима была здесь холодная, и теперь погода плохая. Сегодня сырость, туман.

Вчера утром образовали Казахскую группу академиков, по инициативе А. А. Борисяка. По моему предложению председателем выбрали Н. Ф. Гамалею, а секретарем С. Г. Струмилина. Последний должен был послать телеграмму Шмидту об утверждении группы.

Нас хотят поместить в отдельном здании, где помещаются сейчас женщины (старухи главным образом?). Их переведут в другое помещение.

Мы, конечно, причинили большие неудобства для местных жителей. Приехало более 750 детей. Местное население голодает — пуд муки <стоит> 130 рублей. Хлеба не хватает. Курорт переполнен туберкулезными хрониками.

Я чувствую себя на границе <здоровья> и ничего еще не видел.

Но интересные разговоры имел с Л. И. Мандельштамом¹ о Гёте. Он верно указал на значение идеи Гёте в его оптических работах. Я думаю, методологически Мандельштам прав — сложный опыт может исказить явление, и далеко не всегда можно от него перейти к научной реальности. Примером являются Фраунгоферовы линии, конечно, в реальном процессе не существующие и к свету как таковому отношения не имеющие. Как раз Фраунгоферовы линии занимали и мысль Гёте. Я из его «Zur Farbenlehre» прочел только историческую часть, которая с точки зрения истории науки или истории оптики является самостоятельной исследовательской работой: много внесла нового. Но Гёте — <был> близорукий и, может быть, даже близорукий ненормально — как, например, я. Его красочные и темные оттенки этим во многом объясняются. К сожалению, я не смог достать специальной литературы о близорукости Гёте.

С Мандельштамом — о Мысовском (он видел у меня его книжку об атомном ядре)². Его отзыв о Мысовском, как всех физиков, явно неверный. Многие он приписывает Курчатову, что в действительности принадлежит Мысовскому, который необычно безразлично относился к защите своих достижений.

Я все-таки думаю, что нейтрон, проходящий материю насквозь, — загадка. Мандельштам считает, что атом позволяет *вполне* объяснить все. Но может ли двигаться атом, не несущий заряда? Мне кажется, Резерфорд ясно это сознавал.

Но, по существу, мы видим движение нейтрона в результате разрушения ядра (то есть его взрыва) или в космических лучах.

С Л. С. Лейбензоном³ разговор о внутренности Земли. У него обычные представления, корни которых — в воззрениях XVIII века. *Начало* Солнечной системы кажется <ему> логически неизбежной проблемой.

Сегодня большой разговор с Гамалея и Мандельштамом о правизне и левизне, о Гаузе⁴, моллюсках и тому подобном.

Мандельштам получил срочную телеграмму, что Физический Институт послезавтра едет в Казань.

¹ Мандельштам Леонид Исакович (1879 — 1944) — физик, академик.

² Мысовский Лев Владимирович (1888 — 1931) — радиофизик, ученик и сотрудник Вернадского и В. Г. Хлопина по Радиевому институту. Здесь имеется в виду вышедшая в 1940 году третьим изданием книга Л. В. Мысовского «Новые идеи в физике атомного ядра».

³ Лейбензон Леонид Самуилович (1879 — 1951) — механик и нефтяник, академик.

⁴ Гаузе Георгий Францевич — микробиолог, ученик Вернадского.

29 июля. Вторник. Боровое.

Сегодня утром мы должны наконец переехать из бивуака в постоянное помещение. С. И. Замятин сдержал свое слово. Он сам, однако, не может попасть в Алма-Ату, так как железнодорожный путь очень круговой; для авиа надо проехать по железной дороге к Балхашу, и не ясно, будет ли самолет. Война остановила <ввод в действие> железной дороги, которая предполагалась на 1941 год.

Получена телеграмма о выезде сюда Комарова, Баха, Обручева, Чаплыгина. Где их поместить — неизвестно.

Это — типическая работа академического аппарата, следствие той централизации, которая требует утверждения каждой мелочи центральной властью. Она порождает фактически власть «секретарей» и аппарата, который так ярко проявляется в Академии — в 1920 — 1930-х годах <проявлялся> еще больше, чем теперь.

Третьего дня начал работать с Аней над V выпуском «Проблем биогеохимии»: «О химическом составе биосферы и о ее химическом окружении».

Сегодня нас разместили в лучшем помещении, очистив отдельный хороший дом от хроников, распределив их в другие места. На наших временных местах поместили новые группы академиков из Ленинграда и Москвы. Кто приехал — не знаю.

30 июля. Среда. Боровое.

Вчера жена Рихтера¹ красочно передала впечатление <от> первого налета на Москву 21/22 VII. Основное впечатление — по существу неверное изложение <этого> Информационным бюро. Надо в эту почти единственную реальную информацию вносить коренные поправки.

Молчание Информбюро не означает, что налетов <на Москву> не было. Во главе <информационной службы> стоят бездарные, ограниченные люди — каковы и Ярославский, и Лозовский²; это сказывается и в их статьях, и в их выступлениях.

Мы знаем об окружающем только по таким фальсифицированным данным. Надо вносить поправку — из гущи жизни и <своего> жизненного опыта: охвата происходящего, сознательно и глубоко переживаемого с 1873 года (если не раньше) по 1941 год — больше 60-ти лет.

Ноосфера, в которой мы живем, — является основным регулятором моего понимания окружающего.

Если правительство не сделает грубой ошибки — гибель гитлеризма в ближайшее время неизбежна и быстра — <займет> немногие месяцы.

Основная линия верна: создание сознательное мощной военной силы, независимой от извне в своем вооружении, — примат в данном моменте этого создания в государственной жизни — правильная линия, взятая Сталиным. Настроение кругом это создает здоровое. Принципы большевизма — здоровые; трутни и полиция — язвы, которые вызывают гниение, — но здоровые основы, мне кажется, несомненно преобладают. Страна при миллионах рабов (лагеря и высылки НКВД) выдержит эту язву, так как моральное окружение противника — еще хуже.

¹ Рихтер Андрей Александрович (1871 — 1947) — физиолог растений, академик.

² Лозовский А. (Дридзо Соломон Абрамович; 1878 — 1952) — историк, государственный деятель, в 1941 — 1948 годах возглавлял Совинформбюро.

17 августа. Воскресенье.

Приехали еще Масловы, Штерн, Яценко... Вижу мало кого, за исключением живущих в нашем доме, откуда выселились из-за скарлатины Зелинские и перешли в более удобное помещение Борисяки.

Привезенные из Москвы впечатления: непрерывное, хотя и медленное движение немцев, особенно оставление Смоленска — и, надо сказать, бездарно составленная информация <по> радио, письма — явно увеличили тревогу за ближайшее будущее.

А между тем я по-прежнему считаю гибель гитлеровской Германии неизбежной — и, вероятно, являюсь наибольшим оптимистом — благодаря созданию ноосферы.

Эти дни ясно стала для меня геологическая роль проникающих космических лучей и рассеянных элементов — и как источников тепла, так и химической основы планеты.

Сегодня прочел в «Акмолинской Правде» № 190 от 14 августа о *всеславянском митинге в Москве* 11 августа — перепечатаны официальная статья из московской «Правды» от 12 августа и речи А. Н. Толстого и других.

18 августа. Понедельник.

Идея славянского единства явилась в моей жизни одной из ведущих идей. Можно сказать, она отразилась в моей жизни от детства до старости. Корни ее лежат глубоко в жизненной идейной — сознательно волевой <установке>.

26 августа, утро. Вторник.

Сегодня я ярко чувствую «мировой» стихийный процесс — *зарождение* в буре и грозе *ноосферы*.

Сегодня послал А. П. Виноградову <письмо> о решении нашем в конце сентября, в октябре переехать в Казань. О том же <написал> Шмидту. Александру Павловичу <написал> о моей концепции элементов рассеянных и геологическом (и геохимическом) значении проникающих космических излучений.

Чем больше вдумываюсь, тем яснее для меня становится впечатление, что немцы рухнут — и великие демократические идеи избавятся от временных нарастаний, как ГПУ, фактически разлагающее партию большевиков.

Демократия — *свобода мысли и свобода веры* (которой лично я придаю не меньшее значение, но которая как будто сейчас — может быть, временно исторически? — теряет свою силу в духовной жизни человечества).

28 августа, днем. Четверг.

Сегодня работал хорошо с Аней. Чувствовал себя ниже среднего — сердце, а пульс хороший. Не гулял, больше лежал и диктовал.

Разговор с А. Е. Фаворским¹. Он <рассказывал> о Горбунове. В 1935 году, когда я переехал в Москву, у меня было столкновение с Горбуновым: он назначил академиком <приемный> *один день* в неделю. Так как это приводило к большим неудобствам (я тогда больше входил в мелочи Лаборатории), я откровенно указал ему на возможность иной постановки <дела>. Он вскоре уступил и стал принимать академиков всегда вне очереди, как было при Сергее Федоровиче², о чем я говорил ему. Я думал, что моя беседа этому помогла.

¹ Фаворский Алексей Евграфович (1860 — 1945) — химик, академик.

² Ольденбург Сергей Федорович (1863 — 1934) — востоковед, академик, Непременный секретарь Российской Академии наук (1904 — 1929), друг Вернадского.

31 августа. Вторник.

Со вчерашнего дня ухудшение. Лежу. Принял строфант, горчичники, адонис. Я и сам чувствую ухудшение. Один раз заходила Мар. Ник. <Столярова>. А сюда <приехала> среди других врачей с отцом (из Минска) — устроилась врачом «при академиках». Привезла сюда сестру.

Читал Дарвина «Бигль» — много лет тому назад <прочитал> в первый раз. Здесь в библиотеке <есть> все новое издание Дарвина. Нахожу много интересного.

1 сентября. Понедельник.

Вчера приехали несколько человек из Ленинграда. Ехали по Савеловской дороге. Николаевская почти отрезана.

Резкое противоречие между действительностью и официальными сводками. Луга занята. Были листовки: немцы не хотят уничтожить Петербург, но Москву сожгут.

Радио и официальная информация все больше не удовлетворяют: поразительна бездарность советского аппарата. Население совершенно не понимает, что происходит.

Для меня ясно, что теоретически — раз не было измены и нет внутри страны движения против правительства — можно понять происходящее только лучшим <вооружением противника> (например, сверхтанки у Гитлера) и слабостью <нашего> Генерального штаба сравнительно с немецким. Мне кажется, патриотизм, мужество, авиация — на нашей стороне. Теоретически гитлеровская авантюра должна кончиться для него катастрофой.

Отчего оставлены Екатеринославль, Одесса и т. п.? Отчего инициатива все время в руках немцев? Что будет через месяц?

Я думал, что война кончится к зиме. Теперь появляются опасения. Кончится к зиме в том смысле, что движение немцев будет остановлено.

5 сентября. Пятница.

Вчера утром разговор с Гамалеей — опасение мое, что разрушается организация здешнего курорта для помещения академиков и главным образом детей? Гамалея не чувствует своей ответственности. Фактически я выдвинул его <председателем академической Группы Борового>, совсем не зная его деловитости и основываясь на его научных заслугах. Он честолюбив, но старается исполнять добросовестно свои обязанности. Нет инициативы и очень заботится о себе и своих. Но, думаю, человек порядочный.

Был у Баха и Зелинского. Бах сильно поддался. Оба с Зелинским хотят ехать в Казань. Надо, чтобы был обеспечен вагон — до зимы. Бах обещал написать кому нужно.

13 сентября. Суббота. Боровое.

Оставление Чернигова. Сводки все больше возбуждают недоумений. Никаких сведений о боях («Бои на всем фронте») — и в то же время постоянные «отступления». Сводки наполнены партизанами, где, возможно, много выдуманного. В то же время ополченцы уже в бою. Где войска? Опять растут зловещие слухи — сдача двух генералов на юге, украинское националистическое движение. В газетах было об Одессе — население и моряки. Говорят, масса раненых в Сибири — Томске и т. д.

После 1-го сентября 1939 года прошло больше 22-х месяцев, и эта война длится, и многие не видят ей конца, — захватила и нашу страну. Благодаря ей я пишу эти строки в курорте Боровом в Казахстане, где никогда не думал быть, не думал, что в мои годы окажусь в тысячах километров от Москвы со своей семьей.

20 сентября. Суббота.

Сегодня по радио появилось известие о прорыве в Киев немцев. Настроение кругом тяжелое. Вновь возобновились известия о поражении — прорыве <немцев> на юге при начале войны, сдаче двух генералов с войсками. Говорят, что в Киеве нет войск, так как армия отрезана в Бессарабии, <говорят> о бездарности Буденного и К°. Гитлер свой план захвата Украины исполнил. Но население сознает <создавшееся положение> — и это скажется.

Я не сомневаюсь (как многие другие) в окончательном <исходе> войны — но дело идет хуже, чем я думал. Все же думаю, что раньше зимы положение выяснится.

25 сентября. Четверг.

Чувство спокойное у меня неизбежности смерти как естественной правды. К старости примиришься со смертью, сопровождаемой страданием. Чувствую вечность...

30 сентября.

27.IX мы переехали в *зимнее помещение*. Переезд этот сопровождался совершенно диким поведением некоторых академиков. Самое печальное — поведение Гамалеи и его семьи. Он использовал свое положение председателя Группы (хотя в это время Группа уже не существовала юридически). И некоторые другие, как Л. С. Штерн, следовали его примеру — захватила комнату Мандельштамов и уехала на время в Казань.

6 октября. Понедельник.

После оставления Киева и взятия Полтавы резко изменилось настроение. Многие не верят известиям; радио — бездарное и часто глупое — <говорит> о мелочах, когда ждут точных данных; <его> начинают менее слушать.

Резкое падение уверенности в успешный конец войны. У меня этого нет — я считаю положение Германии безнадежным. А с другой стороны, для меня ноосфера — не фикция, не создание веры, а эмпирическое обобщение.

Говорят об измене. Думают, <виноваты> украинцы. Прасковья Кирилловна думает, что если немцы объявят о собственности земли, то на Украине они найдут поддержку. Наташа допускает влияние украинских кругов немецкой ориентации — кругов хлеборобов, которые выдвинули Скоропадского, который — как-то промелькнуло в газетах — был во Львове.

Как бы там ни было, занятие <немцами> всей Украины и исчезновение нашей Южной армии всех смущает. Получается такое впечатление, что Одессу, Киев, Ленинград, Москву защищают партизаны и население, частично (Одессу и Ленинград) — моряки. Но где армия? Какая территория занята?

Сегодня получил «Известия» от 1-го октября (очевидно, говорят, на самолете идет в Свердловск /Екатеринбург/), и из нее узнаем о том, что румыны заняли Кишинев, давно...

Очевидно, первое впечатление о Германии должно было быть такое, о котором мы не имели понятия — и которое от нас было скрыто ложными, приукрашенными извещениями Информбюро.

Все-таки <положение> неясно.

Здесь из служащих и в поселке Боровом много взяли на фронт — заменяют женщинами. Население не получает хлеба — семьи взятых на войну не могут купить *хлеба*. Большое недовольство и тревога.

Прочел на днях юбилейное <издание> по случаю 185-летия Московского Университета, официальное — следовательно, многое освещающее под цензурой. С этой точки зрения оно очень характерно. Там я нашел и свою оценку — и тоже есть умолчания цензурные! Как <было> при царях, так и <осталось> при Советской <власти>!

В конце концов, благодаря бестактной деятельности «представителей» Академии, *курорт закрыт*. Как бы это не было надолго? Зависит от хода войны? 10-й флигель, куда нас хотели сперва перевести, отведен для Военно-медицинского Института им. Сеченова, который пока в Севастополе. Мы чувствуем себя не вполне прочно.

7 октября.

Читал дневники и архив Нюты¹ несколько недель тому назад. Ее яркая внутренняя жизнь видна в ее письмах и дневниках. Но для меня <чужда> эта горячая христианская вера, связанная с христианством в наши дни, когда подрываются основы той реальной канвы, вне которой христианин строит себе реальную обстановку, явно неправильную, в которую верит.

Умная, дорогая Нюточка в дневнике 1916 года — последнего года, который она пережила целиком, — обращается к Господу как реальному лицу, который может помочь. Она пыталась найти опору в философии и изучала Даннемана: русский перевод, без переплета, сохранился — весь подчеркнутый и проникнутый ею².

Наташа здесь прочла недавно мне, Ане и Кате Ильинской мой разговор с Л. Толстым, о котором я абсолютно забыл, где я защищал веру в бессмертие личности. Я знал, что я одно время так думал, и знал, что в письмах не раз — соболезнуя по поводу смерти — к близким <умерших> высказывал это³.

¹ Нюта — Короленко Анна Сергеевна (1884 — 1917), племянница Вернадского, дочь его сестры Екатерины Ивановны Короленко (Вернадской), жила в семье Вернадских с 1910 года после смерти матери.

² Даннеман Фридрих. Как создавалась наша картина мира. Пг. 1915.

³ Об этой встрече с Толстым см.: Мочалов И. И. Л. Н. Толстой и В. И. Вернадский. — «Русская литература», 1979, № 3.

11 октября.

8 октября утром я подписал составленный Л. С. Бергом текст обращения к директору Заповедника Боровое Д. К. Кунакову, молодому казаху. Он не окончил высшего образования, но человек очень неглупый и интересующийся наукой, представитель новой советской казахской цивилизации. В бумаге, мной поданной, мы обращались к нему с выражением желания об образовании Музея естественной истории Борового в курорте Боровое. На заседании 9 октября Кунаков сообщил, что темат, выдвинутым мной: 1) Радиоактивность в пределах Курорта и 2) Полезные ископаемые Курорта, Республиканское Управление Заповедниками утвердило на 1941 год — 1500 руб. и на 1942 год — 2000 руб.

12 октября. Воскресенье.

Как-то имел интересный разговор с П. П. Масловым. Маслов считает, что новая форма энергии — атомная — не изменит экономической структуры общества, не произведет того переворота, какой мне представлялся, когда я об этом говорил и думал.

Мне кажется, нет «законов» экономики, которые не изменились бы в корне, раз человек получит концентрированную энергию и 5 кило ее будут равны 200 000 тонн, потребных сейчас для того же эффекта?

16 октября.

Резкое изменение настроений о войне. Ясно для всех проявляется слабость вождей нашей армии и реально считаются с возможностью взятия Москвы и разгрома. Возможна гибель всего моего архива и библиотеки. Когда я уезжал <из Москвы> в июле — мысль о возможности потери и гибели мелькала, но не чувствовалась реально, как она выступает сейчас.

28 октября. Вторник.

Приехали <новые эвакуированные> из Москвы и Ленинграда, и впервые получились более точные данные.

Глубокое разочарование и тревога проявляются кругом. И ясно для всех выступает причина — бездарность центральной власти, с одной стороны, и власть партийных коммунистов-бюрократов, столь хорошо нам известная на каждом шагу, — <с другой>.

Картина, которая открылась перед нами, служит комментарием к тем огромным успехам, которые имели немцы за последнюю неделю. С одной стороны, радио — бездарное — перестают до конца слушать. На Украине, по-видимому, паника и беспорядок. Смена Тимошенко Жуковым — опоздала? Говорят, Буденный с большой армией окружен где-то на Украине. Бездарные генералы. Английская армия на Кавказе? Всюду наших войск меньше — неумение маневрировать. Под Москвой много войск и оружия. Мариуполь взят <немецкими> парашютистами во время заседания областного комитета партии, — и секретарь партии бежал первый. Говорят, выселили немцев немецкой расы (<город> Энгельс) в Караганду — попытка или подготовка восстания. Из Киева население вышло. В Москве в очередях антисемитское настроение. В центре нет людей. Из Ревеля была организована эвакуация так, что раненые и партийные попали под обстрел и много погибло.

Теоретически я не сомневаюсь: если не будет заключен мир — положение Гитлера безнадежно. Но население не верит ни командованию и ничего не может понять из глупой информации.

2 ноября. Воскресенье.

Невольно мысль направляется на ближайшее будущее. Крупные неудачи нашей власти — результат ослабления ее культурности: средний уровень коммунистов — и морально, и интеллектуально — ниже среднего уровня беспартийных. Он сильно понизился в последние годы — в тюрьмах, ссылке, и казнены лучшие люди партии, делавшие революцию, и лучшие люди страны. Это сказалось очень ярко уже в первых столкновениях — в Финляндской войне, и сейчас сказывается катастрофически.

Я не ожидал тех проявлений, которые сейчас сказались. Будущее неясно.

Цвет страны заслонен дельцами и лакеями-карьеристами.

Сейчас мы не знаем всего происходящего. Информация делается так, чтобы население не могло понять положения.

Слухи вскрывают иное, чем слова и правительственные толкования.

Все время думаю о том, что выясняется на Украине, — если верна молва, что там сейчас национальная антирусская власть. Будто бы во главе правительства Винниченко¹ — фигура не крупная. Но вся Украина в руках немцев, и, может быть, этот огромный успех <германской армии> резко изменит положение? Страх Японии. Видна растерянность, так как информация официальная скрывала <перед населением происходящее>.

¹ Винниченко Владимир Кириллович (1880 — 1951) — украинский государственный деятель, писатель.

3 ноября. Боровое.

М. Ф. Андреева¹ говорила недавно здесь Ане Шаховской, что Горький очень хорошо ко мне относился.

Мое последнее с ним сношение было мое письмо к нему при аресте М. М. Тихвинского². В нем я говорил о крупном открытии Тихвинского техническом (в области красок). Я просил Горького показать это письмо Ленину. Горький просил передать мне, что это письмо *было отобрано* у него во время обыска, произведенного у него в заседании Общественного Комитета о голоде, в котором он председательствовал. М. М. Тихвинский был убит. Это —

одно из бессмысленных убийств, которое и сейчас имеет следствия. Это было в 1921 году. С этих пор я лично Горького не видел.

¹ Андреева Мария Федоровна (1868 — 1953) — актриса и общественный деятель, директор Московского дома ученых, вторая жена М. Горького.

² Тихвинский Михаил Михайлович — химик, технолог, профессор, ученик Вернадского. Расстрел Тихвинского был лично санкционирован Лениным. См. подробнее об этом дневниковую запись Вернадского 14 сентября 1940 года. — «Дружба народов», 1993, № 9.

4 ноября. Вторник.

Появились было газеты — вчера два №№ «Правды» (еще в Москве от 24 — 25.X). «Известий» нет. Радио очень скудно, большей частью «анекдоты». Все, что можно достать для непартийных (бумагу, лекарство, хлеб, сахар, мануфактуру) — только по той или иной протекции. Как <обстоит дело> для партийных?

Все время мысль об Украине — я этого не ожидал. Откуда известие? — Мне кажется, оно могло здесь идти только от партийных. Даже среди академиков — такие имена, как Винниченко (совершенно забытый в русском обществе, а украинцев здесь нет никого), — пустой звук. Партийные здесь — как и везде — очевидно, имеют другую информацию. В такой стране, как Казахстан, — их информация лучше и состав выше, чем в центрах. Русские партийцы, которых я встретил здесь, — Орлова, Замятин, Винокуров (парторг).

Если не сделают дальнейших ошибок, то «правительство» Украины — эфемерно. Но пока все еще инициатива у немцев и улучшения центрального командования <Красной Армией> не видно.

Закончил вчера и сегодня читаю Дарвина «Происхождение видов» (академическое издание) — <книга> много мне дала для выяснения моего подхода к биогеохимической энергии и выяснения для себя самого моей математической концепции. Я как-то глубже и более «научно» понял то, что в 1925 году у меня выявилось как интуиция. Все время мысль в этом направлении работает.

5 ноября, утро. Среда.

Был Зелинский — рассказывал известия, привезенные сыном Деборина, приехавшего из Москвы. 16-го <октября> был прорыв в Можайском направлении. Немцы прорвались до Подольска. В Москве была паника. Академия предложила всем академикам и членам-корреспондентам выехать. Пущены были все вагоны (и метро) — увозили. В магазинах раздавали все даром. Шли пешком. Климцы отбиты, и жизнь восстановилась. Вероятно, это <...>¹ назначения Жукова и Артемьева. Газеты вчера не пришли.

¹ Одно слово неразборчиво; по смыслу: «следствие», «результат».

7 ноября, пятница. Боровое.

Солнечный зимний день. Не скользко. Утром прошелся.

Сегодня «праздничный» день. Официальный праздник — 24-я (!) годовщина большевистской революции. Целое поколение прошло.

Вчера — и сегодня — <передавали> речь Сталина. Плохой аппарат. Но все же ясно, что война в конце концов кончится крушением немцев. Сколько могу судить по передаче других, тоже плохо слышавших, речь будет иметь значение.

Все эти дни приводил в порядок дневники Нюты с 1911 и до 1916 года включительно. Много вспоминается. Ее дорогой образ восстанавливается и переживаем эти годы. Мне кажется, ни в философии, ни в религии сейчас нельзя найти опору — роль науки и социального творчества выступает на первое место.

Начал читать Евангелие (у Ани славянское). Сплошь никогда не читал. Библию я прочел всю — с резкой критикой — в старших классах гимназии. Читал все время по истории религии. Но мое отрицательное отношение — для настоящего момента — к значению философии распространяется и на все

формы *живых религий*. Гилозоизм и пантеизм, а не личный — человекоподобный — Бог?

8 ноября. Суббота. Боровое.

Вчера праздник — Аня была свободна. Я читал и не работал над книгой.

Кончил «Тихий Дон» Шолохова. Большая вещь — останется и как исторический памятник. Вся жестокость и ярость всех течений социальной и политической борьбы и глубин жизни им выявлена ярко.

Для меня здесь любопытно отражение «кадет» как течения демократии, культуры и свободы, ясно <в романе> выраженные, — что отвечает реальности. Отражение на фоне старого «казачества», удивительным образом все-таки сейчас сохранившегося.

За границей я увидел и казачью (и калмыцкую) эмиграцию — не в личных встречах, очень случайных и неглубоких, — а в жизни — вне этой эмиграции и литературы. Несомненно, влияние ее было, и события, которые произошли на Дону и Кубани, — может быть, <находились> за пределами событий, описанных Шолоховым. Я не был в это время на Дону — но <на Кубани> был.

Сегодня — и третьего дня утром — опять *галлюцинации*. Раньше я боялся этих проявлений. Теперь — на старости лет и более глубоком проникновении в окружающее — я думаю, что это — *форма* <моей> нервной организации и несовершенство моего зрительного аппарата.

В связи с речью Сталина — значительное успокоение. Удивительная вещь: принцип свободной веры — обязывает. Любопытна речь Рузвельта в связи с идеей Гитлера о захвате силой всех богатств церковью религий всего мира. Большие изменения внесет послегерманское время — после неизбежного, мне кажется, зимой падения нацизма — в нашу жизнь.

Память о Гитлере останется навсегда как <о> человеку, сумевшем поставить задачи мирового господства одной расы и одного человека раньше <создания> ноосферы — единого царства *homo sapiens*, создающегося в результате геологического процесса.

14 ноября. Пятница.

Только вчера днем дошел до нас текст речи Сталина, произведшей огромное впечатление. Раньше слушали по радио из пятое в десятое. Речь, несомненно, очень умного человека. И все же многое неясно.

В газетах появилось было известие об ультиматуме США Финляндии — и затем ни слова об этом. Никто здесь не имеет понятия о положении дел на фронте.

Говорят, в поселке все более чувствуется война. У многих есть убитые и раненые.

Вчера был митинг у нас, о котором я узнал *post factum*. Речь Сталина читала — говорят, очень хорошо — М. Ф. Андреева, и говорил Зернов¹. Оба — партийные. Говорят, составлено и кем-то постановление <митинга>, где и меня отметили.

Эти дни морозы до 20°. Готовимся к зиме.

¹ Зернов Сергей Алексеевич (1871 — 1945) — зоолог-гидробиолог, академик.

15 ноября. Суббота.

Стоят настоящие морозы. Масса неполадок в помещениях — холодно, перебой со светом, с водой. И еще находимся в привилегированном состоянии. Правда, наше личное устройство стояло на втором месте по сравнению с «генералами» — Бах, Гамалея, которые заботились главным образом о себе и близких. Их называли «аристократами». Мне, Зелинскому пришлось добиваться <улучшения условий быта>.

В конце концов, мы все же в привилегированном положении по сравнению с «поселком» Боровое, где положение даже семей взятых на войну — и в

смысле даже питания — неудовлетворительно. В этом последнем мы совсем привилегированны. Приходится уборщиц и т. д. подкармливать.

Невольно думаешь о ближайшем будущем. Сейчас совершается сдвиг, и, вижу, многим тоже <так> кажется — огромного значения. 1) Союз с англосаксонскими государствами — демократиями, в которых в жизнь вошли глубоким образом идеи свободы мысли, свободы веры и формы больших экономических изменений с принципами свободы. 2) В мировом столкновении мы тоталитарное государство — вопреки тем принципам, которые вели нашу революцию и <которые> явились причиной нападения <на нас фашистской Германии>.

15 ноября, вечер.

Заболел — по-видимому, безнадежно — Михаил Александрович Ильинский¹; высокая t°, — говорят, что-то вроде удара. Это — первая жертва на чужбине в нашей среде. Еще на днях он вечером долго сидел у нас, много и интересно рассказывал о своем бегстве из Германии во время прошлой войны. Он всем интересовался, и его большой возраст — 84 года — мало чувствовался. Еще недавно он играл на скрипке...

Холод, и я в первый раз почувствовал ноющие сердечные боли, когда пытаюсь гулять в «большие» морозы — больше 20° С.

Сегодня работал с Аней. Читал Герцена «Былое и думы», научные журналы, Шолохова — «Поднятая целина». Не пошел на лекции Сеченовского института. Старость. Недалеко, но не по силам.

¹ Ильинский Михаил Александрович (1856 — 1941) — химик-органик и технолог, почетный член АН СССР. С 1899 года работал на химических заводах в Германии. В начале первой мировой войны отказался принять германское подданство и был выслан под надзор полиции в Мюнстер. В конце 1916 года бежал в Россию.

16 ноября, утро. Воскресенье. Боровое.

Три<-четыре> факта бросаются в глаза, резко противоречащие словам и идеям коммунизма:

1. Двойное на словах правительство — Центральный Комитет Партии и Совнарком. Настоящая власть — Центрального Комитета Партии, и даже диктатура Сталина. Это — то, что связывало нашу организацию с Гитлером и Муссолини.

2. Государство в государстве: власть — реальная — ГПУ и его долголетних превращений. Это — нарост, гангрена, разъедающая партию, — но без нее не может она в реальной жизни обойтись. В результате — миллионы заключенных — рабов, в том числе, наряду с преступным элементом, — и цвет нации, и цвет партии, которые создали ее победу в междоусобной войне. Два крупных явления: 1) убийство Кирова, резко выделявшегося среди бездарных и бюрократических властителей; 2) случайная неудача овладения властью людьми ГПУ — Ягоды.

3. Деятельность Ежова — вероятно, давно сумасшедшего или предателя, истребившего цвет партии и остановленного в своей разъедающей работе, когда уже много разрушительной «работы» им было сделано.

4. Истребление ГПУ и партией своей интеллигенции — людей, которые делали революцию, превратив ее в своеобразное восстановление государственной мощи русского народа, — с огромным положительным результатом.

Партия «обезлюделась», и многое в ее составе — загадка для будущего. Сталин, Молотов — и только. Остальное для наблюдателя — серое.

Одновременно с этим создается: 1) традиция такой политики; 2) понижение морального и умственного уровня партии по сравнению со средним уровнем — моральным и умственным — страны.

При этих условиях смерть Сталина может свергнуть страну в неизвестное.

Еще ярче это проявляется в том, что в партии — несмотря на усилия, производимые через полидейскую организацию, всю проникнутую преступными и буржуазными по привычкам элементами, — очень усилился элемент воров и

тому подобных элементов. Сизифова работа их очищения не может быть реально сильной.

Наряду с этим единственный выход, непосильный для власти: 1) реорганизация — коренная — ГПУ и его традиций. Возможно ли это? и 2) полная неудача снабжения населения нужными предметами потребления после 24 лет <Советской власти> — то есть неправильная организация — дорогая и приводящая к голоду и бедности — *торговли*.

В сущности, и в Финляндии, и в этой войне это все <сказалось и> сказывается, и впереди неизбежны коренные изменения — особенно на фоне победы нашей и англосаксонских демократий, мне <эти изменения> представляются — несомненными.

Будущее ближайшее принесет нам много неожиданного и коренное изменение условий нашей жизни.

Найдутся ли люди для этого?

Вчера Ильинскому было лучше — появилась надежда.

Вчера занимался с Аней — углубляюсь в математическое выражение биогеохимической энергии.

Вчера был вечер Сеченовского института в память Сеченова, которого я слушал — неоднократно — как студент в Петербурге и с которым встретился, как товарищ, профессором в Москве. В Петербурге, уже хранителем Минералогического Кабинета, я нередко бывал в Сеченовском институте, был приятелем с Введенским и Хлопиным-отцом¹, тогда, кажется, студентом, научно работавшим. С Введенским особенно <подружился>. В Москве Сеченов, работавший в Институте, <расположенном> во дворе <Университета>, не раз заходил ко мне, молодому приват-доценту и впоследствии профессору, днем (иногда с огромной собакой, раз съевшей мой завтрак) поговорить и высказывал мне — очень трогательное — свое хорошее ко мне отношение. Еще студентом я прочел его «Психологические очерки» (кажется) и, кажется, другие его работы. Он подарил мне свой портрет, который остался висеть в Москве на моей квартире. Останется или остался ли он цел?

¹ Хлопин Григорий Витальевич (1863 — 1929) — гигиенист, профессор, отец В. Г. Хлопина, друг Вернадского.

25 ноября, утро. Вторник.

Вчера работал с Аней. В связи с тем, что появилось решение среди академической группы организовать научные доклады, — об этом на днях со мной переговорил Л. С. Берг и даже предложил тему: о геологических оболочках и геосферах, и я согласился. Я давно хотел это сделать и по своей инициативе — но я не решаюсь сам выступать с лекцией. Прочтет Аня, а я выступлю с разъяснениями и в беседе, лекцию сопровождающей.

Вчера в местной щучинской газетке от третьего дня одно из известий ТАСС произвело большое впечатление — из немецких источников мы узнали, что у нас появились сверхтанки. Отвратительно бездарное радио явно рисует отрыв власти от населения. Нам сообщают пустяки, анекдоты. Московские газеты мы имеем только от З.Х. Как ни плохи они и как ни бездарны — из них все-таки обыватель, с огромным опозданием, узнает кое-что.

27 ноября, вечер. Четверг.

Сегодня чувствовал себя хуже обычного. Принимал и адонис, и валидол, и Бехтеревское питье. Утром работал с Аней над тем докладом, который согласился прочесть: «Геологические оболочки Земли как планеты». Этот экскурс из обычной работы очень помогает выяснить мысли.

Днем приходил П. П. Маслов — хотел, чтобы я был председателем организации, которая ведет это дело. Оказывается, вопрос был поднят Масловым на том митинге, который был под председательством М. Ф. Андреевой после речи Сталина. Кажется, было послано какое-то обращение к Сталину — и мое имя упоминалось. Надо справиться, что они написали.

На воскресенье Гамалея собирает собрание <Группы> для обсуждения вопроса о <моей> лекции. К нему такое нехорошее отношение, что хотят выбрать другого. Я отказался, так как: 1) я не могу брать на себя обязанности председателя, учитывая мое болезненное состояние и невозможность посещать заседания, и 2) я полуслепой, так как далеко не вижу. Это — правда. Мне нужны телеочки — их я не смог достать. Советовали обратиться к Зелинскому.

Сегодня получили из местных газет акмолинских и алма-атинских конца ноября интересные речи Гарримана и Бивербрука. В общем, поразили места, где они говорят о Сталине в официальном отчете о Московском совещании¹.

¹ Имеется в виду совещание трех держав — СССР, США и Великобритании, проходившее в Москве с 29 сентября по 1 октября 1941 года. Делегацию США возглавлял Аверелл Гарриман, Великобритании — лорд Уильям Бивербрук.

28 ноября, утро. Пятница.

И мне вспомнились высказывания И. П. Павлова — помню, несколько раз он возвращался к этой теме. Он определенно считал, что самые редкие и самые сложные структуры мозга — государственных людей Божьей милостью, если можно так выразиться — прирожденных политиков. Это выражение, вероятно, не его. И это, я думаю, верно.

Особенно ясно для меня становится это, когда в радио слышится его <Сталина> речь: зычный и неприятный кавказский акцент. И при таких предпосылках такая власть над людьми и такое впечатление на людей.

Одну основную ошибку он сделал под влиянием мести или страха: уничтожения цвета людей своей партии — невознаградимы, так как реальные условия жизни вызывают колоссальный приток всех воров, которые продолжают лезть в партию, уровень которой в среде, в которой мне приходится вращаться, ярко ниже беспартийных. По-видимому, по рассказам, он готовил себе заместителем Кирова, убийство которого партийными кругами, может быть, смертельный удар для партии.

1 декабря. Понедельник.

Вчера была лекция Орлова¹ о «Слове о полку Игореве» и <имела> маленький успех. Мне <она> не очень понравилась.

В связи с этими лекциями внутри нашей Группы <возникли> «политические осложнения». Оказывается, идея о них была поднята П. П. Масловым во время какого-то заседания, — кажется, на митинге, на котором я не был, по случаю речи Сталина.

Маслов говорил со мной как о председателе — но я наотрез отказался и, кажется, его убедил. Я, в сущности, полуслепой (мне необходимы телеочки, которые у нас можно сделать только в Оптическом Институте в Ленинграде, и я не успел это сделать — но <по> состоянию здоровья это не так просто <было сделать>). А затем я не могу бывать на всех заседаниях. Маслов (для большевиков только терпимая, по его мнению, фигура; мне кажется, у него были идейные несогласия с Лениным)² имел разговор с Зерновым, который считает, что этот вопрос должен пройти раньше через партийную организацию. Мы предполагали <избрать> председателем Зелинского, заместителем — Бернштейна³, секретарем — Берга. Кандидатура Гамалея для всех нежелательна. Партийцы выставляют кандидатом Баха. Их здесь трое: Бах, Зернов и Андреева. Но при Бахе Берг не может быть секретарем. Бах при выборах в 1939 году Берга в академики (по биологии) подписал первым донос <в «Правде»> о его антидарвиновских тенденциях. Возражать Бергу, конечно, не было возможности. Это одна из подлостей старика для своей семьи, ее будущего.

Вчера у меня были вечером Маслов, Зелинский, Щербатской⁴ (потомок князя Щербацкого), говорили об этом инциденте, а затем — о литературе. Маслов очень интересно рассказывал о Гарине-Михайловском; он хотел сделать <о нем> доклад. Он терпеть не может Блока, Белого, Маяковского и tutti quanti. Я выделяю Белого — некоторые вещи.

Читал сегодня «Былое и думы» — 1, 3 и 5 тома, издания 1939 года. Давно не читал и все некогда...

¹ Орлов Александр Сергеевич (1871 — 1947) — литературовед, академик.

² П. П. Маслов, в прошлом социал-демократ-меньшевик, автор программы муниципализации земли, в начале 1900-х годов полемизировал с В. И. Лениным по аграрному вопросу.

³ Бернштейн Сергей Натанович (1880 — 1968) — математик, академик.

⁴ Щербатской Федор Ипполитович (1866 — 1942) — индолог, тибетолог и буддолог, академик, друг Вернадского.

2 декабря.

15 августа 1940 года был арестован по дороге в Буковину, в Черновцы, Николай Иванович Вавилов — один из крупнейших наших ученых. Известие об этом очень быстро стало известно. Разрушена огромная работа. Думают, что это связано с каким-то неосторожным выбором людей, которым он доверился. Я в первый раз познакомился с ним, когда он был студентом старшего курса Петровской Академии до революции — он нашел тогда, если не ошибаюсь, дикую рожь, чуть ли не в Персии. Проф. Самойлов Я. В. обратил тогда на него мое внимание. Он работал по генетике в Петровско-Разумовской Академии. Потом у меня были с ним самые хорошие отношения. Этот арест — одна из самых больших ошибок власти с государственной точки зрения.

4 декабря, утро. Четверг.

Неожиданно удалена со службы в буфете очень порядочная женщина Матвейчик. Ряд академиков и я подали заявление Орловой — и для той <это> было неожиданно. Она тоже было заступилась. Оказалось — <рука> НКВД: муж ее поляк. Все <ее> жалеют. На ее место <взяли> жену красноармейца.

Вечером вчера был у Ляпунова¹ — милый, глубоко порядочный человек. Брали ванну — устроено как на бивуаке. Нет четкости в работе.

Большое впечатление на меня и других произвели выдержки из статьи Дэвиса (бывшего посла американского в Москве) из «Sundy Express», опубликованные в «Правде» от 18.XI.1941 о Бухарине — из времен <процессов> 1935 — 1938 годов. Дэвиса спросили <о них> после нападения Германии <на СССР>².

¹ Ляпунов Борис Михайлович (1862 — 1943) — языковед, славист, академик.

² Дэвис оправдывал репрессии 30-х годов, утверждая, что благодаря им в СССР была ликвидирована «пятая колонна».

5 декабря.

На меня эта заметка произвела очень большое впечатление. Шли переговоры не с Гитлером, а с германским генералитетом, который много раньше имел у нас — говорили — заводы, и в иностранной политике мы шли вместе <с Германией>. В конце 1920-х годов очень яркая картина сближения <с Германией>. Антисемитизм Гитлера внес в это согласие резкую брешь.

Убийство Кирова — за которое пострадали невинные люди, а виноваты партийные враги Сталина, часть которых погибла в «чистке» 1935 — 1938 годов.

Киров был, мне кажется, единственным человеком государственного калибра, за исключением Ленина и Сталина, — сила последнего.

Я держался в стороне от всех чествований. Но убийство Кирова произвело на меня глубокое впечатление. Я знал тогда о нем из разговоров с Ферсманом — в Хибинах он <Киров> играл большую роль. Я знал и обратную сторону — <его> боевой характер, по рассказам профессора в Ташкенте Уклонского.

Я пошел на чествование его памяти в академический клуб в Ленинграде. Увидел, что это произвело впечатление, и мне пришлось отбояриваться от вы-

ступления; я отказался выступать, но сказал председателю <собрания>, что <хотя> я видел его <Кирова> немного — но очень ценил его деятельность.

Я думаю, что убийство <Кирова> было сделано партийными, <которые> хотели — и успели (Ягода) — перевести внимание террористов на других лиц. Это последнее — было огромной ошибкой Сталина.

Слабость утром была опять — хотя я принимал Бехтеревское питье, <были> галлюцинации. Утром, хотя у нас в комнате <было> темно, я видел, проснувшись, наяву (и на таком расстоянии, на котором без очек так ясно видеть не могу) спину в рабочей блузе человека, <стоявшего повернувшись> спиной у двери — в нескольких шагах. <Это было> продолжение сна? <Неприятное> ощущение. Давно <такого> не было.

Работал с Аней. Отделал впервые до конца места Тихого Океана в схеме строя планеты.

7 декабря, утро. Воскресенье.

Вчера впервые на двух фронтах хорошие известия. Здесь скарлатина (в школе), сыпной тиф, дифтерит в поселке. Карточек еще не приготовили — и муку купить нельзя. Население страдает.

Работал с Аней над моей лекцией. Таблица геологических и геофизических оболочек. Мне кажется, лекция должна быть интересной. Для меня самого стало ясно, что планетарная астрономия явно указывает на жизнь на всех планетах. Астрономы не учитывают достижений радиогеологии.

Работаю над «Хронологией» родовой жизни нашей семьи. Дневники жизни Нюты — полные религиозной жизни.

Здесь и Аня, и Катя Ильинская — обе верующие. Молятся каждый день. Аня православная — сектантка. Молитва у обоих каждый день, к удивлению Прасковьи Кирилловны. После войны религиозная жизнь — рано ли, поздно ли — восстановится, думаю, очень сильно.

Но разрушительная критика наукой исторически сложившихся религий неизбежно скажется, когда религии, такие, как католичество и православие, потеряют государственную поддержку. Дикое построение нацизма — исчезнут, как больное явление.

Впервые на двух фронтах благоприятные известия — и под Ростовом-на-Дону, и под Москвой. Наконец-то поворот. Начало конца Гитлера.

9 декабря, утро: Вторник.

Вчера занимался с Аней отделкой предполагаемой лекции «О геологических оболочках Земли как планеты». При этой отделке для меня выяснилось, что планетная — микробная — жизнь широко распространена.

7.XII приехали Алексеевы, Фрейманы¹. Ехали в холодных теплушках, а из Петербурга — на аэроплане с минимальным багажом. Условия <жизни> в Петербурге крайне тяжелые — письмо Е. Г. Ольденбург² рисует тяжелую картину. Битвы <идут> около Охтинского моста — в сущности, в городе. Все недостатки аппарата сказались. Некоммунисты сейчас ведущие, а патриотизм — народная масса. Государственный человек — один Сталин. «Аппарат» ниже среднего — посмотрим, не явятся ли <новые> люди.

Щербатской и Ляпуновы убедили Алексеева прочесть <доклад> о Ленинграде. И я, и Зелинский были в ужасе — а Василий Михайлович не понимал <положения дел>. Я вспомнил Сергея <Ольденбурга> и вспомнил выступление Василия Михайловича, когда он переживал тяжелые «политические» преследования. В конце концов <это> кончилось скандалом. Кажется, мой и Зелинского уговоры подействовали, и он <В. М. Алексеев> согласился не делать публичного доклада и рассказать <о положении в Ленинграде> у нас в комнате. Но слух пошел, и в комнату набилось много народу, и опять перешли все в столовую. Бах прислал запрещение <доклада>, так как он <В. М. Алексеев> не получил предварительного разрешения.

7.XII.1941 Англия объявила войну Финляндии, Румынии и Венгрии. Узнали через радио — очень здесь плохое.

Вчера утром по радио узнали ответ Японии на ультиматум из США. Японцы бомбардировали Гавайские острова без объявления войны.

¹ Алексеев Василий Михайлович (1881 — 1951) — филолог-китаист, академик. Фрейдман Александр Арнольдович (1879 — 1968) — филолог-иранист, член-корр. АН СССР.

² Ольденбург Елена Григорьевна (1878 — 1953) — вдова академика Сергея Федоровича Ольденбурга.

13 декабря, вечер. Суббота.

Оба с Наташей лежим — грипп.

Поворот в военных событиях — впечатление <большое>. Сегодня утром <слушали> радио, которое указало, что немецкое наступление, начавшееся 1.XII, от Москвы отбито с огромными потерями немцев в людях и вооружении. Впечатление такое, что немцев стремятся <скорее> уничтожить, чем брать в плен.

Варварство немцев — я думаю — не может пройти без той или иной формы суда.

14 декабря, утро. Воскресенье. Боровое.

Сегодня — несколько дней нормальная t°, и я встал с постели. Насморк и недомоганье. — «Грипп». Сегодня встал, но не выхожу на воздух.

С Бергом — о моем докладе и о планетной жизни.

Он рассказывал, что как-то ему принесли сюда открытку, адресованную секретарю Академии Наук в Боровом. Там было обращение (подпись Берг не мог разобрать) к Академии в связи с судьбой члена-корреспондента Академии Наук, известного цитолога Г. А. Левитского¹, в марте 1941 года арестованного и находящегося в тюрьме в Златоусте по делу Н. И. Вавилова в очень тяжелых условиях.

Берг не принял этой открытки и направил ее к Баху.

Эти дни читал «Историю философии», изданную философским Институтом Академии Наук. Это, в конце концов, полезная книга (прочел 1/2 1-го тома) <авторов-> посредственностей.

Комическое, частью трагикомическое впечатление делают выписки из К. Маркса, Энгельса и Ленина и даже Сталина, редко Гегеля — это единственное отражение «современных» знаний — то есть середины XIX столетия в лучшем случае. Тем более что они излагают исключительно цитатами из писателей Древнего мира. Весь аппарат — критики XX века — по-видимому, не использован.

Среди коллектива авторов, по-видимому, наиболее знающий Асмус, может быть, Дынник. Трахтенберг мне неясен, хотя он член-корреспондент. Митин (академик) и Александров — очень мало одаренные.

«Диалектика природы» <Ф. Энгельса> — мистика, как они этого не видят. Мне пришлось, не помню также, в котором году, в Москве (после 1934 года) высказать это публично; а в другой раз ко мне подошел молодой студент и переспросил — <верно ли>, что я считаю «Диалектику природы» мистикой, что я подтвердил и добавил, что издание ее критически не обработано.

А между тем какое благодарное поле <для исследования истории философии, когда> не мешает религия. <Изложение> исторического <хода> философских концепций в атеистическом и материалистическом понимании любопытно — <пока> нет ни одной <такой попытки>.

Для Аристотеля <в книге> не дано основное: <это была> первая научная организация, <сказавшаяся на последующих> поколениях. Я думаю, что они <авторы> просто до этого понимания слишком <находятся> в шорах.

Мои первые впечатления <о древнегреческой философии> — разговоры с отцом. Он любил Платона. «Пир», «Федон», «Тимей» — впервые от него я это узнал, кажется, еще в Харькове (до 1876 года). В Париже в 1889 году я в лаборатории прочел значительную часть диалогов Платона. О Платоне позже с П. И. Новгородцевым² <было> много разговоров. При сближении с Трубец-

ким³ — тоже. В Париже пробовал <читать> — Плотина, Ксенофонта. Аристотеля в оригинале не читал.

Для Демокрита пропущена у них <авторов «Истории философии»> его «Логика», на которую обратил мое внимание Piers⁴. По истории философии Древней Греции я много читал всю жизнь.

¹ Левитский Григорий Андреевич (1878 — 1942) — ботаник и цитолог, член-корр. АН СССР.

² Новгородцев Павел Иванович (1866 — 1924) — философ и юрист.

³ Трубецкой Сергей Николаевич (1862 — 1905) — философ, публицист, общественный деятель, друг Вернадского.

⁴ Piers — Пирс Чарлз Сендерс (1839 — 1914), американский философ, логик, математик, естествоиспытатель. С его сочинениями Вернадский познакомился в 30-е годы.

17 декабря, вечер. Среда.

Третьего дня долго сидел Вас. Мих. Алексеев — очень пессимистически смотрит на послевоенное положение Академии. Думает, что не будут столько давать на нее денег. Петербург переживает и голод, и плохую организацию жизни нашей страны советской бюрократией. Но он недостаточно принимает во внимание, что Петербург — осажденный город во всей грозной силе XX века.

Я возражал его представлениям о будущем Академии. Конечно, сейчас — при больных и недужных президенте и вице-президентах в Свердловске и Казани — все может быть. Я думаю, что структура нашей Академии отвечает потребностям послевоенного времени.

Работал с Аней — еще раз обрабатывал разрез планеты. Все углубляюсь и углубляюсь.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРОГУЛКА ПО САДАМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Дай руку, дорогой читатель, и вступим под сень этого удивительного творения русского паркового зодчества. Совсем недавно его наполняли сотни литкомиссаров демократического призыва, дымились костры и головы, ожидалось что-то решительное, окончательное и невероятное, вплоть до прилета птицы Каган или самосожжения редакции «Нашего современника». На главной площади кипел круглосуточный митинг, три русские Жанны д'Арк — Елена Боннэр, Галина Старовойтова и Валерия Новодворская — в бронжилетах пламенно требовали покаяния, очищения и возрождения России в исторических пределах Садового кольца, иные предлагали преобразовать КГБ в Академию Лазурных гор с обязательным обучением каждого соотечественника основам фермерства и духовности, а «Союз демократических попов» во главе с Глебом Якуниным причащал участников марафона «Голодовка-91». «Виват, Россия!», «Vive le Gavriła Popoff!», «Россия воскрес!» — раздавалось над кронами деревьев. «Живого соцреалиста поймали! — разносило в кустах. — Демократ, будь бдительнее!»

Короче говоря, это были времена, когда Россия впервые узнала имена Нуйкина и Клямкина, своих новых классиков, как бы Толстого и Тургенева нашей современности.

«Смотри-ка, — удивлялись в верхах. — Складно излагают, собаки. Не грех бы и поучиться. А ну давай, ребята, показывай, какая такая у вас конституция».

Дрожа от надменного возбуждения, сочинители конституций и биллей о правах принялись учить новую власть уму-разуму. Ученики оказались на редкость покладистыми. Они исправно зубрили «Историю государства Российского», а по вечерам, натянув клубные пиджаки, исправно выпивали на всевозможных вернисажах и презентациях. Казалось, наступал век Просвещения.

Но тут начались странные заминки. Вместо того чтобы предаться основам фермерства и духовности, освобожденные соотечественники вцепились друг другу в скулы и стали делиться территориями. Предпринимательское сословие, которому было положено народить из своей среды десятки благочестивых меценатов, демонстрировало увлечения скорее противоположного рода, коллекционируя бронированные «мерседесы» и стрелковое оружие. Новые власти вдрут разом бросили читать «Историю государства Российского» и исчезли за фешенебельными фасадами, прищевив носы и пальцы ринувшимся было вослед наставникам. Некоторое время те продолжали выкрикивать свои наказания и поучения с тротуара, но в проеме окна появился некто квадратный, ткнул пальцем: «тот, тот и этот», а остальным пригрозил кулаком внушительнейших размеров. Век Просвещения явно откладывался на будущие времена.

Но довольно ёрничать, дорогой читатель. Попытаемся определить, какие плоды произросли в садах отечественной словесности сегодня, когда русский писатель впервые оказался в условиях почти абсолютной свободы. Как-то молчаливо предполагалось, что Юрий Трифонов, Василий Шукшин, Юрий Казаков, Василь Быков, «Один день Ивана Денисовича» — лишь островки некоторой духовной атлантиды, скрытой под свинцовыми волнами режима. Схлынут они — и читательский горизонт заполнится произведениями, исполненными гуманистической глубины, высокой гражданской заботы и художественного мастерства.

Увы, за несколькими счастливыми исключениями, ничего подобного не случилось. Это просто поразительно, сколь скудным оказался духовный резерв оппозиционной культуры, как только она выбралась на очищенную от соцреализма поверхность. Отнюдь не гомеры духа возобладали в сонме недавнего самиздатского андерграунда. А агрессивные, невзрачные, претенциозные посредственности, исчерпывающие свою неприязнь к режиму в основном невозможностью явить себя на печатных страницах.

Сегодня такая возможность им предоставилась.

«Охает первый залп. — Речь о праздничном салюте. — Славный военно-морской флот эякулирует калиброванными фаллосами, развешивая в небе родины цветную сперму».

«В отделении милиции дюжие офицеры, капитаны и полковники в расстегнутых грязных мундирах прислушивались к звериным крикам насилуемого. Юргиса, связав ему руки полотенцем, хором насилуовал младший офицерско-сержантский состав участка».

Капитаны и полковники играли на деньги в засаленные, дырявые карты, отнятые у карманных воров. Они пили из жестяных консервных банок кислое пиво. Мочились прямо на пол в дежурной комнате. Балетмейстер, связанный кожаными милицейскими ремнями, посинел и кричал слабее».

На задворках районного городка, «ориентируясь на запах женского туалета», появляется «ветеран партизанского движения» негр Витя. Некоторое время, распевая «Вопросы ленинизма», он обслуживает «вопящих от неожиданности и восторга русоволосых женщин», а затем определяется в помощники к местному ассенизатору, разумеется же, Лаврентию Павловичу Берии. Образцы общения героев:

Витя: «А спорим, что Сталин — сын Ленина? Незаконнорожденный?»

Берия: «Дерьмо. Дерьмо и дермячье дерьмо. Наидерьмейшая дермятятина».

Далее Берия бьется об заклад, что выпьет сто кружек пива не сходя с места, и выигрывает. После чего залез на свою ассенизационную бочку, «откинул люк и принялся стягивать сапог, из которого хлынула желтая струя...». Некоторое время мужики остолбенело наблюдали за Берией, пока Колька Урблюд не воскликнул: «Да он где пил, там и ссал!..»

«Как смеялись мужики! Как они хохотали!»

Литературный критик Лестригонов совокупляется с героиней пьесы Грибоедова «Горе от ума». Софья: «Ах, продолжай! Теперь — кругом... Я и подумать час назад не смела, что ты так знаешь это дело!»¹

И так далее и тому подобное, и это не в подворотнях подслушано, а напечатано в наших уважаемых толстых журналах, традиционно претендующих на духовное руководство своими соотечественниками и современниками. И добро бы речь шла об оплошностях, досадных недосмотрах редакции. Отнюдь, подобными эпизодами и текстами заполнены сегодня десятки страниц этих и других не менее уважаемых и толстых журналов. Педерасты, наркоманы, импотенты, онанисты, Урблюды, завсегдатаи отхожих мест — вот мир, явленный нам сочинителями «другой литературы». Чувство культурной самодисциплины атрофировано у них изначально, и упреки в непристойности для них звук пустой. Поэтому умолкни, книжная крыса, филологический шелкунчик, не тебе судить о подлинной жизни, нами осязаемой.

Нет, почему же! Раз наши младонаатуралисты отвергают всякие правила литературного этикета, оппоненту тоже допустимо снять с себя на время филологический сюртук и потолковать о них на их собственном языке.

При чтении А. Бородыни, Ю. Буйды, Д. Галковского, В. Зуева, В. Курицына, Э. Лимонова, В. Пискунова, С. Соколова, Вл. Сорокина, Ю. Алешковского, В. Ерофеева — впрочем, имя им уже легион — создается устойчивое впечатление, что подлинной причиной их недоразумений с правящим режимом было угнетение их «телесного низа». У нормального человеческого большинства «с этим делом» особых проблем не возникает; для психофизических маргиналов, напротив, более важных проблем вообще не существует. Процессы эрекции, дефекации, генитальные переживания для них адекватны переживанию музыки Моцарта, и не случайно их персонажи совокупаются друг с другом не иначе как с именами Розанова, Хайдеггера или Сартра на устах. Вонми-де, читатель, это не просто половой орган героя или его автора. Это Сакральный Уд, пронзающий Греховность мира в час, когда Амон-Ра, влекомый Озирисом, проделывает то же самое с анусом священного Ибиса.

Но ты, читатель, воспитанный на традиционно целомудренном отношении к печатному слову, все-таки не верь этой квазифилософской белиберде. На своем жизненном пути ты наверняка сталкивался с закомплексованными, истекающими

¹ Приведено из «Ниоткуда с любовью» Д. Савицкого, «Песен об умерших детях» И. Оганова, «Апокрифов нового времени» Ю. Буйды, «Черного ящика» В. Зуева.

похотливой слюной юнцами, одновременно трусливыми и ненавидящими мир за собственную витальную недостаточность.

Сегодня они подались в литературу. Розанов, Хайдеггер и Сартр — это так, дезодорант, интеллектуальный гарнир для доверчивых. В основе же претензия зарегистрировать свою гипертрофированную блудливость по ведомству мировых проблем человечества. Читая интимные дневники Чернышевского и Добролюбова, мы с горестным смущением убеждаемся, как много в их юности было подобного же, постыдно-гениального. Но у них достало моральной ответственности не обременять русскую литературу уклонениями своей плоти. Их литературное «я» аскетически безупречно. У этих совсем наоборот. То, что должно быть сокрыто, выставлено на всеобщее обозрение. То же, что составляет действительные заботы человечества, в их писаниях никаким инфракрасным чтением обнаружить невозможно.

К тому же половина из них элементарно бездарна. Все они хотели бы быть Набоковыми, получается же интеллектуализированная барковщина, при том, что сам Барков из чисто мужской брезгливости откостил бы от подобных наследников.

Вот, однако, предисловие к «Бесконечному тупику» Д. Галковского, опубликованное и, следовательно, одобренное редакцией «Нового мира»:

«В этой книге каждый при желании найдет свое. И каждый будет оскорблен, удивлен, раздосадован. Книга откровенно провокативна, эпатажна, искренна, серьезна. Галковский серьезным тоном проговаривает то, что не думает (так нам показалось), и подчеркнuto иронически то... что впрямую высказать даже в наше плюралистическое время трудно, даже невозможно. На всякий тезис в книге можно найти антитезис... В книге Галковского есть великолепные взлеты и догадки, есть и «графомания». Но — захватывающая»².

Пассаж выполнен филологически безупречно. И, смеем утверждать, не имеет ни малейшего отношения к автору, возмнившему себя писателем на том основании, что он прочел много книг и, видите ли, видите ли, ощутил литературный блеск набоковского «Дара». Мало ли ценителей у набоковской прозы, но никому из них до сих пор не приходило в голову ломиться по этому поводу в двери редакций с криком: «Граждане, послушайте меня!» — и с угрозами помочиться на стол редактору, если не напечатают.

И литературные дяди и тети печатают. Как же, жертва режима, у мальчика было такое трудное детство — не задаваясь при этом вопросом, виновато ли в его изгойстве окружение или он сам.

И добро бы Галковский был талантлив. Так нет же, его записки из подполья есть циклотомическое, именно бесконечное повествование графомана о собственной творческой и жизненной неполноценности. Впрочем, здесь такой случай, когда что хулить, что хвалить — все едино. Такому плюнь в глаза, он скажет — Божья роса, хвалителю же сам, чего доброго, плюнет в очи. Будем, следовательно, считать, что наговорили Галковскому комплиментов, и довольно об этом «enfant terrible» столичных литературных салонов.

Как бы спохватившись, стал упражняться на старости лет в литературных кошунствах и В. Аксенов. Зачем это ему понадобилось, уму непостижимо. С упрямством литературного самоубийцы он гробит свою репутацию романами, каждый из которых невозможнее предыдущего. И это Аксенов, обаятельный автор «Коллег», «Звездного билета», «Затваренной бочкотары», грозди великолепных рассказов, читать которые и сегодня суше наслаждение! Стоило ли пересекать океан, чтобы возвратиться к отечественному читателю в облике похотливого олдбоя, живописующего ляжки мисс Усрис в момент ее совокупления с офицером КГБ? Одно из двух: либо Аксенов всегда был Галковским (что невозможно!), либо перед нами драма таланта, впутавшегося по недоразумению в диссидентские разборки 70-х годов и потерявшего на этом пути самого себя.

Смешон и юноша степенный,
Смешон и ветреный старик, —

увы, иного эпитафия написанное Аксеновым в поздние годы не заслуживает.

² «Новый мир», 1992, № 9, стр. 78.

Есть, однако, в этом потоке «другой литературы» произведение, заслуживающее более вездливого разговора. Речь идет об «Эроне» А. Королева, повергнувшем в шок даже самую либеральную часть нашей критической интеллигенции. В «Эроне» грешат ужасно, беспрерывно, извращенно — куда до него нашим доморошенным эротоманам, чей реальный опыт ограничивается двумя-тремя случайными связями да видеокассетными видениями! Какие там Шаров и Иманов, «Стражницы» и «Умершие дети» или даже Лимонов с его гомосексуальными экспериментами или «просто педераст» Ивана Оганова. Здесь блуд звериный, с кровью, смертными всхлипами — римлянам эпохи упадка и не снились оргии, происходящие на страницах романа.

Да вот, например:

«Они лизут друг друга, валетом лягут и всасываются на пару часов. А член имитируют пальцем. Трахают друг друга языком, дурилка».

Или вот, например:

«Она привязала собачку к дверной ручке. Затем все трое разделись. Клиентка сняла шиньон и натянула на стриженный череп тесную шапочку с вуалеткой... Кончилось все неожиданным спуртом, когда дама призвала к своим чреслам собачку, а Роза и Рая, перемигиваясь, принялись ублажать дурость иностранки с помощью собачьей морды — и надо же! Голокожая дрянь оказалась натренированным кобельком. Только тут старая тварь принялась кричать от наслаждения, раздирать пальцами синюшный анус. Фиглин, рыдая от смеха, зарыл лицо в диванную подушку...»

Или вот, например:

«Вслед за мужским последовало и женское тело. Только тут, когда голая фигура оказалась на дне ванны, дядя Зина вдруг потерял немую бесчувственность... Открыв кран и макая ладонь, принялся было отмывать для похоти багровую щель на лице, но рот сочил и сочил сонную кровь с таким упорством, что горбун сдался... Только один раз, отрезав левую кисть, он не удержавшись схватил и сунул глубоко в прокуренный рот прекрасный мраморно-белый указательный палец, украшенный серебряным ногтем. На лице уродца выступил пот, глаза выкатились из орбит. Сладко напрудив в штаны, он наконец выдернул палец из губ и очнулся, с мокрым шлепком швырнул кисть руки на ванный кафель».

Или вот, например:

«Фуй, я снова кончила, монашек. Полюбуйся, это мой ручной фаллос, личный эректор. Не правда ли, хорош?! Скажи, у какого мужика найдется такой хуреина? В нем шестьдесят шесть сантиметров длины!.. Понимаешь, голубь, — Ася закурила и взяла доверительный тон, — представляешь, козел, все мое тело — это почти сплошной клитор... Но странное дело, кончаю я только от вони. Говно, кислое молоко, подгнившее мясо, прокисшая сперма — все приводит к оргазму»³.

Уф!.. Успокойся, дорогой читатель, переведи дух, выгляни в окно — там покамест все нормально. Вон бежит большая собака, движутся бесконечные людские множества, мамы катят свои коляски, пенсионеры судачат на скамейках, стайка девушек с чистыми лицами, мальчишки на роликах, косые лучи заходящего солнца — а это кто с перекошенной улыбкой сексуального маньяка, крадущийся в зарослях детского сада? Или скорее за тонированными стеклами «ниссан-терано» с бортовым компьютером и баром-холодильником, где хранятся «две жареные руки да тушеный член диссидента с фаршированными яйцами»? Да это Анатолий Королев, автор «Эрона», главного литературного кошмара всех времен и народов!

«Эрон» опубликован в одном из ведущих литературных журналов России. Насколько известно автору, во главе журнала находятся почтенные главы семейств, любящие родители и вообще достойные во всех отношениях люди, такова же и многотысячная читательская аудитория журнала. Психологически это объяснить невозможно.

Но что сделано, то сделано. Фактом своей публикации роман введен в литературно-читательский оборот, он получил «добро» от редколлегии журнала, поэтому, выпив бутылку валерьянки, обвязав голову мокрым полотенцем и погрузив ноги в таз с холодной водой, продолжим разговор об этом манифесте литературного сатанизма.

³ «Знамя», 1994, № 7, 8.

«Эрон» отнюдь не бездарен. Более того, он чудовишно (в прямом смысле) талантлив. Представь себе, дорогой читатель, выродка, паршивую овцу в кругу круга партийной советской аристократии. Он аморален, аполитичен, асоциален, а вместе с тем безошибочно точен в соблюдении поведенческого ритуала этого круга, что позволяет ему безнаказанно удовлетворять самые дикие прихоти своего извращенного «я». Сфера его пребывания — криминальные ниши империи: запасные апартаменты кремлевской челяди, ее черноморско-каспийские дачные эдемы, консульские особняки в дружественных режиму банановых республиках, салоны номенклатурной советской богемы, а по контрасту общежития московских лимитчиц, морги, крематории, уголовные малины, короче говоря, растленное дно четвертого Рима с «полудохлым Брежневым» во главе.

В промежутках между сексуальными свинствами он философствует — прежде всего, разумеется, о тех же пенисах и клиторах, но также и об экзистенциальной изнанке космических открытий, международном терроризме, культуре хиппи, молекулярной биологии, египетской, эллинской, христианской мифологии, мусульманском фундаментализме, высоком барокко, отнюдь не имитируя искренней заинтересованности всеми этими коловращениями земной цивилизации. В результате отмеченные безусловной эрудицией абзацы переходят в десятки страниц дилетантского бреда. Он сам себе египтолог, биолог, советолог, он преобразует прозу эвклидовского знания в поэзию философского сюра и — сказать ли — добивается определенного художественно-философского единства, коего в писаниях прочих младонатуралистов и не ночевало. Там циническая болтовня обо всем на свете, здесь цинизм концептуальный, именно мировоззренческий. Там отсутствие романного и вообще какого бы то ни было художественного мышления, а вот «Эрон» при всем своем повествовательном анархизме все-таки эстетически однороден, он, так сказать, обладает собственным хронотопом, агглюнативной совмещенностью несовмещаемых эпох, судеб, событий, микро- и макрокосма жизни, как это иногда достигается сознанием талантливого наркомана или эпилептика. В нем есть особый повествовательный напор, «энергия стиля» и, главное, собственный образ мира.

Мы, кажется, начали за упокой, а кончаем за здравие. Да нет, поздравлять русскую литературу с таким приобретением автор все-таки не намерен. Во-первых, потому, что это не русская литература, а некоторый космополитический романский монстр, дегуманизирующий суть человека и всего человечества. Во-вторых, порнографический пласт романа безобразен настолько, что способен вогнать в краску самого Чикатило. Это даже не порнография, а какой-то шабаш ведьм.

«Эрон» — не первое посягательство Королева на лавры литературного герострата. До этого он пробовал свои силы в историко-филологическом триллере («Генный местности», «Голова Гоголя»), но в оном не преуспел из-за чрезмерной филологичности и переизбытка конкурентов. Приставить голову Гоголя к туловищу Сталина и заставить ее вещать голосом какого-нибудь Лазаря Пилатовича Кагановича — кого сегодня удивишь подобными литературными забавами? А вот триллера сексуально-философского в садах российской словесности еще не произрастало, и Королеву удалась-таки его геростратова затея. В его лице вся наша сексуально озабоченная братия обрела, так сказать, своего идеологического пахана. С чем мы ее и его и поздравляем.

Сделаем паузу. И признаемся, что толковать о наших младонатуралистах на их собственном языке становится чем дальше, тем затруднительнее. Обратил ли ты внимание, читатель, на разницу интонаций, возобладавшую с некоторого времени в художественных и критических разделах наших журналов? Там, где «художественное», — мат, «мерзость любострастия», глумление над святынями и музами. Там, где «критическое», — изящество манер, филологическое джентльменство, неизъяснимая элегантность выражений.

Я, например, серьезно сомневаюсь, что редакция допустит дословное цитирование абзацев, приведенных выше, хотя, вполне возможно, в том же номере, где эта статья будет напечатана, очередной Королев покроет вселенную матом. Парадоксальная ситуация, не так ли? Подобная той, в которую попал критик Чирва из «Хождения по мукам». В ответ на призывы уважать печатное слово молодцы из «Блюда богов» обозвали его сволочью, и несчастный критик навсегда исчез в волнах литературного моря.

Ситуация семнадцатого года повторяется. Тогда крикливое, скандальное люмпенство призывало расстреливать Растрелли, выбрасывать за борт Пушкина и Льва Толстого и вообще плывать в бороду самому Господу Богу. А интеллектуальный электротат России вместо того, чтобы отомобилизоваться и ответить этому скифскому воинству его же оружием, колебался, вычислял меру дозволенного и недозволенного, пока, наконец, не был выброшен из своих филологических кабинетов под ноги торжествующим пролеткультовцам и ничевокам. Неужели история учит только тому, что ничему не учит? Неужели наша прекраснородушная критическая интеллигенция не понимает, что ее собственные редакционные кабинеты тоже вот-вот будут взломаны потомками этих ущербных ниспровергателей? Изо всего критического цеха только Рената Гальцева в «Семи злейших духах» да кое-кто из новомирских критиков рискнули всыпать всей этой блудословящей братии по первое число — и какой же обиженный шум моментально поднялся, какие оскорбленные письма полетели в редакции! Шаров, например, пожаловался, что из него хотят сделать второго Салмана Рушди... Позвольте, да он сам и те, кто вокруг, сознательно н творят себе такую репутацию. Салман Рушди, второразрядный писака, оскорбил весь мусульманский мир своими «Сатанинскими стихами», совершенно не представляя, чем могут обернуться для него его беллетристические забавы. А духовные вожди мусульманства отреагировали не в пример нашим, и вчера еще самоуверенный претендент в мусульманские антихристы ныне мечется подобно нашкодившему зайцу в поисках спасительного укрытия. Жалко его? Автору этих строк нисколько. Каждый, швыряющийся камнями в небеса, обязан быть готовым, что эти небеса на него же обрушатся, а вот наши отечественные Салманы вообще не подозревают ни о каких возможных для себя последствиях.

Эта ответственность должна быть восстановлена. Она может быть восстановлена, если каждое литературное свинство будет сопровождаться критической оплеухой, следующей незамедлительно.

Пока же получается наоборот. В. Пискунов написал целую повесть («Чью душу желаете?»), построенную как разговор с усомнившимся в его даровании литературным критиком. Пафос этого нелепого во всех отношениях опуса таков: именно потому, что я, Пискунов, — дитя барака, невежда и бездарь, а ты, К., — интеллигент и интеллектуал, дитя культуры, именно поэтому ты должен расчистить мне место на литературной авансцене. Повесть изобилует множественными местоимениями и угрожающими манифестациями: «Вам хочется, чтобы мы затерялись, чтобы история перешагнула через нас... Нет, мы особенное поколение. Мы рождены в межвременье, и нам наплевать, какое тысячелетие на дворе. Мы свободны, нас не сдерживают условности времени, мы будем превращать жизнь в миф, а миф в жизнь. Мы будем губить себя алкоголем и буддизмом, мы будем развлекаться лексическими играми или извлекать подсознательное. Но не это главное. Мы призваны в мир, чтобы разбить систему, выставить торговцев из храма, отнять у книжников право ссылаться и цитировать, мы пришли разболтать историю»⁴.

Каков Христос!

И как все это вторично, неостроумно и путано. «Губить себя алкоголем и буддизмом» — да какие же такие губительные свойства вынскал автор у одной из трех мировых религий?

А он и сам не знает, так написалось. Потом ни с того написалось про то, как он в детстве подсматривал за проститутками, потом про восстание в Новочеркасске, потом, разумеется, про Христа и Сталина, затем пришло в голову, что «если пропустить Розанова через НКВД, получим Ивана Денисовича», — и все это как бы в поучение критику К., а впрочем, неизвестно кому. Поразителен вопрос, с которым Пискунов вдруг набрасывается на оппонента: «Я вчитываюсь в ваши рецензии и не могу понять: почему вам нравится тыкать меня в мое невежество? Отчего вы, интеллигент, защищаете свою территорию с таким правовым высокомерием?»

Ну что на это можно ответить? В ответ на это можно только выразить свою солидарность с критиком К., вот именно защищающим территорию отечественной культуры от агрессивного невежества. Если «они» пришли для того, чтобы «разболтать историю», то негоже нашим гуманитариям и книжникам, задрав штаны, устремляться за очередным Февдой, выдающим себя за Христа. Их однажды уже проучили физиономией об стол большевистские Февды, но урок, как кажется, не пошел впрок.

⁴ «Новый мир», 1991, № 4, стр. 51.

И что интересно: все эти хулители небес непременно желают состояться в писательском качестве. Уж если тебе так претит человечество, оставь его в покое, молчи, скрывайся и таи, воспользуйся, наконец, опытом «тишиста» Земского из «Альтиста Данилова». Куда там... Для этого необходимо философское мужество, готовность к экзистенциальной схиме, а подобная альтернатива им и в голову не приходит. Плюя на алтари и колебля треножники, они страстно желают на них же и взобраться, чтобы поливать оттуда ошарашенную публику бранью. Заметил ли ты, читатель, на какой они короткой ноге с нашей недавней историей? Если соотечественник, то непременно «совок», если Хрущев, то «Хрущ», Брежнев — «полудохлый», Горбачев — «горбатый», но вот о нынешних правителях почему-то ни слова: как же, могут и выпороть. Можно себе, впрочем, представить, каких эпитетов удостоится сегодняшний президент, как только окажется не у власти.

Еще одна особенность названных и неназванных «апокрифистов нового времени»: они не способны улыбаться. Ведь улыбка — это и определенное состояние души, особое, сердечное отношение к миру, гуманистическая заинтересованность в нем. Грозно накренив черепа и окуная перья в склянки с ядом, они обвиняют, разоблачают, приговаривают и не умеют написать ни единого слова иначе как ненавидя. Скажи такому, что Хрущев с Брежневым довольно-таки покладистые, а Горбачев, пожалуй, самый интеллигентный правитель нашего прошлого, — он вытаращит глаза и останется недвижим. Как же, ведь было официальное дозволение глумиться и проклинать, а тут какие-то сентиментальные сомнения. На такие тонкости их фельетонное мышление не рассчитано, их писательское вещество состоит из одной желчи.

Не подозревая о возможности этического наслаждения жизнью, они не способны наслаждаться ею и эстетически. Красота мира для них звук пустой, но даже его безобразие они (кроме, может быть, автора «Эрона») не в состоянии воплотить в образной пластической форме. Они пугают, а нам не страшно. Они проклинают, а мы не верим. Они пророчествуют, а нам скучно.

Закончим на этом заметки о наших новоиспеченных Захер-Мазохах, чтобы описать еще один плод, выросший на истощенном гумусе отечественной культуры. Речь пойдет о «концептуалистах». Что это такое, никто толком не знает, но вот одно из определений этого экзотического «изма»: «Концептуализм <означает> любую попытку отойти от делания предметов искусства как материальных объектов, предназначенных для созерцания и эстетической оценки, и перейти к выявлению и формированию тех условий, которые диктуют восприятие произведения искусства зрителем, процедуру их порождения художником, их соотношение с элементами среды, их временной статус»⁵.

Ты что-нибудь понял, читатель? Таков же и весь концептуализм. Не ищи в нем никакого смысла, потому что он изначально бессмыслен, декларативно придурочен.

Пригов Что есть счастье?
 Пригов А что есть счастье?
 Пригов А что есть несчастье?
 Пригов Да, что есть несчастье?
 Пригов В чем их различие?
 Пригов А в том, что когда есть
 счастье — нет несчастья...⁶

Ну и так далее. Можно кверху ногами, можно задом наперед, можно стихами, а можно и прозой.

Пригов Меня напечатали?
 Пригов Меня напечатали.
 Пригов Это главное?
 Пригов Это главное.

Действительно, Пригова сегодня печатают. Печатают и М. Айзенберга, и С. Красовицкого, и Вс. Некрасова, и Л. Рубинштейна, — впрочем, имя им тоже уже легион.

⁵ Гройс Б. Московский романтический концептуализм. — «А — Я». Журнал неофициального русского искусства, 1979, № 1.

⁶ Пригов Дмитрий Александрович. Книга о счастье в стихах и диалогах. — «Знамя», 1994, № 8, стр. 76.

Они были всегда. У любой литературы, любой литературной эпохи существует свое зазеркалье, населенное преудивительным народцем. Он живет в книжных шкафах, питается словарями и бульонными кубиками и увлеченно производит то, что Томас Манн назвал интеллектуальной «авласаквалаквой». Сегодня она именуется концептуализмом, постмодернизмом, неоавангардизмом, смогизмом, конкретизмом, но суть ее и пафос в самом «изме», который ухитряется что-то обозначать, ничего не означая.

Ощущая свою гомункулообразность, постмодернисты всех времен и народов стремятся утвердиться в культурном конституционном поле, объявить себя нормой, норму же — исключением. В спокойные исторические периоды общество этому противится, но стоит начаться смуте, «постмодернисты» тут как тут, в числе заводил, хотя, в принципе, они аполитичны и цели у них весьма причудливые: захватить как можно больше каналов массовой культурной информации и учинить вселенский хеппенинг на глазах у изумленного человечества.

В 1917 году им это почти удалось. Велимир Хлебников объявил себя Председателем Земного Шара, Маяковский захватил «Окна РОСТА», а пролеткультовцы на какое-то время сумели уловить в свои сети самого наркома Луначарского. Вы, нынешние, ну-тка?

Не могут, а потому что слабаки. Как говорил и пел Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Отцы авангардизма стрелялись и сходили с ума, а их дети даже хорошего литературного скандала учинить не в состоянии. Предел их аспираций в этом смысле — приватная тусовка в кругу адептов и единомышленников, «скандал на троих». Там у них свои расклады, собственная критика и даже собственная эмиграция, удостоенная слабеющего интереса со стороны западных славистов — таких же вечных филологических мальчиков, как они сами.

«По соображениям концептуалистов, искусство перестает быть чем-то аксиологически особенным. Такой концепцией и объясняется огромная производительность Пригова, который... сочиняя точно по три стихотворения в день, написал уже полтора десятка тысяч таких произведений, а всего собирается сочинить двадцать тысяч произведений, не говоря уже о прозе, драме и эссе. Рубинштейн сравнивает вошедшее в поговорку количество приговских текстов с «неоскудевающей пачкой банкнот»: «Она всегда при себе. Всегда есть чем расплатиться. Было бы за что...»⁷

Чисто умозрительные опасения, возразим мы по поводу последней фразы. Приговскими банкнотами можно расплатиться только за критические упражнения, подобные приведенным. Это валюта, конвертируемая лишь на пятакче, где толкуются одни концептуалисты с пачками подобных же текстов-фантиков.

Впрочем, пятакчок постепенно становится территорией. Эти ребята большие мастаки по части взаиморекламы и оперативного сосредоточения там, где только обнаружится типографский станок или какая другая издательская оказия. А. Слаповский, например, отмечен недавно в числе претендентов на премию Букера. Но дело здесь не в неотразимости Слаповского, а в отсутствии достойной литературной альтернативы. Нива, не засеваемая талантами, неизбежно зарастает литературной «авласаквалаквой». Но куда подевались эти таланты? Или настало время, когда уже не может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать?

Дело, наверное, не в этом. А в том, что духовная жизнь каждого народа иногда оскудевает настолько, что у одаренных Богом и природой одиночек попросту не возникает желания предъявлять свой дар обществу. Ничто не свято; гражданские доблести объявлены предрассудками, политику вершат бездарные авантюристы, науки и искусства влачат жалкое существование, в храмах торгуют, всюду торжествует грубый материализм — в таких условиях уму и таланту делать нечего. Он остается как бы «вещью в себе», окукливается и теряет стимул к творческому плодотворению. У народа, возжелавшего стать страной дураков, не может быть умного искусства. Тут-то и появляются со своими бубенцами и погремушками всевозможные «исты».

Никто не собирается отрицать культуру авангарда, тем более авангарда русского. Маяковский и Хлебников были гениальными, а Введенский, Олейников, Хармс очень талантливыми экспериментаторами в области художественно-литературного

⁷ Шмид Вольф. Слово о Дмитрие Александровиче Пригове. — «Знамя», 1994, № 8, стр. 77.

слова. Но в них было и нечто иное, и как раз это «иное» являлось настоящим авангардом, а не лексическая заумь, которая, кстати, у Хлебникова достигала магической неотразимости. В сумме это развивало в читателе как бы заберное дыхание, способность проникать в инфракрасные и ультрафиолетовые зоны искусства. Настоящий авангард находится в пределах читательского и человеческого опыта, одновременно расширяя, гуманизируя эти пределы, концептуалисты же заумны — и только. Пока они находились в «лианозовском» и «барачном» полуподполье, они пользовались, так сказать, заочным успехом. Когда же они вышли на печатную поверхность, выяснилось, что самиздатская атлантида в очередной раз родила мышь.

Не станем ли мы волею истории свидетелями (и участниками) поразительного культурологического открытия? Неужто искусству необходим державный бич, преследования и цензура, ибо законы выживания действуют и здесь? Я не знаю, достанет ли у всех интеллектуального мужества признать, что Тарковский в кинематографе, Вампилов в драматургии, Высоцкий на сцене, Трифонов и Шукшин в литературе состоялись не вопреки, а благодаря жестоким условиям, в которые они были поставлены. «Художник и власть» — проблема шекспировской сложности, расхожому либеральному сознанию тут делать нечего. Настоящий художник слишком ответствен перед своим предназначением и талантом, чтобы разминать их на голое политическое противостояние. Пастернак и Ахматова инстинктивно удерживались от срыва в диссидентское подполье и в результате полностью реализовали себя. Пресс политической несвободы непостижимым для простого смертного образом катализирует творческие силы художника. Его произведение обогащается особой жизненной упругостью, энергией преодоления, образной изощренностью и тщательной выверенностью каждого грамматического знака. Трава, взламывающая асфальт, — вот метафорическое разрешение этой коллизии «художник и власть». То, что противопоставлено «человеческому» в художнике, отнюдь не всегда противопоставлено «художественному» в нем. Скажут, это метафизика, а Кирилов и Пригов всего лишь игроки в бисер. Если так, мы не против. Но бисер должен быть подлинным, драгоценным, а игра — на уровне одноименного романа Германа Гессе. Человеческая культура действительно обладает некоей знаковой «прелестью», вызывающей вненравственное, чисто эстетическое наслаждение. Сосредоточившись на этих знаках и разнообразно их комбинируя, можно усилить их эстетическую действенность настолько, что сверкающая культура знака станет интереснее тяжеловесной культуры смысла — таково намерение, которое никак не могут внятно сформулировать теоретики концептуализма во главе с Гройсом и Шмидом.

Увы, каковы его теоретики, таковы и практики. Читать о концептуалистах так же скучно, как читать их самих.

«Писатель этот, малокультурный, чуть не подросток во многих и многих отношениях, и начал и жил он эксцессами, крайностями, подражанием, чужим добром. Он нахвтался лишь верхушек знания и культуры, а возгордился чрезмерно. Он попал в струю тех течений, что шли с Запада, охмелел от них и внезапно крикнул, что и он декадент, что и он символист, что у него «новая мозговая линия», что он требует в искусстве самой коренной ломки всего существующего и самых новейших форм его. Послушайте писателя нового типа: он сам, своими устами или устами своего критика — и чаще всего газетного — скажет вам, что он создал несметное количество новых ценностей, преобразовал прозаический язык, возвел на высоту и обогатил стихотворный, затронул глубочайшие вопросы духа... был «мудр», «дерзновенен» и т. д.»⁸.

Сказано в 1912 году, а звучит как сегодня.

Итак, при всей смазанности литературной ситуации рубежа 80 — 90-х годов в ней наиболее активно заявили себя две тенденции: литература «телесного низа» и литература интеллектуального «верха». И то и другое в достаточной степени безнадежно, но таково положение вещей.

Время от времени по мере своих возможностей и связей пробивается к читателю со своими романами старая литературная гвардия, но ее попытки влить новое вино в старые мехи (роман В. Астафьева «Прокляты и убиты») приводят к весьма проблематичным результатам, на наш взгляд, менее эффективным, чем принципиальное молчание В. Распутина.

⁸ Бунин И. А. Речь на юбилее газеты «Русские ведомости». — Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9, стр. 528 — 529.

«Сорокалетние», столь шумно отвоевывавшие себе место на литературном Парнасе, так ничего особенного и не поведали миру ни в минувшие, ни в нынешние времена, за исключением, может быть, Пьецуха и Маканина.

Литературная молодежь, только что вылупившаяся из столичных журфаков и филфаков, обслуживает сама себя на страницах журналов «Новое литературное обозрение», «Начала», «Русская виза», «Вестник новой литературы», «Золотой век», «Воум!», «Вавилон», «Другие берега», «Arbog mundi», «Апокриф», «De visu», «Место печати», «Здесь и теперь» и т. д. Увы, большинство этих журналов интересно в основном своими экзотическими названиями. В остальном — та же игра в филологический бисер либо отсутствие строящейся идеи, парад дилетантов. Мы вполне солидарны с Вл. Новиковым, который выбрал для обзора этих журналов название «Слабаки». Ни творчески, ни организационно они не сумели составить конкуренции ведущим повременным изданиям и так и остались «местом печати» «здесь и теперь».

Писатели, продолжающие по инерции преследовать советский миф, выглядят сегодня едва ли не конъюнктурщиками. «Москва 2042», «Антисоветский Советский Союз», «Сказки дедушки Володи» В. Войновича, «Московская сага» В. Аксенова — это уже почти не литература, а фельетонное смехачество над тем, над чем уже отсмеялась и отплакала сама история.

Было бы преувеличением утверждать, что на литературной ниве 80 — 90-х годов ничего, кроме плевел, не произрастает. В одном только 1994 году увидели свет не лишние таланты или, во всяком случае, интересные «Ловушка для Адама» Л. Бородина, «Вечное возвращение» В. Роньшина, «Покой и воля» Г. Головина, «Учитель иврита» В. Букура и Н. Горлановой, «Мир третий» И. Долиняка, «Казенная сказка» О. Павлова... Но это — отдельные произведения, не создающие нового литературного качества и не уравнивающие собой потока сексуально-филологического инферно.

Трудно возразить тем, кто утверждает, что русская литература прекратила на время течение свое. Но как долго будет длиться ее обморок?

До тех пор, очевидно, пока будет находиться в обмороке просвещенный слой нации. Коль нынешнее время способно порождать только литературных бесов и коль ты настоящий писатель — свидетельствуй свое время молчанием своим, уйди в свое писательское «дао», покинь оскверненные площади, где неистовствуют и улюлюкают арлекины.

Критик, не дай увлечь себя этой бесовской кутерьме, сохрани верность своему литературному вкусу и здравомыслию. Не смущайся званием гуманитария и книжника — на них держится моральный порядок в обществе.

Издатель, не отдавай врученное тебе дело Гутенберга, Кирилла и Мефодия на потребу литературному вандализму. Это не принесет тебе ни славы, ни уважения, ни денег, репутацию же испортит надолго.

Читатель, перестань верить печатному слову только потому, что оно печатное. Им сегодня чаще пользуются блудники, чем праведники. Если же соблазн чтения в тебе неодолим, обрати глаза и душу к классике. Там найдешь и мефистофельскую усмешку над своей историей (Салтыков-Щедрин), и дерзновенную эротику (Пушкин, «серебряный век», Набоков), и блистательные «лексические игры» (Маяковский). В искусстве не бывает запретных форм и тем. Но есть эстетический запрет на пакостничество, которым тшятся заменить дарование.

В. СЕРДЮЧЕНКО.

Львов (Украина).

ОТ РЕДАКЦИИ

Автор этой статьи, этого, если угодно, памфлета, пребывает в своего рода российской культурной резервации, отторгнутой от бывшей метрополии, — преподает русскую литературу во Львовском университете. Так что выступает он в качестве иноземного вольтеровского Простодушного или завезенного издалека м-ра Дикаря из «Дивного нового мира» Хаксли. Если помните, м-г Savage потому и дикарь, что полагал слово «мать» святыней, а не ругательством и знал наизусть Шекспира, о котором новая цивилизация слыхом не слыхивала. Вот он и не может к этой новейшей цивилизации привыкнуть. А мы, в российских столицах, к стыду своему, — привыкли...

ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

*

НЕ ДЛЯ ЭСТЕТОВ, НЕ ДЛЯ БЫДЛА...

Две сравнительно недавних критико-публицистических статьи: Аллы Латыниной «Патент на благородство» («Новый мир», 1993, № 11) и Натальи Ивановой «Сладкая парочка» («Знамя», 1994, № 5). В них речь шла не столько о литературе, сколько о той ситуации, в которой оказалась русская литература с наступлением эпохи рынка. Связанная своей духовной традицией, литература отказала в выдаче «патента на благородство» новой российской буржуазии, считала полтора года назад Алла Латынина. Пути литературы и капитала вновь разошлись; писатели не обратили внимания на новый тип российского капиталиста либо показали его в пародийном ключе, как это сделал, например, Бахыт Кенжеев в романе «Иван Безуглов». В статье Н. Ивановой вопрос был иной. А все ли в порядке с «патентом на благородство»... самой новой литературы? Не наступила ли сейчас (цитирую ее слова) «эпоха литературного разврата», когда главной целью писателя стало не создание произведения, но выставление напоказ и таким образом продажа своего писательского «имиджа»?

Впрочем, Наталья Иванова не стала делать выводы из своих наблюдений. Их с лихвой сделал Вяч. Курицын (статья в «Литературной газете» от 24 августа 1994 года). Хватит русской словесности корчить из себя тургеневскую барышню! Писателям все равно придется научиться себя подавать и продавать! Это, может быть, неприятно, но такова истинная реальность. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. И наконец, в газете «Сегодня» от 6 декабря напечатана беседа с редактором журнала «Знамя» Сергеем Чуприниным. Он попытался мирно развести в стороны два понятия: литература рыночная и литература литературная. Первая живет по своим законам в коммерческих издательствах и не обязана признавать морально-эстетические требования так называемой «высокой литературы». Вторая обрела свой дом в толстых журналах вроде «Знамени», «Нового мира», «Октября», «Волги» и т. д. Они образovali своего рода Клуб или Академию со своими экспертами в лице редакторских коллективов и стали аналогами Третьяковки и Большого театра. Все в порядке. Есть две культуры в национальной культуре.

Вот черты невольной дискуссии, возникшей в нашей прессе. Легко заметить, что при всей разности взглядов и темпераментов авторы, как заколдованные, постоянно возвращались к одной и той же теме: «легитимности», или «подлинности», нынешнего состояния литературы. И не важно, что одни всем довольны (или делают вид, что довольны), а другие в чем-то сомневаются. Важно, что тема нынче висит в воздухе. Нам все же придется решать хотя бы для самих себя: обладает ли сейчас «патентом на благородство» русская литература или она потеряла его в числе многих ценностей, которых лишилась страна?

Итак, есть ли законные основания в деятельности странной фирмы под названием «Новая Литература», или служащие ее лишь создают видимость напряженной работы, в то же время со страхом поглядывая на дверь: а не явится ли вдруг финансовая полиция?

Часто слышишь: нынче хоть и тяжело, зато для писателя открылось множество путей и он сам волен выбрать, что делать, для кого и как писать. Да и жизнь наша стала хотя и ненадежной, зато многоликой, интересной. Не черно-белое упрощение, а цветущая сложность по Леонтьеву.

Оставим Леонтьева в покое — он о цветущей сложности говорил, а не о «смесительной» пестроте. Но, может, и в самом деле литература наконец получила

возможность порезвиться, погулять на воле, поиграть мускулами, вздохнуть полной грудью? Ведь никаких же ограничений нет, даже нравственной цензуры! Отчего ж так невеселы лица моих коллег, отчего даже хорошие слова о преимуществе свободы перед тюремной звучат как-то невкусно, с натугой, вот именно — несвободно, как заклинание?

Давайте посмотрим на вещи просто. Никаких особенно новых путей в литературе не появилось. Как и раньше, выбор — один, а путей — два. Есть реальный книжный рынок, где тебя покупают либо нет, и есть заповедный мир так называемой «литературной» литературы, где ни о какой купле-продаже не может быть, конечно, и речи, но вовсе не потому, что населяющие этот мир люди напрочь лишены практических интересов, а главным образом потому, что заповедник и должен быть заповедником, а не местом свободной охоты, и только в этом качестве он может требовать для себя охранной грамоты от государства или молить о финансовой помощи разные коммерческие структуры.

О нашем журнальном «заповеднике» я писал в «ЛГ» от 11 января 1994 года. А теперь — о «диком лесе».

Вот правда, с которой не поспоришь: сейчас издается громадное количество плохих и громадное количество превосходных книг. Тиражи первых, конечно, больше, чем вторых, но иначе и быть не должно. Не станем же мы возражать против большей тиражности газет в отношении к журналам на том лишь основании, что эстетическое качество текстов в журналах выше, чем в газетах.

Не нравится другое. Издательский рынок как бы то ни было отражает культурное лицо страны. Так вот, если судить по нашим книжным лоткам и магазинам, Россию населяют два племени: «эстеты» и «быдло». Я в точности знаю, что это не так, исходя из примера хотя бы своих ближних и дальних родственников, которые ни быдлом, ни эстетами не являются. Но, видимо, господа издатели знают Россию как-то иначе, если без лишней головной боли поделили ее на две сферы влияния. Для «быдла» — пуговицы, булавки, дешевые колючки в виде дурно переведенных с неизвестных оригиналов романов. Когда пытаешься разумом схватить принцип выбора этих вещей для перевода, понимаешь, что: а) как правило, господа издатели сами не знают иностранных языков и в выборе книг вынуждены доверять своим переводчикам; б) как правило, для переводчиков вся эта массовая литература представляется полным дерьмом и способом зарабатывать деньги, в том числе и для того, чтобы затем иметь возможность приобретать хорошие, «эстетские» книги.

Ибо в отличие от массовой книжной продукции «эстетская» литература, опять же как правило, настолько хороша, что язык не повернется что-либо возразить против ее издания. Чье сердце не охватит теплая волна при виде четырехтомника Гумилева, или трехтомника Георгия Иванова, или, наконец, волшебных «Образов Италии» Павла Муратова! Тем более что такие книги делаются обычно не из коммерческих соображений и согреты почти героическим пафосом их составителей и комментаторов, которые еще в застойные годы поклялись, если не вслух, то внутри себя, жизни не пожалеть на возвращение читающей России их запрещенных кумиров.

Возвращать, возвращать и возвращать! — закликает глубоко симпатичный мне Сергей Федякин в «Независимой газете» в связи с изданием Георгия Иванова, — и тогда, быть может, охнет от обморока современная русская культура. Как я знаю, Сергей Федякин занимается изданием Василия Розанова. Не сомневаюсь, что когда он держит в руках свеженькие томики Георгия Иванова, то «сквозь магический кристалл» видит перед собой что-то иное: «Избранное», а еще лучше Полное собрание сочинений своего любимого В. В.

Это пафос настоящего филолога! Но филолог не имеет права навязывать свой пафос всей жизни, всей культуре. В противном случае он встает как минимум на «нищшеанский» путь и как максимум на нормативный путь «соцреализма». Сергей Федякин и другие героические филологи должны определиться, в качестве кого возвращается к нам, например, Василий Розанов. В качестве «наследия» (и тогда открыть или не открыть его книги — все равно что посетить или не посетить выставки живописи начала века)? Или в качестве «культурной инициативы» (и тогда нам, видимо, срочно надлежит вновь переболеть «розановщиной» со всеми вытекающими заманчивыми перспективами в виде декадентских «оргий», метаний из христианства в революцию, из революции — в христианство и проч.)? В качестве кого возвращается в Россию Георгий Иванов? В качестве редкого по музыке и пластике стиха поэта-эмигранта, в самом начале пути «зарезанного цивилизацией,

зарезанного без крови» (А. Блок), или же в качестве Великого Поэта, каким его сейчас только ленивый не величает (даже пресс-секретарь Президента Вячеслав Костиков на вечере памяти Иванова в ЦДЛ)? Если — второе, то я боюсь, что однажды мой сын-пятиклассник явится из школы с заданием учить наизусть не «Люблю грозу в начале мая...», а:

Хорошо, что нет Царя,
Хорошо, что нет России,
Хорошо, что Бога нет... —

и эта бредовая ситуация станет итогом героических усилий наших филологов, которые, как известно, в России «больше чем» филологи.

В начале статьи я не случайно привел сравнение книжного рынка с диким лесом. Есть в нем какая-то ложная первобытность. Не важно, что именно предлагается первобытным людям: неизвестный Стивен Кинг или неизвестный Георгий Иванов. Важнее сам принцип отношения к читателю, выраженный в известном шлягере: «Завтра вы увидите то, что НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ». Важно, что господа новые издатели, кажется, выступают в роли не то испанских конкистадоров, не то протестантских миссионеров и не знают, как видно, что Россия — это старая, старая, старая страна, а не девственное поле для рыхления культурной почвы. Если при невероятном книжном изобилии, которое мы имеем сейчас, простые люди задают вопрос: А ЧТО ЖЕ НАМ ЧИТАТЬ? — значит, не все в порядке в нашем королевстве. Если пестрые книжные лотки выглядят нормально в Москве, не слишком нормально в областных городах и вовсе чудовищно в районных центрах, — значит, культурное возрождение вновь грозит обернуться культурной судорогой. Если, как пишет в «ЛГ» Борис Екимов, в деревенских школьных библиотеках нет дешевых изданий «Бедной Лизы» и «Капитанской дочки», — значит, в культурном отношении мы все еще топчемся на месте, а запущенная гигантская книгоиздательская машина пока работает на холостых оборотах.

Литературы для «быдла» и для «эстетов» явно не достаточно, да и вообще такое разделение надо признать ложным, оскорбительным для людей, а значит, в перспективе — коммерчески невыгодным. Не случайно, как заметил в той же «ЛГ» Владимир Коробов, резко падают тиражи книг, первоначально рассчитанных, казалось бы, на массовый спрос. Не случайно более хитрые издатели начинают выпускать Кочетова, Чаковского, Бабаевского. Еще немного — и они обратятся к современным писателям с просьбой дать им что-нибудь «человеческое», «реалистическое».

— Народ, па-машь, устал от этих кингов, от этих ерофеевых!

Что ответят на это новые литераторы? Запрутся в башне из слоновой кости или, того хуже, «пойдут в народ» с гордыней в душе, продолжая полагать себя все-таки «эстетами», а людей — все-таки «быдлом»?

— Мы, па-машь, так пишем! Не можем иначе!

«Патент на благородство» — это важно. Но кроме него есть и такая банальная вещь, как «право на гражданство». Я боюсь, что новая русская литература может лишиться этого права значительно раньше, чем новая российская буржуазия получает наконец свой «патент».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

...И В ЧУДНЫХ ПРОПАСТЯХ ЗЕМЛИ

Н. Н. Садур. Ведьмины слезки. Книга прозы. М. «Глагол». 1994. 288 стр.

У Нины Садур есть небольшое эссе «Мои думы о денюжках», хорошо известное в театральных кругах. Садур с редкостной сардонической колючестью рассказывает, как ее, автора пьесы по роману Лескова «Соборяне», водил за нос, ущемлял и бессовестно обчитывал Театр имени Евгения Вахтангова. Подлинные имена названы, личности задеты.

Дерзкую и чреватую скандалом публикацию главный редактор журнала «Московский наблюдатель» снабдил изящным послесловием, объяснявшим, что «Мои думы о денюжках» — текст художественный, что Роман Виктюк и Михаил Ульянов, в нем выведенные, отнюдь не реальные театральные деятели, всеми уважаемые, а гротескные литературные персонажи, что пристрастие Садур к гиперболам и фантастическим допущениям общеизвестно, такова писательская манера — а впрочем, если деньги недовыплачены, то рассчитаться с автором было бы не худо.

Удалось ли таким образом смягчить обиду, нанесенную председателю Союза театральных деятелей России, я не знаю, интересно иное: этикетное послесловие рикошетом цепляет тему важную, и, по-моему, цепляет впервые. Вахтанговский театр в тексте Садур — самый доподлинный, стоящий на Арбате, и одновременно какой-то не совсем реальный. И повествовательница, покупающая на гонорар «три корочки хлеба», — Садур не Садур (мир с ними обими!), и сама история, сохраняя документальную подлинность, превращается в страшноватую байку.

Граница между голой правдой и вымыслом, между автобиографией и наваждением, между бытовым и сверхъестественным в сочинениях Садур всегда открыта. Жанр при этом значения не имеет: пьеса, повесть, статья в журнал — действительность до боли узнаваема, но вовлечена в нечто потустороннее, пронизана им и перетолкована. Это — постоянное свойство авторского видения, а зачастую также и тема творчества.

Не помню, кто придумал простой, «детский» способ объяснять, что такое четвертое измерение: вот точка, из нее можно двигаться вперед-назад, вверх-вниз, вправо-влево. А еще — **вглубь-наружу**. Садур любит выстраивать сюжет вокруг такой точки провала-прорыва — схождения с умонепостижимым. Даже когда ничего сверхъестественного с персонажами не происходит («Если оглушать себя действительной жизнью, то можно даже не почувствовать, что это все время с нами и следит за каждым нашим движением», — пишет она во вступлении к книге рассказов «Проникшие»), подтекстовое присутствие четвертого измерения, меняющее привычный контур реальности, дает себя ощутить в стилистическом напряжении, в как бы произвольных сдвигах логики, в диком мясе исказившегося имени — Дырдыбай, Боровик-Эстандья, Сальманелла (кое в чем Зина) — или пронзительной фразы.

«Человек может уснуть от непосильного потрясения, — сказали врачи. — Душа, боясь окончательной, смертельной гибели, уходит в сон, как бы чуть-чуть в сторону от жизни за то, что здесь ее чуть не убили» («Печаль отца моего»).

Координата четвертого измерения «вглубь-наружу» — земная ось в мире Нины Садур.

«Ведмины слезки» — ее вторая книга (сборник пьес «Чудная баба» вышел в издательстве «Искусство» шесть лет назад). В книгу вошли два романа, один короткий, другой очень короткий, две повести, два неполных десятка рассказов из двух циклов. Тексты не датированы, и угадать последовательность, в которой они написаны, трудно.

Взгляд Нины Садур все время как будто блуждает по одним и тем же закоулкам мира, натывается на те же фигуры, комнаты, сочетания примет. Неточную,

вялую руку дебила со связкой ключей из рассказа «Замерзли» вдруг получит татарин Дырдыбай (повесть «Ветер окраин»), рассказ же перетек некогда в одноактную пьесу, там появилось новое лицо, театральная уборщица Лейла, которую под именем Майя-Манияхан мы встретим в романе «Алмазная долина», а горбатую старуху соседку из этого же романа, помнится, мучительно ненавидела героиня рассказа «Цветение»... Такие сплетения и круговороты в сочинениях Нины Садур — на каждом шагу.

Временные окончания к глаголам я присоединяю лишь ради личного стилистического комфорта. Для прозы Садур хронологические связи — вообще не связи, это мимоходом подчеркивается. «Сама Марья — все то же (см. рассказ «Синяя рука»), единственная новость, что у Марьи недавно начала расти мошонка», — написано в «Чудесных знаках спасенья». Если мы доверимся отсылке и в рассказ заглянем, прочтем, что «Марья Ивановна лежит мертвая, а на шее у нее отпечталась синяя рука». Так когда же — все то же?

Время Садур — всегдашнее «сейчас» с вкраплениями незавершенного прошлого и проблесками наступающего будущего (сказать к слову, приверженность настоящему времени — свойство театральной среды). В описываемом мире — мире коммуналок, одиночеств, привычного несчастья, увечных радостей, задыхающихся разговоров и темных, недобрых чудес — не меняется ничего, лишь переплескивается из фабулы в фабулу. Приметы объективного, общего времени могут быть любыми: кофе на последние пятьдесят копеек, майка с «Ламбадой» или попытка уютгом — они ничего не значат.

«Лето стояло, стояло, стояло. Шли годы. Лето стояло, все выше и выше» («Чудесные знаки спасенья»).

Почти не меняется с годами и манера письма, писательский голос Нины Садур — чуть глуховатый, что-то свое наговаривающий и причитающий, не к читателю — в сторону. Сама она своими литературными учителями называет драматурга Виктора Розова и прозаика Евгения Харитонову, но ученичество вовсе не подразумевает сходства. Хорошие учителя не плодят подражателей и не прививают чужому таланту своих привычек. Если искать в русской литературе похожий строй речи, то, согласно тонкому и, при всей лестности сравнения, справедливому наблюдению Татьяны Бек, проза Садур приходится сродни гениальному словесному мученичеству Андрея Платонова. «Потолок был желтый древней желтизной, а Марья Ивановна приседала поближе к Вале, и старый паркет выскакивал из ячеек и летел от приседания и недостатка ремонта» («Синяя рука»); «Слова лились из них быстрее мыслей. А тугой поток чувств иногда полностью смывал смысл слов» («Утюги и алмазы»); «А твоя грусть, это только нетерпение от медленной жизни» («Юг») — это, конечно, чисто платоновское строение фразы: не заподлицо, а в излом, чтобы слово в слово впивалось. Однако это не заимствование и не стилизация, а своя речь.

Любое сравнение нужно уточнять оговорками, и вот две важнейшие. Во-первых, Садур, в отличие от Платонова, любит заводить речь от первого лица, сочинять голоса рассказчиков — и это, опять же, свойство театральное. Во-вторых, само отношение к миру в прозе Садур почти всегда — лирически-интимное и страдательное. Ей чужд платоновский пафос яростного делания и в еще большей степени чужда проблема «мы», для Платонова важнейшая, — проблема человеческого множества с общей судьбой и тягой к единству («Чевенгур», «Джан»). Для героев, точнее, героинь Садур люди делятся только на «я» и «они». «Они» вовсе не близки, зачастую отмечены чем-то ярким и особенным (иногда — невыносимым уродством), но все — чужие.

Что действительно унаследовано от Платонова (мне, по крайней мере, невдомек, от кого бы еще из прозаиков) — это схема мира с перевернутой вертикалью, наиболее наглядная в «Котловане». В поэзии «опрокинутое» мироустройство, как показал Ю. М. Лотман, мы встречаем иногда у Заболоцкого: в качестве неподвижного «низа», косного, тесного, беспроглядного, выступает бытовое пространство обывденной жизни, а «верх» — территория свободы, движения, творчества — перемещается вглубь, в «ниже низа» («в преисподнюю» — подсказывает традиционалистское мышление, но это не совсем так).

Чем более экзальтирована проза Садур, тем явственнее обозначается эта опрокинутая вниз вертикаль. Она проступает в насквозь личном, захлебывающемся, иногда почти истерическом (по эмоциональному строю напоминающем «Четвертую прозу» Мандельштама) романе-гротеске «Чудесные знаки спасенья». Там юно-

ша Саша с колокольчиком на груди и пальцами, порезанными об гитарные струны (конечно, Садур пишет об Александре Башлачёве, самом одаренном поэте русского рока), выбрасывается в окно — «похабно убится» об черную морду асфальта, о плоскость абсолютного «низа», в которую вросли бытовые чудовища — соседи повествовательницы: Марья-морда, Сальманелла, Жопа, Полугармонь. Не знаю наверняка, но могу спорить: и в этих монстрах себя могли бы узнать вполне реальные люди.

«Под Москвой нет темных недр почвы, нет темномолчащих вод, нет мрака спящей, дышащей сама в себе — земли. Под Москвой — светловатый воздух метро. Значит, их нижние части свисают в воздух... Их нижние части для нас будут — солнца».

Беда Москвы в романе Садур — отсутствие глубины под плоскостью низа.

Тема перевернутого мира пунктиром проходит по всему роману: «Лето встало выше неба и победило всех»; «звезды снизу до самого неба стояли»; «толстые ножки над высоким воздухом» (знак чудесного, неожиданного спасения). Лейттемой она становится в «Занебесном мальчике» — самом патетичном и торжественном по тону рассказе, замыкающем книгу.

Небо в нем вызывает отчаяние: «Там мрак, мрак и пустота бесконечности, и никто на нас не смотрит, кроме адского беззвучия...» Теплые токи жизни идут из глубины земли, из матери-магмы, и спасение принадлежит тем людям, которые отвернулись от неба, тем, «которые искали пути в жизни в обратную сторону». В финале сумасшедшая старуха повествовательница нашла этот обратный путь, «и земля сомкнулась над нами, укрыла нас навсегда от смерти и гибели».

«Перевернутость» не равняется простой замене знаков: минуса на плюс, низа на верх, зла на добро. Сложность в том, что полярные понятия отчасти взаимозаменяются, отчасти же — срстаются. «Земля сомкнулась над» — устойчивый эвфемизм смерти, но здесь, в рассказе, это смерть-любовь, «смерть во спасение». Смерть остается смертью и зло — злом (не «искаженным добром», которое нужно восстановить, не «несовершенством», которое нужно преодолеть, а злом субстанциональным). Однако мы поставлены автором в позицию душевного приятия зла, готовы им тронуться, испытать теплое сочувствие. Так было в «Чудной бабе» и «Панночке» — лучших пьесах Нины Садур. Так — в рассказе «Ведьмины слезки», который дал название книге.

«Хорошо доброте — она светлая, открытая, нечего ей бояться — в ней одна радость. А когда в страдании обращаются ко злу, кто знает, какие муки оно, пробужденное, выносит, бродя на поводу у боли и несправедливости».

С этим афористическим абзацем, завершающим рассказ, не стоит доверчиво соглашаться, но обдумать сказанное надо. В «этической системе», которую предлагает проза Садур, зло злу рознь. Есть плоская, тупая злоба «низа», агрессивно пачкающая обыкновенную, действительную жизнь, — злоба коммунальных соседей, которые гадят в углы, воруют, едят лапшу руками, захламляют пространство (не случайно любимые героини Нины Садур — уборщицы). Эту злобу нельзя не ненавидеть и приходится, сколько можно, терпеть. И есть темные силы: к ним обращается за помощью неотвязная, требовательная боль или же человек пробуждает их случайно, в силу обстоятельств. «Человек, который из упрямства захочет проникнуть в это, погибший человек. Он либо с ума сойдет, либо умрет, либо сопьется», — сказано во вступлении к «Проникшим». Случайное же соприкосновение хоть страху и нагонит, но может даже к лучшему обернуться — или так, даром сойти (рассказы «Блеснуло», «Миленький, рыженький»).

Темные, глубинные силы в мире Нины Садур — не бесовской, а скорее языческой природы. В мире искусства появлялось уже бог весть сколько «последних язычников»: вольнодумцев, острословов, эстетов, гедонистов... От их яркого и утонченного камлания стоит отделить тихий, страдальческий наговор Нины Садур. Ее «язычество» женственно, трогательно и страстно. В нем, как это ни удивительно, есть привычка к несчастью и инстинкт смирения. К тому же этому душевному язычеству мы обязаны новой отменной книгой прозы. И все же, если из сочиненного мира оно перебрасывается в несочиненный (не будем разбираться, какой из них «действительнее»), если им крепится ткань личной жизни, — автору не позавидуешь.



«ДО СМЕШНОГО ЖАЛЬ...»

Диня Рубина. Один интеллигент уселся на дороге. Иерусалим. «Verba». 1994. 266 стр.

Трудно говорить о книге, которая, как в данном случае, вышла «не у нас» и которую наш читатель не сможет приобрести в магазине или взять в библиотеке. Впрочем, три из четырех произведений, вошедших в сборник, были в свое время опубликованы «у нас» (повесть «На Верхней Масловке» и рассказ «Один интеллигент...» вошли в московские, «доотъездные» сборники Дины Рубиной, а повесть «Во вратах твоих», после опубликования в Израиле, увидела свет в пятом номере «Нового мира» за 1993 год).

В нынешнем сборнике они сгруппированы по жанровому принципу — сначала идут две повести, потом два рассказа. Но представлять их читателю хочется в ином порядке — по внутренне-содержательному, тематическому их наполнению, ибо «Верхняя Масловка» и «Один интеллигент...» связаны и объединены темами вечными, общечеловеческими (Искусство, Любовь), а в рассказе «Яблоки из сада Шлицбутера» и в повести «Во вратах твоих» появляется и властно заявляет о себе национальная тема — поиски ответов на тоже вечные вопросы: кто я, чья я, где я и что я здесь делаю? Сплачивает все написанное Рубиной и, в частности, вошедшее в этот сборник прежде всего — единство героя (обычно это — женщина и всегда — русский по исходному самоощущению человек, вне зависимости от «крови») и, что самое главное, — единство стиля и в слове, и в освещении живописуемых событий.

Эксцентричное название сборника «Один интеллигент уселся на дороге» (слова из озорной и малоприличной песенки) поначалу кажется излишне игривым и замысловатым. Однако по мере чтения это впечатление исчезает, ибо единственным героем Рубиной выступает именно интеллигент, и притом интеллигент «в дороге» или же — «усевшийся на дороге» и тем самым сильно затрудняющий движение по ней.

Лучшее в сборнике, бесспорно, — повесть «На Верхней Масловке», история взаимоотношений старухи скульптора Анны Борисовны и ее молодого друга театроведа Пети, вернее, история их взаимомучительства, дружбы-вражды и любви-ненависти.

При первом же знакомстве с Анной Борисовной сразу на ум приходят такие наши «великие старухи», как Мария Юдина, Анна Ахматова, может быть — Анна Голубкина. Героиню повести действительно роднят с ними отдельные жизненные черты — фанатическая преданность искусству, сила духа, бытовой «нигилизм», безрасчетливость, некоторые биографические ситуации. Все же не следует здесь слишком увлекаться поисками прототипов (у Рубиной, правда, нетрудно их повсеместно обнаружить). Отталкиваясь от реальных людей и судеб, она неизменно создает в своих произведениях (даже откровенно автобиографических) именно типы, достаточно обобщенные и внутренне насыщенные.

Что же до Анны Борисовны, то нрав у нее воистину кошмарный: дремучий эгоцентризм, высокомерное пренебрежение условностями человеческого общежития, убийственная насмешливость, страсть к ссорам и «стравливанию» людей, неряшливость и многое другое, что так ранит и унижает окружающих. Самый близкий из них — Петя, привычно впадающий в истерику после очередной старухиной выходки, не жалеет на нее бранных слов: «житейский идиотизм», «она жадала крови», «любила жрать человечину» и т. п. Вся кривая их отношений полна для Пети обид и непонимания. И с точки зрения здравого, здорового житейского смысла мы вслед за ним как будто вправе осудить Анну Борисовну. Но хочет ли этого автор? Думается, что не хочет и временами, наоборот, откровенно любит свою нелепую героиню, ее жизненной силой. И вопреки всему уходит она из жизни победительницей, а не жалкой, смешной, нищей старухой.

Дело, видимо, заключается в том, что, тщательно выписывая все перипетии бесконечного психологического поединка Пети и старухи, автор имеет в виду и другой, куда более важный спор — вечный спор между сухим, честным и прямым умом, с одной стороны, и Талантом — с другой. Спор обыденного сознания с тем «огнем, что просиял над целым мирозданьем» (А. Фет), спор Критика с Поэтом, человека Искусства, постигаемого не умом, а лишь посредством того благодатного отклика, который оно тишится пробудить в прочих людях — «простых» и «нетворческих». Анна Борисовна размышляет: «...кому и когда, со времен сотворения

мира, ум заменял талант? Да, талант, талант... богоданная способность рожать, вечное диво на вечно живой земле... И выются бесплодные умницы вокруг блаженных рожиц, и толкуют, и судят, и взвешивают дитя, свивают его и качают; горькое, вероятно, занятие — нянчить чужое дитя...»

Лишь после смерти старухи Петя понял, что она питала его «своей драгоценной любовью к жизни. Все эти годы он жил за счет ее энергии, жил от электрической сети ее таланта и мужества».

Работает писательница — и это очевидно — в гуманистической традиции русской психологической прозы. Но она находит свою лунку, свое особое место. Вот его «контуры»: сочетание любви с насмешкой, иронии с горечью и жалостью, жизненной точности со вкусом к жизненному же абсурду. И еще — редкая, виртуозная живописность письма, когда каждая почти строчка — изобретательно найденный, оригинальный образ. Вот, к примеру, на одной только странице женщина «отстучивает каблучками пространство», а мужчина пытается представить ее в постели, но у него ничего не выходит: «Нина лежала в широкополой своей шляпе, торчали из-под одеяла каблук сапог». Здесь же: полы зеленого старухино халата тяжело свисают с гладильной доски, «как занавес передвижного полкового театра», а в другом месте — слышно, как по бумаге заскользил карандаш художника — «широкими конькобежными линиями»...

Героиня рассказа «Один интеллигент...» — корректор. Она прочла миллионы строк, память у нее молодая, цепкая, и что бы она ни бралась сказать «от себя», обо всем решительно уже сказано, написано в тех книгах, которые ей довелось прочесть или прокорректировать. Здесь постоянный рефрен: «Впрочем, и про это было уже у какого-то писателя». Однако гора прочитанного не мешает, а может быть, и помогает («эффект отталкивания», боязнь повторения, эпигонства, банальности) рассказчице обо всем говорить по-новому, именно в духе своего собственного словотворчества и образотворчества.

Небольшой рассказ этот, как и многие другие вещи Рубиной, выстроен как музыкальное произведение, где основная, трагическая, в сущности, тема неудавшейся, нелепой любви рассказчицы к недостойному, смешному и жалкому человеку как бы «упрятана» в обрамляющие и пронизывающие рассказ «перебивы», в ироничные, подчас едкие, описания обитателей писательского Дома творчества. Беглые портретные зарисовки здесь воистину прелестны: сварливый акын, сочиняющий свои среднеазиатские байки в комфортабельном подмосковном поместье; глуповатая старая дева — специалист по детской литературе; «голубые» соавторы — грубоватый Миша и томный хрупкий Руся, выстуживающие на машинке роман в новом, особо мужественном стиле «библейзма» (здесь же приводится и образец: «И пришли они к женщине этой. И было это в седьмой день, воскресенье. При них выпить было, и много желали они веселиться. Но дверь эта женщина не отворяла. И возопил тогда Вася: „Откроешь ли ты, блядь, в светлое воскресенье Господне?!“»); мрачный драматург Кириллов, который гонит «жутко талантливую чернуху» — пьесы «Бардак», «Расчлененный труп» и «Главный гинеколог».

А в самом конце рассказа вдруг возникает какой-то просвет, какой-то иллюзорный выход, обращение к чему-то высшему. В небе появляется некий «неопознанный объект» (вернее всего — аэростат), а внизу стоит кучка растерянных людей — каждый со своими бесплодными, суетными, корыстными интересами, людей, на которых автор направляет как бы луч прожектора, луч доброго сочувствия и сострадания. Рассказчице «до смешного жаль» их всех, жаль даже пугливого интеллигента-экзгибициониста, а когда она поднимает взгляд в небо, ей становится «до смешного жаль того огромного, неведомого, одинокого, который зачем-то создал всех нас по своему подобию...».

Бедный, сломленный Петя из «Верхней Масловки» и тот, сидя в поезде, навсегда увозящем его из Москвы, любителю проносящимся мимо облаками и чувствует этот таинственный надмирный отсвет, тонкую нить, связывающую его с жизнью и надеждой: «„Пора гасить свет...“ — твердил он, всем существом вбирая глубину синих просветов в белых грядах наверху...» Этот взгляд в себя и — вверх мы найдем во всех четырех вешах, вошедших в сборник.

«Яблоки из сада Шлицибурера» — возможно, самый сложный в книге рассказ (и, безусловно, самый насыщенный, а может быть, и перенасыщенный изысканными метафорами и сравнениями). Действие в нем протекает сразу в четырех временах: «сейчас», сегодня, когда писательница пишет свой текст (время «повальной гласности»), затем — в недавнем прошлом, когда, собственно, и разворачиваются

основные события рассказа (время «застоя»), а также в том сравнительно далеком времени, куда переносят нас детские воспоминания героини (ее зовут Дина, она — литератор, и на сей раз она уже не прячется за маски корректора или переводчи-ка), и еще — в совсем уже далекие военные годы, когда ее еще не было на свете и о которых она знает лишь со слов старших.

В рассказе причудливо всплывают неожиданные мотивы. Вдруг, скажем, в качестве особой, но сильно и значимо звучащей ноты возникает заблудившаяся чеховская Каштанка («Молодая рыжая собака — помесь такса с дворняжкой, — очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам...»). Цитата эта, впервые появившаяся в воспоминаниях героини, читавшей в детстве чеховскую повесть, затем отзывается в конце рассказа, когда перед ней возникает мучительный вопрос: чья я?

По сюжету молодая писательница, прилетев из Ташкента в Москву и выполняя чужое поручение, относит в редакцию еврейского журнала «рассказ узбекского писателя на русском языке, на еврейскую тему». Здесь происходит странный, вполне абсурдный разговор со стариком редактором и его дочерью (сразу на двух языках — русском и идиш), по ходу которого выясняется, что героиня понимает этот, как ей казалось, давно забытый и ненужный ей язык, а также и то, что старик редактор оказался земляком ее ташкентского деда (все они — из местечка Золотоноша, что под Полтавой) и что этот очень старый уже человек с изможденным лицом был когда-то безнадежно влюблен в родную тетку героини, зеленоглазую красавицу Фриду, которую потом — старик редактор впервые узнает об этом — повесили немцы (а до казни «ее гнали, обнаженную, десять километров по шоссе — прикладами в спину...»).

Еще оказывается, что и здесь — в маленькой редакции верноподданного журнальчика — люди решают для себя кардинальные вопросы: чей я, где мое место и ехать — не ехать? Трагически и правдиво звучит поэтому речь старого приспособленца редактора: «...я прожил здесь жизнь, и я хочу здесь умереть, и оставьте все меня в покое!.. Да, я старый ишак, и у меня нет национального самосознания. Например, я плачу, когда слышу украинские песни... Когда я слышу «Марш энтузиастов», я тоже плачу, как старый ишак, потому что Фрида играла этот марш на мандолине... Ну, скажи мне, скажи ты, — обращается он к рассказчице, — я уже ничего не понимаю: вот я — трижды ранен и в качестве видного космополита украшал-таки собою нары. Вот скажи: я — герой или старый хрен?» Вполне законный вопрос. И не надо здесь искать прототип (хоть это и нетрудно сделать), ибо разве не ясно, что не один этот многожды битый старик задавался и задается таким вопросом.

Задается им и героиня. «Я брела к метро, беспокойно вглядываясь в лица проходящих мимо людей, впервые силясь ощутить — чья я, чья?»

И ничего не ощущала.

И только, может быть, догадывалась, что это сокровенное чувство со-крови человеку навязать невозможно. Что порою приходит оно поздно, бывает — слишком поздно, иногда — в последние минуты, когда, беззащитного, тебя гонят по шоссе. Прикладами. В спину». (Вслушайтесь, кстати, в созвучие слов «сокровенное чувство со-крови»).

О том, какой выбор для себя и своей семьи сделала писательница и ее героиня и что из этого поначалу вышло, мы узнаем из написанной в Израиле и об Израиле повести «Во вратах твоих».

Повесть эта, пожалуй, более саркастична и гротескна, чем предыдущие вещи Рубиной. Героиня, тщательно скрывающая то, что она — писательница (так ей советовали знающие люди), устраивается накануне войны («бури в пустыне») в некую полунищую и полужульническую издательскую «хевру», перебивающуюся случайными заказами и в конце концов с треском прогорающую. Тут попутно перед нами проходит вереница колоритнейших персонажей, пестрый хоровод странных людей, достоверно-жизненных в каждом своем поступке, жесте и слове и в то же время — совершенно фантастических и абсурдных по сути. Конкретность и эксцентрика слиты здесь так естественно и так немислимо, как это может произойти в сознании человека, переместившегося с одного конца планеты в другой — словно в теплушке бешеного поезда, мчащегося черт знает куда.

«Нормальный» советский человек, привыкший к одному абсурду, попадает в другой абсурд. Человек страстно желает телом и духом войти в новую жизнь и ежeminутно ощущает полную невозможность уйти от старой, от навсегда, казалось бы, оставленного «там». Героиня все время пугается, «спотыкается» о слова «мы»,

«наше»: что это — здешнее уже или тамошнее? Новые впечатления вызывают прежние ассоциации, блестящие сравнения приобретают «двойное гражданство». Например, такое: «Пейсы его развязались на затылке и упали на грудь, как рассыпавшиеся пряди спившейся прачки...»

Зная по опыту, какие вопли негодования вызывали у нас в недавнем прошлом вещи, подобные этой повести (дескать, с кого портреты эти пишут?), мы легко можем предположить, что и в сегодняшнем Израиле «Врата» далеко не всем пришлись по вкусу. Как странно похоже, однако, в изображении Рубиной израильские жулики и проходимцы на деятелей нашего родимого советского административно-пропагандистского аппарата! Неоспоримо похож на них прежде всего некто Яша Христианский, главный редактор фирмы «Тим'ак» — эдакий «комиссар» с неизменной портупеей и револьвером под мышкой, с постоянной присказкой «Не за то боролсь!» и неумной страстью унижать незащитных, тех, кто не может ему ответить.

Но вот вам прекрасный образец «героя положительного» (по нашей привычной советской шкале оценок) — сотрудница и подруга автора Катька, отчаянная «савеловская девчонка» с извечной еврейской жадной справедливости и мгновенной готовностью лезть за нее в драку, вместе с тем с какой-то невиданной, «глубинной, первозданной добротой» и опять-таки мгновенной готовностью помочь любому, кто в том нуждается. И все это, заметьте, без всякого «очернительства» или «идеализации», «один к одному» верно жизни. А в то же время гротескно сконцентрировано и заострено.

Горько-ироничная повесть «Во вратах твоих» заканчивается картиной пестрого и шумного карнавала в честь праздника Пурим (а заодно и в честь победы над злодеем Саддамом). Героиней же повести, только что лишившейся работы, овладевает на праздничном фоне странное, почти мистическое чувство «неприсутствия» в этом чужом для нее мире («меня... нет»), ощущение душераздирающего ужаса. И она, как это было уже в прежних ее вещах, снова обращается к небу, сейчас, правда, с очень земной мольбой: «Дай заработать, Господи!! Дай за-ра-бо-о-о-та-а-ать!!!» И однако, наверно, все не так безнадежно, как представляется этой женщине. Даст Бог, найдет она какую-никакую работу и все будет так, как о том утешно говорит ей по телефону приятель — пьяненький бездомный поэт Гриша Сапожников: «Ничего... Все наладится... Все наладится, к чертовой матери...»

...Какие, однако, формулы: «до смешного жаль», «наладится, к чертовой матери». Только ли это смех сквозь слезы? Скорее ободряющий совет смеяться, чтобы не плакать в нашем запуганном мире.

Не нами замечено, что в последнее время литература (и у нас, и у них) становится все более «личностной», то есть все чаще сближаются, даже сливаются воедино автор и его герой, жизнь писателя и жизнь, им изображаемая, подлинное и вымышленное. Наиболее явно эга черта проявилась в творчестве Довлатова. Дина Рубина, кажется, тоже все ближе и ближе подходит к той же границе.

Рубина как-то сказала, что писать она училась по письмам Чехова. Заметьте, не по его рассказам и повестям, а именно по письмам, где человек всегда говорит о себе (таком, каким он себя представляет и понимает) и «от своего имени» (то есть о других людях и событиях так, какими именно он их увидел и понял).

Проза, возросшая на такой почве, не терпит фальши и вычурности, каждая фраза должна быть простой, короткой, точной, правдивой в крупном и в деталях и по возможности — без красивых иностранных слов. (Здесь можно вспомнить, как обидело Чехова слово «антропоморфизм», примененное как-то по его адресу, а одной знакомой, упорно упрекавшей его в «эгоизме», он предложил назвать этим словом ее собачку.) Подобная проза иронична по своей природе, и это «оружие» писатель обращает в первую голову на себя.

Представляется, что Рубина принадлежит к художникам именно этого типа. И ее произведения — в числе тех, что произвольно противостоят беллетристической мути, которая, как некая зараза, растекается (опять-таки и у них, и у нас) по журнальным и книжным страницам, украшая себя громкими именами «концептуализма», «метаметафоризма», «библейзма» или совсем скромненько — «новой прозы».

Советская критика до отъезда Дины Рубиной не очень-то баловала ее своим вниманием (хотя ею было к тому времени выпущено уже несколько сборников). Рискнем предположить, что сегодняшний российский читатель получит возможность познакомиться с ней — и впустит в свою душу этого тонкого и своеобразного художника.



«СЕСТРА ШЕКСПИРА»

Вирджиния Вулф. Комната Джейкоба. Роман. Перевод с английского Марии Карп. — «Иностранная литература», 1991, № 9.

Вирджиния Вулф. Орlando. Биография. Перевод с английского Е. Суриц. — «Иностранная литература», 1994, № 11.

Вирджиния Вулф никогда не пользовалась у нас широкой известностью — ее романы не переводились вплоть до 80-х годов. Советские критики привычно осуждали Вулф за «изошренное эстетство» (И. Левидова), за «оправдывание распада образа» (В. Ивашева), за то, что «в ее романах нет характеров — только ощущения» (Д. Жантиева), словом, за декаданс и модернизм. Но вот цензура смягчилась, Вулф стали переводить, отдавать должное ее таланту. Е. Гениева в статье, открывающей сборник «Эти загадочные англичанки» (1992), пишет о «правде видения», сближавшей Вулф как с романтиками, так и с реалистами. И она же во вступительной статье к «Комнате Джейкоба» отмечает: произведению «пока не хватает внутреннего единства, и первопричина в том, что автор практически у нас на глазах пытается вытравить из своей поэтики традиционные приемы классического повествования».

Писательница создавала этот роман, еще не освободившись от магии искусства Филдинга, Стерна, Теккерея, Диккенса (один из эпизодических персонажей романа носит фамилию Диккенс и напоминает комическую фигуру из «Пиквика»), но уже подпадая под влияние «Улисса» Джойса, с которым, впрочем, она по-своему и полемизирует. Кстати, «Комната Джейкоба» вышла в 1922 году, сразу после джойсовского романа, и может рассматриваться как первый художественный отклик на «библию модернизма» в английской литературе.

Е. Гениева называет роман Вулф «огромным стихотворением в прозе», к тому же напоминающим по своей поэтичности и драматизму отдельные сцены «Гамлета» Шекспира. В известной мере это справедливо. Но очевидно и то, что перед нами — модернизированный вариант традиционного романа воспитания, история — пусть пунктирно и импрессионистично изложенная — детства и юности, возмужания Джейкоба Фландерса, младшего современника самой писательницы. Трудно согласиться с мнением исследовательницы, будто эту книгу «вообще нельзя назвать романом» в обычном смысле слова, поскольку в книге «нет никакой определенности» — ни географической, ни повествовательной. Сюжет размыт — это верно. Но он все-таки может быть реконструирован «проницательным читателем» — а на такого автор и рассчитывает. Джейкоб — юноша, для которого характерны типичные противоречия и комплексы поздневикторианской интеллигенции, он бунтует (весьма сдержанно) против кое-каких ограничений и лицемерия викторианской морали, но не принимает и новаторского духа XX века, каковой обозначен в романе именами Г. Уэллса и Б. Шоу. Точнее сказать, здесь уже не столько герой, сколько сама писательница, «прикрывшись» своим персонажем (несомненно, ей симпатичным), гневно ополчается против «массовой культуры» начала века — против тех же Уэллса и Шоу с их популярностью, против «шестипенсовых еженедельников», выпускаемых «бледными людьми в нечищенных башмаках», против изданий, где стоит «еженедельный скрип и визг мозгов, выполосканных в холодной воде и насухо отжатых». Занятия филологией в Кембридже, куда он поступает в 1906 году, штудии в библиотеке Британского музея, путешествие в Грецию (очевидно, как раз перед началом первой мировой войны) заметно содействуют усилению консерватизма во взглядах героя. «Бой часов (вероятно) навевал на него ощущение старинных зданий и времен, и он чувствовал себя их наследником». Ему все ближе делается век Шекспира и елизаветинцев (именно в эту эпоху начинается и жизнь Орlando, героя другого романа Вулф). Джейкоб уже озабочен судьбами Британской империи; «не вполне он был уверен в правильности решения о самоуправлении Ирландии» — не в пику ли Джойсу это сказано? И весьма естественно, что вчерашний юный бунтарь мечтает стать членом парламента, произносить там «блестящие речи»... «но разве могут помочь блестящие речи и парламента, если ты хоть на дюйм отступил

перед черными водами»? «Темные воды», «волны» — главный лейтмотив творчества Вулф — символ мрачных ритмов Бытия и Небытия.

Писательнице хочется «приподнять» своего юного героя, найти в нем личность, призванную спасти если не империю, то, во всяком случае, культурные традиции европейской цивилизации. Отсюда и блестящие поэтического ореола вокруг чела юного Джейкоба — начиная с его имени, которое ассоциируется с библейским Иаковом-богоборцем, основавшим «дом Божий» (куда более скромно смотрится в качестве символа «комната Джейкоба», пусть и как заглавие романа). Джейкоб к богоборчеству не склонен, хотя не прочь исподтишка посмеяться над англиканской службой в храме, — этот эпизод из третьей главы даже отдаленно напоминает проделку Тома Соьера с жуком и пуделем в церкви. Зато временами отблески божественного величия так и сияют над Джейкобом. «Цивилизации стояли вокруг как цветы... Века плескались у ног как волны, по которым хоть сейчас отправляйся в плавание». Голова воспитанника Кембриджа превосходит красотой (так, по крайней мере, кажется его друзьям) голову «Гермеса, созданную Праксителем!» Воображение одной из героинь, влюбленных в Джейкоба, рисовало его «еще более величавым, благородным и безглазым, чем прежде». Последний эпитет — вовсе не дань сюрреализму, а намёк на «безглазость» античных скульптур и на «закрытость», интровертность характера заглавного героя, который все-таки остается загадкой и для самой писательницы. Недаром Вулф изящно-иронически пишет: «Все-таки что-то заставляет нас кружить, как гудящая сумеречная бабочка у входа в таинственную пещеру, и наделять Джейкоба Фландерса всевозможными качествами, которых, наверное, у него и в помине нет...» А в другой раз — вполне серьезно: «Бессмысленно пытаться понять людей. Надо схватывать намеки — не совсем то, что говорится, однако и не вполне то, что делается...»

И сколь бы ни был местами размыт контур портрета, все же благодаря намекам и «прямым» штрихам образ юного англичанина-интеллектуала начала XX века получился живым и узнаваемым...

«Орландо» — произведение с иными задачами и иной стилистикой.

Будучи пронизательным, тонким и своеобразным в своих культурологических подходах литературным критиком, Вулф никогда не скрывала собственных пристрастий и антипатий, преклонялась перед Шекспиром, Теккереем, Львом Толстым, Чеховым, перед Джойсом (пусть с серьезными оговорками) и Прустом. Но она болезненно переживала «засилье» мужчин в литературе, не скупилась на похвалы женщинам-писательницам, будь то Афра Бен или Кристина Россетти, сестры Бронте или Дж. Элиот. В эссе «Своя комната», создававшемся одновременно с «Орландо» (1928), Вулф, предугадывая идеи современного западного феминизма, ищет черты «андрогинизма» у Шекспира, Стерна, Колриджа. Она выдвигает совершенно зыбкую, но дорогую ей версию о некоей «сестре Шекспира», которая могла бы, будь исторические условия благоприятнее, стать полноценным соавтором своего знаменитого брата! Обращаясь к женской аудитории, Вулф торжественно провозглашает: эта «воображаемая сестра Шекспира» «живет в вас и во мне», и она станет реальностью, если женщины-творцы будут много и продуктивно работать.

Своеобразной художественной реализацией этой фантастически дерзкой идеи и стал, очевидно, роман «Орландо». Конечно, книга эта не сводится к «доказательству тезиса» — она загадочна, многозначна, она настолько — на первый взгляд — выпадает из творчества Вулф, что наши исследователи предпочитали о романе вообще не упоминать, а переводчица произведения Е. Суриц считает его всего лишь «шуткой мастера», пусть и «глубокой, серьезной, грустной».

На мой взгляд, следует говорить не столько о «шутке», сколько о тщательно продуманном, но в то же время и спонтанно излившемся маленьком шедевре, в котором мениппейно и прихотливо соединились пародия на исторический роман, и на жанр биографии, оригинальный парафраз «Улисса» Джойса (шестая глава романа, в которой действие укладывается в один точно обозначенный день, 11 октября 1928 года) и карнавальная фантазия-сказка о «вечно» живущей писательнице-англичанке, меняющей свой пол (сначала Орландо — мужчина, затем женщина, хотя «чего в Орландо было больше — мужского или женского, — сказать очень затруднительно, да сейчас и не решить»), но неизменной в своей романтической привязанности к фамильному замку, к заветному дубу в парке (героиня триста лет

пишет и переделывает свою поэму «Дуб!»), в своих аристократических экцентриадах и мистических видениях.

Откуда у героя-героини экзотичное для англичан имя Орlando? Изначальный смысл его — «слава страны», и в этом ошутима тайная гордость самой писательницы — ведь образ героини, при всей его фантастичности, несет в себе и автобиографическое начало. Есть в герое-героине отдаленная духовная связь с персонажами поэм Боярдо и Ариосто — рыцарская героиня, фантастика и юмор. Но больше, пожалуй, «отсылок» к шекспировской комедии «Как вам это понравится» (образы Шекспира, Марло, Донна, королевы Елизаветы — исторический фон первых страниц романа), где драматург погружает своих персонажей — Орlando, Розалинду, Жака и других — в атмосферу веселой театральной игры, утонченных эротических шуток — девушка переодета юношей, но заставляет Орlando ухаживать за ней (ним) так, как будто бы он (она) был девушкой, и т. п. Вся эта игра половыми ролями чрезвычайно близка Вирджинии Вулф с ее фантазиями об «андрогине» Шекспире и о «сестре» — вдохновительнице драматурга.

Елена Суриц блестяще перевела роман; его «странно найденные и странно сопряженные слова», внезапные повороты и витиеватые узоры фраз и периодов, «драгоценные умолчания и очаровательные темноты» получили в русском языке просто великолепное воплощение. Изысканность не мешает, однако, писательнице оснащать свою речь, где это уместно, прозаизмами, просторечиями. Вот пример: «Век был елизаветинский; их нравы были не то, что наши нравы; ну, и поэты тоже; и климат; и даже овощи... Закаты были гуще; красней; рассветы — аврористей и белой».

Фантастическое существование героя-героини и его-ее вечная молодость от елизаветинской эпохи вплоть до 1928 года — это не столько «взбрык» воображения Вулф, сколько воплощение парадоксальной, грустно-озорной веры писательницы в вековую устойчивость традиций английской цивилизации, веры в творческие силы британской интеллигенции и аристократии, которые, по мнению автора, еще не утратили связей с почвой, с духом «старой доброй Англии». И вполне естественно, что после «Орlando» Вулф создает романы «Волны», «Годы», «Между актами», биографию критика Р. Фрая, в которых она снова и снова обращается к истории родной страны, ее культуры, ищет в преемственности традиций, как она их понимает, залог дальнейших успехов английского искусства.

В. ВАХРУШЕВ.

г. Балашов.



«И ДУМ ВЫСОКОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ»

Княжна Мария Васильчикова. Берлинский дневник 1940 — 1945. М. Издание журнала «Наше наследие» при участии ГФ «Полиграфресурсы». 1994. 320 стр.

Скорее всего фамилия автора, да и само заглавие мало что скажут нашему читателю, как, впрочем, и те восторженные отзывы рецензентов различных зарубежных газет, которые воспроизведены на суперобложке «Берлинского дневника» в рекламных целях.

Так кто же такая княжна Мария Васильчикова, которую близкие и друзья называли просто Мисси? Почему во время войны эта русская девушка оказалась в столице Третьего рейха? И наконец, чем интересен ее дневник, изданный ныне на русском языке, хотя оригинал писался по-английски и впервые увидел свет в Лондоне десять лет назад, сразу став бестселлером?

Мария Васильчикова (1917 — 1978) — аристократка, эмигрантка (родители увезли ее из Петрограда малым ребенком вскоре после Октябрьского переворота). В далекий XV век уходит корнями древо семьи Васильчиковых, давших России дипломатов, военачальников, государственных деятелей (отец Мисси, князь И. С. Васильчиков, был членом IV Госдумы). Блестящее образование (в частности, знание пяти иностранных языков) позволило девушке в Германии, куда она приехала вместе с сестрой Татьяной в 1939 году, из Литвы, где у ее отца сохранилось

небольшое имение, устроиться сначала в Бюро радиовещания, затем в министерство иностранных дел.

Брат Мисси, историк Георгий Васильчиков (Джорджи), который перевел «Берлинский дневник» на русский язык и сопроводил его предисловием и комментарием, полагает, что успех этой книги в различных странах объясняется тем, что его сестре «случилось быть там, где совершалась история... знать многих непосредственных видных участников событий... Более того, пользоваться их доверием». Речь идет о том, что Мисси оказалась в кругу людей, образовавших ядро будущего заговора против Гитлера 20 июля 1944 года. При этом тут было немало лиц, составивших национальную гордость Германии. Это и граф Готфрид фон Бисмарк, внук «железного канцлера», встретивший весну сорок пятого в концлагере, и принц Константин Баварский — после войны депутат боннского парламента, и доктор Херберт Бланкенхорн, сыгравший существенную роль в создании западногерманского государства, и казненный как активный участник заговора 20 июля Адам фон Тротт, чье имя выбито на мемориальной доске в Бэллиол-колледже в Оксфорде, и многие другие.

То обстоятельство, что в окружении Мисси были люди, причастные к антинацистскому заговору, по мнению Г. Васильчикова, как раз и способствовало широкой популярности «Берлинского дневника», ибо его автор скорее всего была посвящена в целый ряд деталей этого «сверхсекретного предприятия».

Знакомство с дневником скорее убеждает в том, что в свои конкретные конспиративные планы заговорщики Мисси не посвящали (хотя и полностью ей доверяли), возможно, оберегая девушку от превратностей судьбы в случае провала их тайной акции. Но все это никак не умаляет значения книги.

Сила этого человеческого документа в другом — в яркой человеческой индивидуальности самой Марии Васильчиковой и в том, что ее индивидуальность нашла адекватное выражение на страницах «Берлинского дневника».

Дневник носит сугубо личный, интимный характер, который Мисси, глубоко эмоциональная, но сдержанная натура, вела, скорее всего, ради какой-то внутренней потребности выговориться, зафиксировать свое душевное состояние в том историческом вихре, который подхватил и закружил ее... Этот дневник никак не предназначался ею для посторонних глаз, разве что для самых близких, таких, как ее сестры Татьяна и Ирина или брат Джорджи. Именно настойчивости последнего мы — читатели — и обязаны тем, что в самом конце жизни он все-таки уговорил Мисси, медленно угасающую от лейкемии, придать эти записки публикации.

Следует добавить, что Г. Васильчиков предстает перед нами в этом дневнике не только как переводчик и комментатор. Он выступает здесь и как единомышленник автора, и просто как близкий, любящий человек, трепетно относящийся к памяти сестры. Поэтому его комментарии в книге — нечто большее: подчас они как бы «прорываются» в текст Мисси, в чем-то дополняя ее рассказ. И хотя голоса историка и самого автора дневника звучат по-разному, они невольно где-то сливаются, сплетаются воедино.

Мисси предстает перед нами на страницах этих записок во всей непосредственности своего юного возраста — без позы, без наигрыша. Естественность — вот, пожалуй, главная, определяющая суть ее дневника черта. Это некая смесь детскости, наивности, природного юмора. Впрочем, тон заметок Мисси постепенно меняется. Поначалу дневник в чем-то напоминает этукую светскую хронику: «поехали на бал в чилийское посольство», «большой коктейль у бразильцев» и т. д. Все это описывается мило, непринужденно, но без особых эмоций. Ведь тут, в сущности, отражена обычная жизнь аристократической среды. Однако уже в июне сорокового в настроении и интонации Мисси намечается перелом: «Не понимаю, как можно так весело проводить время, зная, что происходит во Франции». Страшная реальность войны вначале подавляет девушку («Как мало радости осталось сейчас в душе! Почти ежедневно слышишь: то этот убит, то тот»), но постепенно душа ее закаляется, и хроника из бесстрастной становится бесстрашной. Из милой озорницы, способной на бланке для особо важных сообщений «от нечего делать» сочинить слух о мятеже в Лондоне с повешением короля у ворот Букингемского дворца, Мисси превращается в «тихую героиню», а ироничность позволяет ей преодолеть собственный страх и уныние.

«Готовлюсь к вызову в гестапо. На дворе ливень», — в подобных записях Мисси видны не только непосредственность впечатлений и своеобразие дневника, с

его смещением «значительного» и «незначительного», но ощутима и атмосфера военного времени, когда страшное становится обыденным, а бытовой факт (например, принятие ванны) — событием.

Самое поразительное в Мисси и ее друзьях то, что на них как будто совершенно не оказывают влияния историческое время и среда, в которой им приходится существовать. В эпоху «восстания масс», когда «заурядные души, не обманываемые насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду», они сохранили неординарность — во всем. Когда «понятие гуманности» признано «ложным и дезориентирующим» (Гейбельс), Мисси равно скорбит о гибели Роттердама (от бомб люфтваффе) и о Лейпциге, который «практически уничтожен» британской авиацией. Во времена всеобщей серости и униформы, ставшей нормой не только эстетической, но и этической («Сейчас в Германии, чтобы быть на хорошем счету, нужно выглядеть как комок глины!»), Мисси утверждает право на индивидуальность, независимость. Утверждает не декларативно, а самым фактом своего существования, стилем жизни.

Кажется, что «непрерывный кошмар» не только не подавляет ее, но, напротив, открывает все новые источники энергии и способность видеть комическую сторону любой ситуации, даже такой, как один из самых жутких налетов на Берлин. Тут и «черный юмор», смягченный тем, что это уже, так сказать, вчерашний ужас: Мисси описывает, как от волнения и страха держалась за плечи отца, и восклицает: «Ну и буйабес же (похлебка из нескольких сортов рыбы, своего рода ассорти. — *О. Ф.*) семейный вышел бы из нас!» Тут и ирония, когда в ответ на требование чиновника действовать согласно инструкции «на случай чрезвычайных обстоятельств» Мисси с «показной смиренностью» цитирует наизусть (вплоть до «закрывать кавычки!») это совершенно бессмысленное предписание. И наконец — улыбка над ничтожностью собственных потерь: месячный рацион гарцского сыра (тем более что «как запах, так и вид у него мерзкий»).

В разрушенном, пылающем Берлине событием дня для автора дневника вполне может стать не только «сотня устриц» (что еще понятно — еда все-таки!), но и... новая шляпка. «Кругом все горело, но мне была очень нужна эта шляпка», — заявляет Мисси, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, а в поисках косметики она способна отправиться даже в другой город!

Вообще, как уже отмечалось выше, Мисси совершенно чужда поза, стремление «делать лицо», приличествующее ситуации (как бытовой, так и политической). «Какое бесстыдство!» — восклицает она о британской бомбардировке в сочельник. «Безумие!» — о требовании «безоговорочной капитуляции» (ведь на практике это означает новые жертвы и гибель Германии как таковой). Мисси не была бы собой, если бы не отмечала, что «розовое пламя» в антикварном магазине «выглядело очень нарядно, даже роскошно», что воздушный налет со стороны кажется жутким и красивым «в одно и то же время». Конечно, эта русская девушка разделяет общую судьбу военного времени — голодает, горюет о погибших, часто живет на грани нервного срыва («ночью я так кричала...»), но в том и прелесть «Берлинского дневника», что в нем наряду с картинами «ужасного разорения» так много радости жизни: «среди развалин цветут персиковые деревья и гиацинты», «плавали голыми в озере», «нашлись два велосипеда, и мы поездили на них по коридорам отеля»...

И все же за «очарованностью» читателей, самой личностью автора дневника, возможно, стоит не только восхищение умной и обаятельной девушкой, с поистине «романической» судьбой (аристократка, эмигрантка, участница заговора...), но и тоска по высокому идеалу; притягательным для наших современников становится сам тип личности, комплекс определенных качеств, органически присущих Марии Васильчиковой, ее близким, ее друзьям (в своих привязанностях Мисси, по словам брата, была очень избирательна).

Мисси не часто говорит в своем дневнике о сострадании, но могут ли слова вместить всю безмерность горя! Как много настоящего, пусть и невыраженного сочувствия в ее воспоминании о беседе с сестрой казненного заговорщика Петра Йорка: «...мы ее брата не упоминали. Я не нашла бы слов». А ведь Мисси и сама в эти дни нуждалась в утешении: среди схваченных гестапо было столько ее друзей! Еще в сорок первом Мисси отмечала: «Мы постепенно перестаем ходить на большие приемы и видимся в основном с одними и теми же немногочисленными людьми». Так светское общение сменяется настоящим дружеством, верность которому Мисси сохранила даже тогда, когда «арестовывают тех, кто был

просто знаком с заговорщиками»: «Я пойду на все, чтобы выцарапать Адама и Готфрида и графа Шуленбурга...» Она действительно идет — в гестапо, в тюрьму, пытается пробиться к Геббельсу. Особенно тяжело переживала Мисси арест Адама фон Тротта: «Моя первая реакция на появление кого-либо, связанного с Адамом Троттом, — разрыдаться». Она была глубоко привязана к своему шефу, его «удивительные глаза» и особенно «возвышенные рассуждения» завораживают и очаровывают ее. (Надо думать, что к Адаму фон Тротту она испытывала глубокое сердечное влечение.)

Вообще, есть что-то благородное и трогательное в доверчивой готовности Мисси идти по опасному пути за людьми, перед которыми она преклонялась, рисковать жизнью ради их спасения. После известия о казни Адама и других ее друзей-заговорщиков она, по собственному ее признанию, долгое время смотрит на мир «невидящими глазами»...

Трудно сказать, как восприняли бы «Берлинский дневник», пояись он тогда же, в сорок пятом. Возможно, он не прозвучал бы с такой силой и не был бы услышан широким читателем. Ведь то, что было предельно ясно для Мисси, например, типологическое родство и варварская сущность советского и германского тоталитаризма, мир (опять же не отдельные личности, а массы) постигал еще десятилетия после войны. Нужно было время, чтобы человечество вновь стало восприимчиво к высоким мыслям и чувствам. Тогда же, в 40-х, такие понятия, как «благородство», «гуманизм», «культура», «широта взглядов», для большинства просто не существовали, и даже внешнее проявление «особости», отклонение от стандарта, от нормы, обязательной на данный момент, выглядело подозрительным. «Завистливое раздражение» у добропорядочных немцев вызывает, к примеру, сама дружба Мисси со старым графом Шуленбургом и ее яркая косметика (в госпитале, где она одно время работает медсестрой, заявляют, что это — «голливудские замашки»). Раздражение здесь не только от зависти, но и от агрессивного неприятия другого (будь как мы!) образа жизни и мыслей, хотя эти «заурядные души» вряд ли могли себе представить, насколько строй чувств и мыслей Мисси и ее друзей являлся другим. Они — люди поистине легендарные, поскольку мыслили в категориях минувшего столетия, как будто система нравственных ценностей вовсе не была взорвана войнами и революциями начала XX века, окончательно догорев в огне второй мировой, когда «последние остатки порядочности постепенно уступили место грубой силе» (причем, отмечают автор и комментатор дневника, для этого одинаково потрудились как немцы, так и союзники).

Конечно, представители младшего поколения аристократии не были идеалистами и достаточно хорошо разбирались «в реальностях сегодняшнего дня». Разбирались — да, но предпочитали действовать, руководствуясь принципами чести и благородства. Стоит ли удивляться, что они считали «Гитлера бичом Германии и величайшим злодеем, который привел страну к пропасти и отвечает за ее крушение». Или недоумевать по поводу того, что большая часть германской аристократии (в том числе десятки офицеров) участвовала в заговоре 20 июля или сочувствовала ему (хотя для многих из них убийство Гитлера было неприемлемо по чисто этическим соображениям).

Историк Лев Гумилев утверждал, что возрождение этноса возможно, если найдутся «люди, которые... поставят во главу угла не свой личный эгоистический интерес... а свою страну... свою традицию». Именно таковы были представители антинацистского Сопротивления внутри самого рейха, особенно члены «Крайзаусского кружка» графа фон Мольтке и участники заговора 20 июля: «Да здравствует наша святая Германия!» — успел крикнуть перед расстрелом полковник фон Штауфенберг, совершивший покушение на Гитлера.

При явном неприятии обществом идеи политического убийства некоторые заговоры получают в истории романтическую окраску. Как правило, заговоры неудавшиеся, цель которых — спасение страны. Их окружает ореол высокой жертвенности. «Это наши декабристы», — сказала мне о «людях 20 июля» Инес Лаш, студентка-филолог из ГДР (каким бессмысленным кажется теперь такое разделение Германии!). Действительно, мы не очень-то разбираемся в различии программ Северного и Южного обществ декабристов, забываем порядок их действий и распределение ими ролей, но свято помним одно: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление...» Так и в дневнике Марии Васильчиковой подлинный интерес представляют не события трагического июля сорок четвертого, а личности

тех, кто был причастен к ним. Благородные не только по происхождению, но, главное, по духу, они явились тем, кого тот же Лев Гумилев назвал «реликтами», «осколками прошлого». Расцвет тоталитарных режимов и жестокость второй мировой войны особенно резко выявили несовпадение их со своим веком, и Мисси, понимая это, как будто торопится в своем дневнике запечатлеть «уходящую натуру», чаще — с грустью, реже — с улыбкой.

Особенно остро трагическую пропасть между принятой в кругу Марии Васильчиковой системой ценностей и современностью дает почувствовать личность ее шефа в министерстве иностранных дел Адама фон Тротта (который, кстати, саму Мисси сравнивал с «жар-птицей из легенд»). «Все его мысли и старания, — записывает она в своем дневнике, — сосредоточены на... ценностях высшего порядка, которым не отвечает умонастроение ни в этой стране, ни у союзников. Он принадлежит к более цивилизованному миру — а этого, увы, нельзя сказать ни о той, ни о другой стороне».

Мисси характеризует здесь, в сущности, не только отдельного человека, но определенный тип личности; в эпоху варварства это действительно «реликты», но, несмотря на свою обреченность, они оставляют в истории «заметный след». Пока они существуют, нация (хочется верить, и человечество тоже) помнит «о своем прошлом величии и блеске!». И может быть, верность лучших ее представителей этим «ценностям высшего порядка» явилась залогом возрождения не только послевоенной Германии, но и всего цивилизованного мира.

Ведь такие люди (а Мисси — из их числа) как бы передают дальше своеобразную «эстафету культурной традиции». Подобной эстафетой для нас служит и «Берлинский дневник» М. Васильчиковой, изданный наконец на ее родине.

О. ФИЛАТОВА.

Иваново.



- «Новый мир»** — 70 лет издания.
«Новый мир» — более 800 номеров с момента основания.
«Новый мир» — зеркало сегодняшней российской словесности.

Уважаемые читатели! Не забудьте вовремя продлить вашу подписку. Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Если вам удобно самим приезжать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, то вы можете оформить подписку на «Новый мир» прямо в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

В розничную продажу журнал не поступает, наложенным платежом не высылается.

Зарубежные читатели могут подписаться на **«Новый мир»** в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner, D-80328 München Germany
 Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d
 Fax (089) 54-218-218

КОРОТКО О КНИГАХ



ДАНИИЛ КЛОВСКИЙ. Дорога из Гродно. Самара. «Самарский Дом печати». 1994. 432 стр.

Среди изданных за последние годы воспоминаний «Дорога из Гродно» не затеряется. Географический фактор (родина — западнорусский город) и еврейское происхождение автора, которому в 1939 году едва исполнилось одиннадцать, предопределили его участь. Невероятное стечение обстоятельств помогло Кловскому пройти через три гетто, через Освенцим и Бухенвальд. Вопреки распространенному мнению, собственно Освенцим не был лагерем уничтожения: им являлся лишь его филиал Биркенау, предназначенный исключительно для евреев. Кловский же, вместе с отобранными со всей Белоруссии евреями, владеющими дефицитными профессиями, попал в Моновиц — рабочий лагерь при группе заводов, расположенных на территории Большого Освенцима...

Содержание книги выходит за рамки антифашистской мемуарной литературы. Вторая ее половина — о жизни в СССР, куда Кловский (ныне заслуженный деятель науки и техники России, завкафедрой Поволжского института информатики, радиотехники и связи) возвратился, перед этим испытав на себе опыт пребывания в нескольких проверочных лагерях с неизменным вопросом следователей-смершевцев: «Что вы с отцом делали при немцах такого, что они вас, евреев, оставили в живых?»

О пережитом автор пишет с предельной искренностью, подкрепляя рассказ архивными справками и сохранившимися документами. Интересующиеся историей читатели убедятся, что ряд существенных моментов отражен в книге под углом необычным. Так, раздел Польши, происшедший в результате сговора Сталина с Гитлером, для еврейского населения Западной Белоруссии обернулся благом. Красную Армию встречали как защитницу от угрозы фашизма, недаром гродненские поляки говаривали отцу Д. Кловского: «Ваша власть пришла!» Да, польское еврейство обрело равноправие, пользовалось бесплатной медициной, доступом к светскому образованию на идиш и т. п. У

себя дома сталинизм в ту пору все более наполнялся националистским содержанием, но на «освобожденных землях» он руководствовался принципом классовым, заигрывая с беднотой, следовательно, и с еврейскими массами.

Сейчас, когда национал-патриоты пытаются поделить сограждан по признаку чистоты крови, читатель обратит внимание на описание детского праздника в Бухенвальде 23 февраля 1945 года в честь Красной Армии. Русские военнопленные на тайный утренник пригласили Даню Кловского: ведь он родом из Белоруссии, наш! Несмотря на то что подросток тогда еще не знал ни одного слова по-русски, сверстники-славяне приняли его как брата...

Вернувшись в Гродно, Даниил Кловский блестяще окончил школу в самый разгар борьбы с «безродным космополитизмом», но медали не удостоился. Пришлось оставить и мечту о занятиях физикой и математикой, так как путь в университет еврею был заказан. Получив диплом с отличием Ленинградского института связи, Кловский при поддержке преподавателей, истинных русских интеллигентов, в условиях подоспевшей хрущевской оттепели с боем, но поступил в аспирантуру и вырос в крупного ученого, основавшего новое направление в радиоэлектронике...

Его жизнь в гетто держалась на верности национальной судьбе, такой, какой ее определил Господь. И вот спустя десятилетия в Самаре профессор Кловский, выучившийся таки держать язык за зубами, изворачиваться, то есть «жить по-советски», воспользовался тем, что жена — полукровка, и записал старшего сына в «расово полноценные». «Мы думали, что так будет лучше. Напрасные надежды!» Хрупкая душа юноши не вынесла раздвоенности, а прозрачная мимикрия только распяла обидчиков... Сын спился и — погиб.

Так желание уберечь своего ребенка от превратностей национальной судьбы (вместо того чтобы бороться за изменения к лучшему в России) привело к обратным результатам.

Даниил Кловский, маститый ученый, снискавший международное признание, сейчас в раздумье: «Не хочу уезжать. Очень не хочу. Пока...» Этого не хочет

и младший сын. Не хотят и многочисленными ученики профессора, цвет самарской интеллигенции, способствовавшей изданию книги, где на последних страницах бывший узник Освенцима и Бухенвальда с тревогой констатирует, что фашизм и антисемитизм вновь подняли голову.

Григорий Шурмак.

*

ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ. *Бесконечный тупик. Исходный текст.* — «Континент», № 81.

Предваряя недавнюю новомирскую публикацию глав из «Бесконечного тупика» (1992, № 9), я писал, что это книга примечаний к несуществующему тексту. Оказалось, что я ошибся. То есть в основной массив книги он действительно не входит. Но существует. Он-то и предлагается нашему вниманию в «Континенте». Но публикация эта примечательна еще и потому, что в авторском послесловии Галковский объявляет городу и миру, что навсегда зарекается печататься в отечественной («советской и постсоветской») периодике и уходит в мир самиздата.

Решение отчасти разумное, хотя и запоздалое. Не надо было давать свои статьи в «Независимую газету». Весь фокус и состоял в том, что в «Бесконечном тупике» Галковский сумел создать свое особое, почти волшебное «галковское» пространство (чем-то родственное толкиеновскому Средиземью), внутри которого Галковский оказывался совершенно неуязвим. Неуязвим и всегда прав (даже когда был не прав). Но первые же его опрометчивые шаги во «внешний» мир обернулись тем, что его статьи, написанные по законам «Бесконечного тупика», стали читаться и оцениваться по общим «объективным» законам газетной полосы. В результате он стал кругом не прав (даже там, где был прав).

Да и «исходный текст» не стоило печатать. Отсутствующий — он мнился и ярче, и неожиданнее. Тут Галковский изменил сам себе, не довел прием до конца. Лучше бы он его написал — и сжег (это был бы вполне «галковский» жест). А так — впечатление разочаровывающее. Это, так сказать, «доклад» двадцатичетырехлетнего подпольного философа о В. В. Розанове как цен-

тральной фигуре русской философии («может быть, вообще единственный чисто русский философ, философ, заложивший фундамент национального мышления»). Кроме Розанова в «исходном тексте», естественно, присутствуют почти все линии книги — Соловьев, Набоков, Чернышевский, Ленин, Достоевский, Чехов. Впрочем, нет отца, которому посвящены самые пронзительные страницы «Бесконечного тупика» (см. «Новый мир», 1992, № 9). Но все существенное в этом тексте мы так или иначе знаем из примечаний к нему, которые и образуют собственно книгу.

Полный же текст книги так до сих пор и не напечатан. Не знаю, символично ли это, но очень досадно. Прошу прощения за самоцитату («Лепта», 1993, № 1), но, по-моему, «Бесконечный тупик» — одна из самых значимых (не скажу — лучших) книг, написанных на русском языке в 80-е годы. Сдвинулись тектонические пласты культуры, и на изломе появился (или точнее — случился) «Бесконечный тупик». Не как памятник культуры, а скорее как некое природное явление.

Ну, так прощай, Галковский, великий и ужасный... Помните, как всем известный Гудвин вынужден был признаться Элли и ее друзьям, что он — обманщик, что только зеленые очки мешают жителям и гостям Изумрудного города увидеть вместо драгоценных камней обыкновенные стекляшки. Вероятно, немало читателей и критиков¹ вполне удовлетворились бы такой аналогией. Но миазмы пресловутого постмодернизма мешают мне на этом остановиться. Мне, отравленному (против воли) этими всепроникающими парами, видится совсем иной сюжетный поворот.

...Когда Гудвин, великий и ужасный, корчась от стыда, признался в своем очковтирательстве, Элли заплакала от разочарования, Страшила начал чесать затылок, Лев зарычал от негодования, Железный Дровосек схватился за топор, а Тотопка залаял просто так. И мужественный Страж ворот сказал: что ж, снимем очки, пора взглянуть правде в глаза. Они сняли очки. И ничего не случилось. Город был зеленым, изумруды — настоящими.

Андрей Василевский.

¹ Например, Валерий Сердюченко, см. стр. 224 настоящего номера.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



ASMUND BRYNILDSEN. Russland — Europas Bilde. Essays og artikler utvalg og innledning ved Viktor Roddvik. Erasmus. Vidarforlaget's Kulturbibliotek. 1994. 230 s.
ОСМУНД БРИНИЛЬДСЕН. Россия — картина Европы.

На наш взгляд, не случайно на титуле этой книги рядом оказались два имени: писателя Осмунда Бринильдсена и составителя, автора вступительной статьи — Виктора Роддвика. Принадлежат к разным поколениям (Бринильдсен — 1917 — 1974; Роддвик — его младший современник), эти люди схожи по жизненным принципам, убеждениям, взглядам.

Имя Бринильдсена, известного норвежского прозаика, эссеиста, издателя, переводчика, общественного деятеля, по понятной причине было фактически вычеркнуто из научного и читательского обихода в Советском Союзе: писатель честно и открыто выступал по самым острым, не разрешенным официальной властью вопросам. Его волновали проблемы, связанные с творческой и личной судьбой А. Солженицына, многих правозащитников, преследуемых властями; темы, связанные с историей и судьбой русской православной церкви. Имя Виктора Роддвика, члена Хельсинкского комитета по правам человека в Норвегии, активного участника многих демократических организаций, тесным образом связано с диссидентским движением в России, с тем крылом русской культурной мысли, которое было в оппозиции к коммунистической власти. Роддвик встречался с А. Галичем, В. Буковским, брал интервью у А. Д. Сахарова в годы, когда контакты с опальным академиком были запрещены и за всяким, кто осмеливался нарушить запрет, устанавливалась слежка; был одним из организаторов встречи Сахарова в Норвегии. Но не только общность политических взглядов связывает эти два имени, а в первую очередь — интерес к русской культуре. Бринильдсен был глубоким знатоком русской классической литературы, много писал и о яростном споре славянофилов и западников относительно путей России, видя в этом противоборстве отголоски многих последующих ее трагедий. Автор вступительной статьи знакомит норвежского читателя не только с литературной и общественной позицией Бринильдсена и с его творческой биографией, но и со сложными проблемами русской культуры — литературы, философии, религии.

Книга, в которую вошли статьи писателя, посвященные русской теме (причем многие были ранее опубликованы лишь в периодической печати и малоизвестны, а некоторые публикуются впервые), вызвала большой интерес в Норвегии. Успех книги объясняется, в частности, тем, что для норвежского читателя наступило время более близкого узнавания новой России. На вопросы, вызванные противоречивыми процессами, болезненно и тяжело протекающими в нашей стране, Запад склонен искать ответы прежде всего в культурных традициях России, в ее духовных истоках.

В первый раздел книги включены тексты, посвященные политической тематике. Писатель пытался здесь понять, что представляет из себя Россия коммунистическая и каково ее идейное соприкосновение с Западом. В некотором смысле «Советская Россия была для Бринильдсена зеркалом Запада», — замечает в предисловии В. Роддвик.

Во второй раздел входят статьи и эссе, посвященные русской литературе: Ф. М. Достоевскому, Л. Н. Толстому, А. П. Чехову, Н. С. Лескову; философским взглядам К. Леонтьева, умственному миру Вл. Соловьева.

Статья о Достоевском представляет собой отклик на известную в Норвегии книгу о нем исследователя русской литературы Эрика Крага, охарактеризованную здесь как «монументальный труд», на страницах которого автор «при посредниче-

стве Достоевского ведет с читателями разговор об их проблемах, об их поисках, об их сомнениях». В очерке о Чехове писатель останавливает внимание на особенно полюбившихся ему произведениях, среди которых «Смерть чиновника», «Попрыгунья», «Палата номер шесть», «Три сестры»; основное в них, по Бринильдсену, — «жалость» к человеку и человечеству.

Ряд статей посвящен русской литературе советского периода начиная с М. Горького. Анализируя роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», писатель выходит на главную для него тему, идущую, по его заключению, от Достоевского и Вл. Соловьева: это связь революционной катастрофы в России с утратой глубоко религиозного сознания. Из горькой, кровавой истории нашей страны автор извлекает уроки для Запада. В круг интересов Бринильдсена попала автобиографическая повесть К. Паустовского «Далекие годы», а также «Тихий Дон» и «Поднятая целина» — в связи со спорами вокруг М. Шолохова.

Четыре текста посвящены Александру Солженицыну, в их числе — подробная творческая биография, характеристика вещей, которые автор причисляет к высшим художественным достижениям писателя («Один день Ивана Денисовича» и «В круге первом»), и теплый отклик на присуждение Солженицыну Нобелевской премии.

Третий раздел включает работы о русской православной церкви, о философии православия, о традициях медитации в православии, об иконописи (известно, что писатель издал альбом русских икон со своими комментариями).

Слова, сказанные Бринильдсеном о русисте Эрике Краге: «Он открыл многим совершенно новый мир...» — с полным основанием можно отнести и к самому писателю, который, глубоко полюбив Россию и русскую культуру, приблизил их к западной аудитории. Его эссеистика не потеряла актуальности и сегодня, когда многие темы, казалось бы, «проговорены» и уже успели утратить свежесть. Книга появилась в то время, когда уже прошла волна эйфории и, возможно, наступает некоторое взаимное разочарование по ходу более близкого узнавания друг друга Востоком и Западом; однако процесс духовного сближения разных культур, надемся, еще впереди...

Ирина НИКОЛЬСКАЯ.

Осло (Норвегия).

Уважаемые читатели!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

Наложенным платежом журнал не высылается.

«НМ».

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Николай Климонтович. Дорога в Рим. Роман. Белгород. Издательство «РИСК». 1994. 190 стр. 3000 экз.

Новый роман писателя, состоящий из семнадцати новелл-эпизодов интимной жизни молодого человека — своеобразный московский вариант «Декамерона» 70-х годов, — дает возможность автору обратиться к не освоенному еще нашей литературой материалу: стиль жизни и типы московского полусвета — литературной и артистической богемы и отчасти криминального мира спекулянтов, проституток, рэкетиров.

Новелла Матвеева. Менуэт. Песни, стихотворения. Составитель М. Нодель. М. «Весть». 1994. 112 стр.

А. Оз. Мой Михаэль. Роман. Перевод с иврита В. Радуцкого. М. НИГ «2Р». 1994. 303 стр. 10 000 экз.

А. Ф. Павлов, С. И. Ялгут. Владимирская горка. Повести, рассказы, эссе. Киев. Издательство «ХАГАР». 1994. 300 стр.

Проза двух представителей недавнего «литературного подполья», продолжающая традиции «русской киевской прозы» (Лесков, Булгаков, Кржижановский, В. Некрасов и другие); социально-психологическое, лирико-философское и сатирическое описание современной городской жизни.

Александр Покровский. «...Расстрелять!». Книга рассказов. СПб. «ИНА-ПРЕСС». 1994. 334 стр.

Рассказы, включенные в книгу, написаны в годы службы автора на Северном флоте. По определению критика М. Золотоносова, Покровский «в прозе трогателен и виртуозен, бывшую службу описывает со злобой беженца к навсегда оставленному месту». Вторая книга писателя.

В. В. Розанов. В темных религиозных лучах. «Русская церковь» и другие статьи. «В темных религиозных лучах». Собрание сочинений. Под общей редакцией А. Н. Николоюкина. М. «Республика». 1994. 476 стр. 25 000 экз.

В. В. Розанов. Мимолетное. «Мимолетное», «Черный огонь», «1917 год», «Апокалипсис нашего времени». Собрание сочинений. Под общей редакцией А. Н. Николоюкина. М. «Республика». 1994. 542 стр. 25 000 экз.

Русский мат. Антология. Для специалистов-филологов. Составление В. Л. Гершуни, Ф. Н. Ильясов. М. Издательский дом «Лада М». 1994. 304 стр. 30 000 экз.

Дж. Р. Р. Толкиен. Приключения Тома Бомбадила и другие истории. Составитель О. Неде. СПб. «Академический проспект». 1994. 480 стр. 10 000 экз.

Р. П. Уоррен. Потоп. Роман. Перевод с английского Е. Гольшевой. М. «Крус». 1994. 399 стр. 10 000 экз.

Дж. Хэрриот. Собачьи истории. Перевод с английского И. Гуровой. М. «Мир». 1994. 360 стр. 25 000 экз.

Дж. Хэрриот. Среди йоркширских холмов. Перевод с английского И. Гуровой. М. «Мир». 1994. 288 стр. 25 000 экз.

В. К. Шилейко. Тысячелетний шаг вигилий. Стихотворения, переводы. Составители А. Н. Шустов, Е. А. Кольчужкин. Томск. «Водолей». 1994. 96 стр. 1000 экз.

Валерия Любецкая. Избранное. Стихотворения и переводы. 1967 — 1994. М. Фонд духовного творчества. 1994. 199 стр.

В сборнике поэта, остро ошущающего свою связь с наследием русского серебряного века, преобладают нравственно-религиозные и мистические темы, натурфилософские медитации; лексика и образность ее стихов, где современные интонации сочетаются с высокой архаикой, ориентированы на поэтику Вяч. И. Иванова. Это первая за четверть века книга Любецкой, не имевшей в прежние времена возможности издаваться. Любецкая — жена и муза выдающегося современного русского композитора Вяч. Артемова, автор либретто его балетов. В сборник вошли переводы из «Сонетов к Орфею» Р. М. Рильке с параллельными немецкими текстами.

Составитель С. Костырко.

ПЕРИОДИКА*



*«Звезда», «Знамя», «Континент», «Литературная учеба», «Наш современник»,
«Октябрь», «Юность»*

Сергей Аверинцев. По поводу статьи А. Зубова «Пути России». — «Континент», № 81.

«Выражая живейшее согласие с выраженным в статье (А. Зубова в «Континенте» № 75. — *Сост.*) принципиальным предпочтением страха Божия — национальному «триумфализму», я позволю себе сосредоточиться на том, что для меня неприемлемо или не вполне приемлемо...» (С. Аверинцев). Тут же напечатана статья Льва Игошина, продолжающая тот же спор о судьбах России, и ответ Андрея Зубова своим оппонентам.

Владимир Библер. Три беседы в канун XXI века. — «Октябрь», 1995, № 1.
Концепция Новой школы XXI века — Школы диалога культуры.

Дмитрий Быков. Вот придет Букер. — «Октябрь», 1995, № 1.
«Букеровская» статья — это уже особый жанр. Ср. с аналогичным выступлением Льва Аннинского в «Новом мире» (1995, № 2).

Дмитрий Владимиров. Один на льдине. — «Звезда», 1994, № 12.
Записки о питерских «Крестах». Печатаются под псевдонимом.

Сергей Гандлевский. Трепанация черепа. — «Знамя», 1995, № 1.
Первая повесть поэта. См. статью Сергея Костырко в следующем (июньском) номере «Нового мира».

М. Л. Гаспаров. Маршак и время. — «Литературная учеба», 1994, № 6 (ноябрь — декабрь).

«Он (Маршак. — *Сост.*) усвоил традицию так глубоко, как немногие; но оригинальность не пришла к нему сама собой. Недоверие к оригинальности осталось у него на всю жизнь». В заключение статьи автор приводит неизданное стихотворение Тамары Габбе, предположительно посвященное Маршаку, а также выражает надежду, что ее «замечательные письма» к тому же Маршаку будут когда-нибудь опубликованы.

Герман Гессе. Из поздней прозы. Перевел с немецкого С. Апт. — «Литературная учеба», 1994, № 6.

«Заклинания», «Всяческая почта» и другие автобиографические заметки, написанные в последние десять — пятнадцать лет жизни, войдут в Полное собрание сочинений Г. Гессе, выпускаемое совместно рядом российских и украинских издательств.

Анна Гуськова. В. В. Виноградов и дело «русских фашистов» (1933 — 1934 гг.). — «Наш современник», 1995, № 1.

К 100-летию со дня рождения академика печатаются следственные документы НКВД по делу «Российской национальной партии (РНП)», по которому кроме В. В. Виноградова проходили академики В. И. Вернадский, М. С. Грушевский, Н. С. Державин, Н. С. Курнаков, М. Н. Сперанский и другие деятели науки и культуры. Печатается также объяснительная записка В. В. Виноградова, написанная в 60-е годы для КГБ, когда шла проверка дела «РНП», показавшая, что такой организации не существовало.

См. также обширную подборку писем В. В. Виноградова к жене — «Новый мир», 1995, № 1. Рецензия А. Немзера на обе публикации: газета «Сегодня», 10.11.95, № 26.

Ева Датнова. Диссиденточки. Повесть. — «Литературная учеба», 1994, № 6.
Дети и подростки в правозащитном движении. Дебют девятнадцатилетней писательницы.

* Новая рубрика, дополняющая «Книжную полку», не носит, разумеется, исчерпывающего характера. Поскольку редакция не имеет возможности выписывать многие провинциальные издания, они реже, чем хотелось бы, будут попадать в данные обзоры. — *Сост.*

Виктор Дос. Китайские страсти. — «Юность», 1995, № 1.

Путевые очерки о Китае. Заинтересованный читатель может их сравнить с аналогичной новомирской публикацией — Алексеем Алехин, «Письма из Поднебесной» (1995, № 2).

Б. С. Каганович. Начало трагедии. — «Звезда», 1994, № 12.

Об Академии наук в 20-е годы. По материалам архива С. Ф. Ольденбурга.

Юрий Каграманов. Божье и вражье. Вчитываясь в Мережковского. — «Континент», № 81.

Постоянный автор «Нового мира» Ю. Каграманов анализирует наследие мыслителя, остающегося «в высокой степени актуальным — и не только в позитивном, но и, так сказать, в негативном смысле, ибо самые его ошибки (то есть то, что сегодня представляется его ошибками) поучительны».

В. Кардин. Необъявленная война. Из записок рядового участника. — «Октябрь», 1995, № 1.

Автор переосмысливает свое участие в борьбе с бандеровцами на Украине в 1944 году. Печатается к 50-летию Победы.

Бахыт Кенжеев. Портрет художника в юности. Повесть. — «Октябрь», 1995, № 1.

Повесть представляет собой вторую часть романа «Мытари и блудницы», первая часть которого печаталась в журнале «Знамя» (1993, № 1 — 2) под названием «Иван Безулов». Как признается сам автор, «логической связи между двумя частями «Мытарей и блудниц», пожалуй, не имеется».

Иван Коновалов. Поэзия ломаных скобок. — «Звезда», 1994, № 12.

Критический разбор московского журнала «Новое литературное обозрение». Печатается под псевдонимом.

Владимир Крупин. Слава Богу за все. Путевые раздумья. — «Наш современник», 1995, № 1.

«Конечно, живу в плену. Слышу чужие речи, насильно обучаюсь чужим обычаям и нравам, ем и пью все чужое...» Картина сегодняшней российской жизни весьма утрирована, но очерки интересны тем, что адекватно передают состояние многих наших сограждан, травмированных, как и В. Крупин, наступившими переменами.

Ирма Кудрова. Болшевская Голгофа. — «Звезда», 1994, № 11.

Болшевский период жизни М. Цветаевой после возвращения в СССР. В сокращенном варианте статья печаталась в парижской газете «Русская мысль».

См. также новомирскую публикацию И. Кудровой «Третья версия. Еще раз о последних днях Марины Цветаевой» (1994, № 2).

Петр Муравьев. Ход коня. Тень. Сумерки кумира. Рассказы. — «Юность», 1995, № 1.

Петр Александрович Муравьев родился в Белграде, учился в Мюнхене, докторскую степень получил в Нью-Йорке. Живет в США. Прозаик, художник, инженер-экономист. Автор романов «Время и день» (1974), «Полус Лорда» (1990), рассказов. Редакционная аннотация особо акцентирует его дружбу с эмигрантским писателем Николаем Ульяновым, чьи романы «Атосса» и «Сириус» тоже печатались в журнале «Юность».

Владимир Набоков. «Дама с собачкой». Перевод с английского Ирины Клягиной. — «Литературная учеба», 1994, № 6.

Из книги лекций по русской литературе.

Виктор Некрасов. «Кое-что из жизни...». Неопубликованное. Публикация Виктора Кондырева и Григория Анисимова. — «Континент», № 81.

Фрагменты незаконченной книги воспоминаний и эссе «Лежа на диване». Выступления на «Радио Свобода» в 1981 — 1986 годах.

Олег Павлов. Свято место. — «Литературная учеба», 1994, № 6.

Молодой прозаик — автор романа «Казенная сказка» («Новый мир», 1994, № 7) размышляет о художественном самосознании современной литературы.

Олег Смирнов. Месяц колосьев. Роман. — «Наш современник», 1995, № 1 — 2. Военная проза. К 50-летию Победы.

Вилли Чурклюд. Четыре новеллы. Перевела со шведского А. Афиногенова. — «Юность», 1995, № 1.

Из книги «Восемь вариаций» (1982). Автора — математика по профессии — сравнивают с Карелом Чапком и Итало Кальвино.

Составитель А. Василевский.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Semen Lipkin, Inna Lisnyanskaya, Evgeny Rein, as well as by West Indian poet, Nobel prize winner Dirik Walcott (translation by Alla Sharapova).

We are publishing the novel «A Letter from Soligalich to Oxford» by Sergei Yakovlev, depicting life in Britain and in Russia.

For the 50th anniversary of the victory in the Great Patriotic War we are publishing short stories by Aleksandr Solzhenitsyn, as well as the publicistic essay «At That Time They Called Me Waldemar and Willy» by Oleg Larin, about Vladimir Kuts'war fate.

The section «Diaries. Memoirs» is presented by Academician V. Vernadsky's diary of 1941 (publication by I. Mochalov).

The section «Editor's Mail» is presented by the polemical article «A Walk Around the Gardens of Russian Phylology» by Valery Serdyuchenko (Lvov, Ukraine).

Notes by critic Pavel Basinsky, «Not for Aesthetes, Not for Commoners...» are to be found in the section «By the Way».

In the section «Book Review» Aleksandr Sokolyansky reviews Nina Sadur's prose; I. Pitlyar reviews the one by Dina Rubina; Vladimir Vakhrushev reviews the novel «Orlando» by Virginia Woolf; Olga Filatova reviews the Berlin diary of the war years by Russian princess M. Vasilchikova.

In the section «Briefly about Books» Grigory Shurmak reviews the book of memoirs «The Road from Grodno» by Daniil Klovsky; Andrei Vasilevsky reviews the so-called «initial text» of the book «The Endless Blind Alley» by Dmitry Galkovsky.

The issue also contains the sections «Foreign Books about Russia», «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Коммерческий директор В. Д. Васковский

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.1.95 г. Подписано к печати 10.3.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отг.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 26 000 экз. Зак. 1246. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия»,
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
 АННА АННЕНКОВА. Впервые в Европе (пристрастные впечатления);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Рождение (повесть);
 АЛЕКСАНДР ВЕРНИКОВ. Вверху и на местах (рассказ);
 ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ. Рассказы (из наследия);
 НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Роман воспитания;
 СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Однофамильцы (рассказ);
 ИГОРЬ ЗОТИКОВ. Три дома Петра Капицы (воспоминания);
 ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Свое и чужое (история в зеркале культуры);
 СЕРГЕЙ КИРИЛОВ. О судьбах «образованного сословия» в России;
 Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);
 ЮРИЙ КУВАЛДИН. Ворона (повесть);
 ДЖЕРАЛЬД МАЙКЛЬСОН. Пушкин и Чаадаев: встреча в Крыму;
 Т. Г. МОРОЗОВА. В институте благородных девиц (воспоминания);
 ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина (роман);
 ФРЕД СОЛЯНОВ. Как мы с дядей писали повесть о Варшавском восстании;
 ИРИНА СУРАТ. «Стоит, белеясь, Ветилуя...» (о пушкинском стихотворении «Когда владыка ассирийский...»);
 ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Русская музыка и геополитика;
 МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. К истории национал-большевизма в России;
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Косточка авокадо (рассказ);
 Е. Р. ЭЙГЕС. Записки о Сергее Есенине;
 ЮНОСТЬ СЕСТЕР ЦВЕТАЕВЫХ. Неизвестные тексты и материалы;

а также новые произведения АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, АНДРЕЯ БИТОВА, АНДРЕЯ БЫСТРИЦКОГО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, БОРИСА ЕКИМОВА, ИГОРЯ КЛЯМКИНА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА, ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДОРЫ ШТУРМАН, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1995 ГОДА!**